

δσρχες



IV

Jorge Luis Borges

δ σ ρ χ ε ς

собрание сочинений
в четырех томах

Издание второе, стереотипное



амфора

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

2011

δ σ ρ χ ε ς

собрание сочинений
том четвертый

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1980–1986



амфора

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

2011

УДК 82/89
ББК 84.7(Ар)
Б 83

JORGE LUIS BORGES

Перевод с испанского, английского, французского

Составление, предисловие, примечания и указатели
Б. В. Дубина

*Издательство выражает благодарность
литературным агентствам Synopsis и The Wylie
за содействие в приобретении прав*

*Защиту интеллектуальной собственности и прав
издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания
«Усков и Партнеры»*



Борхес Х. Л.

Б 83 Собрание сочинений : в 4 т. / Хорхе Луис Борхес ;
[сост., предисл., примеч. и указ. Б. Дубина]. — 2-е
изд., стер. — СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2011.

ISBN 978-5-367-01731-1

Т. 4 : Произведения 1980–1986 годов. Посмерт-
ные публикации. — 590 с.

ISBN 978-5-367-01735-9

Настоящий том Собрания сочинений Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986) составляют произведения последних лет его жизни: лекции, предисловия к любимым книгам, интервью, стихотворения, эссе. Значительное место в томе занимают указатели ко всем четырем томам Собрания сочинений, которые позволяют без труда ориентироваться в сложном и многообразном мире творчества великого аргентинского писателя и мыслителя.

УДК 82/89
ББК 84.7(Ар)

- © María Kodama, 1995
All rights reserved
- © Дубин Б., составление, предисло-
вие, примечания, указатели, 2001
- © Багно В., Богомолова Н., Дубин С.,
Кулагина-Ярцева В., Лысенко Е.,
перевод на русский язык, 2001
- © Оформление.
ЗАО ТИД «Амфора», 2011

ISBN 978-5-367-01731-1
ISBN 978-5-367-01735-9

КНИГА МИРА

Сколько можно писать? Почему, раз начав, дальше, если вдуматься, уже нельзя остановиться — сколько ни вдумывайся? Наверное, потому, что это занятие, скажем так, бесконечно. А бесконечность — такая странная вещь, что ей не просто нет физического конца (то есть нет ничего внешнего ей, что бы ее отчеканивало и определяло), но ты в ней самой или из нее самой даже идею подобного конца никоим образом не почерпнешь и, продолжая свое занятие, никогда не сможешь убедиться, что этого конца нет. Иными словами, бесконечно возвращаясь к своему бесконечному занятию, ты тем самым обнаруживаешь, что оно бесконечно, — делаешь его бесконечным. Причем эта бесконечность — воспользуюсь старой счастливой находкой переводчиков Хемингуэя, — «которая всегда с тобой» (поскольку она не вещь, а идея). Точнее говоря, ты и есть ее источник, как она — твое единственное подтверждение или опровержение. Неисчерпаемый источник. Бесконечное подтверждение. Неутолимая жажда.

Писатель по призванию и определению, Борхес знал обе стороны этой мѐбиусовой бесконечности письма, головокружительной потери предела. Он не раз испытывал парализующую бесконечность «малости» — неспособность начать, ненужность любого начинания, замешательство, что сделать и как сказать, неуверенность в том, что в итоге получится и что оно вообще что-то значит (такова иссушающая бездна бессонницы или памяти с ее беспредельной отсрочкой начала, цепенящим ожиданием и страхом перемены). Многократно описывал он и агрессивную бесконечность «неисчерпаемости», недостижимости конца, безостановочности писания, претендующего вместить всё и вся (такова текучая многоликость сна, переменчивость, протечность самозабвения). Пока ты находишься «внутри» письма, условный конец, перерыв возможен, кажется, только один: совпадение, пусть даже разовое, повторение, хотя бы минимальное. В этот миг — на этом краю — начало и конец, внутреннее и внешнее сходятся, и ты просыпаешься.

Подобная мысленная фигура как сюжетный ход снов и снова возникает у позднего Борхеса. Таковы встречи «я» с собой — «двух

беспредельностей», по парадоксальной формуле Тютчева — в развернутых борхесовских новеллах «Другой» и «25 августа 1983 года», в микротекстах «Сцена с врагом» и «Зелень кипариса». Мотивы пути и встречи (включая невстречу, разминовение), символы книги и сна, розы и лабиринта переплетаются и повторяются в них не один раз.

Устный Борхес

Начиная с первой публичной лекции о Готорне (1949), устные выступления и тексты на их основе заняли свое, и далеко не последнее, место в борхесовском творчестве¹. Со второй половины шестидесятых начали публиковаться, сначала во Франции, а затем в Аргентине и других краях, записи бесед с Борхесом — Жоржа Шарбонье, Жана де Мийере, Виктории Окампо и других. К восьмидесятым годам стали появляться книги, целиком «наговоренные» Борхесом: «Думая вслух», «Семь вечеров».

Понятно, что в какой-то мере это вещь вынужденная и объясняется биографически: растущей слепотой автора. Вместе с тем подобный жанр есть, конечно же, в наследии каждого известного и публичного писателя с тех пор, как в культуре Запада возникла сама роль «звезды», поддержанная позже новейшей техникой магнито-, а потом и видеозаписи. Однако у Борхеса и этот неизбежный факт, это общее место приобретают, по-моему, несколько иной, его собственный, а значит — парадоксальный, полемический, игровой смысл. Став знаменитостью, он не столько подчиняется требованиям предложенной маски (с удовольствием или по необходимости, сейчас неважно), сколько отделяется от них и их переосмысливает, мягко пародируя и вполне ощутимо подрывая. То есть и здесь продолжает быть — о чем никогда не нужно забывать — пусть «старым» и «присмирившим», но по-прежнему «анархистом»². Как это делается? Чем устный Борхес отличается от других «писателей с кафедры» и в чем он остается Борхесом?

Прежде всего, он постоянно подчеркивает, можно сказать — выпячивает, устный характер сказанного. Не только выделяет этот факт грамматически, синтаксически, интонационно (его письмо постоянно *слышишь*), но и выворачивает феномен устной речи, прослеживая переход от нее к письменной и обратно. Верный себе,

¹ См. тома 2, 3 и 4 наст. изд.

² Так назвал Борхеса его близкий французский знакомый, издатель Полного собрания его сочинений во Франции Жан-Пьер Бернес (см.: *Bernes J.-P. Borges ou le vieux anarchiste paisible // Magazine littéraire*. 1999. № 376. P. 34–39).

Борхес призматически разлагает простой, непосредственный, само-собой-разумеющийся, как будто бы общепонятный факт говорения и выявляет его сложность, многоуровневость, стереоскопичность. Отслаивает в нем один уровень за другим, но не с тем, чтобы их отбросить, пробиться к «чистому» смыслу, а, напротив, затем, чтобы внести в сознание и удерживать мыслью, только так и обретающей, создающей, строящей свой смысл.

Среди прочего, Борхес указывает на архаический и даже не просто дописьменный, но как бы доязыковой, больше того — до-бытийный характер устного. Устная речь здесь связана с особым статусом говорящего — сакральным («Христос не писал») либо учительным («Пифагор не оставил ни одной написанной строчки»). Это один ее смысловой полюс, устное здесь понимается как дописьменное, близкое едва ли не к несказанному («В начале было Слово»). В этом последнем смысле оно не противостоит письму, как сознание здесь не противостоит прямому действию: Коран для мусульманина «предшествует арабскому языку», он не сотворен Богом, а есть Его, по борхесовской формуле, атрибут, «как Его гнев, Его милосердие и Его справедливость».

На другом смысловом полюсе устное, напротив, противостоит письменному, но уже как то, что *после* письма, даже *после* печати. Устная речь ускользает тут от выхолащенной общезначимости и массовидной вседоступности написанного и растиражированного, от адресованного неизвестно кем неважно кому, любому как всякому, а потому заведомо ничейного, чужого. Ускользает в приватность сказанного здесь и сейчас, обращенного исключительно к близким. От опустошительной бесконечности всеобщего — в самодостаточную неисчерпаемость своего. От узнаваемо и успокаивающе всегдашнего — к случайному, непредсказуемому и эфемерному (так же, как от высоких героев ранняя проза Борхеса вводила к поножовщикам окраин, а от панорамных романов — к очерковым клочкам, пастшам, центонам и проч.).

В этом смысле приход позднего Борхеса к устному жанру есть еще и возвращение к юношеским авангардным идеям «литературы в разговорах», к тогдашним кафе и кружкам, к образу и заветам Маседонио Фернадеса. Напомню, что один из приятелей борхесовской юности Альберто Идальго выпускал так называемое «Устное обозрение» — созывал и организовывал заседания кружка писателей и художников, регулярно собиравшегося в одном из столичных ресторанчиков. От десяти «выпусков» того обозрения, понятно, не сохранилось — как оно и задумывалось! — ничего, кроме несовершенного следа в виде двух графических приложений, которые десятилетия спустя стали библиографическим раритетом и музейным курьезом, своего рода кенотафом, надгробием отсутствующего.

Борхесовский же наставник, как вспоминал потом сам Борхес, и во все «ни во что не ставил письменное слово», мало того — творчество вообще «не было целью Маседонио Фернандеса» (здесь у Борхеса следует иконоборческий рассказ об учителях буддизма, поддерживающих огонь в монастырском очаге статуэтками святых и отдающих профанам канонические книги, поскольку «буква убивает, а дух животворит»). Речь идет о преодолении «литературы» с ее канонами и святыми, а парадокс ситуации заключается именно в том, что этот подрыв рекомендует и демонстрирует теперь живой литературный классик. И это один смысловой разворот темы *устного*.

Есть и другой. Когда Борхес публикует потом свои «разговоры», он делает по смыслу то же самое, что и в своих выступлениях — бесконечно повторяясь, «заводя» их как своего рода пластинки (он и сам их так называл). В духе известной микроновеллы «Борхес и я» он — на этот раз специально — провоцирует, разыгрывает отстранение от собственных текстов, которые теперь уже, процитирую, «принадлежат Борхесу, а мне нужно опять придумывать что-то новое» (впрочем, каждому, кто слышал свой голос в магнитофонной записи или читал текст, где записано только что им сказанное, этот феномен самоотчуждения вполне знаком). Отделяя и отдавая устойчивое, повторяющееся, общезначимое до полной неотличимости, до анонимности своего слова растворяясь в других, он по мере сил делается «всем для всех», вместе с тем драматически оставаясь — или становясь? — «увы, Борхесом». И кроме того, как бы репетирует будущее, внеавторское существование и действие своих слов, которые если и говорят, если и сохраняют, приумножают жизнь, то лишь в той мере, в какой несут и приращивают смысл, в какой рождают понимание, а не в силу того, что их произнес Борхес.

Дар утраты

Вручение себя другому — еще один мотив, все отчетливей звучащий у позднего Борхеса. Он почти что кристаллизуется у него в особый микрожанр — посвящение (не путать с предисловием!). Такими посвятельными надписями открываются книги «История ночи», «Тайнопись», «Порука». Легко видеть, что их адресат — вполне конкретный человек, молодая спутница последних лет Борхеса Мария Кодама. Но, как обычно в лирике, эти посвятельные слова обращены не только к возлюбленной, но и к Музе (Altra Ego, по выражению Бродского¹), в которой сходятся жизнь и речь

¹ См.: *Бродский И. Altra Ego // Сочинения Иосифа Бродского. Т. 6. СПб., 2000. С. 68–79.*

поэта. «Из всего множества необъяснимых вещей, составляющих мир, — предостерегающе замечает Борхес, и эти его слова нужно расслышать, — посвящение книги — не самая простая».

Разберемся, как он строит такие посвящения. Перед нами коронные борхесовские перечни случайных и вместе с тем сверхзначимых «вещей» — имен людей, предметов, мест. В принципе, их список бесконечен, равно как бесконечен и каждый из включенных в него символов (именно поскольку он символ, то есть мета соединения, знак перехода, веха смыслового подъема). Но здесь перечень, его символическая игра, восхождение от символа к символу, как в обряде инициации, завершается или открывается образцовым символом, можно сказать, символом символов — именем собственным. Уводящее в бесконечность по принципу «и т. д.» ритуальное перечисление приводит к другой бесконечности, бесконечности другого смысла и уровня, бесконечности Другого¹.

Одна бесконечность здесь — это бесконечность вбирания в себя, способности быть всем; таково зеркало в «Элегии о саде» («...мы и есть грядущее бывшее»), таково облако в «Облаках»: «В малейшем облаке — весь мир со всею// бездонностью» или «Ты — облако, и море, и забвенье, // и все, что за чертой исчезновения», — то есть даже и твое неведомое тебе запредельное для тебя будущее. Это «бесконечность все-» — всеохватывающего, всемогущества и т. д. Другая (про нее немало сказано в «Девяти очерках о Данте», особенно в двух заключительных, где она носит собственное имя Беатриче) — бесконечность самодостаточности, манящей и недостижимой неприступности, откуда наша «таинственная любовь ко всему, // существующему без нас и помимо друг друга»². Это «бесконечность само-» — самосущего, самосозерцания и т. п. В любом случае бесконечность, как уже говорилось, — не вещь. Но, может быть, она даже и не содержание, не смысл символа. Скорее, это принцип движения мысли, творящее ее начало.

Так борхесовские посвящения ведут его и нас от «я» к «ты» («Я — это Ты», по известному афоризму Новалиса). Другое освящается именем другого, отдается под охраняющий знак этого имени, поскольку другому и принадлежит. Оно — как твое — и не существовало бы без него, тебе оно было только подарено, а значит,

¹ Если говорить о разновидностях беспредельности, их впечатляющий, даже драматический очерк см. в кн.: Катасонов В. Н. Боровшийся с бесконечным: Философско-религиозные аспекты генезиса теории множеств Георга Кантора. М., 1999.

² Ср. в посвящении к книге «История ночи»: «За ту, какой ты станешь; за ту, которой мне, вероятно, уже не узнать» (наст. изд., т. 3, с. 443).

твой дар — ответный, возвратный: «Отдать можно только то, что принадлежит другому». Или словами другого поэта: «Оказывает-ся, что ни полслова // Не написали о себе самих...»¹

Понятно, такое понимание мотивировано у позднего Борхеса чувством близкого ухода или (одно здесь входит в другое и обозначает его) немислимого разрыва во времени с юной спутницей, которой предназначена даримая им книга, ее «игра символов». Конечно же, но не только. У борхесовских посвящений есть более общий смысл (и обостренное чувство своего конца — одно из условий подобного смысла): они — из разряда таких «вещей», как дар, обет, жертва, молитва, прощение, благодарность, любовь... В этих особых — поскольку, вероятно, основополагающих и простейших — формах человек решается шагнуть за пределы одиночества и утвердить обращенность к другому в качестве исходного факта жизни, мысли, творчества дорастает до сознания взаимности как первоматерии осмысленного существования. Подобным сознанием продиктованы, по-моему, оба главных и итоговых замысла Борхеса, венчающих его жизнь, — книга путешествий «Атлас» и книга предисловий «Личная библиотека». Каждая из них многократно и по-своему неисчерпаема.

Путешествия в невидимое

Показательна для книги «Атлас» словесная стратегия миниатюры «Стамбул»². Каждый смысловой поворот нескольких ее строк как бы уничтожает только что сказанное, выводя его в новую и новую смысловую перспективу. Судите сами. Полстраницы текста открываются замечанием, что все известное нам о Карфагене (отсылка к флорентинской «Саламбо») мы знаем только со слов его врагов, а они безжалостны, — нечто подобное произошло и с Турцией. «Что я мог узнать о Турции за три дня?» — спрашивает затем автор-рассказчик. Он видел то, что было скрыто от слепого (на странице слева — любительская фотография залитого светом старика на фоне Айя-Софии: это снятый Марией Кодамой Борхес открытыми и невидящими глазами смотрит, как можно понять, прямо на солнце), он слышал ушами европейца «сладчайший» язык, которого не понимал. При этом ему припоминались глубины истории Запада и собственные «северные истоки»: не находящиеся пристанища, бесследно прошедшие по миру скандинавы и бежавшие из Англии после поражения при Хастингсе саксы, составившие гвардию византийского императора. Начало

¹ Тарковский А. Дерево Жанны // Тарковский А. Вестник. М., 1969. С. 57.

² Borges J. L. Atlas. Barcelona, 1999. P. 19.

и конец смыкаются. Итог: «Бесспорно одно. Мы должны вернуться в Турцию, чтобы начать ее открывать». Кто-то может сказать, что вместе с поводырем ничего не увидел и не услышал, но никто не скажет, что это путешествие было бесплодным, а рассказ о нем бессодержательным. Бесспорно одно: оно не было туристическим (не зря Борхес предупреждает, что его книга — «не атлас»)¹.

Так что здесь, как и в случае с «устным Борхесом», перед нами снова подрыв, выворачивание, опровержение, казалось бы, взятых на себя жанровых ограничений, а стало быть, и типовых читательских ожиданий. Еще явственней это в миниатюре «Гостиница в Рейкьявике» (обратим внимание на то, что не один текст в книге путевых впечатлений ограничивается «путешествием вокруг собственной комнаты» — гостиничным номером, в котором, как в мадридском отеле, рассказчик к тому же на трое суток заперт и прикован к одному месту²). Слева на фотографии — плоский, однотонно темный силуэт (Борхеса), как будто вырезанный из бумаги на контражурном фоне спящего окна, рядом — тоже белый, но более густого оттенка прямоугольник (столб) комнатной колонны. Смысловой центр заметки, ее микрооткрытие (вокруг них все составляющие книгу записи и выстроены), — «странное чувство, которое дарят вещи, напоминающие изначальный образ», та «первозданная радость», которую передают впервые открывшиеся «чистые формы Эвклидовой геометрии: цилиндр, куб, шар, пирамида». И это рассказ о путешествии? Скорее, притча о творчестве. Точно так же художник в миниатюре «Памятник» (поп-скульптор Клаас Ольденбург, тоже, кстати, викинг, добравшийся до берегов Америки) вдруг «увидел то, чего с начала мира не видел ни один живущий. Он увидел пуговицу. Увидел это повседневное приспособление, доставляющее столько трудов пальцам, и понял: чтобы передать откровение, явившееся ему в образе этой простейшей мелочи, нужно увеличить ее до невероятных размеров и создать огромный светлый круг, который мы и видим теперь на этой странице и в центре одной из площадей Филадельфии».

¹ Ср.: «Гельдерлин не бывал в Греции. И правильно. Если хочешь вернуть умерших богов, не стоит посещать землю, которую они топтали. Воскрешать их лучше издалека. Туризм перерезает последнюю живую связь с прошлым» (Чоран Э. После конца истории. СПб., 2002. с. 457).

² Миниатюра «Мадрид, июль 1982 года». Невольный комментарий к ней смотри опять-таки у Чорана: «К. рассказал о своей лондонской поездке, где битый месяц пролежал в гостиничном номере лицом к стенке. Это было для него самым большим счастьем, какого он только мог пожелать. Я напомнил ему похожий опыт Бодхидхармы, разносчика буддизма, только у него он длился девять лет...» (Там же. С. 185).

В этой книге ее рассказчик Борхес и его герои (Грейвс, Ольденбург, Луллий и другие) — очевидцы невидимого. Казалось бы, они вглядываются в наипростейшее. Но, оказывается, его еще надо искать и искать в обступающей гуще того, что само бросается в глаза: дороги к нему образуют особое пространство, и время этого пути — тоже иное. Парацельс в новелле «Роза Парацельса» мягко останавливает не в меру ретивого ученика, ждущего чудес, ищущего философский камень и требующего указать ему кратчайший путь: «Путь это и есть Камень. Место, откуда идешь, это и есть Камень». Пользуясь названием давнего борхесовского эссе, можно сказать, что это путь между Некто («бесконечностью само-») и Никто («бесконечностью все-»). Вектора направления здесь не может быть, поскольку каждая из этих бесконечностей включает другую: важна всегдашняя возможность и ощутимость перехода. Знак этого перехода — «я», символ, который и сам состоит из символов. Среди тех из них, которые «вычеканил» Борхес («Нет такого писателя с мировой славой, который бы не вычеканил себе символа...»¹), наиболее известен, вероятно, Алеф. «Атлас» это своего рода новый «Алеф», автор-герой которого как бы понял, что он и есть этот Алеф, включающий в себя «всё». Перечисляя дорогие для себя перекрестки Буэнос-Айреса, Борхес заканчивает миниатюру: «Это может быть любое из пересечений, на которые щедро неохватная шахматная доска. Это могут быть они все и тем самым их невидимый прообраз».

Здесь перед читателем снова любимая Борхесом геральдическая фигура «mise en abîme»². Целое, которое входит в себя частью: таков Симвург в часто цитируемой Борхесом аттаровской «Беседе птиц», такова Ева как «прекраснейшая из своих дочерей» в милтоновском «Потерянном рае»³ и т. д. и т. д. Одно есть вместе с тем другое, но не такое же, а переносящее на иной уровень смысла. Такой переход по своему устройству и есть поэтическая метафора, которая ведь всегда символически указывает на потерю и несет в себе, представляет собой ее след. Если довести здесь метафору до предела и пользоваться излюбленными символами Борхеса, то это потеря Рая; ср. в борхесовском «Обладании прошлым»: «Единственный подлинный рай — потерянный»⁴. Напротив, в простом передвижении от одного предмета или места к смежному с ним работает механизм метонимии. Он образует исходную конструкцию

¹ Борхес Х. Л. Кеведо // Наст. изд., т. 2, с. 358.

² См. эссе «Рассказ в рассказе» (наст. изд., т. 1, с. 461–464).

³ Борхес цитирует эту строку в одном из очерков о Данте (наст. том, с. 193).

⁴ Наст. том, с. 270.

(смысловую матрицу) прозы. Разворачиваясь, метонимия дает сюжет путешествия, связывающего похожее, одноприродное, откуда, кстати, и сопровождающая туризм скука, от которой неустанно бегут и к которой неизбежно приходят. Борхесовский «Атлас» (и вообще символика пути у Борхеса) — пародийный подрыв чисто пространственных перемещений¹.

Важен здесь, как уже говорилось, не путь, а знак перехода. Вероятно, намек на это образует внутреннюю сюжеттику стихотворения «Забывтый сон» (сб. «Тайнопись»), наводит на смысл его центрального символа:

Неверным утром мне приснился сон.
Изо всего, что видел, помню двери,
а остальное стерлось.
<...>
Пойми я, что осталось ото сна,
который снился мне, и что в нем снилось,
и я бы понял всё.

Рискну предположить, что «двери» здесь указывают на существующий, но не предреженный, всегда присутствующий в сознании, но никогда не окончательный смысл. Он может состояться только как открытый — открытый истолкованию и действию. Истолкованию действием. Потому символ здесь и вызывает к жизни ответное слово, размыкает немоту в речь, ведя ее через условный глагол «попытал бы» к стоящему в конце местоимению (место-имению!) «всё»².

¹ Так, в стилизованной притче Кокто садовник персидского царя просит у того самых резвых коней, чтобы ускакать от смерти в Исфаган, где она его как раз и поджидает к концу дня (Антология фантастической литературы / Сост. Х. Л. Борхес, А. Бьюй Касарес, С. Окампо. СПб, 1999. С. 358).

² Ср., казалось бы, ту же символику у Гельдерлина, где она, впрочем, несет совершенно иной, можно даже сказать, — противоположный смысл. Об афинских воротах Адриана, «которые некогда вели из старого города в новый», в романе «Гиперион» сказано: «Теперь никто не проходит сквозь эти ворота<...> они стоят безмолвные и пустые...» (Гельдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. М., 1988. С. 154; пер. Е. Садовского). В цитируемом далее глубоком комментарии В. Биндера символ толкуется так: «...они ведут из Ничего в Ничто<...> Они подобны настоящему, в котором то, что еще не есть, постоянно становится тем, что уже не есть<...> Гиперион находит пустым место перехода, переход здесь уже не совершается» (Там же. С. 641; пер. Н. Беляевой). Я бы противопоставил этим «безмолвным и пустым» воротам руины сгоревшего (и постоянно вновь сгорающего) храма из новеллы Борхеса «В кругу развалин», которая, напомним, открывается значимым для данного контекста ключевым словом «никто»: наставник там создает призрачного человека и обучает свое создание обрядам, «дабы хоть один голос славил Бога в обезлюдевшем святилище» (наст. изд., т. 2, с. 110).

Книга книг

Среди перечня символов, составляющих «я», в стихотворении «Yesterdays» (сб. «Тайнопись») упоминаются стоявшие в отцовской библиотеке времен раннего борхесовского детства «томá, // которые листались не читаясь». Символ для книгочех Борхеса, конечно же, не случайный. Напомню, что в «Хранителе книг» (сб. «Хвала тьме») бережно хранимые свитки тоже остаются непрочитанными: их потомственный верный страж, замурованный в башне, *не умеет читать* (но мы-то, кажется, умеем и сможем прочесть этот символ?). Непрочтенной остается арабская книга, пророчески предсказавшая герою микроновеллы «Действие книги» всю его жизнь. В предисловии к сборнику «Порука» смысл этой непрочитанности расширяется. Теперь уже сам автор не знает, что он написал, но надеется, что, быть может, в его книге есть хоть одна строка, достойная пройти с кем-то из его завтрашних читателей «до последней минуты» (ср. часто вспоминаемую Борхесом мысль Леона Блуа: «Никто не знает, кто он такой и во что его превратит будущее»). Смысловым пределом этой метафоры, вероятно, может быть *всеобъемлющая книга* из новелл «Вавилонская библиотека», «Книга Песка» и множества других вещей Борхеса¹. Сам писатель в «Автобиографических заметках» обобщает: «Всю жизнь я переписывал одну и ту же книгу»².

С одной стороны, тут, конечно, слышна — воспользуюсь сквозным борхесовским словом — усталость. В поздней новелле «25 августа 1983 года» альтер эго Борхеса, перешагнувший на девятый десяток, подытоживает: «Каждый писатель кончает тем, что превращается в собственного бесталанного ученика»³. «Я написал невероятно много», — признает он. «И в конце концов понял, что потерпел неудачу», — находчиво парирует его молодой собеседник. Впрочем, — учитывая, что последний видит перед собой свое же будущее, — уместно ли здесь так уж злорадничать? И какая в подобном предприятии может быть удача? Кто в XIX–XX веках, когда литература стала действительно литературой, преуспел в своем занятии? Да добейся он и впрямь триумфа, зачем бы он сам стал продолжать? И для чего этой *всего лишь литературой* стали бы заниматься тысячи и тысячи других? Больше того, не выступает ли,

¹ Об идее «невидимой книги», неведомо ни для кого содержащейся в других, уже написанных и стоящих на полках, см.: *Citati P. L'imparfait bibliothécaire // Jorge Luis Borges. Paris, 1999. P. 274–275 (L'Herne).*

² Наст. изд., т. 3, с. 535.

³ Наст. том., с. 212.

сказал бы Бланшо, сознание краха едва ли не самым могущественным импульсом современного письма? Видимо, в этом конкретном случае стоит-таки прислушаться к часто цитируемому Борхесом Карлейлю: итоги человеческих трудов немногого стоят, иное дело — сам труд. Романтическую мысль Блейка о спасении человека посредством искусства совсем, казалось бы, не романтик Борхес вспоминал, кстати, ничуть не реже и к тому же до последних лет, — смотри, среди прочего, одну из его поздних миниатюр «О собственноручном спасении» (сб. «Атлас») или заключительные строки стихотворения «Создатель» (сб. «Тайнопись»).

За Борхесом давно закрепилась слава «литературного писателя»; музейным повторением, «рисованием по образцам» видится нередко и его практика — создавать собственные или псевдонимные тексты как коллажи из других текстов. Однако в признании своего занятия переписыванием есть ведь и другая, почему-то редко привлекавшая внимание сторона — по-адамовски авангардный, романтически-иконоборческий, даже, если угодно, нигилистический, в ницшеанском смысле, подход к словесности. Он для Борхеса как раз весьма значим, причем на протяжении всей жизни (см. в конце настоящего тома Указатель упоминаемых Борхесом имен — имя Ницше в нем одно из самых популярных).

Мишель Лафон в свое время увидел в раннем борхесовском рецензировании 1920–1930-х годов процедуру переписывания, ставшую, по его мнению, одним из источников прозы писателя в последующее десятилетие¹. Впрочем, первая из зрелых и, по-моему, лучших книг Борхеса «Всемирная история бесславья» осуществляла эту процедуру не в пример радикальной. А один из редких и чутких свидетелей уже последних лет Борхеса Жан-Пьер Бернес вспоминает, что в планах писателя тогда было переписать «Божественную комедию» и «Дон Кихота»². Бернес, имевший доступ к личной библиотеке Борхеса и внимательно пролистывавший тамошние книги, пронизательно замечает, что проза писателя во многом вышла из его читательских заметок на полях прочитанного: «Его дар заметки состоял в том, чтобы сделать из нее промежуточный, отчасти незаконный жанр — нечто среднее между прошлым чтением и предстоящим переписыванием <...> письмо у Борхеса неотделимо от чтения»³. Подобные заготовки для будущих дайджестов и легли в основу «Личной библиотеки» — книги, которую Борхес «нашел» среди прочитанных им книг неведомо для их авторов,

¹ Lafon M. Borges ou la réécriture. Paris, 1990.

² Bernes J.-P. Borges ou le vieux anarchiste paisible. P. 36–37.

³ Ibid. P. 39.

больше того, которая — и тоже как бы помимо автора — сложилась за жизнь сама собой (многие включенные в нее предисловия — старые заметки Борхеса-рецензента). Книга-криптограмма, книга-скраббл, то ли составленная из других книг, то ли среди них в конце концов растворяющаяся.

Напомню, что Борхес не раз делился с читателем набросками собственных вещей, разворачивая их впоследствии в «полные» тексты. Так, через множество сокращений, развертываний и переиначиваний прошел ранний замысел «Мужчины сражались», ставший в одном из воплощений новеллой «Мужчина из Розового кафе». Так, будущая «Вавилонская библиотека» была конспективно изложена во «Всемирной библиотеке», а «Фунес, чудо памяти» in pace содержался в «Отрывке о Джойсе» (где автор, в частности, писал, что подобные дайджесты «на свой странный и зачаточный лад» оправдывают его писательское существование, — наст. изд., т. 1, с. 525¹). Важность такой намеченной или задуманной, но не написанной книги, точнее — важность подобного писательского признания и постоянного сознания того, что в рамках другой эстетики назвали бы «сырым наброском» или «творческой неудачей», для биографии и поэтики Борхеса 1920–1940-х годов специально обсуждала Анник Луи². Я здесь подчеркну в этой теме лишь несколько моментов.

С классических требований «внутренней» целостности и законченности, на которых стоит эстетика шедевров, Борхес переносит центр тяжести на, казалось бы, «внешний» контекст. Рамки понимания — вот что задает у него смысл. Поэтому фрагментирование текста, извлечение отдельной мысли, пассажа, абзаца из контекста

¹ Через несколько месяцев Борхес повторил эту формулировку в эссе «Теория Альмафуэрте», опубликованном в 1942 г. в газете «Насьон». Через двадцать лет само упомянутое эссе (а его зерно, в свою очередь, содержалось в ранней заметке «Вездесущность Альмафуэрте» из книги «Язык аргентинцев») переросло в предисловие к тому стихов и прозы Альмафуэрте, собранному Борхесом, и уже в этом качестве было еще через 13 лет включено в его авторский сборник «Предисловия» (1975). Там сам образ Альмафуэрте, его поэтика и собственная эстетика возводились к подобному «зачаточному существованию», которое на первый взгляд уравнивало в правах замысел и воплощение, утверждая эстетику фрагмента, но вместе с тем заключало в себе, больше того, — подчеркивало неустрашимый разрыв между ними как своеобразную метафору «аргентинского». Эти же черты Борхес искал и выделял в Каррьего, Фернандесе, Сантьяго Дабове и других, над чьими «воображаемыми биографиями» в 1920–1930-х гг. задумывался и работал.

² См.: *Louis A. Jorge Luis Borges: Œuvre et manœuvres*. Paris, 1997. P. 406–410.

и трансплантация его в другой становится способом письма, а семантика текста определяется его прагматикой, формой существования. В своих многочисленных «Антологиях» Борхес — как веками задолго до эстетики шедевров делала это словесность и Запада, и Востока — сворачивает и разворачивает сотни разноприродных и разностильных текстов различных литератур мира, составляя из них калейдоскопический узор, который слегка, но ощутимо меняется от антологии к антологии. Ровно то же самое он делает и в «Личной библиотеке»: фрагментирует, обнажает до конструкции, переносит в другой контекст и обрамляет заново, фактически составляя нечто вроде аннотированного оглавления прочитанного в течение жизни.

Как ни парадоксально вроде бы относить это к признанному «стилисту» Борхесу, подобная процедура резюмирования текста, его спорадического перенесения и развертывания уже в другой смысловой среде, замечу, делает вопросы стиля несущественными да практически и несуществующими. В этом борхесовские поиски смыкаются — если называть наиболее радикальных писателей-современников, читавших Борхеса с предельной личной заинтересованностью — с практикой, например, «притупления языка» у Беккета или отказом от стиля в принципиально осколочном письме Чорана (у последнего функцию резюме играют «черновые» записи в домашней тетради, которые перерабатываются, переакцентируются, перекомпоновываются затем, находя свое место в структуре подготовляемой книги).

Но по-своему «невидимы» еще и книги из собственной библиотеки Борхеса, которые он, видя все хуже и хуже, понемногу подбрасывал на полки Национальной библиотеки, «забывая», где это сделал (сюжетный ход, напомним, не раз повторявшийся в его новеллах — в той же «Книге Песка»). С подобным рассеиванием себя, примешиванием частиц себя к окружающему, невидимому и еще этим неисчерпаемому миру я бы сопоставил сцену пересыпания песка в микроновелле «Пустыня» (сб. «Атлас» — см. наст. том, с. 253). Рассказчик там набирает и через несколько шагов высыпает горсть песка со словами: «Я изменил Сахару» — и добавляет: «Память о той минуте — среди самых важных вещей, которые я вывез из Египта». Книга может стать «всеобщей», вероятно, лишь в одном смысле: сделавшись невидимой — привычной и не замечаемой как мир.

Но в этом смысловом узле «невидимой», или «исчезающей», «саморастворяющейся» книги есть и другая нить. Борхес здесь продолжает развивать свой авторский контр-проект или даже анти-проект «национальной литературы». Он по-прежнему не при-

нимает панорамно-фотографическое видение прошлого и настоящего, которое для него остается чисто декоративной, неосознаваемо подражательной стилизацией европейского романа XIX века и не ухватывает в аргентинской реальности, может быть, самого основного — ее нероманности, вторичности, лоскутного характера, выморочности, бесконечного повторения.

Замысел Борхеса, как обычно, полемический и иконоборческий. Это невозможная с классической точки зрения национальная литература без эпоса, эстетика алефа — большого в исчезающе малом, целого в осколке¹. Поэтому и в аргентинской истории, в ее словесности Борхес отбирает для себя в качестве объектов и ориентиров фигуры, чьи зыбкие, двоящиеся, исчезающие черты не годятся для памятников. Таковы герои неисполненных замыслов, гении бесследных разговоров, мастера вступлений и откликов, виртуозы мелкой шпильки — Груссак, Каррьега, Альмафуэрте, Фернандес. Именно в них для Борхеса — «сущность аргентинского» (в русле этой антитрадиции, к примеру, Рикардо Пилья назовет потом книгу эссе о национальной словесности «Аргентина в осколках» и сделает тему несуществования основой своего лучшего романа «Город, которого нет» — фантазии на темы бесконечных бесед и посмертно изданных текстов Маседонио Фернандеса).

«Свое точнейшее изображение»

Борхесовское письмо и вообще его творческое поведение противостоят эстетике шедевра, начиная, понятно, с идеи построения себя и своей жизни как шедевра. Картонному ячеству, стильной броскости романтической богемы и романтизированного массовой культурой «художника собственной жизни» Борхес и противопоставляет персональную невидимость, языковую неощутимость, слепоту к внешнему, отсутствие общих планов и дробность деталей, растворение в чужом — всю эстетику незначительного с ее идиосинкратическими перечнями невыразительных мелочей. Это справедливо, если говорить о принципах поэтики, это справедливо и для биографии — она несюжетна, бессобытийна, по ней никогда не снять кино.

Но так оно и в поздней борхесовской поэзии. В ней он расстается даже со своими коронными именными портретами воинов, пастырей и поэтов прошлого. Теперь ее герой — Никто, ее ключевая метафора — «как каждый», ее предметом может быть все, что угодно, видимое не глазами, а памятью, тоже как будто бы всеобщей и ничейной, как в стихотворении «Реликвии»:

¹ См.: *Louis A. Jorge Luis Borges*. P. 432–437.

...девичье имя, светлое пятно
волос, фигура без лица, потемки
безвестного заката, мелкий дождик,
и воск цветов на мраморе стола,
и стены бледно-розового тона.

Кто скажет — проступает или расплывается это изображение и без того неизвестно чье? Ив Бонфуа, кстати, высоко ценящий именно поэзию Борхеса, в своей речи памяти писателя, может быть, лучше других передал этот парадоксальный универсализм борхесовских деталей на примере памятливого Фунеса: «...любая из частиц, составляющих беспредельную память Фунеса, это всякий раз впечатление, которое он сам пережил, а потому каким бы неисчерпаемым ни было их целое, все они подчинены одной задаче: воссоздать образ единственной и неповторимой жизни, ее след в исторической реальности. А мечтать о том, чтобы этому целому не угрожало разрушительное время, чтобы его не подвергала опасности неизбежная ограниченность человеческого внимания и чувства, — разве это не значит выходить за пределы, поставленные человеку, опровергать нашу обреченность? Да, именно так. Но всегда во имя данного конкретного существования, во имя такого единственного на свете существа, каким был Фунес, *тот, кто наподобие любого другого просыпался и засыпал, смотрел на небо, на облака и думал о смерти*»¹.

Кому принадлежат мысли, занятия, ощущения (все эти слова слишком конкретны, материальны, ощутимы), перечисленные в стихотворении «Прах»? И разве не естественно для подобной поэтики, что в конце стихотворения ему едва ли не вообще отказывают в стиховой природе, растворя сказанное просто в речи?

Гостиница и номер как всегда.
Один из полдней, тяготящих тело,
томя и разывая. Вкус воды,
лишь на секунду освежившей горло.
<...>
Рейн или Рона за окном внизу.
Давно привычные недуги. Все, что,
Должно быть, слишком мелко для стихов.

Говоря о поэтическом своеобразии сборника «Тайнопись», Пьетро Читати вспоминает платоновские архетипы, много десятилетий назад открытые ребенку-Борхесу отцом и «поглотившие теперь всю книгу». Для него эти «стихи старика, поздние, горькие,

¹ Bonnefoy Y. Jorge Louis Borges // Bonnefoy Y. La vérité de parole et autres essais. Paris, 1995. P. 333–334; курсив мой. — Б. Д.

смирившиеся — единственное место, где архетипы могут предстать друг перед другом. Борхес... не в силах их описать — кто взялся бы описать Кота, Розу, Крест или Чашу? Он их едва называет. Он роняет их на бумагу, бесплотные, геометричные... высвечивает бесконечно слабым светом, очерчивает тончайшей тенью, которую они только и в силах оставить на земле»¹. В поисках другой, деиндивидуализированной лирики, которые, каждый по-своему, вели все крупнейшие поэты XX века, Борхес в конце концов приходит к рассеиванию условно-романтического «я», неметафоричности и невыразительности самой обычной речи, растворению любой характерности, всяческой предметности флорберовского *mot juste* в слове-тени. Его поздняя поэтика — поэтика невидимого, поэтика невидимости. Поразительней всего здесь то, что именно эти самые простые вещи, оказывается, возможны и поэзия не теряет себя, говоря о них.

Писатель как переводчик

Поскольку центр тяжести в борхесовской эстетике перенесен, как уже говорилось, на контекст, а смысловым, порождающим смысл началом выступает смена этого контекста, фигурой, организующей речь, делается, понятно, воображаемый читатель. Точнее, писатель, непривычным образом соединяющий в себе читателя и критика, иначе говоря — переводчик. В этом смысле проблема перевода как бы резюмирует все предыдущие темы — зрения и письма, языка и книги, своего — чужого и т. д.

Для писателя, тем более — столь активно работающего, Борхес переводил много, и стихами, и прозой. Он не раз возвращался к теме перевода в эссеистике и интервью: напрямую этому посвящены, если не говорить о парадигмальной новелле «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“», борхесовские эссе «Два способа переводить» (1926), «Переводы Гомера» (1932), «Переводчики „Тысячи и одной ночи“» (1936), «Загадка Эдварда Фитцджеральда» (1951), большое интервью журналу «Юг» «Труд переводчика» (1975)².

¹ *Citati P.* Sur la poésie de Borges // Magazine littéraire. 1999. № 376. P. 51.

² В последние годы работы о Борхесе-переводчике и его понимании перевода заметно участились — см., например: *Louis A.* La traduction selon Jorge Luis Borges // Poétique. 1996. № 107; *Pastormerlo S.* Borges y la traducción // Borges studies on line. J. L. Borges Center for studies and documentation. Internet: 07/07/99 (<http://www.hum.au.dk/romansk/borges/bsol/pastorm1.htm>); *Waisman S. G.* Borges reads Joyce. The role of translation in the creation of texts // Variaciones Borges. 2000. № 9; *Willson P.* La fundación vanguardista de la traducción // Borges Studies on Line. On line. Internet: 14/04/01 (<http://www.hum.au.dk/romansk/borges/bsol/pw.htm>).

Саму тему перевода Борхес считал для литературы — верней, для определения того, что считают литературой и как в литературу верят, — центральной: «Вряд ли есть другая проблема, до такой степени неразлучная с литературой и ее скромными таинствами, как проблема перевода, — начинается эссе „Гомеровские переводы“ — <...> лучшего примера для споров об эстетике не подберешь»¹.

По Борхесу, главная болевая точка в проблеме перевода — идея окончательного, единственного и неповторимого текста, а значит, и варианта, черновика. По конструкции архаическая (подразумевается пра- и архи-текст, от которого нельзя отступать), она представляет собой крайнюю степень абстракции, причем очень поздней (имеется в виду всего лишь один, отдельный текст, который легко забыть, ничего не стоит исказить и т. п.). Сверхзначимость самого подобного представления, можно сказать, *мистика оригинала* состоит в том, что он, с одной стороны, всегда уже есть (почему от него недопустимо отклоняться даже в единственной запятой), а с другой — его невозможно достигнуть (почему и всякий перевод приближителен, а переводы быстро устаревают, тогда как оригинал вечен). Отсюда — неустранимо двойственная роль переводчика — копииста и со-творца.

Борхес мог бы сказать, что раздвоение здесь предопределено проблемой тождества (и тождества даже не столько текста, сколько автора), а представлено как проблема времени. Чтобы это продемонстрировать, он специально полемически разводит два измерения переводческой роли, представляя их как два типовых подхода к переводу, два образцовых способа переводить: «В общем, по-моему, есть два типа переводов: в основе первого — буквализм, в основе второго — перифраза. Первый отвечает романтическому складу ума, второй — классическому <...> Умы классического склада занимает произведение, а не его автор. Они верят в совершенство и ищут совершенства. Частность, редкость, случайность им не интересны. Разве красота поэзии не должна быть такой же, как красота луны: вечной, непогрешимой, бесстрастной? <...> Романтики, напротив, домогаются не произведения, а человека. Человек же (как знает каждый) — не прихоть и не архетип: он — такой, а не этакый, он живет в данном месте, у него есть тело, родословная, запас сделанного и несделанного, настоящее, прошлое, будущее и его собственная смерть. Осторожнее с каждым его написанным

¹ *Borges J. L. Las versiones homéricas // Borges J. L. Obras completas 1923–1972. Madrid, 1977. P. 239.* Начальная фраза, как уже говорилось (см. наст. изд., т. 3, с. 628), перешла потом в предисловие к «Приморскому кладбищу» Валери, включенному позднее в книгу «Предисловия».

словом!»¹ Писатель какого из двух типов пишет сами эти слова? Разберемся.

Перевод как проблема («задача переводчика», по формуле Вальтера Беньямина) возникает тогда, когда проблемой становится адресат текста. То есть адресат и понимание (употребление) текста больше уже не предопределены им самим, его статусом (например, сакральным или домашним) и назначением (скажем, служебным), и текст обращают к чужаку. Понимание, перевод, передача, истолкование смысла становятся теперь, можно сказать, отдельными измерениями текста, почему и возникают особые специалисты в этих областях. Один из них — переводчик (профессиональный переводчик). Его горизонты, пределы его понимания и работы в каждом конкретном случае заданы тем, как он представляет себе своего адресата, «читателя», а соответственно и «литературу»; отсюда основополагающее значение самой идеи «книги книг», будь то Библия или Гомер, Шекспир, Данте или Сервантес (отсылка к национальным гениям тут неслучайна, перевод в интересующем меня здесь смысле возникает лишь при создании национальных литератур, в разрыве между всеобщим и национальным, который переводчик и фиксирует, и обживает, и пытается преодолеть, и увековечивает). В обычных случаях это значит, какова для переводчика дистанция между значимым для него воплощением «литературного разума» (всеобщим, «высшим» адресатом, Другим с большой буквы, тем, кто знает и понимает в слове и литературе всё, — подобным господом богом может быть просто редактор или главный редактор) и самым непонимающим из читателей, которому все нужно объяснить. Возражая критикам, утверждающим, что аргентинцы все равно не поймут гениального «Ворона» Эдгара По так, как понимают его североамериканцы, Борхес говорит, что дело не в гениальности неистового американского романтика, смысловой бездонности его уникального стихотворения и проч., — простейшую песенку Каррьега чилиец не поймет так, как житель буэнос-айресских окраин (вот этот воображаемый «чилиец» и представляет здесь для Борхеса культурного чужака²). Перевод обычно делается в расчете на второго, другого с маленькой буквы (стилистический регистр выдерживается, отбор и понимание ключевых слов строятся исходя из его «уровня»), но всегда в перспективе первого, Другого с буквы заглавной: обращением к нему (к Музам) задается значимость литературы, переводимого текста и самого за-

¹ *Borges J. L. Las dos maneras de traducir // Borges J. L. Textos recobrados 1919–1929. Buenos Aires, 1997. P. 257–258.*

² *Borges J. L. Las dos maneras de traducir. P. 256.*

нения переводчика. Идея такой условной всеобщности (словесной республики под предводительством литературного разума) и выступает в новой европейской истории основой переводческого занятия, принципом переводимости. Вокруг этой точки, или оси, кристаллизуются различные исторические типы перевода и переводчика¹.

В самом общем виде (это, конечно же, идеализированные типы, и ни один из них никогда не бывает единственным и всеобщим, они по-разному выражены в разных ситуациях и в разные эпохи, а часто и у одного переводчика и даже в одном его переводе) я бы выделил в соответствии с воображаемым статусом переводимого текста такие принципиальные разновидности перевода и самого подхода к переводимому:

— «буквальный», «точный» (подстрочный, словарный, лингвистический, учебный) перевод; переводчик исходит при этом из идеи подобия, если не равенства языков, как в элементарном двуязычном словаре или разговорнике: слева — выражение на чужом языке, справа — эквивалент на родном, между ними иногда транскрипция на всеобщем;

— «литературный», «выразительный», «художественный»; для такого переводчика избранный им замечательный текст понятен, а в «родном» языке для его передачи уже есть «всё», нужно только добраться до вторых и третьих планов смысла, до языковых залежей и россыпей — народного разговорного языка, специальных языков, социальных наречий и проч.; такую реалистическую эстетику характерного (придерживающиеся ее переводчики любят переводить «не совсем классиков» или «заново перечитывать» подзабытую классику) Борхес не без иронии, но вполне справедливо именует «романтической»;

— «истолковывающий» перевод, причем толкованию здесь подлежат не только несущие или экзотические слова (эти последние как раз легче всего найти по готовым словарям — таков принцип буквального или учебного перевода и комментария, где комментируется именно то, для чего можно найти готовый эквивалент в других текстах), но едва ли не прежде всего — принципы их подбора и соединения, то есть сам процесс смыслообразования. Перевод

¹ О принципах перевода и их развороте в истории см. основополагающие работы Антуана Бермана: *Berman A.* 1) *L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique.* Paris, 1995 (1-е изд. — 1984); 2) *La traduction et la lettre ou L'auberge du lointain.* Paris, 1999, а также сборник, посвященный его памяти: *La traduction-poésie: A Antoine Berman / Sous la direction de Martine Broda.* Strasbourg, 1999.

здесь и есть комментарий (литературно-критический, культурологический, культур-языковой, историко-философский и т. д.);

— «поисковый» перевод; здесь переводчик идет от того, что любой «оригинал» есть только черновик, причем анонимный; в этом смысле любое высказывание есть перевод, и в «родном» языке ничего «готового» нет, его еще надо придумать и задним числом обосновать как «свое» или пометить, «сдвинуть», «вывернуть» как «чужое» и т. п.

Этот последний тип перевода Борхес, насколько могу понять, и называет «классическим». Им он, по-моему, прежде всего и занимается. Я бы здесь говорил даже о новой литературной антропологии, которую имеет в виду Борхес при своих рецензионных оценках и разворачивает в собственной переводческой работе. В его версии «человека литературного» как «человека переводящего» мы, что характерно, вообще не найдем таких характеристик, как знание языка — будь то чужого, будь то родного (переводы, чаще всего обсуждаемые Борхесом — скажем, поэм Гомера и сказок «Тысячи и одной ночи», — сделаны с языков, которых писатель вообще не знал; ср. настойчиво повторяемую им реплику о незнании греческого Дантом и Шекспиром). Скорее, здесь важны такие качества, как сознательность, собранность, внимание (вместе с тем Борхес все время помнит, что постоянно держаться на высоте предельной сосредоточенности невозможно, отсюда новые и новые прочтения одного текста, которыми мы во многом обязаны не столько рождению нового интереса, сколько забвению старого смысла). Как способность к перевоплощениям, анти-повторяемость, я бы даже рискнул сказать, «не-верность» — неверность тексту, неверность самому себе, сказанному автором или тобой прежде¹. Как, наконец, предчувствие будущего, сознание собственной неокончателности, неизбежности временного разрыва и перетолкования сказанного, открытости текста в завтрашний день и непредвосхитимости его перемен вместе с изменениями языка, мысли, человеческого сознания².

¹ «Сознательная и удачная недостоверность», скажет Борхес о переводе Мардрюса, (см. наст. изд., т. 1, с. 372; ср. еретическую цитату в новелле «Богословы»: «Бог еще не создал мир», — т. 2, с. 235). Отсюда же протест Пьера Менара против обожествления текста как «случайного плода» — куда важнее, по Менару (и по Борхесу), сама способность «думать, анализировать, изобретать» (наст. изд., т. 2, с. 106). В этом контексте, среди прочего, стоило бы понять и борхесовское неприятие дуближа как зеркального повторения, механической кальки (ср. его заметку об этом в наст. изд., т. 1, с. 223–225).

² «Его подвело развитие языка», — пишет Борхес о Галлане и его наиболее популярном у читателей переводе «Тысячи и одной ночи» (наст. изд., т. 1, с. 353).

Соответственно, главными для Борхеса были даже не переводы отдельных книг (таких работ у него как раз не очень много — Фолкнер, Вулф, Мишо), а случайные, полускрытые, «косвенные», говоря его любимым словом, заведомо неклассические формы перевода: отрывок, процитированный в рецензии, фрагмент, переведенный (и нередко с третьего языка-посредника) для антологии, всевозможные «Музеи», «Надписи» и тому подобные жанры в виде приложений к собственным книгам и проч., собственный текст, выданный за перевод, и наоборот. Перевод для Борхеса — не просветительская транспортировка всеобщей, готовой и обязательной классики с одного языкового склада на другой. Поэтому и «реалистический» подход к переводу (как и вся стоящая за ним эстетика реалистического романа XIX века) для него — достояние лишь одной и, в общем, не такой уж длинной литературной эпохи, которая к тому же, видимо, завершилась. «До» нее пишущие свободно создавали свои книги из любого подручного материала, далеко не в первую очередь заботясь при этом о «точности» (поскольку не знали позднейшего понятия литературы, автора, книги и подобных им буржуазных правово-экономических установлений). «После» нее, уже в собственно борхесовское время, все эти категории, не теряя своего смысла на рынке и в суде, были поставлены под сомнение в культуре. Всякому сколько-нибудь сознательному, литературно-совестливому писателю пришлось теперь задаться вопросами, как и для кого писать, как быть писателем. Из чего и родилась борхесовская литература, вобравшая, наряду со многим прочим, его чувства и мысли читателя, критика, переводчика.

Русский Борхес

Логично завершить эти рассуждения несколькими словами о Борхесе на русском языке, на который его переводят уже больше четверти века¹. За это время значительная часть опубликованного

¹ Первой публикацией было несколько стихотворений: Улицы Буэнос-Айреса. Монета. Пределы / Пер. С. Гончаренко // Поэзия Латинской Америки. М.: Худож. лит-ра, 1975. С. 89–90. («Библиотека всемирной литературы»). За ними — и с немалым перерывом по соображениям политики — последовал один рассказ: Сад расходящихся тропок / Пер. Б. Дубина // Аргентинские рассказы. М.: Худож. лит-ра, 1981. Еще через несколько лет вышли разом две книги: Проза разных лет / Сост. и предисл. И. Тертерян. Коммент. Б. Дубина. М.: Радуга, 1984. 320 с. («Мастера современной прозы»). (2-е изд. — 1989); Юг / Сост. и пер. М. Былинкиной. Предисл. И. Тертерян. М.: Известия, 1984. 176 с. (Б-ка журнала «Иностранная литература»).

писателем и от своего имени, и в соавторстве появилась по-русски. Вышли, считая настоящее, два собрания сочинений (первое, рижское, 1994 года — двумя изданиями), издается «Личная библиотека Борхеса», публикуется подготовленная им с Бьоме Касаресом серия детективов и проч. Кроме Москвы и Петербурга, переводы Борхеса за это время печатались в газетах, журналах и книгах в Киеве, Минске, Алма-Ате, Риге, Таллинне, Ереване, Челябинске, Ростове-на-Дону, причем в изданиях — особенно по советским цензурным порядкам — иногда самых неожиданных, от, например, ротاپринтных служебных материалов к XVIII Всемирному философскому конгрессу до, скажем, журнала «Семья и школа» или газеты «Вечерний Челябинск».

Однако перевод, вообще говоря, не столько демонстрирует богатство переводимой литературы, сколько выявляет дефициты и возможности литературы, в которую переводят. В нашем случае эти возможности приходится оценить куда сдержаннее, а дефициты куда серьезнее, чем долгое время было принято оценивать в «самой читающей (пишущей, издающей и проч.) стране мира». Прежде всего в глаза бросается то, что российская словесность, можно сказать, отделяется от Борхеса переводами, не берясь за его осмысление (пишущий эти слова — часть описываемого здесь процесса, в полной мере осознаёт данный факт и несет за него ответственность). Собственно аналитических работ о Борхесе (два-три разрозненных исключения — скажем, статьи Ю. Левина, М. Ямпольского, К. Кобринина — дела не меняют) на русском языке я не знаю¹. Да и собственно литературной критики — заинтересованных до пристрастности оценок литературного места и перспектив Борхеса в России, — по-моему, тоже нет. Нет даже биографии писателя — во всех переводивших Борхеса литературах их по несколько. Россия же и здесь отделяется переводами, причем далеко не лучших образцов (такова изданная недавно книга Володи Тейтельбойма «Два Борхеса»).

Ведущий жанр пишущих о Борхесе на русском — предисловие к массовому изданию, со всеми ограничениями этого жанра, включая цензурно-советские. Кажется, главное слово в этих предисловиях, а может быть, и вообще в российских рассуждениях о Борхесе — культура, понятая как наследие. В аргентинском писателе больше всего ценят в лучшем случае память, в худшем — начи-

¹ Показательно, что до последнего года не было российских диссертаций по Борхесу (в мире их сотни), см., кажется, первое исключение (за подсказку благодарю А. И. Рейтблата): Чистюхина О. П. Творчество Хорхе Луиса Борхеса в контексте философии культуры. Автореферат... кандидата философских наук. Ростов-на-Дону, 2000.

танность. В самое последнее время к предисловиям и сопроводительным «врезкам» к той или иной публикации прибавились редкие рецензии на вышедшие книги и собрания сочинений плюс юбилейные заметки к столетию. Вот и все. Преобладает, кажется, поза почтения и ее разыгрывание (пусть даже дезавуирующее объект почитания, вроде нескольких литературных мистификаций¹). Борхеса — и не его одного, — как всегда, проглотили не жуя. Этот частный, но не рядовой случай наводит на несколько более общих соображений, перечислю их очень кратко.

Собственно переводы в России, и советской, и пост-, и пост- (переводы Борхеса в том числе), опять-таки вопреки самоопьяненным и малокомпетентным оценкам непрофессионалов занимают достаточно скромное место в объеме всего издаваемого. Они, как правило, классикоцентричны по отбору имен и текстов (так сложилась репутация и роль «советской школы перевода», не путать с реальной работой отдельных переводчиков). В подходе и стилистике переводчики были по преимуществу ориентированы на норму: работал и работает «внутренний цензор», мягче говоря — «внутренний редактор». Поискового перевода (и перевода поисковых текстов), который бы заставил говорить о новой переводческой стилистике, о новом подходе к переводу, в последние десятилетия почти нет, для счета здесь хватит пальцев одной руки да еще и останется.

Кстати говоря, поэтому нет и аналитической работы критического осмысления. Классику ведь не анализируют, с ней не работают, это демонстрационный экземпляр (почему ее можно и не читать). В результате большинство наиболее сложных явлений не только второй, но и первой половины XX века (а во многом и неклассическая словесность XIX и даже более ранних столетий) остаются для русской литературы и языка, для русского литературного сознания чаще всего чужими. Но ведь в немалой степени именно они составляют контекст борхесовской поэзии и прозы. В этом смысле показательно, что собрания сочинений и массовые издания Борхеса с титулом классика стали появляться в России

¹ См. одну из них и последующий к ней комментарий: Хорхе Луис Борхес: Неизвестный стрелок. Вступительная заметка Олега Процика // Пушкин. 1998. № 1. 1 мая. С. 12; Герасимов И. Прогулки фраеров, или Как я публиковал Борхеса // Неприкосновенный запас. 1999. № 2 (4). С. 81–84. Появились и борхесовские пастиши, см., к примеру: Постнов О. Post Scriptum // Постнов О. Песочное время. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. С. 97–105; Сергеев К. Фантазии Пиранези // Сергеев К. В. Сумерки в зеркалах: Опыты ознакомления с мнемоническим искусством Божественного Камилло. М.: Лиор, 1999. С. 64–69.

именно тогда, когда новые испаноязычные публикации 1990-х годов вообще ребром поставили вопрос о едином установленном «корпусе» борхесовских сочинений, об авторской природе многих его текстов и т. д.¹

Так или иначе, просветительская фаза адаптации Борхеса в России закончилась. Сменится ли она чем-либо содержательным и чем именно, не знает никто. Ясно одно: ликвидацией лакун и бережением памятников смысловая работа в культуре не исчерпывается.

Борис Дубин

¹ Almeida I., Parodi C. *Editar a Borges // Borges Studies on Line*. J. L. Borges Center for Studies&Documentation. Internet: 07/04/00 (<http://www.hum.au.dk/romansk/borges/bsol/eab.htm>)

СЕМЬ ВЕЧЕРОВ

Вечер первый «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ»

Поль Клодель однажды написал фразу, которая недостойна его, о том, что видения, ожидающие нас после смерти тела, несомненно, не похожи на изображенные Данте Ад, Чистилище и Рай. Это любопытное наблюдение Клоделя в статье, во всех остальных отношениях замечательной, может быть объяснено двояко.

Во-первых, в этом замечании мы видим доказательство того, что, прочтя поэму, читая ее, мы начинаем думать, что Данте представляет себе мир иной в точности как изображает.

Мы неизбежно приходим к мысли, что после смерти Данте думал очутиться у опрокинутой горы Ада, или на террасах Чистилища, или в концентрических небесах Рая. Думал, что он встретится с теньями (теньями классической античности) и некоторые из них станут разговаривать с ним итальянскими терцинами.

Это явная бессмыслица. Клодель имеет в виду не то, что кажется читателям (поскольку, обдумав, они понимают абсурдность замечания), а то, что они чувствуют и что может помешать им получить удовольствие, подлинное удовольствие от чтения.

Тому есть множество доказательств. Одно из них принадлежит сыну Данте. Он говорит, что отец собирался изобразить жизнь грешников под видом Ада, жизнь кающихся — под видом Чистилища и жизнь праведников, рисуя Рай. Он понимал это не буквально. Кроме того, существует свидетельство Данте в письме к Кангранде делла Скала. Письмо считается апокрифом, но, как бы то ни было, оно не могло быть написано много позже смерти Данте и является верным свидетельством эпохи. В нем утверждается, что есть

четыре способа прочтения «Комедии». Один из них — буквальный, другой — аллегорический. В соответствии с последним Данте — это символ человека, Беатриче — веры и Вергилий — разума.

Идея текста, дающего возможность множества прочтений, характерна для Средних веков, противоречивых и сложных, оставивших нам готическую архитектуру, исландские саги и схоластическую философию, в которой все служило предметом споров. Они, кроме того, дали нам «Комедию», которую мы не перестаем читать и которая не перестает нас поражать; ее протяженность больше нашей жизни, наших жизней, с каждым поколением читателей она становится все богаче.

Здесь уместно вспомнить Иоанна Скота Эриугену, говорившего, что Писание содержит в бесконечности множество смыслов и его можно сравнить с переливами на развернутом павлиньем хвосте.

Еврейские каббалисты утверждали, что Писание создано для каждого из правоверных; с этим можно согласиться, если вспомнить, что творец текста и читателей один и тот же — Бог. Данте не обязательно было полагать, что изображенные им картины соответствуют реальному образу мира мертвых. Нет, Данте не мог так думать.

Однако простодушная мысль, что мы читаем достоверный рассказ, способствует тому, что чтение нас захватывает. Я знаю, меня считают читателем-гедонистом; я никогда не читаю книг только потому, что они древние. Читая книги, я получаю эстетическое удовольствие и не обращаю большого внимания на комментарии и критику. Когда я впервые читал «Комедию», меня захватило чтение. Я читал ее, как и другие, менее известные книги. Я хочу рассказать вам, как своим друзьям (обращаюсь не ко всем вам, а к каждому из вас), историю своего знакомства с «Комедией».

Это произошло незадолго перед диктатурой. Я работал в библиотеке в квартале Альмагро, а жил на Лас Эрас и Пуэйрредон и должен был совершать долгие поездки в медленных и пустых трамваях от этого северного квартала в южный Альмагро, до библиотеки, расположенной на Авенида Ла Плата и Карлос Кальво. Случайно (хотя, возможно, не

случайно, возможно, то, что мы именуем случаем, объясняется нашим незнанием действия механизма причинности) мне попались три маленьких томика в книжном магазине Митчелла, теперь исчезнувшего, о котором у меня сохранилось столько воспоминаний.

Эти три тома (мне следовало бы захватить сегодня один как талисман) были книги Ада, Чистилища и Рая, переведенные на английский Карлейлем, но не Томасом Карлейлем, о котором речь впереди. Книги, изданные Дентом, были необыкновенно удобны. Томик умещался в моем кармане. На одной странице был напечатан итальянский текст, на другой — подстрочный английский перевод. Я поступал следующим образом: сначала читал строфу, терцину, по-английски, прозой, а затем читал строфу, терцину, по-итальянски. После этого я читал всю песнь по-английски и затем по-итальянски. За это время я понял, что переводы не могут заменить подлинника. Перевод может служить в лучшем случае средством и стимулом, чтобы приблизить читателя к подлиннику; по крайней мере если речь идет об испанском. Мне кажется, Сервантес в каком-то месте «Дон Кихота» говорит, что по двум октавам тосканского можно понять Ариосто.

Эти две октавы тосканского наречия были мне даны родственной близостью итальянского и испанского. Тогда же я понял, что стихи, особенно великие стихи Данте, содержат не только смысл, а многое еще. Стихотворение — это, кроме всего прочего, интонация, выражение чего-либо, часто не поддающегося переводу. Это я заметил с самого начала. Когда я добрался до безлюдного Рая, до вершин Рая, где Вергилий покидает Данте, а тот, оставшись один, взывает к нему, в тот самый момент я почувствовал, что могу читать итальянский текст, лишь изредка заглядывая в английский. Так я читал эти три томика во время медленных трамвайных путешествий. Потом я читал и другие издания.

Я много раз перечитывал «Комедию». На самом деле я не знаю итальянского, другого итальянского, чем тот, которому научил меня Данте, а потом Ариосто, когда я прочел «Роланда». А затем, разумеется, легкий язык Кроче. Я прочел почти все книги Кроче — и не во всем согласен с ним, хотя ощущаю что очарование. Очарование, как говорил Стивенсон, — одно из

основных качеств, которыми должен обладать писатель. Без очарования все остальное бессмысленно. Я много раз перечитывал «Комедию» в разных изданиях и мог наслаждаться комментариями, из которых мне особенно памяты работы Момильяно и Грабера. Помню также комментарий Гуго Штайнера...

Я читал все издания, которые мне попадались, и получал удовольствие от различных комментариев, многообразных интерпретаций этого сложного произведения. Я заметил, что в старинных изданиях преобладал теологический комментарий, в книгах XIX века — исторический, а сейчас — эстетический, который дает нам возможность заметить интонацию каждого стиха — одно из самых больших достоинств в Данте. Существует обыкновение сравнивать Мильтона и Данте, но Милтон знает лишь одну мелодию, так называемый «высокий стиль». Эта мелодия всегда одна и та же, независимо от чувств его персонажей. Напротив, у Данте, как и у Шекспира, мелодия следует за чувствами. Интонация и эмфаза — вот что самое главное, фразу за фразой нужно читать вслух. Хорошее стихотворение не дает читать себя тихо или молча. Если стихотворение можно так прочесть, оно многого не стоит: стих — это чтение вслух. Стихотворение всегда помнит, что, прежде чем стать искусством письменным, оно было искусством устным, помнит, что оно было песней.

Эту мысль подтверждают две фразы. Одна принадлежит Гомеру, или тем грекам, которых мы именуем Гомером: в «Одиссее» говорится: боги насылают злоключения, чтобы людям было что воспевать для грядущих поколений. Другая, гораздо более поздняя, принадлежит Малларме и повторяет то, что сказал Гомер, хотя и не так красиво: «Tout aboutit en un livre» — «Книга вмещает все». Разница есть: греки говорят о поколениях, которые поют, а Малларме — о предмете, о вещи среди вещей, о книге. Но мысль та же самая: мы созданы для искусства, для памяти, для поэзии или, возможно, для забвения. Но что-то остается, и это что-то — история или поэзия, сходные друг с другом.

Карлейль и другие критики отмечали, что характерное свойство поэмы Данте — напряженность. И если мы вспом-

ним о сотне песней поэмы, то покажется чудом, что эта напряженность не снижается, хотя в некоторых местах Рая то, что для поэта — свет, для нас — тьма. Я не припомню подобного примера у другого поэта, это, возможно, лишь трагедия «Макбет» Шекспира, которая начинается явлением трех ведьм, или трех парок, или трех роковых сестер, и напряженность ее ни на секунду не спадает.

Я хочу сказать о другой черте: о тонкости Данте. Мы всегда воображаем сурового и нравоучительного поэта-флорентийца и забываем, что все произведение исполнено очарования, неги, нежности. Эта нежность составляет часть фабулы. Например, в одной из книг по геометрии Данте прочел, что куб — самое крепкое из тел. В таком обычном замечании нет ничего поэтического, однако Данте пользуется им как метафорой человека, который должен претерпеть удары судьбы: «Ven tetragono ai colpe di ventura» — «Человек — это добрый куб» — действительно редкое определение.

Я вспоминаю также и любопытную метафору стрелы. Данте хочет дать нам почувствовать скорость стрелы, пущенной из лука и летящей к цели. Он говорит, что она вонзилась в цель и что она вылетела из лука и покинула тетиву: он меняет местами начало и конец, чтобы показать, как быстро происходит действие.

Одна строфа всегда у меня в памяти. Это стих из первой песни Чистилища, относящийся к утру, невероятному утру на горе Чистилища, на Южном полюсе. Данте, покинувший мерзость, печаль и ужас Ада, говорит: «dolce color d'oriental zaffiro». Стих надо читать медленно. Следует произносить *oriental*:

dolce color d'oriental zaffiro
che s'accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo puro infino al primo giro¹.

Мне хотелось бы остановиться на любопытной механике стиха, хотя слово «механика» слишком тяжело для того, что я хочу сказать. Данте дает картину восточной стороны неба,

¹ Отрадный цвет восточного сапфира,
Накопленный в воздушной вышине,
Прозрачной вплоть до первой тверди мира
(итал.; перевод М. Лозинского).

он описывает восход и сравнивает цвет зари с сапфиром. Сравнивает с сапфиром, который называет восточным, сапфиром Востока. «Dolce color d'oriental zaffiro» образует игру зеркал, поскольку цвет восточного неба назван сапфиром, а сам сапфир — восточным. То есть сапфир, обогащенный многозначностью слова «восточный», наполненный, скажем, историями «Тысячи и одной ночи», которые не были известны Данте, но уже существовали.

Мне помнится также знаменитый заключительный стих пятой песни Ада: «e caddi como corpo morto cade»¹. Почему падение отзывается таким грохотом? Из-за повтора слова «падать».

Подобными удачами полна «Комедия». Но держится она повествовательностью. Когда я был юн, повествовательность была не в чести, ее именовали «анекдотом» и забывали, что поэзия начинается с повествования, что корни поэзии в эпосе, а эпос — основной поэтический повествовательный жанр. В эпосе существует время, в эпосе есть «прежде», «теперь» и «потом»; все это есть и в поэзии.

Я посоветовал бы читателю забыть о разногласиях гвельфов и гибеллинов, о схоластике, оставить без внимания мифологические аллюзии и стихи Вергилия, превосходные, как и на латыни, которые Данте повторяет, иногда улучшая их. Сперва, во всяком случае, следует придерживаться повествования. Думаю, никто не сможет от него оторваться.

Итак, мы оказываемся внутри повествования, и оказываемся почти волшебным образом, потому что сейчас, когда рассказывают о сверхъестественном, неверующему писателю приходится обращаться к неверующим читателям и подготавливать их к этому сверхъестественному. Данте не нуждается ни в чем подобном: «Nel mezzo del cammin di nostra vita/mi ritrovai per selva oscura». То есть тридцати пяти лет от роду, «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу», что может быть аллегорией, но что мы воспринимаем буквально: в тридцать пять лет, поскольку Библия определяет возраст праведников в семьдесят лет. Считается, что все последующее — пустыня, «bleak» по-английски, — печальная,

¹ И я упал, как падает мертвец (*итал.*).

унылая. Во всяком случае, когда Данте пишет «nel mezzo del cammin di nostra vita», — это не пустая риторика: он называет нам точную дату своих видений — тридцать пять лет.

Я не думаю, что Данте был визионером. Видение кратко. Видение длиною в «Комедию» невозможно. Видение прихотливо: мы должны поддаться ему и читать с поэтической верою. Колридж считает, что поэтическая вера — это добровольное погружение в невероятное. Когда мы находимся на театральном представлении, то знаем, что на сцене переодетые люди, повторяющие слова Шекспира, Ибсена или Пирранделло. Но мы воспринимаем этих одетых в соответствующие костюмы людей не как переодетых; в неторопливо рассуждающем человеке в средневековых одеждах мы действительно видим Гамлета, принца датского. В кинематографе еще более любопытное явление, поскольку мы смотрим не на переодетых людей, а на их изображение. Однако это не мешает нам верить в них, пока длится сеанс.

В случае с Данте все так живо, и мы начинаем полагать, что он верил в другой мир, как мог верить в геоцентрическую географию или геоцентрическую (а не какую другую) астрономию.

Мы хорошо знаем Данте благодаря явлению, отмеченному Полем Груссаком: «Комедия» написана от первого лица. Это не чисто грамматическое явление, не только употребление «вижу» вместо «видели». Это означает нечто большее, а именно что Данте — один из персонажей «Комедии». Груссак считает это новой чертой. Мы знаем, что до Данте Святой Августин написал «Исповедь». Но эта исповедь, отличающаяся великолепным красноречием, не так близка нам, как произведение Данте, поскольку изумительное лексическое богатство африканца встает между тем, что он хочет сказать, и тем, что мы слышим.

Красноречие, ставшее препятствием, к сожалению, нередко. Оно должно представлять собой способ, ход, но порой превращается в помеху, в преграду. Это заметно у таких разных писателей, как Сенека, Кеведо, Мильтон или Лугонес. Слова разделяют их и нас.

Данте мы знаем ближе, чем его современники. Я чуть было не сказал, что знаем его, как Вергилий, который ему снился.

Без сомнения, лучше всех могла знать Данте Беатриче Портинари. Данте вводит себя в повествование и находится в центре событий. Он не только видит происходящее, но принимает в нем участие. Это участие не всегда соответствует тому, что он описывает.

Мы видим Данте, испуганного Адом; он испуган не потому, что трус, а потому, что его испуг необходим, чтобы мы поверили в Ад. Данте испуган, он в страхе, он рассказывает об увиденном. Мы узнаем об этом не по тому, что он говорит, а по стихам, по интонации.

Вот другой персонаж. В «Комедии» три героя, сейчас я говорю о втором. Это Вергилий. Данте достиг того, что у нас сложилось два образа Вергилия: первый — от «Энеиды» и «Георгик», второй, более близкий, — создан поэзией, благочестивой поэзией Данте. Одна из важных тем как литературы, так и жизни — дружба. Я бы сказал, что дружба — наша аргентинская страсть. В литературе встречается множество описаний дружбы, она вся пронизана ими. Мы можем вспомнить несколько. Как не назвать Дон Кихота и Санчо, вернее, Алонсо Кихано и Санчо, поскольку для Санчо Алонсо Кихано лишь под конец становится Дон Кихотом. Как не назвать Фьерро и Круса, двух наших гаучо, погибших на границе? Как не вспомнить старого пастуха и Фабио Касереса? Дружба — распространенная тема, но чаще всего писатели стремятся подчеркнуть контраст между друзьями. Я забыл — вот еще два друга, представляющие собой противоположность, — Ким и лама.

У Данте происходит нечто более тонкое. Здесь нет прямого контраста, сыновняя почтительность — Данте мог бы быть сыном Вергилия, но в то же время он выше Вергилия, так как считает себя спасенным. Он думает, что заслужит прощение или уже заслужил, поскольку ему было послано видение. Напротив, с самого начала «Ада» известно, что Вергилий — заблудшая душа, грешник; когда Вергилий говорит Данте, что не может сопровождать его за пределы Чистилища, становится понятно, что римлянин навеки обречен оставаться обитателем ужасного *nobile castello*¹, где

¹ Благородный замок (*итал.*).

собраны великие тени мужей античности, тех, кто не знает учения Христа. В этот самый момент Данте говорит: «Tu, duca, tu, signore, tu maestro...»¹ Чтобы скрасить это мгновение, Данте приветствует Вергилия высоким словом и говорит о своем долгом ученичестве и огромной любви, которые дали ему возможность понять значение Вергилия, о том, что эти отношения сохранятся между ними навсегда. Печален облик Вергилия, сознающего, что он обречен вечно жить в *pobile castello*, где нет Бога. Данте же, напротив, разрешено видеть Бога, разрешено понять Вселенную.

Вот эти два героя. Кроме них существуют тысячи и сотни персонажей, которые обычно называются эпизодическими. Я назвал бы их вечными.

Современный роман знакомит нас с действующими лицами на пятнадцати-шестнадцати страницах, даже если это знакомство удается. Данте достаточно для этого мгновения. В этот миг персонаж определяется навсегда. Данте бессознательно выбирает главный момент. Я пробовал повторить то же во многих рассказах и был поражен открытием, сделанным Данте в Средние века, умением представить момент как знак всей жизни. У Данте жизнь персонажей укладывается в несколько терцин, однако это вечная жизнь. Они живут в одном слове, в одном действии; это часть песни, но она вечна. Они продолжают жить и возникают вновь и вновь в памяти и воображении людей.

Карлейль считает, что существуют две характерные черты Данте. То есть, разумеется, больше, но две основные — нежность и суровость (только не противостоящие, не противоречащие друг другу). С одной стороны, это человеческая нежность Данте, то, что Шекспир называл «*the milk of human kindness*» — «млеко человеческой доброты». С другой стороны, знание, что все мы обитатели сурового мира, что существует порядок. Этот порядок соотносится с Иным, с третьим собеседником.

Возьмем два примера. Обратимся к наиболее известному эпизоду Ада, из пятой главы, эпизоду с Паоло и Франческой. Я не собираюсь пересказывать Данте — было бы дерзостью

¹ Учитель мой, мой господин... (*итал.*)

с моей стороны излагать другими словами раз и навсегда сказанное по-итальянски, — я просто хочу напомнить обстоятельства.

Данте и Вергилий сходят в круг второй (если я помню верно) и видят сутолоку душ, ощущают зловоние греха, зловоние кары. Окружение безрадостно. Например, Минос, свертывающий спиралью хвост, чтобы показать, в какой круг попадают обреченные. Это нарочито отвратительно, и становится ясно, что в Аду не может быть ничего красивого. В том кругу, где несут кару сладострастники, — великие имена. Я говорю «великие имена», потому что Данте, начав писать эту песнь, еще не достиг совершенства делать персонажи чем-то большим, чем имена. Но мастерство Данте уже являет себя в эпизоде с *nobile castello*. Мы видим великих поэтов античности. Среди них — Гомер с мечом в руке. Они обмениваются словами, которые не следует повторять. Здесь подобает молчание, все соответствует этой жуткой скромности обреченных находиться в Лимбе, которым никогда не суждено увидеть лицо Бога. В пятой песни Данте приходит к своему великолепному открытию: возможности диалога между душами умерших и им самим, он сочувствует им и по-своему судит их. Нет, не судит: он знает, что судья не он, судья — Иной, третий собеседник, Божественность.

Итак, там находятся Гомер, Платон, другие великие люди. Но взор Данте обращен на двух неизвестных ему, не очень знаменитых, принадлежащих современному миру: на Паоло и Франческу. Он знает, как погибли любовники, зовет их, и они появляются. Данте говорит нам: «*Quali colombe dal disio chiamate*»¹. Перед нами два грешника, а Данте сравнивает их с двумя голубками, влекомыми желанием, поскольку главное в этой сцене — чувство. Они приближаются, и Франческа — говорит только она (Паоло не может) — благодарит Данте за то, что он позвал их, и произносит такие трогательные слова: «*Se fosse amico il Re dell'universo poi pregheremmo lui per la tua pace*» — «Если бы я была другом Царя вселенной (она говорит „Царь вселенной“

¹ Как голуби на сладкий зов гнезда (*итал.*).

потому что не может сказать „Бог“, это имя запрещено в Аду и Чистилище), мы попросили бы мира тебе, потому что в тебе есть жалость к нашим страданиям».

Франческа рассказывает свою историю, рассказывает дважды. Первый раз — сдержанно, но настаивает на том, что продолжает любить Паоло. Раскаяние запрещено в Аду, она знает о своем грехе и остается верна греху, что придает ей величие. Было бы ужасно, если бы она раскаялась, если бы предавалась сожалениям о случившемся. Франческа знает, что кара справедлива, принимает ее и продолжает любить Паоло...

Данте хочет узнать. *Amor condusse noi ad una morte*: Паоло и Франческа были убиты вместе. Данте не интересуется их связь, ни то, как они были обнаружены или умерщвлены; его интересует более сокровенное — как они поняли, что полюбили, как они влюбились, как настало для них время нежных вздохов. Он задает вопрос.

Хочу отвлечься и напомнить вам строфу Леопольдо Лугонеса, возможно, лучшую и, без сомнения, навеянную пятой песней «Ада». Это первое четверостишие «*Alma venturosa*»¹, одного из сонетов сборника «Золотое время» (1922):

Al promediar la tarde de aquel día
Cuando iba mi habitual adiós a darte,
Fue una vaga congoja de dejarte
Lo que me hizo saber que te quería².

Поэты прежних времен говорили, что человек чувствует глубокую печаль, прощаясь с женщиной, и писали о редких свиданиях. Напротив, здесь, «когда пришло время сказать привычное „прощай“» — строка неуклюжая, но это неважно, так как «привычное „прощай“» означает, что они видятся часто, — и затем «смутная печаль разлуки заставила меня понять, что я люблю тебя».

Тема, в сущности, та же, что в песни пятой: двое открыли, что любят друг друга, хотя прежде и не догадывались об

¹ «Счастливая душа» (исп.).

² При расставании в тот вечер,
когда пришло время сказать привычное «прощай»,
смутная печаль разлуки
заставила меня понять, что я люблю тебя (исп.).

этом. Именно это хочет узнать Данте. Франческа рассказывает, как в тот день они читали о Ланселоте, о том, как он страдал от любви. Они были одни и не подозревали ничего. Чего именно не подозревали? Не подозревали, что влюблены. Они читали одну из книг, придуманных британцами во Франции после саксонского нашествия, книг, приведших к безумию Алонсо Кихано и пробудивших грешную страсть Паоло и Франчески. Так вот: Франческа объясняет, что иногда они краснели, а в какой-то момент, «quando leggemo il dislato riso», «когда мы прочли о желанной улыбке, которую поцеловал любовник, тот, с кем я никогда не разлучусь, поцеловал меня, tutto tremante¹».

Существует нечто, о чем Данте умалчивает, но что ощущается на протяжении всего эпизода и, возможно, придает ему ценность. С бесконечным сочувствием Данте пересказывает нам судьбу двух любовников, и мы догадываемся, что он завидует этой судьбе. Паоло и Франческа в Аду, а его ждет спасение, но они любят друг друга, а он не сумел добиться любви Беатриче. В их любви Данте видит вызов, и его ужасает, как он далек от Беатриче. Эти же двое грешников неразлучны, немые, несутся в черном вихре без малейшей надежды, и Данте не дает и нам надеяться, что их страдания прекратятся, но они вместе. Они неразлучны навеки, они вместе в Аду, и для Данте это райская судьба.

Мы понимаем, что он очень взволнован. Он падает за мертво.

Каждый навеки определен одним-единственным мигом своей жизни — мигом, когда человек встречается навсегда с самим собой. Считается, что Данте осуждает Франческу, жесток по отношению к ней. Думать так — значит забыть о Третьем герое. Те, кто не понимает «Комедии», считают, что Данте написал ее, чтобы свести счеты с врагами и областить друзей. Нет ничего более ложного. Ницше называл Данте гиеной, слагающей стихи среди могил. Гиена, слагающая стихи, — нелепый образ, к тому же Данте не наслаждается болью. Он знает, что есть грехи смертные, неискупимые. Для каждого он выбирает одного человека, совершившего этот грех,

¹ Весь трепещ (итал.).

пусть даже во всех других отношениях замечательного и славного. Франческо и Паоло — сладострастники. У них нет других грехов, но и одного достаточно, чтобы осудить их.

Мысль о непостижимом Боге мы находим в другой книге, одной из главных книг человечества. В Книге Иова. Вы помните, как Иов проклинает Бога, как друзья обличают его и как, наконец, Бог говорит из бури и опровергает тех, кто защищает, и тех, кто обвиняет Иова.

Бог выше любого людского суда, и, чтобы помочь нам понять это, Он приводит два необычных примера: кита и слона. Он выбирает их, чтобы показать, что они не менее чудовищны для нас, чем Левиафан и Бегемот (чье имя стоит во множественном числе и по-еврейски означает «много животных»). Бог выше людского суда. Он это доказывает в Книге Иова. И люди склоняют перед Ним головы, потому что отважились судить Его, оправдывать Его. Это не нужно. Бог, как говорил Ницше, по ту сторону добра и зла. Это другая категория.

Если бы Данте всегда совпадал с воображаемым Богом, было бы понятно, что это ложный Бог, просто копия Данте. Напротив, Данте должен принять этого Бога, как и то, что Беатриче не любит его, что Флоренция бесчестна, что он должен принять свое изгнание и смерть в Равенне. Он должен принять зло мира, так же как и склониться перед Богом, которого не может постичь.

Есть герой, который отсутствует в «Комедии» и которого в ней не могло быть, потому что он слишком человечен. Этот герой — Иисус. Он не является в «Комедии», как является в Евангелиях: человеческий, евангельский Иисус не может быть Вторым в Троице, существующей в «Комедии».

Мне хочется, наконец, перейти к другому эпизоду, который мне кажется вершиной «Комедии». Он в двадцать шестой песни. Это эпизод с Улиссом. Когда-то я написал статью «Загадка Улисса». Я опубликовал ее, затем потерял и сейчас пытаюсь восстановить. Думаю, что это самый загадочный эпизод в «Комедии» и, возможно, самый напряженный, хотя, говоря о вершинах, трудно разобрать, какая превосходит остальные, а «Комедия» полна вершин.

Я выбрал для первой лекции именно «Комедию», потому что я литератор и полагаю, что венец литературы и литератур —

это «Комедия». Это не означает ни совпадения с ее теологией, ни согласия с ее мифологией. У нас христианская мифология и языческая неразбериха. Речь идет не об этом, а о том, что ни одна книга не доставляла мне столь сильного эстетического наслаждения. Повторяю — я читатель-гедонист, в книгах я ищу удовольствие.

«Комедия» — книга, которую все мы должны прочитать. Не сделать этого — значит отказаться от лучшего из даров литературы, пребывать в пугающем аскетизме. Ради чего отказывать себе в счастье прочитать «Комедию»? К тому же это легкое чтение. Трудно то, что следует за чтением: мнения, споры, но книга сама по себе прозрачна, как кристалл. Центральный герой ее — Данте, возможно, самый живой персонаж в литературе, есть и другие замечательные образы. Но вернемся к эпизоду с Улиссом.

Данте и Вергилий подходят ко рву, кажется восьмому, где находятся обманщики. Глава начинается с обличения Венеции, о которой Данте говорит, что она бьет крылами на земле и в небе и ее имя славно в Аду. Затем они видят сверху множество огней, а в огне, в пламени, скрыты души обманщиков, скрыты, поскольку те действовали тайно. Пламя подвижно, и Данте чуть не падает в ров. Его поддерживает Вергилий, слово Вергилия. Он говорит о тех, кто в огне, и называет два славных имени, Улисса и Диомеда. Они здесь за то, что придумали уловку с троянским конем, позволившую грекам взять осажденный город.

Улисс и Диомед находятся здесь, и Данте хочет познакомиться с ними. Он говорит Вергилию о своем желании поговорить с этими двумя великими тенями древности, с чистыми и великими героями. Вергилий согласен на его просьбу с условием, чтобы Данте предоставил ему вести разговор, поскольку речь идет о двух надменных греках. Наверное, к лучшему — что Данте не говорит. Это объясняют двояко. Торквато Тассо считал, что Вергилий хотел выдать себя за Гомера. Предположение совершенно нелепое и недостойное, поскольку Вергилий воспел Улисса и Диомеда, и если Данте знал о них, то благодаря Вергилию. Мы можем отвергнуть гипотезу о том, что Данте мог быть презираем греками за то, что был потомком Энея, или за то, что был

варваром. Вергилий, как и Диомед и Улисс, — вымысел Данте. Данте выдумал их, но с такой силой, настолько живо, что мог думать — эти вымышленные герои (у которых нет иного голоса, кроме данного им Данте, у которых нет другого вида, чем тот, в котором он их представил) могут относиться к нему с презрением, поскольку он ничего не значит, он еще не написал своей «Комедии».

Данте, как и мы, включается в игру: он тоже заморожен «Комедией». Он думает: это светлые герои древности, а я никто, изгнанник. Что может значить для них моя просьба? Тогда Вергилий просит их рассказать о своей смерти, и раздается голос невидимого Улисса. Улисс не показывается, он объят пламенем.

Здесь мы сталкиваемся с поразительной легендой, созданной Данте, легендой, которая превосходит и те, что заключают «Одиссею» и «Энеиду», и ту, что завершает другую книгу, в которой Улисс появляется под именем Синдбада Морехода, — «Тысячу и одну ночь».

Легенда создается Данте под влиянием различных обстоятельств. Здесь, прежде всего, вера в то, что Лиссабон был заложен Улиссом, и вера в существование Блаженных островов в Атлантическом океане. Кельты полагали, что в Атлантическом океане находятся фантастические страны: остров, многократно изборожденный рекой, наполненной рыбой, с кораблями, которые не причаливают к земле; вращающийся огненный остров; остров, на котором бронзовые борзые преследуют серебряных оленей. Это должно было привлечь внимание Данте. Он придал этим легендам благородство.

Улисс оставляет Пенелопу, созывает друзей и говорит им, что они, уставшие и прожившие немалый срок, преодолели тысячи опасностей. Он предлагает им благородную задачу — пройти Геркулесовы столпы и пересечь море, исследовать Южное полушарие, которое, как тогда считали, состоит только из воды: было неизвестно, есть ли там что-нибудь еще. Он называет их мужами, говорит, что они рождены не для животной доли, а для храбрости, для знания; что они рождены, чтобы знать и чтобы понять. Они следуют за ним и «превращают весла в крылатые».

Интересно, что эта метафора встречается и в «Одиссее», чего Данте знать не мог. Они плывут и оставляют позади Сеуту и Севилью, выходят в открытое море и поворачивают налево. Налево, в левую сторону означает в «Комедии» зло. Чтобы попасть в Чистилище, нужно идти направо, чтобы очутиться в Аду — налево. То есть слово «*siniestro*» имеет два значения. Затем говорится: «Ночью я увидел все звезды другого полушария» — нашего полушария, полного звезд. Большой ирландский поэт Йейтс пишет о «*starladen sky*» — «небе, полном звезд». Это неверно в отношении Северного полушария, где по сравнению с нашим звезд немного.

Они плывут пять месяцев и наконец видят землю. Вдалеке — темная гора, самая высокая из всех когда-либо виденных. Улисс говорит, что радость сменилась плачем, поскольку налетела буря и разбила корабль. Это гора Чистилища, как ясно из другой песни. Данте верит, что Чистилище (он делает вид, что верит — в поэтических целях) — это антипод города Иерусалима.

И вот мы подходим к этому ужасному эпизоду и задаемся вопросом, за что несет наказание Улисс. Очевидно, не за выдумку с конем, раз в важнейший момент своей жизни он рассказывает Данте и нам о другом: за свое благородное и отважное путешествие, за желание узнать запретное, невозможное. Мы спрашиваем себя, почему эта песнь отличается такой силой. Прежде чем дать ответ, я хочу вспомнить еще одно явление, которое до сих пор не было отмечено, насколько мне известно.

Существует еще одна великая книга, великая поэма нашего времени, «Моби Дик» Германа Мелвилла, который, несомненно, знал «Комедию» в переводе Лонгфелло. Это бессмысленная погоня искалеченного капитана Ахава за белым китом, которому он хочет отомстить. Наконец они встречаются, и кит топит его, и огромный роман кончается в точности как песнь Данте: море их поглотило. Мелвилл должен был вспомнить «Комедию» в этот момент, хотя мне больше нравится думать, что он читал ее и усвоил настолько, что мог забыть буквально; «Комедия» должна была стать частью его, а впоследствии он обнаружил, что читал ее много лет назад, но история одна и та же. Хотя Ахава ведет не благородный порыв, а желание мести.

Улисс же поступает как благороднейший из людей. Улисс, кроме того, называет истинную причину своей кары, связанную с разумом.

В чем трагизм этого эпизода? Я думаю, этому имеется одно объяснение, единственно стоящее, и оно в следующем: Данте чувствует, что Улисс каким-то образом — он сам. Я не знаю, сознавал он это или нет, да это и неважно. В одной из терцин «Комедии» говорится, что никому не позволено знать суда Провидения. Мы не можем опережать его, нельзя знать, кто будет спасен и кого ждет кара. Данте дерзнул опередить (поэтическим образом) этот суд. Он должен был знать, что это опасно, он не мог не знать, что предвосхищает непостижимое суждение Бога.

Именно поэтому образ Улисса столь силен; Улисс — отражение Данте, Данте чувствовал, что почти заслужил такую кару. Он написал поэму, но, так или иначе, нарушил таинственные законы мрака, Бога, Божественного.

Я заканчиваю. Хотелось бы только повторить, что никто не вправе лишать себя этого счастья — прочтения «Комедии». Потом пойдут комментарии, желание узнать, что означает каждый мифологический намек, увидеть, как Данте обращается к великим стихам Вергилия и, переводя, едва ли не улучшает их. Прежде всего мы должны прочесть книгу с детской верой, предаться ей; потом она не оставит нас до конца дней. Она сопровождает меня столько лет, но я знаю, что, открыв ее завтра, обнаружу то, чего до сих пор не видел. Я знаю, что эта книга больше моих наблюдений и больше нас.

Вечер второй КОШМАР

Дамы и господа!

Сновидения — это вид, кошмар — разновидность. Сначала я стану говорить о снах, затем о кошмарах.

На днях я перечитал несколько книг по психологии и почувствовал себя сбитым с толку. Во всех книгах говорилось об инструментарии и тематике снов (я могу в дальнейшем обосновать свое утверждение) и не было ни слова о том, чего я ждал — об удивительности, странности этого явления — сновидений.

Так, например, в книге по психологии «The Mind of Man»¹ Густава Шпиллера, высоко мною ценимой, говорится, что сны соответствуют низшему уровню умственной деятельности (это мнение кажется мне ошибочным), и рассказывается о непоследовательности, о бессвязности фабулы снов. Я хочу напомнить вам о замечательном очерке Груссака (если мне удастся вспомнить и назвать его сейчас) — «Среди снов». В конце этого очерка, входящего в «Интеллектуальное путешествие», кажется во второй том, Груссак находит удивительным, что каждое утро мы просыпаемся в здравом рассудке — или в относительно здравом — после того, как преодолеваем область сновидений, лабиринты снов.

При изучении снов мы сталкиваемся с трудностью особого рода. Их нельзя изучать непосредственно. Можно говорить лишь об оставшихся в памяти снах. Возможно, память о сновидениях не в полной мере соответствует им самим. Великий писатель XVIII века сэр Томас Браун полагал, что наша память о снах беднее их великолепной реальности. Су-

¹ «Человеческое мышление» (англ.).

ществует и противоположное мнение: что мы приукрашиваем сны; если считать сны порождением вымысла (а я думаю, так оно и есть), то, возможно, мы продолжаем придумывать их и в момент пробуждения, и позже, когда пересказываем. Я вспоминаю книгу Данна «An Experiment with Time»¹. Я не приверженец его теории, однако она настолько хороша, что ее стоит привести. Но прежде, для простоты (я перехожу от книги к книге, память моя оказывается быстрее мысли), я хочу обратиться к прекрасной книге Боэция «De consolatione philosophiae»², которую, безусловно, читал и перечитывал Данте, как читал и перечитывал всю средневековую литературу. Боэций, которого называли «последним римлянином», сенатор Боэций представляет себе зрителя на бегах. Зритель на ипподроме наблюдает с трибуны коней, начало бегов, их превратности, приход одного из коней к финишу — все последовательно. Но Боэций воображает себе и другого зрителя. Этот другой зритель наблюдает и первого зрителя, и бега: это, предположительно, Бог. Бог видит бега целиком, он видит их в один вечный миг, в их мгновенной вечности: старт коней, ход бегов, финиш. Все это он охватывает одним взглядом так же, как всю историю Вселенной. Таким образом, Боэций сохраняет оба понятия: свободной воли и Провидения. Так же как зритель на бегах видит весь их ход, но не оказывает на него влияния (кроме того, что последовательно наблюдает за ним), Бог видит все течение жизни, от колыбели до могилы. Он не влияет на наши действия, мы свободны в своих поступках, но Богу ведом — Богу уже ведом в этот, скажем, момент — конец нашей жизни. Подобным же образом Бог видит историю Вселенной, все то, что произойдет в истории Вселенной; он видит это в один-единственный блистательный, головокружительный миг, именуемый вечностью.

Данн — английский писатель нашего века. Я не знаю более интересного названия книги, чем его «Опыт со временем». Он полагает, что каждый из нас владеет чем-то вроде небольшой собственной вечности: эта вечность каждую ночь

¹ «Опыт со временем» (англ.).

² «Об утешении философией» (лат.).

в нашем распоряжении. Мы ложимся спать, и нам снится среда. Снится среда и следующий за ней четверг, может быть, даже пятница или вторник... эта возможность есть у любого — собственная небольшая вечность, позволяющая увидеть недавнее прошлое и близкое будущее.

Сновидец охватывает все это одним взглядом, подобно Богу, озирающему Вселенную с высот своей незримой вечности. Что происходит при пробуждении? По привычке к последовательному течению жизни мы придаем своему сновидению повествовательную форму, хотя оно многопланово и не имеет временной протяженности.

Возьмем очень простой пример. Предположим, мне приснился человек, просто человек (речь идет об очень несложном сне) и затем тут же — дерево. Пробудившись, я могу придать этому простому сну сложность, которой он не обладает. Мне может показаться, что я видел во сне человека, обратившегося в дерево, ставшего деревом. Я преобразую факты, я сочиняю.

Мы не знаем точно, что происходит во время сна: возможно, мы пребываем на небесах, возможно, — в аду, может быть, мы бываем тем, что Шекспир назвал «the thing I am» — «то, что я есть», может быть, — сами собой, может быть, — божеством. При пробуждении это забывается. И мы можем изучать сны, обращаясь к памяти, к своей бедной памяти.

Я читал также книгу Фрэзера, писателя, безусловно, талантливого, но слишком легковверного, верившего, очевидно, любым рассказам путешественников. По мнению Фрэзера, дикари не отличают сны от яви. Для них сны — часть яви. Так, по мнению Фрэзера или тех путешественников, которых читал Фрэзер, когда дикарю снится, что он идет в лес и убивает льва, проснувшись, он думает, что его душа покидала тело и во сне убила льва. Или, если несколько усложнить, можно считать, что она убила сон льва. Все это возможно, и, конечно, такое суждение о дикарях совпадает с суждением о детях, которые слабо отличают сон от яви.

Я вспоминаю, как мой племянник, когда ему было лет пять или шесть (точно не помню), каждое утро пересказывал мне свои сны. Однажды (он сидел на полу) я спросил, что ему снилось. Послушно, зная о моем hobby, он рассказал: «Мне сни-

лось, что я потерялся в лесу, я испугался, но тут же оказался на поляне, а там стоял деревянный домик, белый, кругом шла лестница, как галерея, и была дверь, а из двери вышел ты». Тут он вдруг замолчал и спросил: «Скажи, а что ты делал в домике?»

Для него все происходило в одном плане — явь и сон. Это приводит нас к гипотезе — к гипотезе мистиков, гипотезе метафизиков, противоположной гипотезе, которая, однако, связана с предыдущей.

Для дикаря или ребенка сны — часть яви, а поэтам и мистикам кажется возможным считать явь сном. Это лаконично высказал Кальдерон: жизнь есть сон. И то же самое, но в других образах выразил Шекспир — мы из той же материи, что наши сны; об этом же великолепно говорит австрийский поэт Вальтер фон дер Фогельвейде, который задает вопрос (я сначала произнесу фразу на своем дурном немецком, затем по-испански): «Ist es mein Leben geträumt ober ist es wahr?» — «Мне приснилась моя жизнь или я был сном?» Он не может сказать с уверенностью. Это приводит нас, следовательно, к солипсизму, к предположению, что существует лишь один сновидец и этот сновидец — любой из нас. Сновидец — отнесем это ко мне — в данный момент видит во сне вас, этот зал и эту лекцию. Существует лишь один сновидец; ему снится весь космический процесс, вся история Вселенной, снится собственное детство и юность. Возможно, ничего этого не происходило: он начинает существовать в тот момент, начинает видеть сны, и таков любой из нас, не мы, но любой. В этот момент я вижу во сне, что читаю лекцию на улице Чаркас, подыскиваю темы и, возможно, не справляюсь с ними, что вижу во сне вас, но на самом деле это не так. Каждому из вас снюсь я и снятся все остальные.

И вот у нас две гипотезы: одна — считать сны частью яви, другая, великолепная, принадлежащая поэтам, — считать явь сном. Между ними нет разницы. Эта мысль восходит к очерку Грассака: в нашей умственной деятельности нет различий — бодрствуем мы или спим, она всегда одинакова. Он приводит именно эту фразу Шекспира: «Мы из той же материи, что наши сны».

Существует еще одна тема, мимо которой нельзя пройти, — пророческие сны. Эта мысль характерна для разума,

принявшего, что сны соответствуют действительности, то есть различающего эти два плана.

Есть фрагмент в «Одиссее», в котором говорится о двух дверях — из рога и из слоновой кости. Сквозь двери из слоновой кости к людям входят обманные сны, а сквозь роговые — сны истинные, или пророческие. И есть фрагмент в «Энеиде» (вызвавший множество комментариев), он в девятой или в одиннадцатой книге, не помню точно. Эней сходит на Елисейские Поля за Геркулесовыми столпами, разговаривает с великими тенями Ахилла, Тиресия, видит тень матери, хочет обнять ее и не может — она лишь тень; видит грядущее величие города, который он заложит. Он видит Ромула, Рема, поле, и на этом поле прозревает будущий римский форум, грядущий расцвет Рима, величие Августа, видит все имперское великолепие. И, увидев все это, поговорив со своими современниками, которые для него люди будущего, Эней возвращается на землю. Здесь происходит нечто любопытное, то, что обычно не поддается объяснению комментатора, за исключением одного анонимного комментатора, понявшего, в чем дело. Эней возвращается через дверь из слоновой кости, а не из рога. Почему? Комментатор сообщает нам почему — потому что на самом деле мы не в реальном мире. Для Вергилия истинный мир — это, возможно, мир платонический, мир архетипов. Эней проходит сквозь двери слоновой кости, поскольку входит в мир снов, то есть в то, что мы называем явью. Что ж, все это возможно.

Теперь перейдем к разновидности — к кошмару. Здесь уместно вспомнить названия кошмара. Испанское название «pesadilla» не слишком удачно, уменьшительный суффикс «illa» лишает его силы. На других языках название звучит более мощно. По-гречески кошмар называется «efialtes». «Efialtes» — это «демон, вызывающий кошмары». В немецком — интересное слово «Alp», оно обозначает и эльфа, и вызываемую им подавленность — снова мысль о демоне, посылающем кошмары. И существует картина, которую видел Де Куинси, один из величайших сновидцев в литературе. Это картина Фюссли (Fussele, или Fussli, — таково его подлинное имя — швейцарский художник XVII в.), которая называется «The Nightmare» — «Кошмар».

Спящая девушка в ужасе просыпается: она видит, что на животе у нее сидит маленькое черное злое существо. Это чудовище — кошмар. Когда Фюсли писал картину, он думал о слове «Alp», о воздействии эльфа.

Мы добрались до слова более мудрого и многозначного, до английского названия кошмара — «the night mare», что означает «лошадь ночи». Шекспир понимал это именно так. У него есть строка, которая звучит: «I met the night mare» — «Я встретил кобылу ночи». В другом стихотворении говорится еще определеннее: «The night mare and her nine folds» — «Кобыла ночи и девять ее жеребят».

Но этимологи считают, что корень слова другой. Корень «niht mare» или «niht maere» — «демон ночи». Доктор Джонсон в своем знаменитом словаре пишет, что считать кошмар воздействием эльфа принято в северной — мы скажем, саксонской — мифологии; толкование совпадает или представляет собой перевод, возможно, греческого «efialtes» или латинского «incubus».

Существует и другая этимология, которая тоже может подойти нам, ее смысл в том, что английское слово «nightmare» связывается с немецким Marchen. «Marchen» означает волшебную сказку, вымысел, тогда «nightmare» — это «измышление ночи». Ну а истолкование «night mare» как «лошадь ночи» (в этой лошади кроется что-то жуткое) оказалось находкой для Виктора Гюго. Он владел английским и написал книгу о Шекспире, теперь практически забытую. В одном из стихотворений сборника «Les contemplations», как мне помнится, он говорит о «le cheval noir de la nuit» — «черном коне ночи», кошмаре. Без сомнения, ему вспомнилось английское слово «nightmare».

Мы уже обращались к различным этимологиям. Французское слово «cauchemar», без сомнения, связано с английским — «nightmare». Во всех этимологиях одна и та же мысль (я еще вернусь к этому) о демоне, порождающем кошмар. Думаю, что речь идет не просто о предрассудке: мне кажется, что в этой мысли — я говорю совершенно чистосердечно и откровенно — есть нечто истинное.

Давайте окажемся внутри кошмара, среди кошмаров. У меня они всегда одни и те же. Я уже говорил, что обычно

мне видятся два кошмара, они могут перемешиваться один с другим. Первый из них — это сон о лабиринте, которым я отчасти обязан гравюре, виденной в детстве во французской книге. На этой гравюре были изображены семь чудес света и в их числе критский лабиринт. Лабиринт представлял собой громадный амфитеатр, очень высокий (это можно было понять по тому, насколько он возвышался над кипарисами и людьми, изображенными рядом). В этом здании без дверей и окон были расщелины. В детстве мне казалось (или сейчас кажется, что казалось тогда), что если взять достаточно сильную лупу, то сквозь какую-нибудь из расщелин можно увидеть Минотавра в жуткой сердцевине лабиринта.

Другой кошмар связан с зеркалом. Он не так уж отличается от первого, ведь достаточно двух зеркал, поставленных одно против другого, чтобы создать лабиринт. Помню, в доме Доры де Альвеар в Бельграно я видел круглую комнату, стены и двери которой были облицованы зеркалами, так что, войдя, человек оказывался в центре действительно бесконечного лабиринта.

Мне всегда снятся лабиринты и зеркала. Во сне с зеркалом является иное видение, иной ужас моих ночей — маски. Меня всегда страшили маски. Я наверняка думал в детстве, что под маской пытаются скрыть нечто ужасное. Иногда (это самые тяжкие кошмары) я вижу свое отражение в зеркале, но это отражение в маске. И я не решаюсь сорвать маску, боясь увидеть свое подлинное лицо, которое представляется мне чудовищным. Это может оказаться проказа, или горе, или что-то настолько страшное, что невозможно вообразить.

Не знаю, покажется ли вам, как и мне, любопытным, что у моих сновидений точная топография. Например, я вижу, всегда вижу во сне определенные перекрестки Буэнос-Айреса. Угол улиц Лаприда и Ареналес или Балкарсе и Чили. Я твердо знаю, где нахожусь, и знаю, что должен отправиться куда-то далеко. Во сне эти места бывают точно известны, но совершенно не похожи на себя. Они могут оказаться оврагами, трясиными, непроходимыми зарослями — неважно. Я уверен, что нахожусь на таком-то перекрестке Буэнос-Айреса. И пытаюсь отыскать дорогу.

Как бы там ни было, в кошмарах важен не образ. Важно то, что открыл Колридж, — сегодня все время ссылаюсь на поэтов, — впечатление, которое производят сны. Не так важны образы, как впечатления. Я уже говорил в начале лекции, что пересмотрел множество трактатов по психологии и не обнаружил в них поэтических текстов, которые необычайно иллюстративны.

Обратимся к Петронию, к строке, которую цитирует Аддисон. В ней говорится, что душа, свободная от тяжести тела, играет. «Душа без тела играет». А Гонгора в одном из сонетов совершенно определенно высказывает мысль, что сны и кошмары — вымыслы, литературные произведения:

Сон, автор представления,
и в своем открытом театре,
наряжая тени, превращает их
в прекрасные статуи.

Сон — это представление. Эту идею развивал Аддисон в начале XIX века в превосходной статье, опубликованной в журнале «The Spectator».

Приведу цитату из Томаса Брауна. Он считает, что благодаря снам мы видим великолепие души, поскольку, освобождаясь от тела, она играет и мечтает. Я думаю, душа наслаждается свободой. И Аддисон говорит, что действительно душа, свободная от оков тела, предается мечтам и грезит, чего не может наяву. Он добавляет, что в деятельности души (разума, сказали бы мы, сейчас мы не употребляем слова «душа») самое трудное — вымысел. Однако во сне мы фантазируем настолько быстро, что наш разум запутывается в том, что мы навоображали. Во сне видишь, что читаешь книгу, а на самом деле воображаешь каждое написанное слово, но не осознаешь этого и не считаешь слова своими. Я не раз замечал в снах эту предварительную, подготовительную работу.

Вспоминаю один из своих кошмаров. Дело происходило на улице Серрано, думаю, что на перекрестке улиц Серрано и Солер, хотя место ничуть не напоминало Серрано и Солер, имело совершенно другой вид, но я знал, что это знакомая улица Серрано в Палермо. Я встретил друга, которого не

мог узнать, так он изменился. Лица его я никогда не видел, но знал, что оно не такое. Он очень переменялся, погрузнел. На лице его лежал отпечаток болезни, печали, может быть, вины. Правая рука была засунута за борт куртки (это важно для сна), мне не было ее видно, она покоилась там, где сердце. Я обнял его, было понятно, что ему нужна помощь. «Мой бедный друг, что с тобой случилось? Ты так изменился!» Он ответил: «Да, я изменился». И медленно вытащил руку. И я увидел птичью лапу.

Удивительно здесь то, что у человека с самого начала рука была спрятана. Неосознанно я подготовил этот вымысел: то, что у человека была птичья лапа и что я видел, как сильно он переменялся, как он страдает, и что он превратился в птицу. Во сне бывает, что нас о чем-то спрашивают, а мы не знаем, как ответить, и собственный ответ повергает нас в изумление. Ответ может быть бессмысленным, но во сне он верен. Я прихожу к выводу, не знаю, можно ли считать его научным, что сны — наиболее древний вид эстетической деятельности.

Известно, что животные видят сны. Существуют латинские стихи, в которых говорится о борзой, лающей на зайца. Итак, в снах мы совершаем древнейшую эстетическую деятельность, необычайно интересную, поскольку она носит драматический характер. Мне хотелось бы добавить слова Аддисона (который, сам того не ведая, подтвердил мысль Гонгоры) о сне, режиссере спектакля. Аддисон замечает, что во сне мы являем собой театр, зрителей, актеров, сюжет, реплики, которые слышим. Все это совершенно бессознательно, и все это выглядит живее, чем наяву.

Вернемся к Колриджу. Он считает неважным то, что мы видим во сне, полагает, что сон нуждается в объяснениях. Колридж приводит пример: появляется лев, и мы все испытываем ужас — страх перед ним. Или же: я сплю, просыпаюсь и вижу перед собой сидящего зверя и ощущаю страх. Но во сне может быть наоборот. Я чувствую страх, и это требует объяснений. И тогда я вижу во сне сфинкса, придавившего меня. Сфинкс не порождает ужаса, его появление объясняет гнетущее чувство. Колридж добавляет, что люди, которым померещились призраки, сходят с ума. Напротив,

если человеку грезится призрак, проснувшись, он через несколько минут или секунд приходит в себя. Мне снилось и снится множество кошмаров. Самый жуткий, тот, что мне кажется самым ужасным, я использовал в одном из сонетов. Сон таков: я у себя дома, светает (возможно, это мне снится на рассвете), у кровати стоит король, очень древний король, и я во сне знаю, что это северный король, норвежец. Он не смотрит на меня, его незрячий взгляд устремлен в небо. Я понимаю, что это очень древний король, такое лицо сейчас немыслимо. Его присутствие повергает меня в ужас. Я вижу короля, его меч, пса, сидящего рядом. В конце концов я просыпаюсь, но еще некоторое время продолжаю видеть его. В пересказе сон не кажется каким-то особенным, но, когда он снится, он страшен.

Мне хочется пересказать вам сон, который я на днях услышал от Сусаны Бомбаль. Не знаю, произведет ли он на вас впечатление. Ей снился зал, своды которого уходили в туман, из тумана падал черный занавес. В руках она держала огромные неудобные ножницы, ей нужно было срезать торчавшие из занавеса нити, которых было множество. Разглядеть можно было лишь небольшой кусок занавеса, около метра в ширину и в высоту, остальное тонуло в тумане. Она резала нити, понимая, что это занятие бесконечно. Ее охватил ужас, ощущение ужаса прежде всего и есть кошмар.

Я пересказал два подлинных кошмара и теперь хочу рассказать два описанных в литературе, но, возможно, тоже подлинных. В предыдущей лекции, говоря о Данте, я упомянул *nobile castello* в «Аду». Данте повествует, как, ведомый Вергилием, он входит в первый круг и замечает смертельную бледность на лице Вергилия и думает: «Если Вергилий бледнеет, входя в Ад, свое вечное жилище, как же мне не чувствовать страха?» Но Вергилий торопит: «Я иду дальше». Они спускаются незамеченными, слыша со всех сторон стенания, порожденные не физической болью, а чем-то более тяжким.

Они приходят к благородному замку, *nobile castello*. Он окружен семью стенами, которые могут означать семь свободных искусств тривиума и квадриума или семь доб-

родетелей — это неважно. Возможно, Данте ощущал магические свойства этого числа, которое, безусловно, можно толковать различно. Здесь же говорится о роднике и о свежем луге, которые исчезают. Когда Данте и Вергилий подходят, луг оказывается эмалью, не живым, а мертвым. К ним приближаются четыре тени великих поэтов древности. Это Гомер с мечом в руке, Овидий, Лукан, Гораций. Вергилий велит Данте приветствовать Гомера, к которому Данте относится с величайшим почтением, но которого никогда не читал. Слышится голос: «Почтите величайшего поэта». Гомер приветствует Данте как шестого в этом собрании. Данте, который еще не написал «Комедию» — он пишет ее в этот момент, — знает, что в состоянии сделать это.

Тени говорят с Данте о чем-то, чего он не повторяет. Мы можем расценить это как скромность флорентийца, но думаю, что существует более глубокая причина. Он называет обитателей благородного замка: это доблестные тени язычников и мусульман; речь их звучна и нетороплива, на лицах спокойствие и достоинство, но они лишены Бога. Они знают, что обречены на этот вечный замок, вечное, почетное, но ужасное пристанище.

Там Аристотель, «учитель тех, кто знает». Там философы-досократики, там Платон, там, поодаль, в одиночестве, великий султан Саладин. Там все великие язычники, те, кто не крещен, кто не может быть спасен Христом, о котором Вергилий говорит, но не упоминает в Аду его имени, называя Властителем. Можно подумать, что Данте не проявил здесь своего драматического таланта, не зная, о чем могут говорить персонажи его поэмы. Можно сожалеть, что Данте не повторил нам слов, несомненно, достойных Гомера, с которыми великая тень обратилась к нему. Но можно представить, что Данте предпочел молчание, что в замке все было исполнено ужаса. Данте и Вергилий разговаривают с тенями великих людей. Данте перечисляет их: Сенека, Платон, Аристотель, Саладин, Аверроэс. Но до нас не доносится ни слова их беседы. И так лучше.

Я уже говорил, что, если вообразить себе Ад, он окажется не кошмаром, а всего лишь камерой пыток. Там подвергают жестоким мучениям, но нет атмосферы кошмара, которой

окружен «благородный замок». Данте, возможно, описал это впервые в литературе.

Есть и другой пример, которым восторгался Де Куинси. Его можно найти во второй книге «Прелюдии» Вордсворта. Вордсворт пишет, что озабочен — озабоченность редкая, если вспомнить о том, что он жил и писал в начале XIX века, — опасностью, которой подвергаются искусства и науки, ведь судьба их зависит от возможного космического катаклизма. В те времена нечасто думали о подобных катаклизмах; это сейчас мы знаем, что все созданное человеком, да и само человечество, может быть уничтожено в любой момент. Итак, Вордсворт рассказывает о своей беседе с другом. Он говорит: «Как страшно думать, что судьба великих произведений человечества, науки, искусства зависит от какой-нибудь космической катастрофы!» Друг отвечает, что испытывает подобный же страх. И Вордсворт рассказывает ему: «Мне снилось...»

И следует сон, который представляется мне образцом кошмара со всеми характерными для него чертами: физические страдания, вызванные бегством, и ужас при виде сверхъестественного. Вордсворт повествует, что в полдень в пещере у моря читает «Дон Кихота», одну из любимых своих книг, похождения странствующего рыцаря, изложенные Сервантесом. Он не называет книгу, но нам понятно, о чем идет речь. Он рассказывает далее: «Я оставил книгу и задумался. Я как раз думал о науках и искусствах, когда настал час». Знойный, всесильный час полудня, и Вордсворт, сидя в пещере, на берегу моря, вспоминает: «Сон одолел меня, и я погрузился в него».

Он засыпает в пещере неподалеку от моря, среди желтого песка. Во сне он окружен песком, пустыней черного песка. Воды нет, моря нет. Очутившись посреди пустыни (в пустыне всегда оказываешься посреди), он приходит в ужас, пытается выбраться оттуда, как вдруг замечает рядом с собой человека. Это араб, бедуин, верхом на верблюде с копьем в правой руке. Левым локтем он прижимает к себе камень, а на ладони держит раковину. Араб объясняет свою миссию — спасти искусства и науки — и подносит раковину к уху поэта; раковина красива необычайно. Вордсворт говорит, что

на языке, который был ему незнаком, но понятен, он услышал пророчество, нечто вроде пламенной оды, повествующей о том, что Земля с минуты на минуту должна быть уничтожена потопом, вызванным гневом Господним. Араб подтверждает, что услышанное правда, что потоп приближается, а ему предстоит спасти искусство и науки. Он показывает камень. И камень загадочным образом оказывается «Геометрией» Евклида, не переставая быть камнем. Затем он протягивает раковину, которая тоже оказывается книгой, это она произносила страшное пророчество. Раковина содержит всю поэзию мира, включая (почему бы и нет?!) и поэму Вордсворта. Бедуин говорит ему: «Я должен сохранить обе книги, и камень, и раковину». Бедуин оглядывается, и Вордсворт видит его искаженное ужасом лицо. Он тоже оглядывается и видит, что необыкновенный свет заливал пустыню. Свет исходит от вод потопа, который должен уничтожить Землю. Бедуин скачет прочь, и Вордсворт понимает, что бедуин в то же время и Дон Кихот, а верблюд — Росинант, так, как камень и раковина — книги. Бедуин оказывается Дон Кихотом, сразу обоими, и никем по отдельности. Эта двойственность придает сновидению ужас. Тут Вордсворт с криком пробуждается, потому что воды потопа настигают его.

Я думаю, это один из самых красивых кошмаров в литературе.

Мы можем сделать выводы, во всяком случае сегодня вечером, пусть потом наше мнение изменится. Во-первых, сны — это эстетическая деятельность, возможно, самая древняя. Она обладает драматической формой, поскольку, как говорил Аддисон, мы сами — театр: и зритель, и актеры, и действие. Во-вторых, кошмару присущ ужас. Наша явь изобилует страшными моментами, всем известно, что порою действительность подавляет нас. Смерть дорогого человека, расставание с любимым — столько причин для грусти, для отчаяния... Но эти причины не похожи на кошмар; в кошмаре присутствует страх особого рода, и этот страх выражен в фабуле. Он же виден и в бедуине — Дон Кихоте Вордсворта, в ножницах и нитях, в моем сне о короле, в знаменитых кошмарах По. Существует вкус кошмара. В книгах, к которым я обращался, о нем не говорится.

У нас есть возможность теологической интерпретации, которая соответствует этимологии. Возьмем любое из слов: латинское «incubus», саксонское «nightmare», немецкое «Alp». Все они подразумевают нечто сверхъестественное. Так неужели кошмары действительно сверхъестественны? Неужели кошмары — это щелка в ад? И в кошмарах мы буквально пребываем в аду? Почему бы и нет? Ведь все так удивительно, что даже это кажется возможным.

Вечер третий «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»

Событием огромной важности в истории западных народов стало открытие Востока. Вернее было бы говорить о познании Востока, длительном, наподобие присутствия Персии в греческой истории. Кроме этого познания Востока (огромного, неподвижного, непостижимого, великолепного) есть еще важные моменты, я назову некоторые из них. Мне кажется правильным обратиться к теме, которую я так люблю, люблю с детства, — к теме «Книги тысячи и одной ночи», или, как она называется в английском варианте, первом, который я прочел: «The Arabian Nights» — «Арабские ночи». Название тоже звучит таинственно, хотя и не столь красиво, как «Книга тысячи и одной ночи».

Мне хотелось бы упомянуть девять книг Геродота и в них — открытие Египта, далекого Египта. Я говорю «далекого», потому что пространство измеряется временем, а путешествия были опасны. Для греков египетский мир был огромен и полон тайн.

Затем рассмотрим слова «Восток» и «Запад», — возможно ли дать им определение, истинны ли они? К ним можно отнести сказанное Августином Блаженным о времени: «Что такое время? Когда меня не спрашивают об этом, я знаю, когда спрашивают, я не знаю». Попробуем приблизиться к их пониманию.

Обратимся к сражениям, войнам и кампаниям Александра, Александра, покорившего Персию, завоевавшего Индию и, насколько известно, скончавшегося в Вавилоне. Это было первое столкновение с Востоком, которое оказало столь сильное влияние на Александра, что он в какой-то мере обратился в перса. Персы считают его частью своей истории — Александра, даже на время сна не расстававшегося с мечом

и с «Илиадой». Мы вернемся к нему в дальнейшем, но, раз имя его названо, мне хочется пересказать легенду, которая, я думаю, будет вам интересна.

Александр не умирает в Вавилоне в тридцать три года. Он оставляет войско и блуждает по пустыням и лесам. Наконец он видит свет, который оказывается костром. Костер окружают желтолицы, с раскосыми глазами воины. Александра они не знают, но принимают незнакомца. Солдат до мозга костей, он сражается в совершенно неизвестной ему местности. Он солдат: ему нет дела до причин войны, и он всегда готов расстаться с жизнью. Проходят годы, многое стерлось в его памяти. В день выплаты денег войску одна из полученных им монет привлекает его внимание. Он держит ее на ладони и говорит: «Ты старик, а это вот одна из монет, которые я приказал отчеканить в честь победы при Арбеле, когда был Александром Македонским». Только на один миг к нему возвращается прошлое, а потом он вновь становится монгольским или китайским наемником.

Этот запоминающийся вымысел принадлежит английскому поэту — Роберту Грейвсу. Александру была предсказана власть над Востоком и Западом. В странах ислама он известен под именем Искандера Двурогого, а два его рога означают Восток и Запад.

Возьмем еще один пример из долгого диалога между Востоком и Западом, диалога во многих случаях трагического. Вспомним юного Вергилия, пробующего на ощупь тисненый шелк из дальней страны. Это страна китайцев, про которую известно лишь, что она далеко, у самых отдаленных границ Востока, а население ее миролюбиво и чрезвычайно многочисленно. Вергилий вспоминает в «Георгиках» этот шелк без швов с изображениями храмов, императоров, рек, мостов, озер, непохожих на известные ему.

Другим открытием Востока стала великолепная книга — «Естественная история» Плиния. В ней рассказывается о китайцах и упоминаются Бактрия, Персия, говорится об Индии, о царе Поре. У Ювенала есть стихотворение, которое я прочел более сорока лет назад, и оно мгновенно всплывает у меня в памяти. Чтобы определить отдаленное место, Ювенал говорит: «*ultra Auroram et Gangem*» — «за восходом и Гангом».

В этих четырех словах для нас заключен Восток. Как знать, ощущал ли Ювенал это так же, как мы. Думаю, что да. Восток всегда был притягателен для людей Запада.

Следуя за ходом истории, мы обнаружим удивительный подарок, которого, возможно, не было никогда. Гарун-аль-Рашид, Аарон Праведный, отправил своему собрату Карлу Великому слона. Быть может, послать слона из Багдада во Францию нельзя, но это неважно. Поверить в этого слона нетрудно. Слон чудовищен... Он должен был показаться удивительно странным франкам и Карлу Великому (грустно думать, что Карл Великий не мог прочесть «Песнь о Роланде», так как говорил на германском наречии).

Слон был послан Карлу в подарок, и слово «elefant» (слон) заставляет нас вспомнить, что Роланд трубил в Олифан, горн из слоновой кости, который назывался так именно потому, что сделан был из слоновьего бивня. И раз уж мы начинали говорить об этимологии, можно вспомнить, что испанское слово, означающее шахматную фигуру — слона — «alfil», по-арабски значит «слон» и имеет общий корень со словом «marfil» — слоновая кость. Среди восточных шахматных фигур мне доводилось видеть слона с башенкой и человечком. Это не тура, как можно решить из-за башенки, а слон — «alfil».

Из Крестовых походов воины возвращались с рассказами, например с воспоминаниями о львах. Мы знаем известного крестоносца по имени Richard the Lion-Hearted — Ричард Львиное Сердце. Лев, вошедший в геральдику, — восточный зверь. Перечень не может быть бесконечен, но надо вспомнить и о Марко Поло, книга которого была открытием Востока (долгое время самым большим открытием), та самая книга, которую он диктовал товарищу по заключению после сражения, в котором венецианцев победили генуэзцы. В книге рассказывается история Востока и говорится о хане Хубилае, который потом появляется в известной поэме Колриджа.

В XV веке в Александрии, городе Александра Двурогого, был собран ряд сказок. Как можно догадаться, у этих сказок удивительная история. Сначала их рассказывали в Индии, затем в Персии, потом в Малой Азии, и, наконец, уже написанные на арабском языке, они были собраны в Каире. Это и есть «Книга тысячи и одной ночи».

Я хочу остановиться на названии. Оно кажется мне одним из самых красивых в мире, столь же красивым, как другое, которое я уже называл, — «Опыт со временем», и столь на него непохожим.

В 1704 году был опубликован первый европейский перевод, первые шесть томов французского ориенталиста Антуана Галлана. На волне романтизма Восток как целое вошел в европейское сознание. Достаточно назвать здесь два имени, два великих имени: Байрона, который как личность превосходит свои произведения, и Гюго, великого во всех отношениях. Появляются новые переводы, затем происходит новое открытие Востока. Этот процесс идет до 1890-х годов, большую роль в нем сыграл Киплинг: «Кто услышал зов Востока, вечно помнит этот зов».

Вернемся к моменту, когда впервые была переведена книга «Тысяча и одна ночь». Это событие огромной важности для всех европейских культур. В 1704 году Франция — это Франция Великого века, где законы литературы продиктованы Буало, который в 1711 году умирает, не подозревая, что всей его риторике грозит это великолепное восточное нашествие. Вспомним риторику Буало, с ее предписаниями и запретами, вспомним культ разума, замечательную фразу Фенелона: «Из всех проявлений духа самое редкое — разум». Ну а Буало хотел сделать разум основой поэзии.

Мы разговариваем на славном латинском наречии, называемом кастильским, что тоже проявление этой ностальгии, этой привязанности, иногда воинственной, Запада к Востоку, так как Америка была открыта благодаря стремлению достичь Индии. Мы называем индейцами народ Монтесумы, Атауальпы, Катриэля из-за ошибки, совершенной испанцами, полагавшими, что они попали в Индию. И сегодняшняя лекция тоже часть этого диалога между Востоком и Западом.

Происхождение слова «запад» известно и сейчас не имеет значения. О западной культуре можно сказать, что она с примесью, так как она западная только наполовину. Для нашей культуры основополагающими являются Греция (Рим — продолжение эллинизма) и Израиль, восточная страна. Они дали то, что мы зовем западной культурой. Говоря об откровениях Востока, необходимо помнить о непреходящем откровении —

Священном Писании. Воздействие обоюдное, так как Запад тоже влияет на Восток. Существует книга французского автора под названием «Открытие Европы китайцами», и это открытие — тоже реальное событие, которое не могло не произойти.

Восток — это место, где восходит солнце. В немецком языке для обозначения Востока существует красивое название, которое я хочу напомнить вам: «Morgenland» — «утренняя земля». Для обозначения Запада — «Abendland» — «вечерняя земля»; вам знакома книга Шпенглера «Der Untergang des Abendlandes», то есть «Путь назад вечерней земли», или, как это переводится более прозаически, — «Закат Европы». Я думаю, стоит отметить, что слово «orient» (восток), прекрасное слово, по счастливой случайности содержит в себе «ого» (золото). В слове «orient» мы ощущаем слово «ого», потому что на восходе небо отликает золотом. Я снова напомню вам известную строку Данте: «Dolce color d'oriental zaffiro» — «Отрадный цвет восточного сапфира».

В слове «oriental» сочетаются два значения: восточный сапфир из восточных стран и золото (ого) рассвета, золото первого утра в Чистилище.

Что такое Восток? При попытке определить его географически мы обнаруживаем весьма любопытное явление: часть Востока — это Запад, а то, что для греков или римлян было Западом, как, например, воспринималась Северная Африка, — это Восток. Конечно, Восток — это и Египет, и израильские земли, Малая Азия, Бактрия, Персия, Индия. Все эти страны простираются так широко и имеют так мало общего меж собою. Так же как и Татария, Китай, Япония — все это для нас Восток. Я думаю, что, говоря о Востоке, мы прежде всего имеем в виду исламский Восток, а географически — север Индии.

Таково наше первое впечатление от книги «Тысяча и одна ночь». Существует нечто, ощущаемое нами как восточное, чего мы не чувствуем в Израиле, но чувствуем в Гранаде или Кордове. Я ощущаю там присутствие Востока, но не могу определить его и не знаю, стоит ли давать определение таким личным ощущениям. Ассоциациями, вызванными этим словом, мы обязаны «Книге тысячи и одной ночи». Она — первое, что приходит нам в голову; лишь потом мы вспоминаем

о Марко Поло, отце Иоанне, о реках песка с золотыми рыбками. В первую очередь мы думаем об исламе.

Рассмотрим историю этой книги, затем ее переводы. Происхождение книги неясно. На память приходят соборы, неудачно именуемые готическими, возводившиеся трудами не одного поколения. Но есть существенное различие: ремесленники, строители соборов, хорошо представляли себе, что делают. «Тысяча и одна ночь», напротив, возникает таинственным образом. Это создание тысячи авторов, ни один из которых не подозревал, что причастен к прославленной книге, одной из самых знаменитых, более ценимых на Западе, чем на Востоке, насколько мне известно.

Приведу любопытное замечание барона Хаммера-Пургшталя, ориенталиста, которого с восторгом цитируют Лейн и Бертон, авторы двух самых известных переводов книги «Тысяча и одна ночь». Он говорит о людях, именовавшихся ночными сказителями, чьей профессией было рассказывать по ночам сказки. Он приводит древний персидский текст, из которого следует, что первым, кто завел обычай собирать людей, чтобы под ночные рассказы коротать бессонницу, был Александр Македонский. Скорее всего, это были сказки. Думаю, что прелесть сказок не в морали. Эзопа и индусских сказочников привлекала возможность представить животных как людей, с их комедиями и трагедиями. Мораль добавлялась в конце, а главное было в том, что волк ведет разговор с ягненком, вол — с ослом или лев — с соловьем.

Александр Македонский слушал этих безымянных сказочников. Такая профессия существовала долго. Лейн в книге «Обычаи и манеры современных египтян» считает, что вплоть до 1850 года в Каире сказочники были весьма распространены. Их насчитывалось около пятидесяти, и они часто рассказывали истории из «Тысячи и одной ночи».

Ряд историй из Индии, где создалось ядро книги, как полагают Бертон и Кансинос-Ассенс, автор замечательного испанского перевода, попадают в Персию, в Персии они изменяются, обогащаются и арабизируются; наконец они доходят до Египта. Это происходит в конце XV века. Именно тогда составляется первый сборник, за ним следует другой, персидский, кажется «Hazar afsana» — «Тысяча историй».

Почему сначала тысяча, затем тысяча и одна? Думаю, что по двум причинам. Одна из них — суеверие (в подобных случаях суеверие имеет значение), согласно которому четные числа считаются несчастливymi. Стали искать нечетное число и удачно добавили «и одна». Если бы в заглавии стояло девятьсот девяносто девять ночей, мы ощущали бы, что одной ночи не хватает, а так, напротив, чувствуем, что нам дается нечто бесконечное, да еще с одной ночью в придачу. Текст прочел и перевел французский ориенталист Галлан. Мы видим, каков текст и каков в нем Восток. Восток в тексте есть, потому что, читая, мы ощущаем себя в далекой стране.

Известно, что хронология, история существуют, но прежде всего существуют восточные исследования. Нет истории персидской литературы или истории индийской философии, нет и китайской истории китайской литературы, поскольку этому народу неинтересна последовательность событий. Считается, что литература и поэзия вечны. Я думаю, что, в сущности, они правы. Мне кажется, название «Тысяча и одна ночь» (или, как предпочитает Бертон, «Book of the Thousand Nights and a Night» — «Книга тысячи ночей и одной ночи») было бы прекрасным, если бы было придумано сегодня утром. Если бы мы сделали это сейчас, то заглавие казалось бы превосходным не только потому, что красиво (красиво, например, заглавие «Сумерки сада» Лугонеса), но и потому, что вызывает желание прочитать книгу.

Человеку хочется затеряться в «Тысяче и одной ночи», он знает, что, погружаясь в эту книгу, может забыть о своей жалкой судьбе, может проникнуть в мир, полный образов-архетипов, наделенных в то же время индивидуальностью.

В названии «Тысяча и одна ночь» содержится нечто очень важное — намек на то, что книга бесконечна. Вероятно, так оно и есть, арабы говорят, что никто не может прочесть «Тысячу и одну ночь» до конца. Не оттого, что книга скучная, — она кажется бесконечной.

У меня дома стоят семнадцать томиков перевода Бертона. Я знаю, что никогда не прочитаю их все, но знаю, что в них заключены ночи, которые ждут меня; что жизнь моя может оказаться несчастливой, но в ней есть семнадцать томиков, в которых соединится суть вечности «Тысячи и одной ночи» Востока.

Как же определить Восток, не действительный Восток, которого не существует? Я говорил, что понятия «Восток» и «Запад» — обобщения, что ни один человек не чувствует себя восточным. Я предполагаю, что человек ощущает себя персом, индусом, малайцем, но не восточным. Точно так же никто не чувствует себя латиноамериканцем: мы ощущаем себя аргентинцами, уругвайцами. Тем не менее понятие существует. На чем же основана книга? Прежде всего на идее мира крайностей, в котором персонажи либо очень счастливы, либо очень несчастливы, очень богаты или очень бедны. Мира царей, которые не должны объяснять, что они делают. Царей, которые, можно сказать, безответственны, как боги.

Кроме того, на идее клада. Любой бедняк может найти его. И на идее магии, чрезвычайно важной. Что такое магия? Магия — это причинность иного рода. Предположим, что кроме известной нам причинной связи существует другая. Эта связь может зависеть от случайностей, от кольца, от лампы. Стоит нам потерять кольцо или лампу, явится джинн. Джинн — раб, и в то же время он всемогущ, действуя по нашей воле. Он может появиться в любой момент.

Вспомним историю о рыбаке и джинне. У рыбака четверо детей, он беден. Каждое утро он забрасывает сеть в море. То, что море не названо, переносит нас в мир неопределенный. Рыбак подходит к морю и бросает сеть. Как-то утром он бросает и вытягивает ее трижды: вытаскивает мертвого осла, черепки, ненужные вещи. Он снова забрасывает сеть (каждый раз произнося стихотворение), и она оказывается страшно тяжелой. Рыбак ждет, что она полна рыбы, но вытаскивает лишь кувшин желтой меди, запечатанный печатью Сулеймана (Соломона). Рыбак открывает кувшин, и из него начинает валить густой дым. Рыбак думает, что кувшин можно будет продать, а тем временем дым достигает неба и, сгущаясь, становится джином.

Кто такие джинны? Это существа, созданные прежде Адама, они подчинены человеку, хотя могут быть огромными. Мусульмане считают, что джиннами заполнено все пространство, что они невидимы и вездесущи.

Джинн восклицает: «Хвала Аллаху и его пророку Соломону!» Рыбак спрашивает джинна, почему он назвал Соломона,

который так давно умер, теперь пророк Аллаха — Магомет. И спрашивает, почему он был заключен в кувшин. Тот отвечает, что он один из джиннов, восставших против Сулеймана, и что за это Сулейман заключил его в кувшин, наложил печать и бросил на дно моря. Прошло четыреста лет, и джинн поклялся отдать все золото мира тому, кто его освободит. Но освобождение не пришло. Он поклялся научить языку зверей и птиц того, кто его освободит. Шли века, множились обещания. Наконец он поклялся убить своего освободителя. «Пришло время выполнить клятву. Готовься к смерти, о мой спаситель!» Этот гнев странным образом делает джинна похожим на человека и, пожалуй, привлекательным.

Рыбак испуган, он делает вид, что не верит рассказу, и спрашивает: «Как ты, чья голова касается неба, а ноги — земли, мог уместиться в столь малом сосуде?» Джинн отвечает: «Маловажный! Сейчас убедишься». Он уменьшается и исчезает в кувшине, а рыбак затыкает кувшин и грозит ему.

История продолжается, и вот уже героем становится не рыбак, а царь, затем повелитель Черных островов, и в конце сюжетные линии соединяются — явление, характерное для «Тысячи и одной ночи». Здесь можно вспомнить китайские шары один в другом или русских матрешек. В «Дон Кихоте» мы находим нечто подобное, но не в такой степени, как в «Тысяче и одной ночи». Кроме того, все повествование заключено в рамку пространной основной истории, известной вам: истории султана, которому изменяла жена и который, чтобы избежать повторения измен, решил каждую ночь брать новую жену и на следующее утро лишать ее жизни. Так продолжалось до тех пор, пока Шахразада не решает спасти остальных, удерживая султана историями, которые остаются незаконченными. Так проходит тысяча и одна ночь, и она показывает султану сына.

Истории внутри историй создают странное ощущение почти бесконечности, сопровождаемое легким головокружением. Подобного эффекта добивались и авторы, писавшие намного позже. Таковы книги «Алисы» Льюиса Кэрролла или его роман «Сильви и Бруно», где сны внутри снов множатся и разветвляются.

Тема снов — одна из излюбленных в «Тысяче и одной ночи». Изумительна история двух сновидцев. Некий житель Каира однажды во сне услышал голос, приказывающий ему идти в Исфахан, где зарыт клад. Он предпринимает длительное и опасное путешествие и в Исфахане, усталый, ложится отдохнуть во дворе мечети. Он оказывается среди воров, не подозревая об этом. Всех их берут под стражу, и кади спрашивает, что привело его в этот город. Египтянин рассказывает. Кади хохочет во всю глотку и говорит: «О безрассудный и легковерный! Трижды мне снился дом в Каире с садом, в котором солнечные часы, источник и смоковница, а вблизи источника зарыт клад. Я ни разу не поверил обману. Возьми монету, уходи и больше не приходи в Исфахан». Тот возвращается в Каир: в сновидении кади он узнал свой собственный дом. Он начинает копать неподалеку от источника и находит клад.

В «Тысяче и одной ночи» слышатся отголоски Запада. Мы находим здесь приключения Одиссея, только Одиссей зовется Синдбадом Мореходом. Некоторые приключения совпадают (Полифем). Чтобы возвести чертог «Тысячи и одной ночи», трудились поколения людей, и эти люди — наши благодетели, оставившие нам в наследство эту неисчерпаемую книгу, претерпевшую столько превращений. Я говорю о превращениях, поскольку первый текст, опубликованный Галланом, довольно прост и, возможно, наиболее привлекателен, он не требует от читателя ни малейшего усилия; без этого первого текста, как справедливо заметил капитан Бертон, невозможны были последующие варианты.

Галлан опубликовал первый том в 1704 году. Книга вызвала возмущение, но вместе с тем очаровала рассудочную Францию Людовика XIV. Когда говорят о романтизме, имеют в виду гораздо более позднее время. Мы можем сказать, что романтическое течение берет начало в тот момент, когда кто-то в Нормандии или в Париже прочитал «Тысячу и одну ночь». Он вырвался из мира предписаний Буало и вошел в мир романтической свободы.

Затем происходят следующие события: открытие плутовского романа французом Лесажем; публикация шотландских и английских баллад, осуществленная Перси к 1750 году.

А к 1798 году романтизм в Англии начинается творчеством Колриджа, которому привиделся во сне хан Хубилай, покровитель Марко Поло. Мы видим здесь, как удивителен мир и как взаимосвязаны события.

Появились другие переводы. Перевод Лейна снабжен энциклопедией мусульманских обычаев. Антропологический и непристойный перевод Бертона выполнен с использованием лексики XIV века, странным английским языком, изобилующим архаизмами и неологизмами, языком, не лишенным прелести, но иногда трудным для чтения. Затем появляются вольная в обоих значениях этого слова версия доктора Мардрюса и немецкий перевод Литтмана, передающий оригинал буквально, но лишенный его очарования. Сейчас, к счастью, у нас есть и испанский вариант, созданный моим учителем Рафаэлем Кансиносом-Ассенсом. Книга опубликована в Мексике, возможно, этот перевод — лучший, он снабжен комментарием.

Самая известная сказка «Тысячи и одной ночи» не найдена в оригинальных вариантах. Это «Аладдин и волшебная лампа». Она появляется у Галлана, и Бертон безуспешно искал ее в арабских и персидских текстах. Он подозревал, что Галлан фальсифицировал сказку. Слово «фальсифицировал» кажется мне несправедливым и злым. У Галлана было такое же право придумать сказку, как и у ночных сказителей. Почему не предположить, что, переводя столько сказок, он захотел создать одну сам и осуществил это желание?

История не заканчивается сказкой Галлана. Де Куинси в своей автобиографии пишет, что для него в «Тысяче и одной ночи» одна сказка несравненно выше других, и это сказка об Аладдине. Он говорит о маге из Магриба, который приходит в Китай, потому что знает, что там живет единственный человек, способный достать волшебную лампу. Галлан говорит нам, что маг — астролог и что звезды повелевают ему идти в Китай в поисках юноши. Де Куинси, у которого великолепная творческая память, помнит это совсем по-другому. По его версии, маг прикладывает ухо к земле и слышит бесчисленные шаги людей. И среди этих шагов он распознает шаги мальчика, которому суждено выкопать лампу. Это, говорит Де Куинси, привело его к мысли о том, что мир полон

соответствий, магических зеркал, что малые события несут в себе знак больших. Описания того, как магрибский маг припадает ухом к земле и угадывает шаги Аладдина, нет ни в одном из текстов. Это вымысел, подсказанный Де Куинси снами или памятью. Бесконечное время «Тысячи и одной ночи» продолжает свой путь. В начале XIX или в конце XVIII века Де Куинси вспоминает по-своему. «Ночи» обретают все новых переводчиков, и каждый переводчик дает свой вариант. Мы, пожалуй, можем говорить о множестве книг под названием «Тысяча и одна ночь». Две французские — Галлана и Мардрюса; три английские — Бертон, Лейна и Пейна; три немецкие, написанные Хеннингом, Литгманом и Вайлем; одна — испанская, созданная Кансиносом-Ассенсом. Все эти книги различны, поскольку «Тысяча и одна ночь» разрастается или рождается заново. У великолепного Стивенсона в его великолепных «Новых тысяче и одной ночи» вновь возникает тема переодетого принца, который осматривает город в сопровождении визиря и с которым происходят различные приключения. Стивенсон придумал принца Флоризеля из Богемии и его спутника полковника Джералдина, с которым тот путешествует по Лондону.

Но это не реальный Лондон, а Лондон, похожий на Багдад, но не на реальный, а на Багдад «Тысячи и одной ночи».

Есть еще один автор, чьи произведения радуют всех нас, — это Честертон, наследник Стивенсона. Фантастический Лондон, в котором происходят приключения отца Брауна и Человека, который был Четвергом, не мог бы существовать, если бы Честертон не читал Стивенсона, а Стивенсон не написал бы «Новых тысяче и одной ночи», если бы не читал «Тысячу и одну ночь». Эта книга столь огромна, что нет нужды читать ее, она запечатлена в нашей памяти и является частью и сегодняшнего дня.

Вечер четвертый БУДДИЗМ

Дамы и господа!

Тема сегодняшней лекции — буддизм. Я не стану углубляться в его долгую историю, начавшуюся две с половиной тысячи лет назад в Бенаресе, когда непальский царевич Сиддхартха, или Гаутама, ставший Буддой, привел в движение колесо дхармы, провозгласив четыре благородные истины и восьмеричный путь. Я расскажу о главном в этой религии, самой распространенной в мире. Элементы буддизма сохраняются с V века до Рождества Христова, то есть со времен Гераклита, Пифагора, Зенона до наших дней, когда его толкование дал доктор Судзуки в Японии. Эти элементы не изменились. Сейчас религия пронизана мифологией, астрономией, удивительными верованиями, магией, но, поскольку тема сложна, я ограничусь тем, что объединяет различные секты. Оно может соответствовать хинаяне, или малой колеснице. Отметим прежде всего долговечность буддизма.

Эта долговечность может быть объяснена исторически, хотя такие обоснования случайны или, лучше сказать, сомнительны, ошибочны. Я думаю, что существуют две основные причины. Первая — терпимость буддизма. Эта удивительная терпимость отличает не отдельные периоды, как в других религиях, — буддизм был терпим всегда.

Он никогда не прибегал к огню и мечу, не полагался на их способность убеждать. Когда Ашока, индийский император, сделался буддистом, он никому не навязывал свою новую религию. Праведный буддист может быть лютеранином, методистом, пресвитерианцем, кальвинистом, синтоистом, даосом, католиком, может быть последователем ислама или иудейской религии без всяких ограничений. Напротив,

ни христианину, ни иудею, ни мусульманину не дозволяется быть буддистом.

Терпимость буддизма — это не его слабость, а сама его сущность. Буддизм — это прежде всего то, что мы можем назвать йогой. Что означает слово «йога»? Это то же самое слово, что «yugo» — «ярмо», которое восходит к латинскому «jugum». Ярмо, дисциплина, которой подчиняется человек. Затем, если мы поймем, о чем говорит Будда в первой проповеди в Оленьей роще в Бенаресе две с половиной тысячи лет назад, мы постигнем буддизм. К тому же речь идет не о том, чтобы понять, а о том, чтобы почувствовать глубоко, ощутить душой и телом, причем буддизм не признает реальности ни души, ни тела. Я попробую доказать это.

Кроме того, есть и еще причина. Буддизм во многом существует за счет нашей веры. Разумеется, каждая религия представляет собой акт веры. Так же как родина представляет собой акт веры. Что значит, не однажды спрашивал я себя, быть аргентинцем? Быть аргентинцем — значит чувствовать, что мы аргентинцы. Что значит быть буддистом? Быть буддистом — не значит понимать, поскольку понимание может прийти в считанные минуты, а чувствовать четыре благородные истины и восьмеричный путь. Не станем вверяться опасностям восьмеричного пути, поскольку эта цифра объясняется привычкой индусов разделять и подразделять, а обратимся к четырем благородным истинам.

Кроме того, существует легенда о Будде. Мы можем и не верить в эту легенду. У меня есть друг-японец, дзен-буддист, с которым мы ведем долгие дружеские споры. Я говорил ему, что верю в историческую истинность Будды. Верю, что две с половиной тысячи лет назад жил непальский царевич по имени Сиддхартха, или Гаутама, который стал Буддой, то есть Пробудившимся, Просветленным, в отличие от нас, спящих или видящих долгий сон — жизнь. Мне вспоминается фраза Джойса: «История — это кошмар, от которого я хочу очнуться». Итак, Сиддхартха в возрасте тридцати лет пробудился и стал Буддой.

Со своим другом-буддистом (я не уверен в том, что я христианин, и уверен, что не буддист) я веду спор и говорю ему: «Почему бы не верить в царевича Сиддхартху, родившегося

в Капиловасту за пятьсот лет до начала христианской веры?» Он отвечает мне: «Потому что это совершенно неважно, важно верить в Учение». Он добавляет, следуя скорее фантазии, нежели истине, что верить в историческое существование Будды или интересоваться им было бы чем-то наподобие смешения занятий математикой с биографией Пифагора или Ньютона. Одна из тем для медитаций у монахов в монастырях Китая и Японии — сомнение в существовании Будды. Это одно из сомнений, которое они должны преодолеть, чтобы постичь истину.

Другие религии в большей степени зависят от нашей способности верить. Если мы христиане, то должны верить в то, что из Божественной Троицы один снизошел на землю, чтобы стать человеком, и был распят в Иудее. Если мы мусульмане, то должны верить в то, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Магомет пророк его. Мы можем быть праведными буддистами и отрицать, что Будда существовал. Или, лучше сказать, мы можем думать, должны думать, что наша вера в его историческое существование не важна, важна вера в Учение. Однако легенда о Будде настолько хороша, что нельзя не попытаться пересказать ее.

Французы уделяют особое внимание изучению легенды о Будде. Они руководствуются следующим: житие Будды — это то, что произошло с одним человеком за короткий промежуток времени. Жизнь его могла сложиться тем или иным образом. А легенда о Будде просветила и просвещает миллионы людей. Эта легенда послужила источником множества прекрасных картин, скульптур и поэм. Буддизм представляет собой не только религию, но и мифологию, космологию, метафизическую систему, или, лучше сказать, ряд метафизических систем, противоречащих одна другой.

Легенда о Будде просветляет, но вера в нее необязательна. В Японии утверждают, что Будда не существовал. Но отстаивают Учение. Легенда начинается на небе. На небе некто в течение веков, буквально в течение неисчислимого множества веков, совершенствовался, пока не понял, что в следующем воплощении станет Буддой.

Он выбрал континент, на котором родится. По буддийской космогонии мир разделен на четыре треугольных кон-

тинента, а в центре его золотая гора, гора Меру. Он рождается там, где находится Индия. Он выбрал век, в котором родится, выбрал касту, выбрал мать. Теперь земная часть легенды. Жила царица Майя. Майя означает «мечта». Царице приснился сон, который может показаться странным для нас, но не для индусов.

Царица была замужем за царем Шуддходаной; однажды ей приснился белый слон с шестью клыками, сошедший с золотых гор, который проник ей в левый бок, не причинив боли. Она проснулась; царь созвал своих астрологов, и они объявили, что царица произведет на свет ребенка, который может стать либо властителем мира, либо Буддой — Просветленным, Пробужденным, которому предназначено спасти всех людей. Предусмотрительный царь выбрал первое: ему хотелось, чтобы сын стал властителем мира.

Обратимся к такой детали, как белый слон с шестью клыками. Ольденберг отмечает, что слон в Индии — животное домашнее, обычное. Белый цвет всегда символизирует невинность. Почему клыков шесть? Следует помнить (прибегнем снова к истории), что число шесть, для нас в какой-то мере непривычное и взятое произвольно (мы предпочли бы три или семь), воспринимается по-другому в Индии, где считают, что существует шесть измерений пространства: верх, низ, перед, зад, право, лево. Белый слон с шестью клыками не кажется индусам странным.

Царь созывает своих магов, а царица без мук рождает дитя. Смоковница протягивает к ней ветки, чтобы помочь. Появившись на свет, сын становится на ноги, делает четыре шага на Север, на Юг, на Восток, на Запад и говорит голосом, подобным львиному рыку: «Я — несравненный, это мое последнее рождение». Индусы верят в бесконечное множество предшествующих рождений. Царевич растет, он лучший стрелок, лучший всадник, лучший пловец, лучший атлет, лучший каллиграф, он посрамил всех врачей (здесь можно вспомнить о Христе и врачах). В шестнадцать лет он женился.

Отец знает — ему сказали астрологи, — что сыну грозит опасность стать Буддой, человеком, который спасет всех других, если познает четыре вещи: старость, болезнь, смерть

и аскетизм. Царь помещает сына во дворце, заводит ему гарем — я не назову числа женщин, поскольку оно явно преувеличено — на индусский лад. Впрочем, почему не назвать: восемьдесят четыре тысячи.

Царевич живет счастливо; он не знает о страдании, существующем в мире, от него скрывают старость, болезнь и смерть. В предназначенный день он выезжает на своей колеснице через одни из ворот прямоугольного дворца. Скажем, через северные. Немного проехав, он видит человека, отличного от всех виденных раньше. Он согбен, морщинист, без волос. Едва бредет, опираясь на палку. Царевич спрашивает, что это за человек и человек ли это. Возница отвечает, что это старик и что все мы станем такими, если доживем.

Царевич возвращается во дворец потрясенный. По истечении шести дней он снова выезжает, уже через южные ворота. Он видит в канаве человека, еще более странного, белесого от проказы, с изможденным лицом. Спрашивает, кто этот человек и человек ли это. Это больной, отвечает возница, мы все станем такими, если доживем.

Царевич, еще более обеспокоенный, возвращается во дворец. Спустя шесть дней он снова выезжает и видит человека, который мог бы показаться спящим, если бы не мертвенный цвет кожи. Его несут другие. Царевич спрашивает, кто это. Возница отвечает, что это мертвый и что все мы станем мертвыми, когда проживем достаточно.

Царевич в отчаянии. Три ужасные истины открылись ему: истина старости, истина болезни, истина смерти. Он выезжает в четвертый раз. Видит человека почти нагого, с лицом, исполненным спокойствия. Спрашивает, кто это. Ему отвечают, что это аскет, отказавшийся от всего и достигший благодати.

Царевич, живший в роскоши, решает оставить все. Буддизм предполагает, что аскетизм может оказаться полезным, но лишь после того, как жизнь была испробована. Не считается, что следует начинать с отказа от всего. Нужно познать жизнь до конца и затем отказаться от нее.

Царевич принимает решение стать Буддой. В этот момент ему сообщают новость: его супруга Яшодхара произвела на свет сына. Он восклицает: «Узы окрепли». Это сын, который

привязывает его к жизни, поэтому ребенка назвали Узы. Сиддхартха в своем гареме, он смотрит на прекрасных молодых женщин, а видит их ужасными старухами, пораженными проказой. Он идет в опочивальню супруги. Она спит, держа в объятиях младенца. Он хочет поцеловать ее, но понимает, что, если поцелует, не сможет расстаться с ней, и уходит.

Он ищет учителей. Сейчас мы переходим к той части жизнеописания, которая может оказаться невымышленной. Зачем показывать его учеником наставников, которых он затем покидает? Наставники обучают его аскетизму, в котором он упражняется долгое время. Наконец он падает посреди поля недвижимый, и боги, глядящие на него с тридцати небес, думают, что он умер. Один из них, самый мудрый, говорит: «Нет, он не умер; он будет Буддой». Царевич приходит в себя, идет к ручью, берет немного пищи и садится под священной смоковницей, мы можем назвать ее деревом закона.

Происходит магическое действие, которому имеются соответствия в Евангелиях: борьба с демоном. Имя демона Мара. Нам уже встречалось слово «nightmare» — «демон ночи». Демон владеет миром, но, ощутив опасность, выходит из своего дворца. Струны на его музыкальных инструментах порвались, и вода пересохла в водоемах. Он собирает войско, садится на слона высотой в неизвестно сколько миль, умножает число своих рук, свое оружие, и бросается на царевича. Царевич сидит в сумерках под деревом познания — деревом, выросшим одновременно с ним.

Демон и его войско, состоящее из тигров, львов, верблюдов и чудовищных воинов, осыпают царевича стрелами. Долетая до него, стрелы превращаются в цветы. Они мечут в него горы огня, который становится балдахином над его головой. Царевич медитирует, неподвижный, со скрещенными руками. Возможно, он знает, что подвергается нападению. Он думает о жизни, он достиг нирваны, спасения. После заката солнца демон оказывается разгромленным. Продолжается долгая ночь медитаций; к концу ночи Сиддхартха уже не Сиддхартха, он Будда; он достиг нирваны.

Он решает проповедовать свое учение. Он поднимается, уже спасенный, с желанием спасти остальных. Он произносит

проповедь в Оленьей роще в Бенаресе. Затем другую — об огне, в котором, как он говорит, сгорит все: души, тела, вещи. Примерно в то же время Гераклит Эфесский утверждает, что все есть огонь.

Религия Будды — не аскетизм, для него аскетизм — заблуждение. Человек не должен чрезмерно предаваться ни плотской жизни из-за того, что жизнь плоти низменна, неблагородна, постыдна и горестна, ни аскетизму, который тоже неблагороден и горестен. Он проповедует умеренную жизнь, если следовать теологической терминологии, уже достигнув нирваны, и проживает сорок с лишним лет, которые посвятил проповеди. Он мог стать бессмертным, но выбирает себе момент для смерти, уже обретя множество учеников.

Он умирает в доме кузнеца. Ученики окружают его. Они безутешны. Что им делать без него? Будда говорит им, что он не существует, что он такой же человек, как и они, столь же нереальный и столь же смертный, но что он оставляет им свое Учение. Здесь большое отличие от Христа, который сказал ученикам, что, если двое из них встретятся, он будет с ними третьим. Напротив, Будда говорит своим ученикам: «Вам оставляю мое Учение». То есть он в первой проповеди привел в движение Колесо. Затем следует развитие буддизма. Его формы многочисленны: ламаизм, магический буддизм, махаяна, или большая колесница, которая следует за хинаяной, или малой колесницей, дзен-буддизм Японии.

Я полагаю, что существует два буддизма, на первый взгляд почти одинаковых: тот, который в Китае и Японии, — дзен-буддизм. Все остальное — мифологические выражения, легенды. Некоторые из легенд интересны. Известно, что Будда умел творить чудеса, но, так же как Иисус Христос, он не любил чудес, ему не нравилось творить их. Это казалось ему пошлым хвастовством. Я перескажу одну историю: о сандаловой чаше.

Однажды в одном китайском городе купец приказывает вырезать из куска сандала чашу. Он помещает ее на высоту нескольких бамбуковых стволов, на высоченном намыленном шесте. Обещает отдать сандаловую чашу тому, кто сможет ее достать. Ученые еретики напрасно пытаются добрать-ся до нее. Они хотят подкупить купца, чтобы он сообщил, что

они достигли ее. Купец отказывается, и тут приходит младший ученик Будды. Его имя не упоминается нигде, кроме этого эпизода. Ученик поднимается в воздух, шесть раз облетает вокруг чаши, берет ее и вручает купцу. Когда Будда узнает об этой истории, он приказывает изгнать ученика за то, что тот занимался таким недостойным делом.

Но и сам Будда творил чудеса. Например, чудо вежливости. Будде нужно было пересечь пустыню в полуденный час. Боги со всех тридцати трех небес бросили ему каждый по клочку тени. Будда, дабы не нанести обиды никому из богов, принял образ тридцати трех Будд, так что каждый из богов видел сверху Будду, защищенного тенью, которую он ему бросил.

Среди деяний Будды замечательна парабола стрелы. Один человек ранен в битве и не хочет, чтобы из раны вытащили стрелу. Сначала он узнает имя лучника, к какой касте он принадлежит, из какого материала сделана стрела, где стоял лучник, какова длина стрелы. Пока эти вопросы обсуждаются, он умирает. «Я же, — говорит Будда, — учу вытаскивать стрелу». Что такое стрела? Это Вселенная. Стрела — это идея «я», всего, что засело в нас. Будда говорит, что мы не должны терять время на бесполезные вопросы. Например, конечна или бесконечна Вселенная? Будет ли жить Будда после нирваны или нет? Все это бесполезно, важно вытащить стрелу. Речь идет об изгнании злых духов, о религии спасения.

Будда говорит: «Подобно тому как воды океана имеют лишь один вкус — вкус соли, так и учение мое имеет лишь один вкус — вкус спасения». Религия, которой он учит, огромна, как море, но у нее лишь один вкус — вкус спасения. Конечно, продолжатели теряются (или, возможно, многое находят) в метафизических дискуссиях. Цель буддизма не в этом. Буддист может исповедовать любую религию, оставаясь последователем буддизма. Важно спасение и четыре благородные истины: страдание, истоки страдания, излечение и путь к излечению. В конце достигается нирвана. Порядок истин не имеет значения. Есть мнение, что они соответствуют античной медицинской традиции: болезнь, диагноз, лечение и выздоровление. Выздоровление в данном случае — нирвана.

Теперь мы переходим к самому трудному. К тому, что наш западный ум пытается отместить. К перевоплощению, которое для нас прежде всего поэтическая идея. Переселяется не душа (буддизм отрицает существование души), а карма, представляющая собой судьбу ментального организма, перевоплощающегося бесчисленное множество раз. Эта идея присуща многим мыслителям, прежде всего Пифагору. Пифагор узнал щит, который держал в руках, сражаясь в Троянской войне под другим именем. В десятой книге «Государства» Платон изложил сон Эра. Этот солдат видит души, которые, прежде чем напиться из реки забвения, выбирают себе судьбу. Агамемнон хочет стать орлом, Орфей — лебедем, а Улисс, который иногда называл себя Никто, — самым скромным и самым знаменитым из людей.

У Эмпедокла из Акраганта есть отрывок, где он вспоминает о своих прежних жизнях: «Я был девушкой, был веткой, был оленем и был немой рыбой, которая высовывает голову из моря». Цезарь считает это учением друидов. Кельтский поэт Талиесен говорит, что нет формы во Вселенной, которую бы он не принимал: «Я был полководцем, я был мечом в руке, я был точкой, через которую проходят шестьдесят рек, превращался в пену вод, был звездой, был светом, деревом, словом в книге, книгой». У Дарио есть стихотворение, возможно, самое красивое из всех, которое начинается так: «Я был солдатом, что спал на ложе Клеопатры-царицы...»

Перевоплощение занимает большое место в литературе. Мы находим эту тему и у мистиков. Плотин замечает, что переходить от одной жизни к другой — все равно что спать на разных ложах в разных покоях. Я думаю, что у каждого когда-нибудь бывало ощущение, что схожий момент он пережил в прежних жизнях. В прелестном стихотворении Данте Габриэля Россетти «Sudden Light»¹ есть слова: «I have been here before» — «Я был здесь прежде». Он обращается к женщине, которая принадлежала ему или будет принадлежать ему, и говорит: «Ты уже была моею бесчисленное число раз и будешь моей бесконечно...» Это приводит нас к теории циклов, близкой к буддизму, которую Августин опроверг в труде «О Граде

¹ «Внезапный свет» (англ.).

Божием». Ибо стоикам и пифагорейцам была известна индуистская теория Вселенной, состоящей из бесчисленного числа циклов, которые ограничиваются кальпой. Кальпа находится за пределами человеческого воображения. Представим себе железную стену высотой в шестнадцать миль. Каждые шестьсот лет ангел протирает ее тончайшей бенаресской тканью. Когда ткань очистит стену высотой в шестнадцать миль, минет первый день кальпы, и боги тоже живы, пока длится кальпа, а затем умирают.

История Вселенной разделена на циклы, а в этих циклах есть периоды мрака, в которых либо ничего нет, либо остаются лишь слова Вед. Это слова — архетипы; которые служат для создания вещей. Божественный Брама тоже умирает и рождается вновь. Трогателен момент, когда Брама оказывается в своем дворце. Он вновь родился после одной из кальп, после одного из провалов. Он проходит по пустым комнатам. Думает о других богах. Другие боги появляются по его приказу и думают, что Брама создал их, потому что они были здесь раньше.

Остановимся на таком видении истории Вселенной. В буддизме нет Бога или может быть Бог, но не в этом главное. Главное в нашей вере то, что наша судьба предопределена кармой. Если мне выпало на долю родиться в Буэнос-Айресе в 1899 году, если мне привелось ослепнуть, довелось произнести перед вами сегодня вечером лекцию, — все это действия моей предшествующей жизни. Нет ни одного события в моей жизни, которое не было бы предопределено предшествующей жизнью. Вот это и называется кармой. Карма, как я уже говорил, — ментальная структура, тончайшая ментальная структура.

Мы связаны и взаимосвязаны в каждый момент нашей жизни. Нас связывает не только наша воля, наши действия, наши полусны-полубессонница, наш сон — мы всегда связаны кармой. Когда мы умрем, родится новое существо, которое нашу карму наследует.

Дейссен, ученик Шопенгауэра, которому так нравился буддизм, рассказывал, как он встретил в Индии слепого нищего и посочувствовал ему. Нищий ответил: «Если я родился слепым, то за грехи, совершенные мною в прежней жизни;

то, что я ослеп, справедливо». Люди принимают боль. Ганди возражал против открытия больниц, говоря, что больницы и благотворительность просто оттягивают уплату долгов, что не следует помогать страдающим, они должны страдать в расплату за грехи, а оказанная им помощь задерживает расплату.

Карма — суровый закон, но он обладает любопытной математической последовательностью: если моя теперешняя жизнь целиком определена предыдущей, то та, прежняя, определена предшествующей, эта — еще одной, и так до бесконечности. То есть буква *z* определяется буквой *y*; *y* — буквой *x*; *x* — буквой *v*; *v* — буквой *u*, только у этого алфавита есть конец, но нет начала. Буддисты и индусы вообще верят в существование бесконечности; они полагают, что до текущего момента уже прошло бесконечное время, и, говоря «бесконечное», я не хочу сказать «неопределимое», «неисчислимое», я хочу сказать именно «бесконечное».

Из шести судеб, которые выпадают людям (можно стать духом, растением, животным), самая трудная — быть человеком, и мы должны использовать ее, чтобы достичь спасения.

Будда воображает черепаху на дне моря и плавающий по воде браслет. Раз в шестьсот лет черепаха высовывает голову, и очень редко голова ее всовывается в браслет. И Будда говорит: «Не чаще, чем в случае с черепахой и браслетом, происходит то, что мы становимся людьми. Нужно использовать наше человеческое бытие, чтобы достичь нирваны».

Какова причина страданий, причина жизни, если мы отказались от идеи бога, если нет образа бога, создающего Вселенную? Будда называет это дзен. Слово «дзен» может показаться странным, но давайте сравним его с известными нам словами.

Вспомним, например, о воле Шопенгауэра. Шопенгауэр постигал мир как волю и представление — «Die Welt als Wille und Vorstellung». Существует воля, которая воплощена в каждом из нас и составляет представление о мире. То же мы встречаем и у других философов под иными названиями. Бергсон говорит о жизненном порыве, *élan vital*, Бернард Шоу — о жизненной силе, *life force*, что одно и то же. Но есть и различие: для Бергсона и Шоу *élan vital* — это сила, кото-

рая должна появиться; мы должны думать о мире, создавать мир. Для Шопенгауэра, мрачного Шопенгауэра, и для Будды мир — это сон, мы должны перестать думать о нем, а проникнуть в него можем путем долгих упражнений. Вначале существует страдание, которое должно превратиться в дзен. И дзен создает жизнь, и жизнь эта с неизбежностью несчастлива. Но что значит жить? Жить — это родиться, стареть, болеть, умереть, не говоря о других горестях, среди которых весьма ощутимая, для Будды одна из самых ощутимых, — не быть с теми, кого мы любим.

Мы должны отказаться от страсти. Человек, совершивший самоубийство, навсегда остается в мире снов. Мы должны понять, что мир — это видение, сон, что жизнь есть сон. Но нужно глубоко почувствовать это, достичь путем упражнения в медитации. В буддийских монастырях одно из упражнений состоит в следующем: ученик должен жить, постоянно предаваясь размышлениям. Он должен думать: «Сейчас полдень, сейчас я пересекаю двор, сейчас я встречаюсь с наставником», — в то же время он должен думать, что полдень, двор и наставник нереальны, столь же нереальны, как он сам и его размышления, поскольку буддизм отрицает «я».

Одна из основных преодолеваемых иллюзий — это преодоление «я». Буддизм, таким образом, совпадает с учением Юма, Шопенгауэра, нашего Маседонио Фернандеса. Не существует субъекта, существует ряд ментальных состояний. Если я говорю «я думаю», то совершаю ошибку, поскольку предполагаю постоянный субъект и затем работу этого субъекта, каковой является мышление. Это не так. Следует говорить, указывает Юм, не «думаю», а «думается», как говорят «рассветает». Говоря «рассветает», мы не имеем в виду, что свет совершает действие, нет, просто что-то происходит. Точно так же, как говорят «жарко», «холодно», «рассветает», мы должны говорить, избегая субъекта, «думается», «страдается».

В буддийских монастырях ученики подчинены строгой дисциплине. Они могут покинуть монастырь в любой момент, когда захотят. Даже их имена не записаны — мне говорила Мария Кодама. Новичок, поступивший в монастырь, должен заниматься тяжким трудом. Он засыпает, через четверть часа

его будят; он должен мести, мыть полы; если засыпает, его подвергают физическому наказанию. Он должен все время думать не о своих грехах, а о нереальности всего. Он должен постоянно упражняться, представляя себе нереальность.

Теперь перейдем к дзен-буддизму и к Бодхидхарме. Бодхидхарма был первым миссионером в VI веке. Бодхидхарма переехал из Индии в Китай и был принят императором, который поощрял буддизм, создавая новые монастыри и святилища. Он сообщил Бодхидхарме об увеличении числа монахов-буддистов. Тот ответил: «Все принадлежащее миру — иллюзия, монастыри и монахи столь же нереальны, как ты и я». Затем он повернулся к стене и принялся медитировать.

Учение достигает Японии и делится на различные секты. Самая известная из них — это дзен. В дзене был найден способ достичь просветления. Он действует после долгих лет медитаций. Просветление наступает внезапно, к нему нельзя прийти через построение ряда силлогизмов. Человек должен вдруг постичь истину. Способ называется сатори и представляет собой внезапное действие, не имеющее ничего общего с логикой.

Мы всегда рассуждаем в терминах «субъект», «объект», «причина», «результат», «логический», «алогичный», «нечто и его противоположность»; нужно выйти за пределы этих категорий. Согласно теоретикам дзена, истина постигается внезапным озарением, через лишенный логики ответ. Ученик спрашивает учителя, кто есть Будда. Учитель отвечает: «Кипарис — это сад». Ответ настолько алогичен, что может пробудить истину. Ученик спрашивает: почему Бодхидхарма пришел с Запада. Учитель отвечает, например: «Три фунта льна». Эти слова не содержат аллегорического смысла, это бессмысленный ответ, способный вдруг пробудить интуицию. Это может быть и удар. Ученик что-то спрашивает, а учитель отвечает ему ударом. Существует история, разумеется легендарная, о Бодхидхарме.

Бодхидхарму сопровождал ученик, который задавал ему вопросы, а Бодхидхарма никогда не давал ему ответа. Ученик пробовал медитировать, а спустя какое-то время отсек левую руку и представил ее учителю как свидетельство того, что хочет быть его учеником. В доказательство своих намерений он

нарочно искалечил себя. Учитель, не обратив внимания на его поступок, который, в конце концов, был действием физическим, иллюзорным, спросил: «Чего ты хочешь?» Ученик ответил: «Я долгое время искал свой разум и не нашел его». Учитель сказал: «Ты не нашел его, потому что его не существует». Тут ученик постиг истину, понял, что не существует «я», что все нереально. Здесь перед нами предстает в большей или меньшей степени то, что в буддизме главное.

Очень трудно толковать религию, особенно религию, которую не исповедуешь. Я думаю, важно представлять себе буддизм не как собрание легенд, а как дисциплину; дисциплину, для нас достижимую, которая не требует аскетизма. Она позволяет не отказываться от плотской жизни. Что от нас требуется — это медитация, медитация не о совершенных грехах, а о прошлой нашей жизни.

Одна из тем для медитации в дзен-буддизме о том, что наша прошлая жизнь была иллюзорной. Если бы я был буддийским монахом, я бы думал сейчас, что только начинаю жить, что вся прежняя жизнь Борхеса — сон, что вся история Вселенной была сном. Путем упражнений интеллектуального порядка мы освобождаемся от дзена. Однажды, когда мы поймем, что «я» не существует, мы перестанем думать, что «я» должно быть счастливо или что наш долг сделать его счастливым. Мы достигаем спокойствия. Я не хочу этим сказать, что нирвана равна размышлению; а доказательство этого есть в легенде о Будде. Будда под священной смоковницей достиг нирваны и однако продолжал жить и проповедовать свою веру в течение многих лет.

Что означает достичь нирваны? Это просто значит, что наши деяния уже не отбрасывают тени. Пока мы находимся в этом мире, мы подвержены карме. Каждое наше действие определяется ментальной структурой, которая зовется кармой. Когда мы достигаем нирваны, наши действия уже не дают тени, мы свободны. Святой Августин говорил, что, когда мы достигаем спасения, нам незачем думать о добре и зле. Мы творим добро, не думая о нем.

Что такое нирвана? Внимание к буддизму на Западе в большей мере привлечено этим красивым словом. Кажется невозможным, чтобы слово «нирвана» не заключало в себе

нечто драгоценное. Что такое нирвана буквально? Уничтожение, угасание. Считается, что, когда кто-нибудь достигает нирваны, он угасает. Но когда человек умирает, совершается великий переход в нирвану, уничтожение. Напротив, один австрийский ориенталист замечает, что Будда использует физику своего времени и идея уничтожения была тогда иной, чем сейчас: поскольку имелось в виду пламя, говорилось об угасании, а не исчезновении. Полагали, что пламя продолжает жить, что оно пребывает в другом состоянии, и слово «нирвана» не означает неизбежного уничтожения. Это может означать, что мы следуем другим путем, непостижимым для нас. Вообще метафоры мистиков знаменательны, но метафоры буддистов отличны от них. Когда идет речь о нирване, не говорится о вине нирваны, или о розе нирваны, или об объятиях нирваны. Ее сравнивают, скажем, с островом. С надежным островом среди бурь. Ее сравнивают с высокой башней, с садом, с чем-то существующим отдельно от нас.

То, что я рассказал вам, отрывочно. Неразумно было бы полагать, что учение, которому я посвятил столько лет — и в котором на самом деле не так много понял, — могло быть представлено наподобие музейного экспоната. Для меня буддизм не музейный предмет — это путь к спасению. Не для меня — для миллионов людей. Это самая распространенная религия в мире, и я надеюсь, что отнесся к ней с глубочайшим почтением, читая сегодня вечером лекцию.

Вечер пятый ПОЭЗИЯ

Дамы и господа!

Ирландский пантеист Иоанн Скот Эриугена говорил, что Священное Писание содержит бесконечное множество смыслов, и сравнивал его с развернутым павлиньим хвостом. Столетия спустя один из испанских каббалистов сказал, что Бог создал Писание для каждого из жителей Израиля и, следовательно, существует столько Библий, сколько чтецов Библий. С этим вполне можно согласиться, если вспомнить, кто творец Библии и судеб каждого из ее чтецов. Можно счесть два этих суждения — Эриугены о переливающемся павлиньем хвосте и испанского каббалиста о множестве Библий — примерами кельтской фантазии и восточного вымысла. Я возьму на себя смелость сказать, что они верны не только по отношению к Писанию, но и к любой книге, достойной того, чтобы ее перечитывать.

Эмерсон называл библиотеку магическим кабинетом со множеством зачарованных духов. Они возвращаются к жизни, когда мы вызываем их; пока мы не откроем книгу, они буквально физически представляют собой том — один из многих. Когда же мы открываем книгу, когда она встречается со своим читателем, происходит явление эстетическое. И даже для одного и того же читателя книга меняется; следует добавить: поскольку мы меняемся, поскольку сами мы (возвращаясь к цитированному изречению) подобны реке Гераклита, сказавшего, что вчера человек был иным, чем сегодня, а сегодня — иной, чем станет завтра. Мы беспрестанно меняемся, и можно утверждать, что каждое прочтение книги, каждое ее перечитывание, каждое воспоминание о перечитывании создают новый текст. А сам текст оказывается меняющейся Гераклитовой рекой.

Так можно прийти к теории Кроче, вероятно, не самой глубокой, но, безусловно, наименее вредной, к мысли, что литература — это выразительность. А это приводит нас к другой его теории, о которой, как правило, не помнят: если литература — это выразительность, литература, оперирующая словами, то и язык — явление эстетическое. Это следует отметить — концепцию языка как эстетического явления. Теорию Кроче почти никто не признает, но все постоянно применяют.

Когда мы говорим, что испанский — звучный язык, что в английском звуки чрезвычайно разнообразны, что к неповторимому достоинству латыни стремятся все языки, возникшие позже, мы применяем к языкам эстетические категории. Ошибаются те, кто полагает, что язык соответствует действительности, тому таинственному, что именуется ею. На самом деле язык — это совсем другое.

Представим себе желтый предмет, светящийся, меняющий форму; иногда мы видим его на небе круглым, иногда он похож на серп, он то увеличивается, то уменьшается. Некто — нам никогда не узнать его имени, — наш предок, общий наш предок дал этому предмету имя «луна» в различных языках разное, в каждом по-своему удачное. Я бы сказал, что греческое слово «селена» слишком сложно для луны, а в английском «moon» есть нечто, придающее слову медлительность, подобающую луне, напоминающее луну, почти круглое, поскольку слово начинается едва ли не тою же буквой, которой кончается. Между тем слово «луна» — прекрасное слово, унаследованное нами от латыни, прекрасное слово, общее для нашего языка и итальянского, — состоит из двух слогов, двух частей; возможно, этого слишком много. Португальское «lua» кажется менее удачным; во французском «lune» кроется нечто таинственное.

Поскольку мы говорим на кастильском наречии, обратимся к слову «луна». Представим себе, что кто-то однажды придумал это слово. Почему бы нам не задуматься о первом человеке, который произнес слово «луна», звучащее так или по-другому.

Существует метафора, которую я не однажды цитировал (простите мне мои повторы, ведь моя память — это память

старика семидесяти с лишним лет), персидская метафора, в которой луна именуется зеркалом времени. В выражении «зеркало времени» ощутима и хрупкость луны, и ее вечность. В нем отражено противоречие луны, почти прозрачной, почти несуществующей, мериллом которой служит вечность.

По-немецки слово «луна» мужского рода. Поэтому Ницше мог сказать, что луна — монах, который завистливо разглядывает землю, или кот, расхаживающий по звездному ковру. Грамматический род слова тоже может послужить поэзии. «Луна» или «зеркало времени» — два эстетических явления, но последнее — явление «двухступенчатое», поскольку «зеркало времени» — словосочетание, а слово «луна», возможно, полнее воплощает идею светила. Каждое слово — это поэтическое произведение.

Принято считать, что проза ближе к реальности, чем поэзия. Мне думается, это заблуждение. Существует высказывание, приписываемое новеллисту Орасио Кирогге, из которого следует, что если свежий ветер дует на рассвете, то так и следует писать: «Свежий ветер дует на рассвете». Думается, Кирогга, если он это сказал, забыл, что такое построение столь же далеко от действительности, как свежий ветер, дующий на рассвете. Что мы ощущаем? Мы чувствуем движение воздуха, именуемое ветром; знаем, что этот ветер начинает дуть в определенное время, на рассвете. И из этого мы строим нечто, не уступающее по сложности стихотворению Гонгоры или фразе Джойса. Вернемся к предложению: «Ветер дует на рассвете». Найдем подлежащее — ветер, сказуемое — дует, обстоятельство времени — на рассвете. Все это далеко от действительности, действительность проще. Эта фраза, очевидно, прозаическая, умышленно прозаическая и обыкновенная, выбранная Кироггой, представляет собой сложное построение.

Возьмем известную строчку Кардуччи: «Молчание зеленое полей». Можно подумать, что произошла ошибка и Кардуччи поставил эпитет не на то место; следовало бы написать: «Молчание полей зеленых». Он схитрил или, следуя правилам риторики, переставил слова и написал о зеленом

молчании полей. Обратимся к впечатлениям от реальности. Каковы они? Мы ощущаем множество вещей сразу (слово «вещь», пожалуй, тяжеловато). Мы ощущаем поле, огромное пространство, чувствуем зелень и тишину. И то, что существует слово для обозначения молчания, — явление эстетическое. Поскольку молчание относится к действующим объектам, молчит человек или молчит поле. Назвать «молчанием» отсутствие шума в поле — это эстетическое построение, и в свое время оно, безусловно, было дерзостью. Фраза Кардуччи — «молчание зеленое полей» — в той же мере далека от действительности или близка к ней, что и «молчание полей зеленых».

Возьмем другой известный пример нарушения порядка слов — непревзойденный стих Вергилия: «Ibant obscuri sub nocte per umbram» — «Шли незримо они одинокою ночью сквозь тени».

Оставим «per umbram», сочетание, которым заканчивается стих, и обратимся к «шли незримо они (Эней и Сивилла) одинокою ночью» («одинокою» в латинском сильнее, так как идет перед «sub»). Можно подумать, слова перепутаны, правильнее было бы сказать: «Шли они одиноко темною ночью». Хотя если мы попробуем воссоздать образы, представим себе Энея и Сивиллу, то увидим, что в нашем воображении мало чем отличается «шли незримо они одинокою ночью» от «шли они одинокою темною ночью».

Язык — эстетическое явление. Думаю, в этом нет сомнения, а одним из доказательств служит то, что при изучении языка, когда мы рассматриваем слова вблизи, то видим, красивы они или нет. Мы как бы приближаем к слову увеличительное стекло, раздумываем, красиво ли оно, безобразно или тяжеловесно. Ничего подобного не происходит в родном языке, где мы не вычленим из речи отдельные слова.

Поэзия, говорит Кроче, — это выразительность, если выразителен стих, если всякая часть стихотворения, состоящая из слов, выразительна сама по себе. Вы скажете, что это расхожая мысль, известная всем. Не знаю, известна ли; мне кажется, мы считаем, что она нам известна, потому что справедлива. Дело в том, что поэзия — это книга из библиотеки или магического кабинета Эмерсона.

Поэзия — это встреча читателя с книгой, открытие книги. Существует другой эстетический момент — когда поэт задумывает произведение, когда он открывает, придумывает произведение. Насколько я помню, в латыни слова «придумывать» и «открывать» — синонимы. Это соответствует платоновской теории, которая гласит, что открывать, придумывать — значит вспоминать. Фрэнсис Бэкон добавляет, что если обучаться — значит вспоминать, то не знать — это уметь забывать; все существует, мы только не умеем видеть.

Когда я что-то пишу, то чувствую, что это существовало раньше. Я иду от общего замысла, мне более или менее ясны начало и конец, а потом я пишу середину, но мне не кажется, что это мой вымысел, я ощущаю, что все так обстоит на самом деле. Именно так, но оно скрыто, и мой долг поэта обнаружить его.

Брэдли говорил, что поэзия оставляет впечатление не открытия чего-то нового, а появления в памяти забытого. Когда мы читаем прекрасное стихотворение, нам приходит в голову, что мы сами могли написать его, что стихотворение существовало в нас раньше. Это приводит на память Платоново определение поэзии: легкая, крылатая, священная. Легкой, крылатой, священной могла бы быть музыка (если не считать, что поэзия — род музыки). Платон сделал нечто большее, чем определил поэзию: он дал нам образец поэзии. Мы можем прийти к мысли, что поэзия — эстетический опыт; это совершенно новое в преподавании поэзии.

Я был профессором английской литературы на факультете философии и словесности университета Буэнос-Айреса и пытался по возможности обойти историю литературы. Когда студенты спрашивали у меня библиографию, я отвечал: «Библиография не имеет значения; в конце концов, Шекспир не подозревал о существовании шекспировской библиографии». Джонсон не имел понятия о книгах, которые будут о нем написаны. «Почему не обратиться прямо к текстам? Если эти тексты доставят вам радость, прекрасно; если они вам не нравятся, оставьте их; идея обязательного чтения абсурдна, с таким же успехом можно говорить о принудительном счастье. Я полагаю, что поэзия — нечто

ощутимое, и, если вы не чувствуете поэзии, не ощущаете красоты, если рассказ не вызывает у вас желания узнать, что случилось дальше, этот писатель пишет не для вас. Отложите его книги в сторону, литература достаточно богата, чтобы в ней нашелся писатель, достойный вашего внимания или не привлекавший вашего внимания сегодня, но которого вы прочтете завтра».

Так я учил, основываясь на эстетическом явлении, которое еще не получило определения. Эстетическое явление — это нечто столь же очевидное, столь же непосредственное, столь же неопределимое, как любовь, вкус плодов, вода. Мы чувствуем поэзию, как близость женщины, ощущаем, как утро и залив. Если мы чувствуем поэзию непосредственно, зачем разбавлять ее словами, несомненно, более слабыми, чем наши чувства?

Люди, слабо ощущающие поэзию, как правило, берутся преподавать ее. Я думаю, что ощущаю поэзию, и думаю, что не обучал ей; я не учил любви к тому или иному тексту; я учил своих студентов любить литературу, видеть в ней счастье. Я почти не способен к отвлеченным рассуждениям, вы уже могли заметить, что я постоянно опираюсь на цитаты и воспоминания. Не рассуждая о поэзии отвлеченно, чем можно было бы заняться от лени и скуки, мы можем взять тексты на испанском языке и рассмотреть их.

Я выбрал два очень известных текста, поскольку, как уже говорил, память моя не верна и я предпочитаю текст, хранящийся в вашей памяти. Рассмотрим известный сонет Кеведо, написанный в память дона Педро Тельеса Хирона, герцога Осуны. Я прочту его медленно, а затем разберем строку за строкой.

Faltar pudo su patria al grande Osuna,
pero no a su defensa sus hazañas;
diéronle muerte y cárcel las Españas,
de quien él hizo esclava la Fortuna.

Lloraron sus invidias una a una
con las propias naciones las extrañas;
su tumba son de Flandres las campañas,
y su epitafio la sangrienta Luna.

En sus exequias encendió al Vesubio
Parténope y Trinacria al Mongibelo;
el llanto militar creció en diluvio.

Dióle el mejor lugar Marte en su cielo;
la Mosa, el Rhin, el Tajo y el Danubio
murmuran con dolor su desconsuelo¹.

Прежде всего я хочу отметить, что это стихотворение — слово в пользу подзащитного. Поэт защищает герцога Осу-ну, о котором в другом стихотворении пишет: «Умер в тюрьме, и мертвый был узником».

Поэт говорит, что герцог совершил в честь Испании ратные подвиги, а она отплатила ему узилищем. Эти доводы неполны, поскольку нет никакого объяснения тому, что герой невиновен или не может быть покаран. Однако

Faltar pudo su patria al grande Osuna,
pero no a su defensa sus hazañas;
diéronle muerte y cárcel las Españas,
de quien él hizo esclava la Fortuna —

представляет собой демагогическое высказывание. Хочу сказать, что не хвалю и не ругаю сонет, а пытаюсь проанализировать его.

Lloraron sus invidias una a una
con las propias naciones las extrañas.

Эти две строки не самые поэтичные, они обусловлены формой сонета и, кроме того, необходимостью рифмы. Кеведо использовал сложную форму итальянского сонета с четырьмя

¹ Родине будет недоставать великого Осуны,
но ему не стали защитой его подвиги,
Испания, для которой он сделал рабой Фортуны,
дала ему тюрьму и смерть.

Плачут о нем
и свой народ, и другие,
его могила — поля Фландрии,
его эпитафия — кровавый полумесяц.
На его похороны Везувий зажег
Партенопею, а Тринакрию — Монджибелло;
военный плач перерастает в потоп.
Лучшее место отвел ему Марс на небе.
Мозель, Рейн, Тахо и Дунай
безутешно плачут о своей печали (исп.).

рифмами. Шекспир предпочитал более легкий елизаветинский сонет с двумя рифмами. Кеведо продолжает:

su tumba son de Flandres las campañas,
y su epitafio la sangrienta Luna.

Это самое главное. Своим великолепием эти строчки обязаны неоднозначности. Мне вспоминается масса споров по поводу понимания этих строк. Что значит «его могила — поля Фландрии»? Можно себе представить поля Фландрии, военные походы герцога. «Его эпитафия — кровавый полумесяц» — один из самых запоминающихся испанских стихов. Что он значит? Мы думаем о кровавой луне Апокалипсиса, о красноватой луне над полем битвы, но существует еще один посвященный герцогу Осуне сонет Кеведо, в котором говорится: «A las lunas de Tracia con sangriento / eclipse ya rubrica tu jornada»¹. Кеведо имел в виду прежде всего османский флаг; кровавая луна — это красный полумесяц. Я думаю, мы согласимся не отвергать ни одно из толкований; не станем утверждать, что Кеведо повествует о военных походах, или послужном списке герцога, или о кровавой луне над полем битвы, или о турецком флаге. Кеведо не исключает разные прочтения. Стихи хороши именно неоднозначностью.

Затем:

En sus exequias encendio al Vesubio
Parténope y Trinacria al Mongibelo.

Иначе Везувий зажег бы Неаполь, а Этна — Сицилию. Как редко увидишь эти старинные названия, которые, кажется, очищают от наслоений знаменитые имена прошлого. И

el llanto militar creció en diluvio.

Вот еще одно доказательство того, как различны поэзия и рациональный подход; солдаты, слезы которых образуют потоп, кажутся невероятными. Но не в стихах, где свои законы. «Военный плач», именно военный, поразителен. Военный — странное определение к слову «плач».

¹ На луну Фракии кровавым затмением ложатся твои походы (исп.).

Затем:

Dióle el mejor lugar Marte en su cielo.

И этой строки нельзя понять, руководствуясь логикой; нет повода думать, что Марс поместит герцога Осуну рядом с Цезарем. Фраза держится на инверсии. Это пробный камень поэзии: стихотворение существует вне смысла.

la Mosa, el Rhin, el Tajo y el Danubio
murmuran con dolor su desconsuelo.

Я назвал бы эти строки, пленявшие меня столько лет, совершенно лживыми. Кеведо пытается убедить нас, что героя оплакивают места, где он сражался, и прославленные реки. Мы чувствуем ложь, лучше было бы сказать правду, как Вордсворт, который в конце сонета порицает Дугласа за то, что тот нанес урон лесу. И, говоря, что совершенное Дугласом по отношению к лесу ужасно, что он уничтожил благородное воинство, «братство почтенных деревьев», добавляет, что нас огорчает зло, самой природе безразличное, поскольку река Твид, и зеленые луга, и холмы продолжают существовать. Он чувствует, что достигнет большего эффекта, говоря правду. Действительно, нас огорчает гибель прекрасных деревьев, а самой природе это безразлично. Природа знает (если есть существо, именуемое природой), что взрастит новые деревья, что река продолжит свой бег.

Для Кеведо важна известность рек. Может быть, мысль, что рекам, на которых сражался Осуна, безразлична его гибель, была бы еще более поэтической. Но Кеведо хочет написать элегию, стихотворение о смерти человека. Что такое смерть человека? Вместе с ним умирает неповторимое лицо, как заметил Плиний. Неповторимо лицо каждого человека, вместе с ним умирают тысячи событий, тысячи воспоминаний. Воспоминания детства и человеческие, слишком человеческие черты. Кеведо, кажется, не ощущает ничего подобного. В тюрьме умирает его друг герцог Осуна, и Кеведо пишет этот холодноватый сонет; мы чувствуем безразличие поэта. Сонет написан как выступление в пользу подзащитного против государства, заключившего герцога в тюрьму. Похоже, герцог не дорог ему; во всяком случае, он не становится дорог нам. Тем не менее это один из самых замечательных испанских сонетов.

Перейдем к другому сонету, написанному Энрике Банчсом. Было бы нелепостью утверждать, что Банчс — поэт лучше, чем Кеведо. Да и есть ли смысл в таких сравнениях?

Рассмотрим сонет Банчса, в котором так видна его доброжелательность:

Hospitalario y fiel en su reflejo
donde a ser apariencia se acostumbra
el material vivir, está el espejo
como el claro de la luna en penumbra.

Pompa le da en las noches la flotante
claridad de la lámpara, y tristeza
la rosa que en el vaso agonizante
también en él inclina la cabeza.

Si hace doble al dolor, también repite
las cosas que me son jardín del alma
y acaso espera que algún día habite

en la ilusión de su azulada calma
el Huésped que le deje reflejadas
frentes juntas y manos enlazadas¹.

Это очень любопытный сонет, потому что героем его оказывается не зеркало: здесь есть скрытый герой, который под конец обнаруживается. Начнем с темы сонета, столь поэтичной: зеркало, удваивающее все видимое:

donde a ser apariencia se acostumbra
el material vivir...

Вспомним Плотина. Хотели нарисовать его портрет, а он отказался: «Я сам тень архетипа, существующего на небе.

¹ Гостеприимное и верное в отражении,
где живое привычно становится кажущимся,
зеркало подобно
светлой луне в полумраке.
Плывущий свет лампы ночью
ему придает торжественность,
а грусть — роза, умирающая в вазе,
склонившая голову.
Оно удваивает печаль и повторяет
то, что цветет в моей душе,
и, может быть, ждет, что когда-нибудь
появится в призрачной синеватой тишине
Гость, и тогда оно отразит
лица рядом и сплетенные руки (*исп.*).

Зачем создавать тень тени?» Искусство, полагал Плотин, вторичная видимость. Если человек столь хрупок, недолговечен, как может пленять его изображение? Это же чувство-вал Банчс: он ощущал призрачность зеркала.

В самом деле, в существовании зеркал есть нечто страшное: зеркала почти всегда повергали меня в ужас. Думаю, нечто подобное ощущал По. Существует его малоизвестная работа об убранстве комнат. Он считает необходимым размещать зеркала таким образом, чтобы они не отражали сидящего человека. Это обнаруживает его страх увидеть себя в зеркале. То же мы замечаем в его рассказе «Вильям Вильсон» об отражении и в рассказе об Артуре Гордоне Пиме. Неподалеку от Антарктиды живет некое племя; человек из этого племени, впервые увидев себя в зеркале, упал, пораженный страхом.

Мы привыкли к зеркалам, тем не менее в этом видимом удвоении есть нечто пугающее. Вернемся к сонету Банчса. Определение «гостеприимный», отнесенное к человеку, оказалось бы избитым. Но нам не приходило в голову, что гостеприимными могут быть зеркала. Зеркало вбирает в себя всю тишину приветливо и смиренно:

Hospitalario y fiel en su reflejo
donde a ser apariencia se acostumbra
el material vivir, está el espejo
como el claro de la luna en penumbra.

Мы видим зеркало, тоже блистающее, и вдобавок поэт сравнивает его с недостижимой луной. Он чувствует в зеркале нечто волшебное и странное, подобное «светлой луне в полумраке».

Затем:

Pompa le da en las noches la flotante
claridad de la lámpara...

«Плывущий свет» делает вещи нечеткими; все размыто, как в зеркале полумрака. Очевидно, время действия — вечер или ночь.

Итак:

...la flotante
claridad de la lámpara, y tristeza
la rosa que en el vaso agonizante
también en él inclina la cabeza.

Теперь перед нами на нечетком фоне роза, ясно очерченная.

Si hace doble al dolor, también repite
las cosas que me son jardín del alma
y acaso espera que algún día habite

en la ilusión de su azulada calma
el Huésped que le deje reflejadas
frentes juntas y manos enlazadas.

Здесь мы сталкиваемся с темой сонета, которая оказывается не зеркалом, а любовью, робкой, застенчивой любовью. Не зеркало ждет, что увидит приблизившиеся друг к другу лица и сплетенные руки, а поэт. Но смущение заставляет его говорить не впрямую, и это изумительно построено, потому что с самого начала возникает «гостеприимное и верное», с самого начала зеркало не из стекла или металла. Зеркало — это человеческое существо, гостеприимное и верное, и мы привыкаем к тому, что перед нами иллюзорный мир, который под конец отождествляется с поэтом. Этот поэт хочет увидеть гостя, любовь.

Этот сонет по сути своей отличен от сонета Кеведо, а живое присутствие поэзии мы чувствуем в других строках последнего:

su tumba son de Flandres las campanas
y su epitafio la sangrienta Luna.

Я уже говорил о языках и о том, что сравнивать один язык с другим несправедливо; по-моему, доказательств достаточно, и если нам придет в голову стихотворение, одна строфа по-испански, если мы вспомним:

quién hubiera tal ventura
sobre las aguas del mar
como hubo el conde Arnaldos
la mañana de San Juan¹, —

то поймем, что дело не в том, как повезло кораблю, и не в графе Арнальдосе, мы почувствуем, что эти стихи могли быть сказаны только по-испански. Звучание французского

¹ Кто еще так счастлив
на морских волнах,
как граф Арнальдос
в день Святого Хуана (*исп.*).

не радует меня, на мой взгляд, ему не хватает полноразнозначности других романских языков, но можно ли думать плохо о языке, на котором созданы такие замечательные строки, как стих Гюго: «L'hydre-Univers tordant son corps écaillé d'astres»?¹ Как критиковать язык, без которого не было бы подобных строк?

Недостаток английского языка видится мне в том, что он потерял открытые гласные староанглийского. Несмотря на это, он дал Шекспиру возможность написать:

And shake the yoke of inauspicious stars
From this worldweary flesh, —

что в переводе звучит неудачно: «и отрясти с нашей плоти, пресытившейся миром, иго несчастливых звезд». По-испански это ничто, по-английски — все. Если бы мне пришлось выбирать язык (хотя нет никаких причин не предпочесть все сразу), это оказался бы немецкий с его способностью образовывать сложные слова больше, чем в английском, с открытыми гласными и чудесной музыкой. Что касается итальянского, достаточно «Комедии».

Никого не удивляет красота, рассыпанная по разным языкам. Мой учитель, прекрасный еврейско-испанский поэт Рафаэль Кансинос-Ассенс, рассказал мне такую молитву: «О Господи, пусть не будет так красиво», а у Браунинга встречаем: «Когда мы чувствуем себя совершенно уверенно, происходит нечто — закат солнца, финал хора Еврипида, и мы снова в растерянности».

Красота подстерегает нас. Если мы обладаем способностью чувствовать, то ощутим ее в поэзии на любом языке.

Мне следовало больше заниматься восточными литературами; я представляю их себе только по переводам. Но я ощутил воздействие их красоты. Например, строка персидского поэта Хафиза: «Лечу, прах мой будет мною». Здесь заключено все учение о переселении душ — «прах мой будет мною», — я появлюсь на свет еще раз, в другом веке, буду Хафизом, поэтом. Все это выражено в нескольких словах, которые я читал по-английски, но вряд ли они сильно разнятся от персидских.

¹ Вселенная-гидра сворачивает кольцами тело, покрытое чешуею звезд (франц.).

«Прах мой будет мною» — сказано слишком просто, чтобы подвергнуться изменениям.

Я думаю, изучать литературу с исторической точки зрения ошибочно, хотя, возможно, для нас, и для меня в том числе, другого пути быть не может. Существует книга прекрасного, по моему мнению, поэта и плохого критика Марселино Менендеса-и-Пелайо, которая носит название «Сто лучших испанских стихотворений». Мы прочтем в ней: «*Ande yo caliente y ríase la gente*»¹. Если это одно из лучших стихотворений, то каковы те, что похуже? Но в этой книге мы видим стихи Кеведо, которые я цитировал, и «Послание» севильского анонима, и множество других замечательных стихов. К сожалению, нет ни одного стихотворения Менендеса-и-Пелайо, себя в свою антологию не включившего.

Красота существует везде и, возможно, всегда. Мой друг Рой Бартоломью, который провел несколько лет в Персии и переводит Хайяма прямо с фарси, сообщил мне то, что я и предполагал: что на Востоке в целом не изучают ни литературу, ни философию с исторической точки зрения. Именно это поражало Дейссена и Макса Мюллера, которые не могли составить хронологического списка авторов. История философии изучается как, скажем, если бы Аристотель вел диспуты с Бергсоном, Платон с Юмом, — все одновременно.

В заключение мне хочется привести три молитвы финикийских моряков. Когда корабль уже почти уходит под воду — дело происходит в первом веке нашей эры, — они читают одну из трех молитв. Первая звучит так: «Мать Карфагена, возвращаю весло». Мать Карфагена — это город Тир, откуда родом Дидона. Затем — «возвращаю весло». Это необыкновенно. Финикиец видит жизнь только как гребец. Его жизнь окончена, и он возвращает весло, чтобы продолжали грести другие.

Другая молитва, еще более волнующая: «Засыпаю, затем снова примусь грести». Человек не представляет судьбы и приближается к мысли о циклическом времени.

¹ Если я хожу сердитый, все кругом хохочут (*исп.*).

И наконец, последняя, в высшей степени трогательная, она отличается от других, поскольку в ней нет принятия судьбы; это отчаянный шаг человека, который должен умереть и предстать перед судом ужасных богов. Он говорит: «Бог, суди меня не как бог, а как человек, которого поглотило море».

В этих трех молитвах мы непосредственно чувствуем — или я чувствую — присутствие поэзии. Именно в них эстетическое явление, а не в библиотеках и библиографиях и не в изучении множества рукописей или труднейших томов.

Я прочел три молитвы финикийских моряков из рассказа Киплинга «The Manner of Men»¹, рассказа о Святом Павле. Подлинны ли они, по не слишком удачному выражению, или их написал Киплинг, великий поэт? Задав вопрос, я почувствовал неловкость: разве есть смысл выбирать? Рассмотрим обе возможности, обе части дилеммы.

В первом случае речь идет о молитвах финикийских моряков, людей моря, которые представляли себе жизнь лишь в море. Из финикийского языка, скажем, они перешли в греческий, оттуда — в латынь, из латыни — в английский. Киплинг их заново написал.

Во втором случае большой поэт Редьярд Киплинг воображает финикийских моряков, каким-то образом сближается с ними, становится ими. Он представляет себе жизнь как жизнь моря и вкладывает в уста моряков эти молитвы. Все ушло в прошлое: безымянные моряки умерли. Киплинг умер. Какая разница, кто из призраков написал и придумал эти стихи?

Любопытная метафора индусского поэта — не знаю, смогли я вполне оценить ее, — гласит: «Гималаи, высокие горы Гималаи (вершины которых, по словам Киплинга, колени других гор), Гималаи — это улыбка Шивы». Высокие горы — улыбка бога, грозного бога. Метафора по меньшей мере поразительная.

Я чувствую красоту физически, как нечто осязаемое, всем телом. Это не следствие рассуждений, мы не постигаем красоту по законам, мы ощущаем ее или не ощущаем.

¹ «Род человеческий» (англ.).

Я хочу закончить строчкой стихов поэта XVI века, выбравшего себе необыкновенно поэтическое имя Ангелус Силезиус. Эта строка будет итогом всего сказанного сегодня вечером, если не считать моих рассуждений или как бы рассуждений; я произнесу ее сначала в переводе, а затем по-немецки, чтобы вы услышали:

Роза не спрашивает «почему»; она цветет, потому что цветет.

Die Roze est ohne warum; sie blühet weil sie blühet.

Вечер шестой КАББАЛА

Дамы и господа!

В основе различных, а иногда противоречащих друг другу теорий, известных под названием каббалы, лежит понятие, совершенно чуждое нашему западному мышлению, — понятие священной книги. Считается, что у нас существует подобное понятие — классическая книга. Думаю, мне несложно будет показать, прибегнув к помощи Освальда Шпенглера и его книги «Закат Европы», что эти понятия совершенно различны. Возьмем слово «классический». Какова его этимология? «Классический» восходит к слову «classis» — «фрегат», «эскадра». Классическая книга — приведенная в порядок, оснащенная, «shipshape», как говорят англичане. Наряду с этим скромным значением классическая книга обозначает выдающуюся в своем роде. Так, мы называем «Дон Кихота», «Комедию», «Фауста» классическими произведениями.

Несмотря на то что культ этих книг почти беспределен, само понятие иное. Греки считали классикой «Илиаду» и «Одиссею». Александр, по словам Плутарха, всегда держал под подушкой меч и «Илиаду» — два символа своей воинской судьбы. Однако никто из греков не считал, что «Илиада» совершенна в каждом своем слове. В Александрии библиотекари собирались, чтобы изучать «Илиаду», и в ходе изучения придумали столь необходимые знаки препинания (которые сейчас, к сожалению, забыты). «Илиада» была выдающейся книгой, ее считали вершиной поэзии, но при этом не думали, что каждое слово, каждая строка в ней превосходны. Это совершенно другой подход.

Гораций говорит: «Иногда и Гомер дремлет». Но никто не скажет, что иногда спит и Святой Дух.

Не касаясь богини, английский переводчик передаст слова Гомера: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»

как «An angry man, this is my subject», относясь к тексту не как к книге, непревзойденной в каждой букве, а как к чему-то неизменяемому, рассматривает его с исторической точки зрения; классические произведения изучались и изучаются в историческом плане, они находятся в контексте. Понятие священной книги совершенно иное.

Сейчас мы рассматриваем книгу как инструмент, пригодный, чтобы оправдать, защитить, опровергнуть, развить или обосновать теорию. В античности считалось, что книга — суррогат устной речи, к ней относились только так. Вспомним фрагмент из Платона, где он говорит, что книги подобны статуям; они кажутся живыми, но если их спросить о чем-то — не могут ответить. Чтобы преодолеть это, он придумал платоновский диалог, исчерпывающий все возможности темы.

Нам известно еще и письмо, очень красивое и очень любопытное, которое, согласно Плутарху, Александр Македонский послал Аристотелю. Аристотель только что опубликовал «Метафизику», то есть распорядился сделать с нее копии. Александр порицал его, говоря, что теперь всем будет известно то, что раньше знали лишь избранные. Аристотель оправдывается, без сомнения, искренне: «Мой трактат опубликован и не опубликован». Считалось, что книга не исчерпывает тему полностью, ее рассматривали как некий справочник, дополнение к устному обучению.

Гераклит и Платон по различным поводам критиковали произведение Гомера. Подобные книги окружены почетом, но не считаются священными. Это специфически восточное понятие.

Пифагор не оставил ни одной написанной строчки. Полагают, что он не стремился связать себя текстом. Он хотел, чтобы его мысль продолжала жить и развиваться в размышлениях его учеников. Отсюда идет выражение «Magister dixit», которое всегда употребляется неправильно. «Magister dixit» не означает «так сказал учитель», и диспут окончен. Пифагореец излагал теорию, которая, возможно, не в традиции Пифагора, например теорию циклического времени. Ему возражали: «Это не в традиции». Он отвечал: «Magister dixit», что позволяло ему вводить новое. Пифагор думал, что

книги сковывают его или, говоря словами Писания, что буква убивает, а лишь дух животворит.

Шпенглер в главе книги «Закат Европы», посвященной магической культуре, замечает, что прототипом магической книги является Коран. Для улемов, мусульманских богословов, Коран не такая книга, как другие. Эта книга предшествует арабскому языку (невероятно, но именно так); ее нельзя изучать ни в историческом, ни в филологическом плане, поскольку она старше арабов, старше языка, на котором написана, старше Вселенной. Коран даже не считается творением Бога, это что-то более близкое и таинственное. Для правоверных мусульман Коран — такой же атрибут Бога, как Его гнев, Его милосердие или Его справедливость. В самом Коране говорится о таинственной книге, матери книг, представляющей собой архетип Корана, который находится на небе и которому поклоняются ангелы.

Таково понятие священной книги, в корне отличное от понятия книги классической. В священной книге священны не только слова, но и буквы, из которых они составлены. Такой подход применяют каббалисты при изучении Писания. Я полагаю, что *modus operandi*¹ каббалистов обусловлен желанием ввести философию гностиков в иудейскую мистику, чтобы сослаться на Писание, чтобы оставаться правоверными. Во всяком случае, легко увидеть (мне, наверное, не стоило бы употреблять этот глагол), каков есть и был *modus operandi* каббалистов, начавших заниматься своей удивительной наукой на юге Франции, на севере Испании — в Каталонии, а затем — в Италии, Германии и в других странах. Они дошли до Израиля, но учение идет не оттуда, оно ведет начало от мыслителей гностиков и катаров.

Мысль такова: Пятикнижие, Тора, — священная книга. Бесконечный разум снизошел к человеческой задаче создать книгу. Святой Дух снизошел до литературы, что столь же невероятно, как предположение, что Бог снизошел до того, чтобы быть человеком. Но именно снизошел, в самом прямом смысле. Святой Дух снизошел до литературы и создал книгу. В такой книге не может быть ничего слу-

¹ Способ действия (лат.).

чайного, тогда как во всем, что написано людьми, что-то случайное есть.

Известно благоговение, которое вызывают «Дон Кихот», «Макбет» или «Песнь о Роланде» и многие другие книги, чаще всего одна у каждого народа, исключая Францию, литература которой так богата, что насчитывает по крайней мере два классических произведения, — но оставим это.

Ну хорошо, если какому-нибудь филологу-сервантесоведу случится сказать, что «Дон Кихот» начинается со слова, состоящего из одной буквы (в), затем следует слово из восьми букв (скромной) и два, содержащие по девять букв (деревушке, провинции), из чего он вознамерится сделать выводы, его тут же сочтут безумным. Библия же изучается именно таким образом.

Например, говорится, что она начинается с «bet», первой буквы слова «breshit». Почему начинается с «bet»? Потому что эта начальная буква в еврейском языке означает то же, что и начальная в слове «bendición»¹ в испанском, а текст не может начинаться с буквы, которая соответствует проклятию; он должен начинаться с благословения. «Bet» — первая буква еврейского слова «brajá», означающего благословение.

Есть еще одно обстоятельство, чрезвычайно интересное, которое должно было оказать влияние на каббалу: Бог, чьи слова были орудием его трудов (как считает замечательный писатель Сааведра Фахардо), создал мир при помощи слов; Бог сказал: «Да будет свет» — и стал свет. Из этого можно сделать вывод, что мир был создан при помощи слова «свет». Если бы было произнесено другое слово и с другой интонацией, результатом был бы не свет, а что-то другое.

Мы пришли к мысли, столь же невероятной, как и та, о которой я говорил перед этим, к мысли, которая поражает наш западный разум, во всяком случае мой, и о которой я должен рассказать. Размышляя о словах, мы считаем, что слова прежде произносились, затем стали изображаться письменно. Напротив, каббала (означающая «предание», «традицию») предполагает, что прежде существовали буквы. То есть будто бы вопреки опыту письменность предшествует

¹ Благословение (исп.).

устной речи. Тогда в Писании нет ничего случайного: все должно быть предопределено. Например, количество букв каждого стиха.

Затем каббалисты изыскивают буквенные соответствия. Писание рассматривается как зашифрованное, криптографическое письмо, создаются новые законы его прочтения. Можно взять любую букву Писания и, рассматривая ее как начальную букву другого слова, читать это другое обозначенное слово. Так можно поступить с любой буквой текста.

Могут быть созданы два алфавита: один, например, от *a* до *l* и другой от *l* до *z*, или от *и* до соответствующих еврейских букв; считается, что буквы первого соответствуют буквам второго. Тогда можно читать текст способом бустрофедон (если называть его по-гречески), то есть справа налево, затем слева направо, затем справа налево. Можно придать буквам цифровые обозначения. Все это образует тайнопись, может быть расшифровано, и результаты исполнены значения, потому что были предвидены бесконечным божественным разумом. Таким образом через эту криптографию, через действия, приводящие на память «Золотого жука» По, приходят к учению.

Я полагаю, что учение возникло раньше, чем *modus operandi*. Думаю, что с каббалой произошло то же, что с философией Спинозы: математический порядок оформился позже. Думаю, что каббалисты испытали влияние гностиков и, будучи связаны с древнееврейской традицией, изыскивали этот удивительный способ расшифровывать буквы.

Modus operandi каббалистов основан на логической предпосылке, на мысли, что Писание — текст совершенный и не может содержать ничего случайного.

Совершенных текстов нет, во всяком случае, среди текстов, созданных человеком. В прозе большее внимание уделяется значению слов, в стихах — звучанию. Как в тексте, созданном Святым Духом, предположить слабость, недосмотр? Все должно быть предопределено. Эта предопределенность лежит в основе учения каббалистов.

Если Священное Писание не бесконечно, чем же оно отличается от произведений человеческих, какова разница между Книгой Царств и учебником истории, Песнью Песней

и поэмой? Следует предположить, что все они имеют бесконечное множество значений. Скот Эриугена говорил, что число значений Библии бесконечно, сравнивая ее с переливающимся павлиньим хвостом.

По другому толкованию в Писании четыре значения. Система выглядит следующим образом: вначале — существо, схожее с Богом Спинозы, с той разницей, что Бог Спинозы бесконечно богат, напротив, Эн-соф предстает перед нами бесконечно бедным. Речь идет о первичном существе, о нем нельзя говорить «существует», потому что существуют звезды, люди, муравьи. Как мы можем принадлежать к одной категории? Нет, это первичное существо не существует. Нельзя сказать, что оно мыслит, поскольку мышление — логический процесс, идущий от посылки к выводу. Нельзя сказать и что ему чего-то хочется, так как хотеть чего-либо — значит ощущать нехватку этого. И нельзя сказать, что оно созидает. Эн-соф не созидает, поскольку созидать — значит наметить цель и достичь ее. Кроме того, если Эн-соф бесконечен (различные каббалисты сравнивают его с морем, символом бесконечности), как он может желать чего-то другого? И что другое может он создать, кроме как другое бесконечное существо, которое смешается с ним? Поскольку, к несчастью, неизбежно сотворение мира, существует десять эманаций, сефироты, которые исходят от него, но не являются более поздними, чем он.

Идея вечного существа, от которого всегда исходят десять эманаций, сложна для понимания. Эти десять эманаций исходят одна от другой. В тексте написано, что они ответственны десяти пальцам рук. Первая эманация носит название Венец, и ее можно сравнивать с лучом света, исходящим от Эн-соф, лучом, не уменьшающим его: бесконечное существо не может стать меньше. От Венца исходит следующая эманация, от нее другая, от нее еще одна и так до десяти. Каждая эманация делится на три части. Первая из них служит для связи с высшим существом; другая, основная, выражает суть; третья служит для связи с низшей эманацией.

Десять сефирот образуют человека по имени Адам Кадмон, это человек-архетип. Адам Кадмон находится на небесах, и мы

представляем собой его отражение. Этот человек, образованный десятью эманациями, излучает один мир, другой и так до четвертого. Третий — это наш материальный мир, а четвертый — ад. Все они заключены в Адаме Кадмоне, который охватывает человека и его микрокосм, все.

Речь идет не об экспонате музея истории философии, думаю, что у этой системы есть применение: она может послужить нашим размышлениям, попыткам понять Вселенную. Гностики предшествовали каббалистам на несколько веков; у них была подобная система, предполагавшая неопределимого Бога. Этот Бог, называемый Plegoma (Цельность), излучает другого Бога (я следую еретической версии Иринейя), а этот Бог — еще одну эманацию, та — следующую, и каждая из них образует небо (целая башня эманаций). Доходим до числа 365, поскольку здесь вмешивается астрология. Когда мы доходим до последней эманации, мы встречаем Бога по имени Иегова, который создает этот мир. Почему мир, созданный им, полон ошибок, ужаса, грехов, физической боли, полон чувства вины, полон преступлений? Божественность идет на убыль, и Иегова создает мир, склонный к ошибкам.

Ту же схему повторяют десять сефирот и четыре создаваемых ими мира. Эти десять эманаций по мере удаления от Энсоф, от бесконечного, тайного «тайных» — как на своем образном языке говорят каббалисты — теряют силу и именно таким путем создают этот мир. Мир, в котором живем мы, совершая множество ошибок, готовые к несчастьям и к мимолетной удаче. Эта мысль не абсурдна; мы оказались перед вечной проблемой зла, великолепно изложенной в книге Иова, величайшем, по мнению Фрейда, произведении всей мировой литературы.

Вспомните историю Иова. Это человек праведный, подвергшийся гонениям, человек, который хочет оправдаться перед Господом, человек, осуждаемый друзьями, человек, надеющийся на справедливость; наконец Господь отвечает Иову из бури. Он говорит, что далек от человеческих мерок. Чтобы подтвердить это, Он приводит в пример созданных Им бегемота и кита. Мы должны ощутить, замечает Макс Брод, что бегемот, «Begeboth» («звери»), так огромен, что носит имя во множественном числе, а Левиафан может быть

одним из двух животных — крокодилом или китом. Бог говорит, что он столь же непостижим, как эти чудовища, и не может быть измерен людскими мерками.

К этой же мысли приходит Спиноза, говоря, что, когда человек придает Богу людские свойства, это все равно как если бы треугольник считал Бога в высшей степени треугольным. Говорить, что Бог справедлив, милосерд, — такое же проявление антропоморфизма, как утверждение, что у Бога есть лицо, глаза или руки. И вот у нас высшее Божество и эманации низшего порядка. «Эманации» кажется подходящим словом, потому что Бог не может быть виноват; потому что, как говорил Шопенгауэр, виноват не король, а министры и потому что эти эманации создают наш мир.

Существует несколько попыток оправдать зло. Начну с классического определения теологов, утверждающих, что зло — отрицание и что сказать «зло» означает просто констатировать отсутствие добра; такое оправдание каждому чувствующему человеку явно покажется ложным. Любая физическая боль не менее, а возможно, более живое ощущение, чем любое наслаждение. Несчастье — это не отсутствие счастья, не его отрицание; когда нам плохо, мы ощущаем присутствие несчастья.

Существует доказательство Лейбница, очень изящное, но столь же ложное, в защиту существования зла. Вообразим две библиотеки. Одна состоит из тысячи экземпляров «Энеиды», которая считается совершенной книгой и, возможно, таковой и является. В другой библиотеке — тысячи книг разного достоинства и среди них — том «Энеиды». Какая из библиотек лучше? Разумеется, вторая. Лейбниц приходит к выводу, что зло необходимо для разнообразия мира.

Другой обычно приводимый пример — это пример с картиной, прекрасной картиной, скажем, Рембрандта. Темные места на полотне соответствуют злу. Лейбниц, очевидно, забывает, приводя в пример полотна и книги, что одно дело, если в библиотеке есть плохие книги, а другое — быть такой книгой. Если мы из таких книг, то обречены аду.

Не все способны — не знаю, способен ли я, — на экстаз Кьеркегора, который сказал, что, если для разнообразия мира необходимо, чтобы в аду была одна-единственная душа, и эта душа — его, он воспевает из глубин ада хвалы Всемогущему.

Не знаю, легко ли так чувствовать; не знаю, продолжал бы Кьеркегор думать так же после нескольких минут, проведенных в аду. Но мысль, как видите, относится к главной проблеме — проблеме существования зла, которую гностики и каббалисты решали одинаково.

Они решили ее, говоря, что Вселенная — творение несовершенного божества, чья божественность близка к нулю. То есть бога, а не Бога, бога, стоящего намного ниже Бога. Не знаю, может ли наш разум иметь дело с такими неопределенными понятиями, как Бог, Божественность, или с теорией Василида, теорией гностиков о 365 и эманациях. Однако мы можем принять идею несовершенного божества — божества, которое должно слепить этот мир из неподходящего материала. Здесь мы приходим к мысли Бернарда Шоу, сказавшего: «Бог создается сейчас». Бог не принадлежит прошлому, возможно, не принадлежит настоящему; Бог — это Вечность. Бог может быть будущим; если мы благородны, разумны, светлы, мы помогаем созданию Бога.

В «Вечном огне» Уэллса сюжет и герой заставляют вспомнить книгу Иова. Под действием наркоза герою видится бедно оборудованная лаборатория, в которой работает старик. Это Бог; он выглядит раздосадованным. «Я делаю все, что могу, — говорит он, — но вынужден работать с очень трудным материалом». Зло — неподатливый материал Бога, а добро — это доброта. Но добро в конечном счете должно победить и побеждает. Не знаю, верим ли мы в прогресс, думаю, что да, во всяком случае, в генетическую спираль — мы идем вперед и возвращаемся, но в итоге становимся лучше. Можно ли говорить так в нашу жестокую эпоху? И сейчас берут в плен и сажают в тюрьмы, возможно, в концентрационные лагеря, но все-таки берут в плен. Во время Александра Македонского было естественным, что войско победителей убивало всех побежденных и разоряло дотла захваченный город. Может быть, мы стали и разумнее. Скромный пример этого — наш интерес к тому, что думали каббалисты. Наш разум открыт, и мы готовы изучать не только разумность одних, но и глупость других и суеверия третьих. Каббала годна не только для музея, она представляет собой род метафоры мышления.

Сейчас мне хотелось бы сказать об одном из мифов, об одной из самых любопытных легенд каббалы — о големе, вдохновившем Майринка на известный роман, а меня — на стихотворение. Бог взял комок земли («Адам» означает «красная земля»), вдохнул в нее жизнь и создал Адама, который для каббалистов стал первым големом. Он был создан божественным словом, дыханием жизни; поскольку каббала считает, что все Пятикнижие — имя Бога, где переставлены буквы, то, если кто-нибудь владеет именем Бога или узнает Тетраграмматон — имя Бога, состоящее из четырех букв, — и сумеет правильно произнести его, он сможет создать мир и создать голема-человека.

Легенды о големе превосходно использованы Гершомом Шоломом в «Символике каббалы», которую я только что прочел. Я думаю, что это наиболее понятная книга по теме, так как убедился, что почти бесполезно искать оригинальные источники. Я прочел замечательный и, думаю, правильный перевод (еврейского я, конечно, не знаю) «Сефер Йецира», или Книги Творения, сделанный Леоном Духовны. Я прочитал перевод «Зогар», или Книги Сияния. Но эти книги написаны не для того, чтобы научить каббале, а чтобы внушить ее, чтобы изучающий каббалу мог читать их и ощущать, как они укрепляют его. Они не говорят всей правды так же, как опубликованные и в то же время не опубликованные трактаты Аристотеля.

Вернемся к голему. Один раввин узнает или открывает секрет имени Бога и произносит его над глиняной человеческой фигурой, оживляя ее, и нарекает свое создание големом. По одной из версий легенды, раввин пишет на лбу голема слово ЕМЕТ, означающее истину. Голем начинает расти. Наступает момент, когда господин не может дотянуться до него. Он просит голема завязать ему башмаки. Голем наклоняется, и раввину удается стереть первую букву слова ЕМЕТ. Остается МЕТ — смерть. Голем обращается в пыль.

По другой легенде, раввин или несколько раввинов создали голема и отослали его к другому раввину, тоже способному создать голема, но чуждому подобной суетности. Раввин обращается к голему, но тот не отвечает, так как лишен спо-

способности понимать и говорить. Раввин изрекает: «Ты, создание магов, стань снова пылью». Голем разваливается.

Наконец, еще одна легенда, рассказанная Шолемом. Множество учеников (один человек не может изучить и понять Книгу Творения) сумели создать голема. Он появляется на свет с кинжалом в руках и умоляет своих создателей убить его, поскольку, если он будет жить, ему могут начать поклоняться как идолу. Для Израиля, как и для протестантизма, идолопоклонничество — один из тягчайших грехов. Ученики убивают голема.

Я пересказал несколько легенд и хочу вернуться к теории, которая кажется мне достойной понимания. В каждом из нас есть частичка божественного. Этот мир, как очевидно, не является творением Бога всемогущего и справедливого, он зависит от нас. Этому нас учит каббала, далекая от того, чтобы служить объектом изучения историков или лингвистов. Как известное стихотворение Гюго «Ce que dit la bouche d'ombre»¹, каббала учит теории, которую греки называли «*apokatástasis*» и согласно которой все создания, вплоть до Каина и дьявола, после долгих превращений сольются с божеством, от которого когда-то отделились.

¹ «Что поведала тень» (франц.).

Вечер седьмой СЛЕПОТА

Дамы и господа!

В ходе своих многочисленных, даже слишком, лекций я замечал, что слушатели отдают предпочтение личному перед общим, конкретному перед абстрактным.

Поэтому я начну со своей собственной скромной слепоты. Скромной в прямом смысле, потому что полностью ослеп один глаз, а другой немного видит. Я еще в состоянии различить некоторые цвета, еще могу выделить зеленый и голубой. Мне не изменил желтый цвет. Помню, как в детстве (если бы моя сестра была здесь, она вспомнила бы то же самое) я останавливался у клеток тигра и леопарда в зоопарке Палермо. Я замирал перед золотой с черной окраской тигров; и по сей день желтый цвет не оставил меня. Я написал стихотворение «Золото тигров», в котором признаюсь в этой приверженности.

Мне хочется рассказать о явлении, которое обычно оставляют без внимания, не знаю, для всех ли оно характерно. Принято считать, что слепой погружен во мрак. У Шекспира есть строка, подтверждающая это мнение: «Looking on darkness which the blind do see» — «Глядя во тьму, видимую и слепому». Если понимать тьму как черноту, шекспировский стих неверен.

Один из цветов, которых лишены слепые (во всяком случае, слепой, который перед вами), — черный; другой — красный. «Le rouge et le noir» — цвета, которых нам не хватает. Мне, привыкшему засыпать без света, долгое время было трудно погрузиться в сон в этом мире тумана, в котором живет слепой. Хотелось оказаться в полной темноте. Красный видится мне похожим на коричневый. Мир слепого — это не ночь, как обычно думают. Во всяком случае, я говорю от

своего имени, от имени отца и бабушки, которые окончили свои дни слепыми — слепыми улыбающимися, мужественными, каким хотелось бы умереть и мне. По наследству передается многое (скажем, слепота), но не мужество. Они были мужественны, я знаю.

Слепой живет в довольно неудобном мире — мире неопределенном, где вдруг возникает какой-то цвет: у меня это желтый, голубой (который, правда, может оказаться зеленым), зеленый, который может оказаться голубым. Что же касается красного, он исчез совершенно, но я надеюсь, что когда-нибудь (я прохожу курс лечения) выздоровею и смогу увидеть этот великолепный цвет, блистающий в поэзии, который так красиво называется на многих языках. Вспомним немецкое «scharlach», английское «scharlet», французское «écarlate». Эти названия достойны великого цвета. Напротив, «amarillo» (желтый) в испанском языке звучит слабо; английское «yellow» настолько схоже с «amarillo», что я думаю, в староиспанском существовала форма «amariello».

Я живу в мире, где цвета существуют, и хотел бы сказать, что если я говорю о своей собственной скромной слепоте, то делаю это потому, что она не абсолютная, как обычно думают, и, во-вторых, потому, что речь идет обо мне. Мой случай не так уж трагичен. Трагичны судьбы тех, кто теряет зрение внезапно; в моем случае эти медленные сумерки, эта постепенная потеря зрения началась с моего рождения. С 1899 года более полувека без особого драматизма длился этот сгущающийся полумрак.

Для этой лекции мне нужно было припомнить моменты трогательные. Скажем, когда я узнал, что потерял зрение, зрение человека пишущего и читающего. Почему не назвать дату, столь памятную, — 1955 год. Я говорю не о знаменитых сентябрьских ливнях, а о своих обстоятельствах.

За свою жизнь я получил множество незаслуженных почестей, но ни одна из них не обрадовала меня больше, чем назначение на пост директора Национальной библиотеки. По причинам скорее политического, чем литературного характера, я был назначен на этот пост Освободительной революцией.

Став директором библиотеки, я возвратился в дом на улице Мехико в квартале Монсеррат, в южной части города,

в дом, о котором я хранил столько воспоминаний. Я никогда не мечтал о возможности стать директором библиотеки, и воспоминания мои были совсем иного рода. По вечерам мы приходили сюда с отцом. Отец мой, профессор психологии, просил книгу Бергсона или Уильяма Джеймса, своих излюбленных авторов, или Густава Шпиллера. Я был слишком робок, чтобы попросить книгу, и брал какой-нибудь том Британской энциклопедии или немецких энциклопедий Брокгауза или Майера. Я выбирал том наугад, клал на полку сбоку и читал.

Помню вечер, когда я почувствовал себя получившим подарок, подарок букв dg; мне попались три статьи: о друидах, друзьях и Драйдене. Бывали вечера менее удачные. Кроме того, я знал, что в этом доме находится Груссак; я мог познакомиться с ним, но был тогда, могу признаться, слишком робок — почти так же, как теперь. Тогда мне казалось, что робость имеет значение, а сейчас я знаю, что это одно из зол, которые человеку надо стараться преодолеть, что на самом деле робость не имеет значения, как и многое другое, что люди склонны считать очень важным.

Я получил назначение на пост в конце 1955 года; вступив в должность, спросил о количестве томов, и мне ответили, что их миллион. Впоследствии я узнал, что книг девятьсот тысяч, число более чем достаточное (возможно даже, девятьсот тысяч производит большее впечатление, чем миллион: девятьсот тысяч; миллион же звучит слишком коротко).

Со временем мне стала очевидна удивительная ирония происшедшего. Я всегда воображал Рай чем-то наподобие библиотеки, как некоторым он представлялся садом или дворцом. И вот я оказался в нем. Здесь были собраны девятьсот тысяч томов на разных языках. Я убедился, что едва разбираю надписи на переплетах и корешках. Тогда я написал стихотворение «О дарах», которое начинается так:

Упреком и слезой не опорочу
тот высший смысл и тот сарказм глубокий,
с каким неподражаемые боги
доверили мне книги вместе с ночью¹.

¹ Перевод Б. Дубина.

Эти дары взаимоисключают друг друга: множество книг и ночь, невозможность читать их.

Мне представлялось, что это стихотворение написал Грусак, поскольку он тоже был директором библиотеки и тоже был слеп. Грусак оказался более стойким, чем я: он хранил молчание. Но я думаю, в наших судьбах были схожие моменты, потому что оба мы лишились зрения и оба любили книги. Написанное им намного выше того, что написал я. Но в конечном счете мы оба связаны с литературой и оба ведали библиотекой с недостижимыми книгами. Можно сказать, с книгами без букв, с чистыми страницами для наших незрячих глаз. Я писал об иронии Бога и под конец спросил себя, кто из нас написал стихотворение, где «я» подходит обоим, а темнота одна на двоих.

Тогда я не знал, что Хосе Мармоль, еще один директор библиотеки, тоже был слепым. Здесь появляется число три, снимающее вопросы. Два — не более чем совпадение, а три — утверждение божественное или теологическое. Мармоль был директором библиотеки, когда она располагалась на улице Венесуэлы.

Сейчас принято говорить о Мармоле плохо или не упоминать о нем вовсе. Но стоит вспомнить, что когда мы говорим «времена Росаса», то в первую очередь вспоминаем не замечательную книгу Рамоса Мехии «Росас и его время», а изображение этого периода, написанное с великолепной иронией Хосе Мармолем в романе «Амалия». Он дал описание эпохи, не лишенной славы, я был бы рад создать нечто похожее. Действительно, когда мы говорим «времена Росаса», то вспоминаем тиранов, описанных Мармолем, сборища в Палермо, беседы одного из министров тирана с Солером.

Итак, нас оказалось три человека с одинаковой судьбой. И радость вернуться в квартал Монсеррат. Для всех жителей Буэнос-Айреса Юг каким-то образом оказывается сокровенным центром города. Не центром парадным для показа туристам (в те времена квартал Сан-Тельмо еще не был так популярен). Юг был потайной сердцевиной Буэнос-Айреса.

Когда я думаю о Буэнос-Айресе, то прежде всего — о городе, который знал ребенком: небольшие дома, дворики, арки, черепахи в водоемах, решетчатые окна — таким раньше

был весь Буэнос-Айрес. Сейчас это сохранилось лишь в южной его части, так что я чувствовал, что возвращаюсь в жилище своих предков. Когда я понял, что окружен книгами, названия которых вынужден спрашивать у друзей, мне вспомнилась фраза Рудольфа Штейнера в книге об антропософии (как он называл теософию). Он сказал, что, когда что-то подходит к концу, следует помнить, что начинается что-то новое. Совет полезный, хотя и трудновыполнимый, поскольку что мы теряем — известно, а что приобретаем — нет. У нас есть сложившееся, иногда преувеличенное впечатление об утраченном, но мы не знаем, что произойдет, что случится взамен.

Я принял решение. Я сказал себе: утрачен дорогой мир видимого; я должен сотворить иной вместо зримого мира, навсегда утерянного. Я преподавал в нашем университете английскую литературу. Как я мог обучать этой неисчерпаемой литературе, на которую, без сомнения, может уйти жизнь не одного поколения?

Я сделал все, что было в моих силах, чтобы научить любви к этой литературе, по возможности избегая дат и имен. Как-то ко мне пришли несколько студенток сдавать экзамен и успешно сдали его (все мои ученицы сдавали мне экзамен успешно, я всегда старался не устраивать переэкзаменовок; за десять лет мне пришлось переэкзаменовать лишь трех студентов, которые настояли на этом). Я сказал девушкам (их было девять или десять): «Мне пришла в голову мысль — теперь, когда вы сдали экзамен, а я выполнил свой долг преподавателя, не начать ли нам заниматься языком и литературой, которых мы почти не знаем?» Они спросили, о каком языке и литературе я говорю. «Ну конечно, об английском языке и английской литературе. Давайте начнем заниматься теперь, когда мы освободились от суетности экзаменов, начнем с самого начала».

Я вспомнил, что дома хранились две книги, которые следовало переставить, они стояли высоко на полках — я не думал, что когда-либо обращусь к ним. Это были «Anglo-Saxon Reader» Суита и «Англосаксонская хроника». Каждая снабжена глоссарием. Однажды утром мы собрались в Национальной библиотеке.

Я думал о том, что утратил видимый мир, а сейчас хочу обрести другой — мир своих далеких предков, тех племен, тех людей, что пересекли на веслах бурные северные моря, отправившись из Дании, Германии и Нидерландов завоевывать Англию; они называли ее Англией, а раньше земля англов (England) звалась землей бриттов, которые были кельтами.

Субботним утром мы собрались в кабинете Груссака и начали читать. Одно обстоятельство обрадовало нас, и взволновало, и наполнило некоторой гордостью. Дело в том, что саксы, как и скандинавы, употребляли две рунические буквы для обозначения звуков th — как в слове «thing», так и в слове «the». Это делало страницу таинственной. Я записал эти буквы на грифельной доске.

Мы обнаружили, что язык отличается от английского и похож на немецкий. То, что всегда случается при изучении языка, произошло. Каждое слово выделяется резко, как выгравированное, как если бы оно было талисманом. Поэтому стихи на чужом языке производят большее впечатление, чем на родном: мы вслушиваемся, всматриваемся в каждое слово, думаем об их красоте, об их силе или просто о непохожести. В это утро нам повезло. Мы обнаружили фразу: «Юлий Цезарь был первым из римлян, кто открыл Англию». То, что мы встретили римлян в северном тексте, тронуло нас. Вспомните, ведь мы ничего не знали, мы рассматривали слово в лупу, каждое слово было как талисман, полученный в дар. Мы нашли два слова. Эти слова пьянили нас; правда, я был стар, а мои ученицы юны (оба возраста склонны к восторгам). Я думал: «Я возвращаюсь к этому языку, я вновь обретаю его. Я не впервые пользуюсь им; я говорил на этом языке, когда носил другие имена». Этими словами были название Лондона — Lundenburh, Londresburgo — и название Рима, которое тронуло нас даже сильнее, мы подумали о свете Рима, падавшем на эти затерянные далеко на севере острова, — Romeburh, Romaburgo. Казалось, еще немного, и мы пойдем по улице с криками: «Lundenburh, Romeburh...»

Так началось изучение древнеанглийского, к которому привела меня слепота. И сейчас я храню в памяти множество элегических, эпических англосаксонских стихотворений.

Я заменил мир видимый слышимым миром древнеанглийского языка. Затем я обратился к другому, более позднему и более богатому миру скандинавской литературы: к Эддам и сагам. Впоследствии я написал «Древние германские литературы», множество стихов на эту тему, а прежде всего наслаждался этой литературой. А сейчас я готовлю книгу о скандинавской литературе.

Я не дал слепоте запугать себя. Кроме того, прекрасное известие сообщил мне мой издатель: он сказал, что, если я за год напишу тридцать стихов, он сумеет издать книгу. Тридцать стихотворений означает дисциплину, особенно когда вынужден диктовать каждую строчку; но в то же время достаточную свободу, потому что, скорее всего, за год наберется тридцать случаев поэзии. Слепота не стала для меня совершенным несчастьем, не нужно смотреть на нее трагически. Ее надо воспринимать как образ жизни, как один из стилей человеческой жизни.

В том, что ты слепой, есть свои достоинства. Я обязан этому мраку несколькими дарами: древнеанглийским языком; поверхностным знакомством с исландским; радостью, которую мне доставили множество стихов, поэм и строчек; тем, что написал книгу, озаглавленную, не без фальши, несколько претенциозно — «Хвала тьме».

Теперь мне хочется рассказать о других, об известных случаях. Начнем с самого явного примера дружбы поэзии и слепоты, с того, кто считается величайшим поэтом, — с Гомера (нам известен другой слепой греческий поэт Тамирис, чьи произведения не сохранились; мы знаем о нем в основном из высказывания Мильтона, еще одного знаменитого слепца; Тамирис был побежден на состязании музами, которые разбили его лиру и ослепили его).

Существует любопытная гипотеза (не думаю, что она исторически верна, но весьма привлекательна), принадлежащая Оскару Уайльду. В большинстве случаев писатели хотят показаться глубокомысленными; Уайльд был человеком глубоким, но старался прослыть легкомысленным. Возможно, он хотел, чтобы мы думали о нем, как Платон о поэзии: «легкая, крылатая, священная». Так вот, легкий, крылатый, священный Оскар Уайльд говорил, что античность представила Гомера слепым намеренно.

Нам неизвестно, существовал ли Гомер. То, что семь родов оспаривают его друг у друга, заставляет сомневаться в его существовании. Возможно, Гомера не было, а было много греков, скрытых от нас под именем Гомера.

Традиция рисует образ слепого поэта; безусловно, поэзия Гомера зрима, иногда великолепно зрима, как, хотя и в меньшей степени, поэзия Оскара Уайльда.

Уайльд отдавал себе отчет в том, что его поэзия слишком зрима, и хотел от этого избавиться: он хотел сделать поэзию звучащей, музыкальной, как, скажем, стихи Теннисона или Верлена, перед которыми он преклонялся. Уайльд говорил: «Греки воображали Гомера слепым, чтобы показать, что поэзия должна быть слышимой, а не зримой». Отсюда «*de la musique avant toute chose*»¹ Верлена, отсюда современный символизм Уайльда.

Мы должны считать, что Гомер не существовал, но грекам нравилось воображать его слепым, подчеркивая тем самым, что поэзия — прежде всего музыка, прежде всего лира и что зримое у поэта может существовать и не существовать. Я знаю великих поэтов, чья поэзия зрима, и великих поэтов, чья поэзия интеллектуальна, умственна, нет смысла перечислять их.

Обратимся к примеру Мильтона. Слепота Мильтона была добровольной. Он с юности знал, что сделается великим поэтом. Так бывало и с другими. Колридж и Де Куинси, еще не написав ни строки, знали, что их жизнь принадлежит литературе; я тоже, если стоит упоминать обо мне. Я всегда чувствовал, что моя судьба будет связана прежде всего с литературой; я хочу сказать, что со мной случилось много плохого, а иногда — хорошее. Но я всегда знал, что все это рано или поздно превратится в слова, прежде всего плохое, поскольку счастье не нуждается в претворении: счастье составляет свою собственную цель.

Вернемся к Мильтону. Он потерял зрение над памфлетами, призывающими к казни короля. Милтон говорит, что потерял его по своей воле, отстаивая свободу; он не сетует на слепоту; он считает, что пожертвовал зрением добровольно,

¹ Музыка прежде всего (франц.).

и помнит свою главную задачу — быть поэтом. В Кембриджском университете найдена рукопись, в которой юный Мильтон записывал темы для большой поэмы.

«Я хочу завещать грядущим поколениям нечто, что не да-ло бы им погибнуть», — провозглашает он, Мильтон наметил десять–пятнадцать тем, одна из которых оказалась пророческой, о чем он не подозревал. Это тема Самсона. Он не знал тогда, что его судьба будет сколько-нибудь схожа с судьбой Самсона и что, наподобие того как Христос предсказан в Ветхом Завете, Самсон предвестит его собственную судьбу. Уже зная о том, что слепнет, он начал два исторических труда, оставшихся незавершенными: «Историю Московии» и «Историю Англии». Затем большую поэму «Потерянный рай». Он искал тему, которая могла бы заинтересовать всех людей, не только англичан. Этой темой стал Адам, наш общий предок.

Мильтон много времени проводил один, писал стихи, его память крепла. Он мог удерживать в памяти сорок–пятьдесят одиннадцатисложников, а затем диктовал их пришедшим навестить его. Так слагалась поэма. Он помянул в ней судьбу Самсона, столь похожую на его собственную, поскольку Кромвель уже умер и настало время Реставрации. Мильтон подвергся преследованиям и был приговорен к смерти за то, что поддерживал сторонников казни короля. Но Карл II, сын Карла I Казненного, когда ему был подан список приговоренных к смерти, взял перо и произнес фразу, не лишенную благородства: «Рука моя отказывается подписывать смертный приговор». Мильтон избежал казни, и многие вместе с ним.

Тогда он написал «Samson Agonistes»¹. Он хотел создать трагедию в духе греческой. Действие происходит в течение дня, последнего дня жизни Самсона, и Мильтон думал о сходстве его и своей судьбы, потому что он сам, как и Самсон, был сильным человеком, в конце концов оказавшимся побежденным. Мильтон был слеп. И написал строки, которые, по мнению Лэндора, считаются трудными для прочтения, и это действительно так: «Eyeless, in Gaza, at the mill, with the

¹ «Самсон-борец» (англ.).

slaves» — «Слепой, в Газе (Газа — город филистимлян, вражеский город), на мельнице среди рабов». Словно все мыслимые несчастья разом обрушились на Самсона.

У Мильтона есть сонет, в котором он говорит о своей слепоте. По одной строке сонета можно догадаться, что он написан слепым. Когда Мильтон описывает мир, он говорит: «В этом темном и широком мире». Именно таков мир слепых, когда они остаются одни, потому что они передвигаются, ища опоры вытянутыми вперед руками. Вот пример (гораздо более впечатляющий, чем мой) человека, преодолевшего слепоту и свершившего свой труд: «Потерянный рай», «Возвращенный рай», «Samson Agonistes», лучшие сонеты, часть «Истории Англии» начиная с истоков до завоевания норманнами — все это он написал, будучи слепым, диктуя случайным людям.

Аристократу-бостонцу Прескотту помогала жена. Несчастный случай, происшедший с ним в студенческие годы в Гарварде, лишил его одного глаза и оставил почти слепым на другой. Прескотт решил посвятить жизнь литературе. Он изучал литературу Англии, Франции, Италии, Испании. Королевская Испания подарила ему свой мир, обратившийся во времена республики в свою противоположность. Эрудит стал писателем и продиктовал жене историю завоевания испанцами Мексики и Перу, правления королей-католиков и Филиппа II. Это была счастливая, можно сказать, праведная задача, и он посвятил ей более двадцати лет.

Приведу два более близких нам примера. Я уже упоминал Груссака. Груссак забыт несправедливо. Сейчас помнят, что он был чужаком-французом. Говорят, что его труды устарели, что сейчас мы располагаем лучшими работами. При этом забывают, что он писал, и то, как он это делал. Груссак не только оставил нам исторические и критические работы, он преобразил испаноязычную прозу. Альфонсо Рейес, лучший испаноязычный прозаик всех времен, говорил мне: «Груссак научил меня, как следует писать по-испански». Груссак справился со своей слепотой, а ряд созданных им вещей можно отнести к лучшим прозаическим страницам, написанным в нашей стране. Мне бывает приятно вспомнить о нем.

Обратимся к другому примеру, более известному, чем Грусак. Джеймс Джойс тоже совершил двойной труд. Он оставил два огромных и, почему не сознаться, неудобочитаемых романа — «Ulises» и «Finnegan's Wake»¹. Но это лишь часть проделанной им работы (сюда же входят прекрасные стихи и изумительный «Портрет художника в юности»). Другая часть, возможно, даже более ценная, как теперь считается, — то, что он совершил с почти необъятным английским языком. Язык, который, согласно статистике, превосходит другие и предоставляет писателю столько возможностей, прежде всего изобилует конкретными глаголами, оказался для Джойса недостаточным.

Джойс, ирландец, не забывал, что Дублин был основан викингами-датчанами. Он изучил норвежский, на котором вел переписку с Ибсеном. Затем овладел греческим, латынью... Он писал на языке собственного изобретения, трудном для понимания, но удивительно музыкальном. Джойс внес в английский новую музыку. Ему принадлежат слова мужественные (но не искренние): «Из всего, что со мной произошло в жизни, наименьшее значение имела потеря зрения». Часть своих произведений он создал незрячим: шлифуя фразы по памяти, иногда проводя над одной фразой целый день, затем записывая и выправляя их. Все это — будучи полуслепым, а временами — слепым. Подобным же образом ущербность Буало, Свифта, Канта, Рескина и Джорджа Мура окрашивала печалью их труд; то же самое относится и к изъяснам, обладатели которых достигли всеобщей известности. Демокрит из Абдеры выколол себе в саду глаза, чтобы вид внешнего мира не мешал ему сосредоточиться; Ориген оскопил себя.

Я привел достаточно примеров. Некоторые столь известны, что мой собственный случай совестно и упоминать; но люди всегда ждут признаний, и у меня не было причин отказываться от них. Хотя, возможно, нелепо ставить мое имя рядом с теми, которые мне приходилось называть.

Я говорил, что слепота — это образ жизни не такой уж плачевный. Вспомним стихи величайшего испанского поэта Луиса де Леона:

¹ «Улисс»; «Поминки по Финнегану» (англ.).

Я хочу жить сам,
радуясь благам, что дает небо,
одинокое,
свободный от любви, от ревности,
от ненависти, надежды, от страха.

Эдгар Аллан По знал наизусть эту строфу. Мне кажется, что жить без ненависти нетрудно, я никогда не испытывал ненависти. Но жить без любви, я думаю, невозможно, к счастью, невозможно для любого из нас. Но обратимся к началу: «Я хочу жить сам, радуясь благам, что дает небо». Если мы сочтем, что мрак может быть небесным благом, то кто «живет сам» более слепого? Кто может лучше изучить себя? Используя фразу Сократа, кто может лучше познать самого себя, чем слепой?

Писатель — живой человек, поэтому нельзя быть писателем по расписанию. Поэт бывает поэтом всегда, он знает, что покороен поэзией навек. Наверное, художник чувствует, что линии и цвета осаждают его. А музыкант ощущает, что удивительный мир звуков — самый удивительный из всех миров искусств — вечно ищет его, его ждут мелодии и диссонансы. Для целей человека искусства слепота не может быть лишь бедствием — она становится орудием. Луис де Леон посвятил одну из своих од слепому композитору Франсиско Салинасу.

Писатель — или любой человек — должен воспринимать случившееся с ним как орудие; все, что ни выпадает ему, может послужить его цели, и в случае с художником это еще ощутимее. Все, что ни происходит с ним: унижения, обиды, неудачи — все дается ему как глина, как материал для его искусства, который должен быть использован. Поэтому в одном из стихотворений я говорю о том, чем были вспоены античные герои: бедствия, унижения, раздоры. Это дается нам, чтобы мы преобразились, чтобы из бедственных обстоятельств собственной жизни создали нечто вечное или притязующее на то, чтобы быть вечным.

Если так думает слепой — он спасен. Слепота — это дар. Я утомил вас перечислением полученных мною даров: древнеанглийский, в какой-то степени шведский язык, знакомство со средневековой литературой, до той поры не известной

мне, написание многих книг, хороших и плохих, но оправдавших потраченное на них время. Кроме того, слепой ощущает доброту окружающих. Люди всегда добры к слепым.

Мне хотелось бы закончить строчкой Гёте. Я не очень силен в немецком, но думаю, что смогу без грубых ошибок произнести слова: «Alles Nähe werde fern» — «Все, что было близко, удаляется». Гёте написал это о вечерних сумерках. Когда смеркается, окружающее словно скрывается от наших глаз, подобно тому как видимый мир почти полностью исчез из моих.

Гёте мог сказать это не только о сумерках, но и о жизни. Все удаляется от нас. Старость должна быть высочайшим одиночеством, если не считать высочайшего одиночества смерти. «Все, что было близко, удаляется» — это относится и к постепенно усиливающейся слепоте, о которой я рад был рассказать вам сегодня вечером и рад доказать, что она не совершенное бедствие. Она должна стать одним из многих удивительных орудий, посланных нам судьбою или случаем.

Из книги

ТАЙНОПИСЬ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Из всего множества необъяснимых вещей, составляющих мир, посвящение книги — не самая простая. В ней видят дар, подарок. Если не считать равнодушную монету, которую милосердие христиан роняет в руку нищего, всякий подлинный дар — акт взаимности. Дающий не теряет отданного. Дать значит получить.

Как все действия в мире, посвящение книги — действие магическое. А еще в ней можно увидеть самый щедрый и самый веский повод произнести дорогое имя. Вот и я произношу твое имя, Мария Кодама. Сколько рассветов, сколько морей, сколько садов Востока и Запада, сколько Вергилия!

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 17 мая 1981 г.

ДЕЙСТВИЕ КНИГИ

Среди книг библиотеки хранилась одна арабская, за несколько монет купленная солдатом на толедском рынке и оставшаяся известной востоковедам лишь по испанскому переводу. Книга эта была волшебная: в ней пророчески предсказывались каждый шаг и каждое слово человека начиная с сорокалетнего возраста и вплоть до последнего дня, приходящегося на 1614 год.

Книги потом не видел никто. Она погибла в знаменитом побоище, устроенном священником на пару с приятелем солдата брадобреем и описанном в главе шестой.

Человек держал книгу в руках только однажды, так и не прочтя ее, но скрупулезно следуя — и продолжая донныне следовать — придуманному арабом, поскольку его приключения стали теперь частью безграничной памяти человечества.

Разве эта фантазия не правдоподобней исламского предопределения, предначертанного Богом, или свободы воли, дарующей каждому чудовищную возможность самому предпочсть ад?

РОНДА

Ислам, его клинки —
погибель для рассветов и закатов,
и дрожь земли под топотом полков,
и озаренье вместе с дисциплиной,
и запрещенье ликов и кумирен,
и подчинение всего и всех
единому безжалостному Богу,
и суфии с их розой и вином,
и рифмы в изречениях Корана,
и минареты в зеркале воды,
и дна не знающий язык песчинок,
и алгебра, еще один язык,
и «Тысяча ночей» — сады без края,
и знатоки трактатов Стагирита,
и пыль на именах былых царей,
и гибель Тамерлана и Омара —
все в этой Ронде,
в щадящем полумраке слепоты:
ее двory как чаши для молчанья,
и отдыхающий ее жасмин,
и лепет струй, негромкое заклятье
воспоминаний о родных песках.

ДЕКАРТ

Я — единственный человек на земле, но, может быть,
ни земли, ни человека не существует.

Может быть, я обманут каким-то богом.

Может быть, этот бог судил мне время, его нескончаемый
морок.

И это мой сон — луна и глаза, которые видят луну.

И сном был сегодняшний вечер и утро первого дня творенья.

Сном — Карфаген и легионы, разрушившие Карфаген.

Сном — Вергилий.

Сном — возвышенье Голгофы и три римских креста.

Сном — геометрия.

Сном — точка, линия, плоскость, объем.

Сном — желтое, синее, красное.

Сном — мое хрупкое детство.

Сном — все карты, и царства, и чей-то бой на рассвете.

Сном — нестерпимая боль.

Сном — этот клинок.

Сном — Елизавета Богемская.

Сном — сомнение и достоверность.

Сном — вчерашний день.

Может быть, нет никакого вчерашнего дня и я еще
не родился.

Я вижу сон, в котором мне снится сон.

Немного зябко, немного страшно.

Над Дунаем — полночь.

И длится мой сон о Декарте и вере его отцов.

БЕШПО

Бесплодный белоснежный кот глядит
в лучистые зеркальные глубины,
не ведая, что этот белый клуб
и золото зрачков, ни разу в доме
им не замеченных, — его двойник.
Когда б он знал, что незнакомый зритель —
всего лишь сон зеркального стекла!
Я говорю себе, что оба дивных
кота — и в зеркале, и во плоти —
подобья одного вневременного
прообраза. Так учит — тоже тень —
Плотин в своих бездонных «Эннеадах».
Какой Адам шестого дня творенья,
какой уму непостижимый Бог
глядится в нас, несчетные осколки?

ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Вот оно, исполинское Брокгаузово творенье:
изобилье и тяжесть томов с приложением тома карт,
вся немецкая истовость,
неоплатоники и гностицизм,
первородный Адам и Адам из Бремена,
тигры и татарва,
четкость печати и синева морей,
память времен и лабиринты времени,
истины и ошибки,
помесь всего со всем, неохватная для любого,
итог многолетних бдений.
А в придачу — беспомощные глаза, неслушные пальцы,
неразборчивые страницы,
зыбкая мгла слепоты и стирающиеся стены.
Но еще и новый обряд
среди прежних, зовущихся домом,
новая тяга и новая близость,
эта таинственная любовь ко всему,
существующему без нас и помимо друг друга.

НЕКТО

Дни, отданные зряшному труду, —
забыть о веке одного из многих
поэтов южного материка,
которому судьба или созвездья
послали плоть, не давшую потомства,
и слепоту — тюрьму и полумрак,
и старость, утро подступившей смерти,
и славу, что не стоит ни гроша,
и навык ткать все тот же пятистопник,
и ввевшуюся нежность к словарям,
миниатюрным кропотливым картам,
точеной кости, детскую тоску
по вековой латыни и осколки
пейзажей Эдинбурга и Женевы,
и забывание имен и дат,
и культ единого Востока, чуждый
народам многоликого Востока,
и ожиданье сбывшихся надежд,
и ложные ходы этимологий,
и сталь саксонских кованых созвучий,
и каждый вечер новую луну,
и этот город — скверную привычку,
и вкус изюма, и простой воды,
и шоколада, мексиканской сласти,
монеты и песочные часы,
чтоб нынче вечером — одним из многих —
он вновь смирился с горсткой этих слов.

ДВА ЛИКА БЕССОННИЦЫ

Что такое бессонница?

Вопрос риторический: я слишком хорошо знаю ответ.

Это страх и вслушивание всю ночь в тяжелый и неотвратимый бой курантов, это попытка бессильными чарами унять одышку, это тяжесть тела, вертящегося с боку на бок, это стискивание век, это состояние бреда, а вовсе не яви, это чтение вслух давным-давно заученных строк, это чувство вины за то, что бодрствуешь, когда другие спят, это желание и невозможность забыться, это ужас оттого, что жив и опять продолжаешь жить, это неверное утро.

А что такое старость?

Это ужас пребывания в теле, которое отказывает день за днем, это бессонница, которая меряется десятилетиями, а не стальными стрелками часов, это груз морей и пирамид, древних библиотек и династий, зорь, которые видел еще Адам, это безвыходное сознание, что приговорен к своим рукам и ногам, своему опостылевшему голосу, к звуку имени, к рутине воспоминаний, к испанскому, которому так и не научился, и ностальгии по латинскому, которого никогда не знал, к желанию и невозможности оборвать все это разом, к тому, что жив и опять продолжаешь жить.

THE CLOISTERS¹

Из французского королевства
доставили стекла и камень,
чтоб на Манхэттенском острове
вывести эти сходящиеся аркады.
Они не подлог,
а доподлинный памятник ностальгии.
Голос американки нас приглашает
платить, кто сколько может,
потому что постройки — мнимость,
и деньги, брошенные в тарелку,
все равно обратятся в шекели или в пепел.
Это аббатство ужасней
пирамиды Гизеха
и Кносского лабиринта,
поскольку тоже виденье.
Слышишь лепет фонтана,
а фонтан — в Апельсиновом дворике
или в песне «Асры».
Слышишь звуки латыни,
а латынь звучит в Аквитании,
у самых границ ислама.
На гобелене видишь
разом гибель и воскресенье
приговоренного белого единорога,
ведь время в этих местах
живет по своим порядкам.
Этот задетый рукою лавр зацветет,
когда Лейф Эйриксон ступит на берег Америки.
Странное чувство: похоже на головокруженье.
До чего непривычна вечность!

¹ Обитель (англ.).

ДЛЯ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА

В Висконсине, Техасе, а может быть, Алабаме ребята играют в войну между Севером и Югом. Я (как и все на свете) знаю: в разгроме есть величие, недоступное шумной победе, но могу вообразить, что длящаяся не один век и не на одном континенте игра достигает в конце концов божественного искусства распускать ткань времени или, как сказал бы Петр Дамиани, изменять былое.

Если это случится и после долгих игр Юг разобьет Север, нынешний день перестроит прошедшее, так что солдаты Ли в первые дни июля 1863 года выйдут из-под Геттисберга победителями, перо Донна допишет поэму о переселении душ, состарившийся идальго Алонсо Кихано завоеует любовь Дульсинеи, восемь тысяч саксов в бою под Хастингсом разгромят норманнов, как раньше громили норвежцев, а Пифагор под Аргосским портиком не узнает щита, которым оборонялся, когда был Эвфорбом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Исчерпав некое число шагов,
отмеренных тебе на этом свете,
ты умер, говорят. Я тоже мертв.
И, вспоминая наш — как оказалось,
последний — вечер, думаю теперь:
что сделали года с двумя юнцами
далеких девятьсот двадцатых лет,
в нехитром платоническом порыве
искавшими то на панелях Южных
закатов, то в паредесовых струнах,
то в рассказах о стойке и ноже,
то в беглых и недостижимых зорях
подспудный, истинный Буэнос-Айрес?
Собрат мой по колоколам Кеведо
и страсти к дактилическим стихам,
как все в ту пору — первооткрыватель
метафоры, извечного орудья
поэтов, со страниц прилежной книги
сошедший, чтобы — сам не знаю как —
побыть со мною в мой никчемный вечер
и поддержать в кропанье этих строк...

СЧАСТЬЕ

Всякий обнявший женщину — Адам. А его женщина — Ева.
Все происходит впервые.

Я увидел на небе белый круг. Мне говорят «луна», но это
всего лишь слово, всего лишь миф.

Я побаиваюсь деревьев. Они до того прекрасны!

Мирные звери вокруг ожидают своих имен.

В книгах на полке нет ни единой буквы. Они возникают,
как только я раскрываю книгу.

Перелистывая атлас, я создаю Суматру.

Всякий хватающийся в темноте за спички изобретает огонь.

В зеркалах нас подстерегают чужие лица.

Всякий смотрящий на море видит Великобританию.

Всякий произносящий строку Лилиенкрона вступает
в битву.

Я увидел во сне Карфаген и легионы, разрушившие
Карфаген.

Я увидел во сне клинок и весы.

Слава любви, в которой никто не обладает никем,
а каждый дарит себя другому.

Слава кошмару, после которого понимаешь, какой ад мы
способны создать.

Всякий вступающий в реку вступает в Ганг.

Всякий смотрящий на песок в часах видит распад империй.

Всякий играющий с кинжалом предвещает убийство
Цезаря.

Всякий спящий несет в себе всех — и живых, и мертвых.

Я увидел в пустыне юного Сфинкса, который только что
создан. Ничего старого нет под солнцем.

Все происходит впервые и навсегда.

Всякий читающий эти слова — их автор.

ЭЛЕГИЯ

Тайком, скрываясь даже от зеркал,
он просто плакал, как любой живущий,
не думав раньше, сколько на свете
заслуживает поминальных слез:
лицо неведомой ему Елены,
невозвратимая река времен,
рука Христа, лежащая на римском
кресте, соленый пепел Карфагена,
венгерский и персидский соловей,
миг радости и годы ожидания,
резная кость и мужественный лад
Марона, певшего труды оружия,
изменчивый рисунок облаков
единого и каждого заката,
и день, который снова сменит ночь.
За притворенной дверью человек —
щепоть сиротства, нежности и тлена —
в своем Буэнос-Айресе оплакал
весь бесконечный мир.

БЛЕЙК

Что составляло розу — щедрый дар,
непостижимый самому бутону?
Не жаркий цвет, незримый для цветка,
не сладкий и неуловимый запах,
не вес воздушных лепестков. Все это
лишь беглый отсвет, канувшая тень.
Им далеко до настоящей розы.
Она таится в чаше, и в бою,
и в небе, полном ангелов, и в тайном,
незыблемом и необъятном мире,
и в торжестве невидимого Бога,
и в серебре совсем иных небес,
и в мерзостном прообразе, ничем
не сходном с очертаниями розы.

СОЗДАТЕЛЬ

Мы все — твоя стремнина, Гераклит.
Мы — время, чье незримое течение
Уносит львов и горные хребты,
Оплаканную нежность, пепел счастья,
Упрямую бессрочную надежду,
Пространные названья павших царств,
Гекзаметры латиняна и грека,
Потемки моря и триумф зари,
Сон, предвкушение грядущей смерти,
Доспехи, монументы и полки,
Орла и решку Янусова лика,
Спряденные фигурками из кости
Меандры на расчерченной доске,
Кисть Макбета, способную и море
Наполнить кровью, тайные труды
Часов, бегущих в полуночном мраке,
Недремлющее зеркало, в другое
Глядящее без посторонних глаз,
Гравюры и готические буквы,
Брусочек серы в платяном шкафу,
Тяжелые колокола бессонниц,
Рассветы, сумерки, закаты, эхо,
Ил и песок, лишайники и сны.

Я — эти тени, что тасует случай,
А нарекает старая тоска.
С их помощью, слепой, полуразбитый,
Я все точу несокрушимый стих,
Чтоб (как завещано) найти спасенье.

YESTERDAYS¹

Во мне смешались протестантский пастор
с солдатом наших федеральных войск,
несчетным прахом удержавших натиск
испанцев и всхлестнувшей глуши.
Так и не так. Мне положил начало
отцовский голос, неразлучный впрямь
с напевом давних суинберновских строчек,
и те неисчислимы тома,
которые листались не читаясь.
Я — склад цитат из философских книг.
А родину мою судьба и случай —
два имени одной безвестной сути —
составили из улиц Адрогге,
увиденной однажды ночью Нары,
Исландии, двух Кордов и Женевы...
Я — одинокие глубины сна,
где вновь хочу и не могу исчезнуть,
слуга ночных и утренних потемок,
все зори разом и тот первый раз,
когда я увидел луну и море —
я сам, а не Марон и Галилей.
Я — всякий миг моих бездонных будней,
и бесконечных пристальных ночей,
любой разрыв и каждое свиданье.
Я — тот, кто перед смертью видел глушь
и так в нее из вечности и смотрит.
Я — отголосок. Зеркало. Надгробье.

¹ Прожитое (англ.).

КАНВА

В дальнем дворике
каплет размеренный кран
с неизбежностью мартовских ид.
Лишь две комнаты в этой сети, обнимающей
круг без конца и начала,
финикийский якорь,
первого волка и первого агнца,
дату моей кончины
и утраченную теорему Ферма.
Эту стальную решетку
стойки воображали огнем,
гаснувшим и возрождающимся, как Феникс.
Она — исполинское древо причин
и ветвящихся следствий,
в чьей кроне — Халдея, Рим
и все, что видит четвероликий Янус.
Некоторые зовут ее мирозданьем.
Ее не видел никто,
и никому не дано взглянуть за ее пределы.

НЕКТО ТРЕТИЙ

Я посвящаю это стихотворение
(будем звать его так)
третьему встречному позавчерашнего дня,
непостижимому, как рассуждение Аристотеля.
В субботу я вышел
в вечернее многолюдье,
где он вполне мог быть третьим встречным,
как, впрочем, четвертым и первым.
Мы, кажется, даже не оглядели друг друга,
когда он свернул к Парагваю, а я — на Кордову.
Может быть, он — порождение этих слов.
Как его звали, мне не узнать вовеки.
Знаю, что у него был любимый вкус.
Знаю, что он не раз засматривался на луну.
Возможно, он уже умер,
а если прочтет эти строки, то не узнает,
что я говорю о нем.
В непостижимом грядущем
мы можем столкнуться врагами и пощадить
друг друга.
Или друзьями и полюбить друг друга.
Я сделал непоправимый шаг,
протянув между нами узы.
В нашем обыденном мире,
неотличимом
от сказок Шехерезады,
нет пустяка, который внезапно не обернется
чудодейственным средством,
нет безделки, случайно не давшей начало
бесконечной цепи событий.
Знать бы, какая тень
ляжет от этих досужих строчек.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Монета орлом

Спишь. И опять просыпаешься мной.
Позднее утро стирает иллюзию обновленья.
Не припомнишь Вергилия? Вот они, эти строки.
Все встает по местам.
Воздух, земля, вода и огонь — четыре стихии греков.
Имя единственной женщины в мире.
Дружелюбие луны.
Свежие краски атласов.
Очистительное забвенье.
Память, которая чёркает и перебеливает.
Привычки, этот залог уверенности в бессмертье.
Стрелки и циферблат, делящие неуследимое время.
Тончайший запах сандала.
Сомненья, которые не без спеси зовем метафизикой.
Выгиб трости, ныряющий в руку.
Вкус винограда и меда.

Монета решкой

Прервать чей-то сон —
обычный поступок любого,
чудовищный, если подумать.
Прервать чей-то сон —
значит втолкнуть уснувшего в беспредельный
каземат мирозданья
со всем его временем без начала и без конца.
Значит напомнить ему,
что он всего лишь общедоступное имя
и сумма прожитых дней.
Всколыхнуть его вечность.

Обременить созвездьями и веками.
Восставить нового Лазаря,
дав ему память о прежнем.
Замутить летейские воды.

СОН

Ночь поручает спящим колдовское
задание — распустить весь этот мир,
его бесчисленные разветвления
причин и следствий, тонущих в бездонном
круговороте мчащихся времен.
Ночь хочет, чтобы за ночь ты забыл
себя, происхождение и предков,
любое слово, каждую слезу,
все, чем могло бы обернуться бденье,
немыслимую точку геометров,
прямую, плоскость, пирамиду, куб,
цилиндр и сферу, океан и волны,
подушку под щекою, тонкость свежих
простынь...
империи, их цезарей, Шекспира
и — самый тяжкий труд — свою любовь.
Как странно: этот розовый кружок
стирает космос, воздвигая хаос.

ОДИН ИЗ СНОВ

В одной из пустынь Ирана стоит невысокая каменная башня без дверей и окон. Внутри — единственная каморка (с круглым земляным полом), а в ней — деревянный стол и скамья. В этом круглом застенке похожий на меня человек непонятными буквами пишет поэму о человеке, который в другом круглом застенке пишет поэму о человеке, который в другом круглом застенке... Занятию нет конца, и никто никогда не прочтет написанного.

ЗАБЫТЫЙ СОН

Вивиане Агиляр

Неверным утром мне приснился сон.
Изо всего, что видел, помню двери,
а остальное стерлось. Новый день
вобрал в себя и схоронил навеки
какое-то известие, теперь
недостижимое, словно призрак
слепца Тиресия, халдейский Ур
и лабиринты теорем Спинозы.
Я прожил долгий век свой, разбирая
учения философов земли.
Известно мненье одного ирландца,
что Бог, чей разум никогда не спит,
хранит в себе любое сновиденье,
и каждый сад, и всякую слезу.
Неверный день, и полутьма повсюду.
Пойми я, что осталось ото сна,
который снился мне, и что в нем снилось,
и я бы понял все.

МЧАТЬ ИЛИ БЫТЬ?

Где Рейн — за облаками? Вездесущий
прообраз Рейна, чистый архетип,
вне времени — совсем другого Рейна —
векующий и длящий вечный миг,
рождая Рейн, что по немецким рощам
бежит, пока диктую этот стих?
Так поколениям внушал Платон,
которого оспорил Уильям Оккам.
Он бы сказал, что Рейн (происходящий
от слова «*gīpan*», то бишь «мчать») — всего лишь
пустая кличка, данная людьми
стремнине вод, катящих век за веком
от снежных шапок до приморских дюн.
Что ж, может быть. Пускай они решают.
Кем стану я — еще раз повтореньем
лучистых дней и сумрачных ночей
с их радостями книг, любви и песен
и тяготами страхов и надежд?
Или другим, тем потаенным ликом,
чью смутную, растаявшую тень
сейчас пытал в нетерпеливых стеклах?
За гранью смерти, может быть, узнаем,
кто мы взаправду — слово или суть.

ПРАВЕДНИКИ

Тот, кто возделывает свой сад, как завещал Вольтер.
Кто благодарит эту землю за музыку.
Кто счастлив, найдя этимологическое сродство.
Двое служащих в южном кафе за молчаливыми шахматами.
Гончар, заранее взвесивший цвет и форму.
Наборщик, бьющийся с этой неблагодарной страницей.
Пара, читающая заключительные терцины одной из песен.
Тот, кто гладит спящую кошку.
Кто искупает или пытается искупить причиненное зло.
Кто благодарит эту землю за Стивенсона.
Кто предпочтет правоту другого.
Вот кто, каждый — поодиночке, спасает мир.

СИНТО

Убитого горем
может спасти пустяк —
малейшее отвлечение
памяти или вниманья:
вкус плода, вкус простой воды,
лицо, возвращенное сном,
первый ноябрьский жасмин,
не знающий устали компас,
книга, с потерей которой уже смирился,
сердцебиенье гексаметра,
маленький ключ от входной двери,
запах книг и сандала,
старое название переулка,
краски географической карты,
блеснувшая этимология,
ровно обстриженный ноготь,
позабытая дата,
бой полночных курантов
или внезапная боль.

В культуре синто — восемь миллионов богов,
тайком бродящих по миру.
Эти нехитрые божества осеняют нас.
Осенят — и растают.

ЧУЖАК

В святилище дремлет меч.
Я, один из священников храма, его никогда не видел.
Другие общины почитают бронзовые зеркала
или камни.
Думаю, в давние годы их выбирали за редкость.
Говорю совершенно открыто: синтоизм —
самый свободный из культов.
Самый свободный и самый древний.
У нас есть старинные письмена, которых уже не видно.
Исповедовать синтоизм могут даже олени и росы.
Он учит трудиться как должно, но не предписывает
морали.
Не утверждает, что каждый тклет себе свою карму.
Не устрашает мукой и не подкупает наградой.
Его приверженцы вправе идти за Буддой
или за Иисусом.
Он почитает Императора и умерших.
Верит, что человек после смерти становится богом
и охраняет близких.
Верит, что дерево после смерти становится богом
и охраняет деревья.
Верит, что соль, вода и музыка очищают.
Верит, что божества неисчислимы.
Утром нас посетил старый поэт, слепой перуанец.
Сидя на галерее, мы делили с ним ветер из сада, запах
сырой земли и песнь пернатых божеств.
Через переводчика я толковал ему нашу веру.
Не берусь судить, что он понял.

Западные лица — как маски,
по ним ничего не заметишь.
Он обещал, вернувшись в Перу, вспомнить нашу беседу
в стихах.
Выполнил ли, не знаю.
Не знаю, сойдемся ли снова.

НИХОН

По томику Рассела я представляю себе теорию множеств, Mengenlehre, где существуют и действуют бесконечные величины, исчерпать которые не в силах даже бессмертный, тратя он на их исчисление за вечностью вечность, и чьи призрачные династии зашифрованы буквами еврейского алфавита. В этот тончайший из лабиринтов мне не ступить вовек.

По определениям и аксиомам, тезисам и короллариям я представляю себе бесконечную субстанцию Спинозы, наделенную бесконечным числом качеств, среди которых — пространство и время, так что стоит произнести или просто задумать слово, и в бесчисленных незримых мирах независимо друг от друга произойдут бесчисленные события. В этот тончайший из лабиринтов мне не ступить вовек.

По нагорьям, избравшим, вслед за Верленом, оттенки, а не цвета, по письму, источающему учтивость и не ведающему преувеличений, по садам, где вода и камни значат не меньше, чем зелень, по рисованным тиграм, в которых сквозит не тигр, а какой-то древний прообраз, по дороге чести, «бусидо», по памяти, бредящей клинками, по мостикам, рассветам и храмам, по музыке — роду безмолвья, по чуть слышно шепчущим толпам я представляю себе твой облик, Япония. В этот тончайший из лабиринтов...

Году в 1870-м в гарнизоне Хунина объявились степные индейцы, никогда не видевшие ворот, дверной колотушки, ставней. Они смотрели вокруг, касались этих диковин, таких же далеких от них, как от нас — Манхэттен, и навсегда возвращались в родную глушь.

ТАЙНОПИСЬ

Безмолвно — дружелюбная луна
(почти что по Вергилию) с тобою,
как в тот исчезнувший во мгле времен
вечерний миг, когда неверным зреньем
ты наконец нашел ее навек
в саду или дворе, истлевших прахом.
Навек? Я знаю, будет некий день
и чей-то голос мне откроет въяве:
«Ты больше не посмотришь на луну.
Исчерпана отпущенная сумма
секунд, отмеренных тебе судьбой.
Хоть в целом мире окна с этих пор
открой. Повсюду мрак. Ее не будет».
Живем, то находя, то забывая
луну, счастливый амулет ночей.
Вглядись позорче. Каждый раз — последний.

**ДЕВЯТЬ ОЧЕРКОВ
О ДАНТЕ**

ВВЕДЕНИЕ

Представим себе обнаруженную среди восточных книг миниатюру, написанную много веков назад. Она может оказаться арабской, объединяющей в себе все сюжеты «Тысячи и одной ночи», а может быть, это китайская иллюстрация к роману с сотнями и тысячами персонажей. Среди множества изображений одно — дерево, похожее на опрокинутый конус и горящие багрянцем мечети за железной оградой — привлекает наше внимание, — и уже от него взгляд переходит к другим. День угасает, слабеет свет, и, наполовину разглядев миниатюру, мы понимаем, что нет на земле ничего, что не изображено здесь. Все, что было, есть и будет, случившееся и грядущее, все это ждет нас где-то в этом безмолвном лабиринте... Я вообразил волшебную вещь, миниатюру, являющую собой микрокосм; поэма Данте — это подобная миниатюра, охватывающая всю Вселенную. Однако мне кажется, что, если бы можно было прочесть ее в неведении (увы, эта радость нам недоступна), вселенское оказалось бы не первым, что бросилось нам в глаза, не самым возвышенным или величественным. Гораздо раньше, мне думается, мы обратим внимание на менее подавляющие и гораздо более привлекательные особенности поэмы; прежде всего, возможно, на то, что отмечают английские исследователи Данте: разнообразие и верность точных описаний. Поэту мало сказать, что свитые вместе человек и змея превращаются друг в друга, человек становится змеей, а змея человеком; он сравнивает эту двойную метаморфозу с горением бумаги, когда по белому листу, превращая его в черный, бурою каймой бежит огонь («Ад», XXV, 64). Ему мало сказать, что во тьме седьмого круга грешники прищуривают глаза, чтобы различить что-либо, он сравнивает их с людьми, озирающими

друг друга в новолуние, или со старым швецом, вдевающим в иголку нить («Ад», XV, 19). Ему мало сказать, что в глубинах Вселенной вода замерзает, он пишет об озере: «подобное стеклу, а не волнам» («Ад», XXXII, 24)... Именно эти сравнения имела в виду Маколей, когда утверждала, в противоположность Кэри, что «туманно-возвышенное» в поэме Мильтона и его «великолепные обобщения» трогают меньше, чем дантовские подробности. Впоследствии Рескин («Modern Painters»¹, IV, XIV) подверг критике хаотические картины поэмы Мильтона, отдавая предпочтение строгой топографии преисподней, описанной Данте. Известно, что поэты привержены к гиперболам: у Петрарки или у Гонгоры волосы женщины всегда золото, а вода — непременно хрусталь; этот грубый, механически употребляемый алфавит символов, основанный, как можно предположить, на безразличии и небрежности, обесценивает слова. Данте не допускает этой ошибки; в его произведении нет ни одного неверного слова.

Точность, о которой я говорил, ни в коей мере не относится к риторическому мастерству; она — свидетельство честности, цельности, которой отмечен каждый эпизод поэмы. То же самое можно сказать и о психологической верности характеристик, совершенно изумительных и в то же время неприятных. Ими пронизана насквозь вся поэма, некоторые мне хочется привести здесь. Души, обреченные аду, рыдают и проклинаят Бога; когда же они спускаются в лодку Харона, их страх сменяется устремленностью вперед и невыносимым волнением («Ад», III, 124). Услышав из уст Вергилия, что тот никогда не попадет на небо, Данте тут же обращается к нему, называя своим учителем и господином, чтобы показать, что признание Вергилия не уменьшает его привязанности, а, напротив, усиливает ее («Ад», IV, 39). В черной буре второго круга Ада Данте хочет узнать у Паоло и Франчески о начале их любви, и Франческа рассказывает ему, как они полюбили друг друга, не подозревая об этом, «*soli eravamo e senza alcun sospetto*»², что любовь от-

¹ «Современные художники» (англ.).

² Одни мы были, был беспечен каждый («Ад», V, 129) (итал.; здесь и далее перевод М. Лозинского).

крылась им благодаря случайной книге, которую они читали. Вергилий осуждает высокомерные притязания постичь разумом бесконечную божественность и тут же потупляет взор и смолкает, так как сам он один из этих несчастных («Чистилище», III, 34). На крутом склоне горы Чистилища тень мантуанца Сорделло спрашивает у тени Вергилия, откуда он; едва тот успевает сказать «Мантуя», Сорделло перебивает его и заключает в объятия («Чистилище», VI, 58). Романы нашего времени многословно описывают мыслительные процессы; Данте предоставляет нам догадываться о них по намерению или жесту.

Поль Клодель заметил однажды, что видения, которые ожидают нас после смерти, вряд ли окажутся девятью кругами Ада, уступами склонов Чистилища или концентрическими небесами Рая. Данте, несомненно, согласился бы с ним; поэт создал эту топографию смерти, повинувшись требованиям схоластики и формы своей поэмы.

Птолемея астрономия и христианская теология определяют Вселенную Данте. Земля — неподвижный шар; в центре Северного полушария (предназначенного для людей) высится гора Сион; под прямым углом с востока к горе течет река Ганг; под прямым углом на запад — вытекает река Эбро. Южное полушарие состоит из воды, а не из земли и запрещено для людей; в центре его — антипод Сиона, гора Чистилища. Две реки и две противостоящие горы образуют на шаре крест. Под горой Сион, но гораздо шире ее уходит вглубь к центру Земли воронка Ада, разделенная на нисходящие круги, подобные рядам амфитеатра. Кругов девять, их топография чудовищна и губительна; пять первых образуют Верхний Ад, четыре последних — Нижний Ад, представляющий собой город с горящими багрянцем мечетями, окруженный железными стенами. Внутри его — могилы, выбоины, обрывы, топи и зыбучие пески. В самой глубине воронки — Люцифер, «червь, которым мир пронзен». Расщелина, которую пробили в скале летейские воды, связывает глубины Ада и подножие Чистилища. Эта гора со всех сторон окружена водой, в нее можно войти, по склону горы расположены уступы, каждый из которых символизирует смертный грех; Райский Сад цветет на вершине. Вокруг Земли

вращаются девять концентрических сфер; семь первых — это планетарные небеса (небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна); восьмая — небо неподвижных звезд; девятая — кристалльное небо, называемое иначе Перводвигателем. Его окружает Эмпирей, где вокруг точки, которая есть Бог, раскрывается безмерная Райская роза. Можно догадаться, что кругов розы — девять... Таково, в общих чертах, строение дантовского мира, в котором главную роль играют числа один и три, а также круг. Демиург, или Творец, трактата «Тимей», книги, о которой Данте упоминает («Пир», III, 5; «Рай», IV, 49), полагает, что самое совершенное движение — это вращение, а самое совершенное тело — шар; такое суждение с Демиургом Платона разделяют Ксенофан и Парменид, оно же определяет географию трех миров, описанных Данте.

Девять вращающихся небес и Южное полушарие, состоящее из воды, с горой посередине явно соответствуют устаревшей космологии; некоторые полагают, что этот эпитет применим также к необыкновенному построению поэмы. Девять кругов Ада (рассуждают они) — не менее старая и не заслуживающая доверия концепция, чем девять небес Птолемея, а Чистилище не более реально, чем гора, на которой расположил его Данте. На эти возражения можно ответить по-разному: прежде всего, Данте не намеревался описывать подлинную или правдоподобную топографию мира иного. Так заявлял он сам; в известном письме к Кангранде, написанном по-латыни, Данте определяет сюжет «Комедии»: в буквальном смысле это состояние души после смерти, а в аллегорическом — человек, по своим достоинствам и недостаткам заслуживающий кары или божественной награды. Якопо Алигьери, сын поэта, развил эту мысль. Во вступлении к его комментарию мы читаем, что «Комедия» стремится аллегорически изобразить три способа существования человечества и что в первой ее части речь идет о грехе, и автор называет ее Адом, вторая — это переход от греха к добродетели — именуется Чистилищем, в третьей описано жилище людей совершенных, Рай, «дабы показать, что добродетели и счастье в равной мере необходимы людям для достижения высшего блага». Так это расценивали и другие комментаторы давних времен, например Якопо делла Ла-

на, который объясняет: «Поскольку поэт считал, что человеческая жизнь может быть трех видов, а именно жизнь грешников, жизнь кающихся и жизнь праведников, он разделил свою книгу на три части — Ад, Чистилище и Рай».

Еще одно свидетельство принадлежит Франческо да Бути, который занимался комментированием «Комедии» в конце XIV века. Вот фраза из его письма: «Сюжет поэмы в буквальном смысле — состояние душ, расставшихся с телом, а в нравственном смысле — награды и кары, которые человек заслуживает по собственной воле».

Гюго в стихотворении «Что поведала тень» пишет, что призрак, каким в Аду видится Каину Авель, и тот, в котором Нерон узнает Агриппину, — один.

Автору «Комедии» вменяется в вину нечто гораздо более серьезное, чем устаревшая концепция, — его обвиняют в жестокости. Ницше в «Сумерках идолов» (1888) высказал это суждение с опрометчивой язвительностью, уподобив Данте гиене, «слагающей стихи на могилах». Образ явно не столь замысловат, сколь напыщен; своей известностью — незаслуженной известностью — он обязан привычке исступленно и необдуманно высказывать общее мнение. Лучший способ опровергнуть это обвинение — разобраться, есть ли для него основания.

Существует причина иного, технического характера, объясняющая суровость и жестокость, в которых обвиняют Данте. Пантеистическое представление о Боге, который в то же время является и Вселенной, и каждым из своих созданий, и судьбою этих созданий, можно считать ересью и ошибкой в применении к действительности, но оно совершенно неоспоримо в отношении поэта и его произведений. Поэт — это каждый из героев вымышленного им мира, каждое дуновение и каждая мелочь. Одна из его задач, не самая легкая, — скрыть или преуменьшить свое всемогущество. Она особенно трудна в случае Данте, который по самому характеру поэмы должен провозглашать спасение или обрекать на вечные муки, чтобы читателям при этом не казалось, что Справедливость, выносящая приговоры, в конечном итоге он сам. Для этого он вводит себя в число персонажей и делает так, что его суждения не совпадают или не всегда совпадают — как в случае с Филиппо Ардженти или с Иудой — с божественными решениями.

ВЫСОКИЙ ЗАМОК ИЗ ПЕСНИ ЧЕТВЕРТОЙ

В начале XIX века или в конце XVIII в обиход вошло несколько английских прилагательных (*eerie, uncanny, weird*¹) древнеанглийских или шотландских корней. Они служат для определения мест или предметов, возбуждающих безотчетный страх. Такие эпитеты соответствуют романтическому восприятию пейзажа. В немецком языке они прекрасно передаются словом «*unheimlich*»², в испанском, пожалуй, наиболее подходящим окажется слово «*siniestro*» — «злополучный, роковой». Раздумывая над своеобразием понятия «*uncanniness*»³, я написал однажды: «Дворец Подземного Пламени, предстающий перед нами на заключительных страницах „Ватека“ (1782) Уильяма Бекфорда, — это первый действительно жестокий ад в литературе. Самое известное изображение ада, *печальное царство „Комедии“*, не жестоко, это место, где происходят жестокие вещи. Различие существенное.

Стивенсон („*A Chapter on Dreams*“⁴) рассказывает, что в детских снах его преследовал отвратительный оттенок бурого цвета; Честертон („*The Man Who Was Thursday*“⁵, VI) представляет себе, что у западных пределов мира, судя по слухам, растет дерево, которое и больше, и меньше, чем дерево, а у восточных — некая башня, сама архитектура которой зловеща. В „Рукописи, найденной в бутылке“ По рассказывает о некоем южном море, волны которого бороздит корпус корабля, подобный живому телу моряка; Мелвилл в „Моби Дике“ отводит много места описанию ужаса, который внушает

¹ Мрачный, жуткий, роковой (*англ.*).

² Жуткий (*нем.*).

³ Ужас, жуть (*англ.*).

⁴ «Глава о снах» (*англ.*).

⁵ «Человек, который был Четвергом» (*англ.*).

невыносимая белизна кита... Примеры можно множить; хотя, наверное, было бы достаточно заметить, что дантовский Ад возвеличивает понятие тюрьмы¹, в то время как ад Бекфорда славит подземные туннели кошмара».

На днях ночью на набережной Конституции мне внезапно вспомнился прекрасный пример *uncanniness*, тихого, безмолвного ужаса в самом начале «Комедии». Обращение к тексту подтвердило правильность воспоминания. Я говорю о песни IV «Ада», одной из самых известных.

Дочитав последние страницы «Рая», понимаешь, что «Комедия» может заключать в себе многое или даже все; но в самом начале она — сновидение Данте, который, в свою очередь, не более чем часть сновидения. Он говорит нам, что не знает, как очутился в сумрачном лесу, «*tant'era pieno di sonno a quel punto*»²; здесь «*sonno*» — метафора состояния грешной души, но в то же время и неясное начало сна. Затем он рассказывает о волчице, преградившей ему дорогу, — «немало душ из-за нее скорбело» («Ад», I, 51); Гвидо Витали замечает, что эта фраза не может быть вызвана просто появлением зверя; Данте чувствует это, как мы часто чувствуем нечто подобное во сне. В лесу появляется незнакомец, едва узрев которого Данте понимает, что тот хранит долгое безмолвие, — еще один пример сновидческого прозрения. Оно, замечает Момильяно, не оправдано логически, но оправдано поэтически. Начинается фантастическое путешествие. При входе в первый круг Ада лицо Вергилия покрывает смертельная бледность, которую Данте приписывает страху.

Вергилий объясняет Данте, что тот счел испугом печаль об осужденных и что он сам тоже в их числе («*e di questi cotai son io medesimo*»³). Данте, чтобы смягчить ужас признания или чтобы выразить свою преданность, обращается к своему вожатому с почтительностью: «*Dimmi, maestro mio, dimmi, signore*»⁴. Вздохи, вздохи, вызванные печалью, а не исторгнутые мучениями, заставляют трепетать воздух. Вергилий

¹ *Carcere cieco*, склеп слепой, говорит об Аде Вергилий («Чистилище», XXII, 103; «Ад», X, 58–59).

² Настолько сон меня опутал ложью... («Ад», I, 11)

³ Таков и я... («Ад», IV, 39).

⁴ Мой господин, учитель мой, скажи («Ад», IV, 46).

объясняет, что они находятся в Аду тех, кто умер раньше, чем была провозглашена Вера; четыре благородные тени приветствуют его; на их лицах не видно ни печали, ни радости; это Гомер, Гораций, Овидий и Лукан, в правой руке у Гомера меч, символ его первенства в эпической поэзии. Славные тени приветствуют Данте как равного и ведут его в свою вечную обитель, в замок, семь раз обведенный высокими стенами (это семь свободных искусств или три умственные добродетели и четыре нравственные) и рвом (земные блага или красноречие), которые преграждают путь, как если бы материалом для них служила земля. Обитатели замка — люди весьма почтенные; они мало говорят, речь их безыскусна, взгляды неторопливы и серьезны. Около замка трава, отливающая таинственной зеленью. Поднявшись на холм, Данте видит античных и библейских героев, а также мусульманина («Averois, che'l gran comento feo»¹). Один узнаваем по памятному облику («Cesare armato con li occhi grifagni»²), другого можно распознать по одиночеству, подчеркивающему его величие («e solo, in parte, vidi'l Saladino»³), они живут, томимые безнадежным стремлением; страданий они не испытывают, но знают, что отвергнуты Богом. Скупое перечисление имен собственных, скорее информативное, чем пробуждающее эмоции, завершает песнь.

Упоминание о Лимбе Предков, именуемом Лоном Авраамовым (Лк 16: 22), и о Лимбе, где находятся души младенцев, умерших без крещения, известны в теологии, идея поместить туда добродетельных язычников, как свидетельствует Франческо Торрака, принадлежит Данте. В тяжелые, бедственные времена поэт ищет оплота в великой римской истории. Он хотел почтить ее в своей книге, но не мог не знать — как замечает Гвидо Витали, — что излишняя приверженность к античному миру идет вразрез с задачами его Веры. Данте не может, вопреки ей, спасти своих героев; он воображает их в обители зла, Аде, лишенных возможности видеть Бога на небесах и принадлежать ему, и сострадает их

¹ Аверроис, толковник новых дней («Ад», IV, 144).

² И хищноокий Цезарь, друг сражений («Ад», IV, 123).

³ Поодаль я заметил Саладина («Ад», IV, 129).

таинственной судьбе. Спустя годы, изображая Небо Юпитера, он возвращается к этой проблеме. Боккаччо находит, что между написанием VII и VIII песней «Ада» большой перерыв, вызванный изгнанием Данте, полагая, что стих «Io dico, seguitando ch'assai prima»¹ содержит намек на реальные события, хотя гораздо более ощутимо различие между песнью о замке и следующими за нею. В V песни Данте заставляет Франческу да Римини произнести бессмертные слова; в предыдущей он не дает говорить ни Аристотелю, ни Гераклиту, ни Орфею, если даже и думает об этом приеме. Задуманное или случайное, их молчание усиливает мрачность всей сцены. Бенедетто Кроче пишет: «В высоком замке, где присутствуют великие люди и мудрецы, сухое сообщение занимает место усмирённой поэзии. Восхищение, благоговение, печаль — все эти чувства лишь обозначены, но не раскрыты» («La poesia di Dante»², 1920). Комментаторы отмечают контраст между средневековой архитектурой замка и его античными обитателями; такое смещение или смешение, характерное для живописи того времени, усиливает сходство всего эпизода со сновидением.

В замысле и написании песни IV можно отметить ряд положений теологического свойства. Прилежный читатель «Энеиды» представляет себе усопших в Элизии либо в каком-то средневековом варианте этих счастливых полей; в строке «in luogo aperto, luminoso e alto»³ содержится реминисценция могильного холма, откуда Эней видит своих римлян, «largior hic campos aether»⁴. По причинам теологическим Данте должен был поместить свой высокий замок в Ад. Марио Росси усматривает в этом столкновении поэтического и формального, божественного прозрения и жестокого приговора внутреннюю противоречивость песни и источ-

¹ Скажу, продолжив, что до башни этой... («Ад», VIII, 1)

² «Поэзия Данте» (итал.).

³ Мы поднялись на холм, который рядом,
В открытом месте, светел, величав...
(«Ад», IV, 115–116)

⁴ Здесь просторней эфир,
[И поля облекает он светом]
(«Энеида», IV, 640).

ник различных несоответствий. В одном месте Данте говорит, что воздух дрожит от бесконечных вздохов; в другом — что на лицах великих теней нет ни печали, ни радости. Способность поэта к всеведению еще не достигла полного расцвета. Этому недостаточному умению поэта мы обязаны ощущением некоторой застылости, неотъемлемой от ужаса, который вызывают замок и его обитатели, или узники. В нем есть нечто схожее с удручающим музеем восковых фигур в этом мирном убежище. Вооруженный и праздный Цезарь, вечно сидящая возле отца Лавиния, уверенность, что завтрашний день будет неотличим от сегодняшнего или вчерашнего. В дальнейшем в одном из стихов «Чистилища» говорится, что тени поэтов, которым запрещено писать, так как они в Аду, проводят вечность за литературными спорами¹.

Ужас, царящий в замке, определяется причинами словесного порядка, а не глубинной подоплекой. Богослов сказал бы, что отсутствия Бога достаточно, чтобы сделать замок ужасным. Возможно, он согласился бы с терциной, в которой изобличается тщета земной славы:

Non è il mondan romore altro ch'un fiato
di vento, ch'or vien quinci e or vien quindi
e muta nome perché muta lato².

Я предложил бы другое объяснение, личного свойства. В этом фрагменте «Комедии» Гомер, Гораций, Овидий и Лукан представляют собою проекции, или фантазии, самого Данте, который знает, что он не ниже их в действительности или по своим возможностям. Это тот же тип людей, что и Данте в собственных глазах, а в будущем — в глазах других: известный поэт. Тени великих людей принимают Данте в свое собрание:

¹ Данте в начальных песнях «Комедии» представляет собой (Джоберти относит это ко всей поэме) «несколько больше, чем просто свидетеля того, как развивается придуманный им сюжет». («Primato morale e civile degli italiani» <«О моральных и гражданских началах итальянского народа» (итал.)>, 1840.)

² Мирской молвы многоголосый звон —
Как вихрь, то слева мчащийся, то справа;
Меняя путь, меняет имя он
(«Чистилище», XI, 100–102).

...ch'e si mi fecer della loro schiera
si ch'io fui sesto tra cotanto senno¹.

Это образы сна Данте, едва отделившиеся от спящего. Они ведут нескончаемые беседы о литературе (чем еще могут они заниматься?). Ими прочитана «Илиада» или «Фарсалия» или написана «Комедия»; им нет равных в их искусстве, и тем не менее они пребывают в аду, поскольку их забыла Беатриче.

¹ И эта честь умножилась весьма,
Когда я приобщен был к их собору
И стал шестым среди столького ума
(«Ад», IV, 100–102).

МНИМАЯ ЗАГАДКА УГОЛИНО

Я (и никто на свете) не прочел всех комментаторов Данте, но подозреваю, что загадку 75-го стиха предпоследней песни «Ада» они выдумали сами, смешав искусство с реальностью. В этом стихе пизанец Уголино, рассказывая о гибели своих детей в Голодной Башне, признает, что голод сильнее горя: «Poscia, piú che'l dolor, pote il digiuno»¹. К старинным комментаторам мой упрек не относится; для них в этом стихе не было никакой загадки, поскольку все они понимали его одинаково: горе не смогло убить Уголино, а голод — смог. Из этого исходит и Джефри Чосер в своем незамысловатом резюме эпизода, вкрапленном в «Кентерберийские рассказы».

Вернемся к самой сцене. В ледяной яме круга девятого Уголино непрерывно вгрызается в затылок Руджери дельи Убальдини, отирая окровавленный рот волосами жертвы. Он поднимает уста (не лицо!) от мерзостного брашна и рассказывает, что Руджери предал его и бросил вместе с сыновьями в темницу. В узком окне застенка он перевидал немало сменяющих друг друга лун, пока ему не приснилось, как Руджери во главе голодной стаи гончих теснит к горе волка и его волчат. Утром он слышит стук молотка, заколачивающего вход в башню. В полной тишине проходят день и ночь. Уголино от горя кусает себе пальцы, сыновья думают, что его мучит голод, и предлагают отцу свои зачатые им тела. На пятый и шестой день они один за другим умирают у него на глазах. Слепнув, он разговаривает с умершими, обливает их слезами и ощупывает в темноте; затем голод пересиливает муки.

¹ Но злей, чем горе, голод был недугом (*итал.*).

Я уже упоминал, как толковали этот эпизод старинные комментаторы. Рамбальди де Имола в XIV веке пишет: «Речь здесь о том, что голод побеждает даже того, кого не могло осилить и убить горе». Из новейших комментаторов эту версию поддерживают Франческо Торрака, Гвидо Витали и Томмазо Казини. Первый видит в словах Уголино оцепенение и муки совести, последний добавляет: «Нынешние толкователи выдумали, будто Уголино в конце концов насытился телами своих детей, — вымысел, противоречащий как природе, так и истории», — считая сам спор бессмыслицей. Таково и мнение Бенедетто Кроче, полагающего, что из двух версий традиционная последовательней и правдоподобней. Резонно замечание Бьянки: «Иные думают, будто Уголино пожрал плоть своих детей, — мысль несообразная, но трудно опровержимая». Луиджи Пьетробоно (к нему я еще вернусь) считает, что стих намеренно оставлен загадочным.

Прежде чем включиться в этот «бессмысленный спор», хочу ненадолго задержаться на единодушном самопожертвовании сыновей. Они умоляют отца взять тела, которые он им дал:

...tu ne vestisti
queste miseri carni, e tu le spoglia'.

Подозреваю, это место вызывает у всех, кто им восхищается, тем большую неловкость. Де Санктис («Storia della letteratura Italiana»², IX) задумывается над неожиданными смысловыми связями противоречивых образов; Д'Овидио отмечает, что «тонкий и сжатый рассказ о сыновнем порыве практически обезоруживает критика». А на мой вкус, этот пассаж — одна из редких в «Комедии» фальшивых нот. По-моему, он достоин не поэмы Данте, а пера Мальцевца или похвалы Грасиана. Данте, думаю, не мог не чувствовать здесь фальши, отягощенной этаким хором четырех сыновей, приглашающих отца к людоедской трапезе. Напрашивается мысль, что Уголино лжет, то ли оправдывая совершенное преступление, то ли намекая на него.

¹ Ты дал нам эти жалкие тела —
Возьми их сам...

(«Ад», XXXIII, 62–63)

² «История итальянской литературы» (итал.).

Историческая загадка, совершил ли Уголино дела Герардеска в один из первых дней февраля 1289 года акт каннибализма, видимо, неразрешима. Другое дело — загадка эстетическая, литературная. Я бы сформулировал ее так: может быть, Данте хотел, чтобы мы думали, будто Уголино (Уголино дантовского «Ада», а не итальянской истории) пожрал тела своих сыновей? И рискнул бы ответить: Данте не хотел, чтобы мы так думали, он хотел, чтобы мы это подозревали¹. Наши сомнения — часть его замысла. Уголино вгрызается в затылок архиепископа; Уголино сняты острые клыки гончих, рвущих волчьего бока («...e con l'agute scane// Mi pareva log veder fender li fianchi»²). Уголино, мучась, кусает себе пальцы; Уголино слышит невысказанное предложение сыновей — насытиться их телом; Уголино, уронив загадочную строку, снова вгрызается в затылок архиепископу. Одно действие за другим наводят на мысль о чудовищном поступке, предвещают его. У каждого из них — двойная роль: они — часть рассказа и в то же время предвосхищение будущего.

Роберт Луис Стивенсон («Ethical Studies»³, 110) замечает, что герои книг — это сплетения слов; к этому, как ни кощунственно, сводятся Ахилл и Пер Гюнт, Робинзон Крузо и Дон Кихот. Но ровно к тому же — и все могучие цари, правившие миром: вереницей слов остался Александр, другой — Аттила. Тогда Уголино — это цепочка слов, растянувшаяся на тридцать терцин. Входит ли в это сплетение образ каннибала? Скажу еще раз: мы вынуждены остаться при этой мысли, ужасаясь и не веря себе. И отвергнуть и признать чудовищное преступление Уголино было бы не так страшно, как догадываться о нем.

Мысль, будто любая книга состоит из слов, выглядит пресной аксиомой. И все-таки каждый уверен, что форма без труда отделяется от содержания и десяти минут беседы с Генри

¹ Луиджи Пьетробоно («Ад», с. 47) пишет, что слово «голод» не обличает вину Уголино, но подталкивает на догадки о ней, не погрешая ни против искусства, ни против исторической правды. Достаточно того, что эта вина для нас «не исключена».

² И в ребра зубы острые впились («Ад», XXXIII, 35–36).

³ «Очерки морали» (англ.).

Джеймсом вполне хватит, чтобы уяснить «подлинный» сюжет «Поворота винта». Не думаю; по-моему, Данте знал об Уголино не больше, чем говорят его стихи. Шопенгауэр заявлял, что первый том его главного труда — это единая мысль и способа передать ее короче у него не было. Данте, в свою очередь, сказал бы, что все известное ему об Уголино надо искать в его столь горячо обсуждаемых стихах.

Очутившись перед несколькими возможностями в реальности, в истории, мы выбираем одну, отказываясь от прочих; иное дело — зыбкое время искусства, сходное со временем надежды или забвения. В этом времени Гамлет и умен и безумен разом¹. Во мраке Голодной Башни Уголино пожирает и вместе с тем не пожирает дорогие тела, и эта колеблющаяся неокончателность, это замешательство и есть та странная материя, из которой он соткан. Таким, погибающим двумя разными смертями, он привиделся Данте и будет видеться бесчисленным поколениям.

¹ В качестве курьеза напомним две двусмысленности. Первая — «кровавый полумесяц» Кеведо, отсылающий разом к полю боя и к турецкому знамени; вторая — «mortal moon» («бренная луна») из 107-го шекспировского сонета, где имеются в виду небесное светило и королева Англии.

ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ УЛИССА

Я предлагаю взглянуть еще раз, в свете других фрагментов «Комедии», на таинственный рассказ, который Данте вложил в уста Улисса («Ад», XXVI, 90 — 142). На фоне руин круга, где несут кару обманщики, Улисс и Диомед вечно горят вместе раздвоенным, рогатым пламенем. По настоянию Вергилия Улисс начинает свое повествование и рассказывает, что, покинув Цирцею после проведенного близ Гаэты года, попадает домой, но ни нежность к сыну, ни почтение, которое он испытывает к Лаэрту, ни любовь Пенелопы не могут победить горящего в его груди стремления изведать мир и все, что дурно и достойно в человеке. На оставшемся корабле, с горсткой преданных ему уже немолодых людей, он пускается в открытое море; они доплывают до пролива, где Геркулес воздвиг свои столпы. В этот момент, который боги отметили честолубием или отвагой, Улисс обращается к своим товарищам, призывая их посвятить оставшийся малый срок постижению безлюдного мира, неизвестных людей. Он напоминает своим морякам об их происхождении, утверждая, что они созданы не для животной доли, а для доблести и поисков знания. Они плывут на запад, затем на юг и видят все светила Южного полушария. Пять месяцев они бороздят океан и однажды замечают на горизонте темную гору, огромное, чем когда-нибудь кто-либо из них видел, и сердца их исполняются радости. Но радость тут же сменилась горем, потому что внезапно налетевшая буря трижды переворачивает судно, а на четвертый топит его, как решил Кто-То, и море смыкается над ними.

Таков рассказ Улисса. Множество комментаторов — от Флорентийского анонима до Рафаэле Андреоли — считают его авторским отступлением. Они полагают, что Улисс

и Диомед несут кару как обманщики («e dentro dalla lor fiamma si geme / l'agguato del caval...»¹) и что плавание Улисса не более чем вставной эпизод. Томмазо, напротив, приводит фрагмент из «Civitas Dei»² и мог привести еще один из Климента Александрийского, где говорится, что людям запрещено проникать на нижнюю часть земли; впоследствии Казини и Пьетробоно считали это плавание святотатством. В самом деле, гора, которую увидел греческий герой незадолго до того, как был поглощен пучиной, — это священная гора Чистилища, запретная для смертных («Чистилище», I, 130 — 132). По тонкому замечанию Хуго Фридриха, «плавание оканчивается кораблекрушением, в котором виден не только жребий моряка, но и перст Божий» («Odysseus in der Hölle», Berlin, 1942³).

Улисс, рассказывая о плавании, называет его «шалым» (folle), в песни XXVII «Рая» упоминается «vareo folle d'Ulisse», «шалым Улиссом путь». То же прилагательное произносит Данте, отвечая на ужасное приглашение Вергилия («temo che la venuta non sia folle»⁴), это повторение не случайно. Когда Данте ступает на песчаный берег, тот самый, что различил Улисс перед смертью, он говорит, что никто из плававших по этим водам не сумел вернуться; затем рассказывает, что Вергилий подпоясал его тростником, «com'Altrui riasque»⁵: теми же словами Улисс говорит о своем страшном конце. Карло Штайнер пишет: «Разве Данте думал не об Улиссе, потерпевшем кораблекрушение в виду этих берегов? Конечно, о нем. Но Улисс хотел достичь их, полагаясь на собственные силы, не признавая границ, поставленных возможностям человека. Данте, новый Улисс, ступает на берег как победитель, опоясанный тростником, символом смирения, в нем нет высокомерия, лишь разум,

¹ Казнятся этим стонущим огнем
И ввод коня, разверзший стены града...
(«Ад», XXVI, 58 — 59).

² «О Граде Божиим» (лат.).

³ «Одиссей в Аду». Берлин, 1942 (нем.).

⁴ Боюсь, безумен буду я, не боле («Ад», II, 35). В русском переводе прилагательные не совпадают. (Примеч. пер.)

⁵ Как тот [Катон] назначил («Чистилище», I, 133).

осененный благодатью». Это мнение разделяет Август Рю-эрг («Jenseitsvorstellungen vor Dante»¹, II, 114): «Данте — странник, который, подобно Улиссу, движется по нехоженным тропам, посещает миры, запретные для человека, и стремится к самым трудным и дальним целям. Но здесь сходство кончается. Улисс пускается на свой страх в запретные путешествия; Данте повинуется высшим силам».

Это различие подтверждается двумя известными фрагментами «Комедии». Один — тот, где Данте называет себя недостойным увидеть три надмирные обители («io non Enea, io non Paolo sono»²), а Вергилий рассказывает о миссии, порученной ему Беатриче, другой — тот, в котором Каччагвида («Рай», XVII, 100–142), предок Данте, советует тому обнародовать поэму. В свете этих доказательств невозможно сравнивать паломничество Данте, узревшего блаженные видения и создавшего лучшую из книг, когда-либо написанных человеком, со святотатственным плаванием Улисса, закончившимся в Аду. Одно действие кажется противоположным другому.

Но в доказательстве есть погрешность. Действие Улисса — это, несомненно, его плавание, поскольку Улисс не больше чем персонаж, рассказывающий о своем действии, но действие, или предприятие, Данте — это не его паломничество, а воплощение его книги. Это очевидно, но часто забывается, поскольку «Комедия» написана от первого лица и смертного автора затмевает бессмертный персонаж. Данте был теологом; часто создание «Комедии» казалось ему не менее трудным, может быть, даже не менее рискованным, чем последнее плавание Улисса. Он решился измыслить тайны, едва намеченные Святым Духом; замысел вполне греховный. Он осмелился приравнять Беатриче Портинари Богородице и Иисусу³. Он осмелился предвосхитить приговоры непостижимого Страшного суда, неизвестные блаженным; он осудил и приговорил пап, торгующих церковными должностями, но спас последователя Аверроэса, Сигера,

¹ «Представления о загробном мире у Данте» (нем.).

² Я не апостол Павел, не Эней («Ад», II, 32).

³ См.: Джованни Папини, «Dante vivo» <«Живой Данте» (итал.)>, III, 34.

открывшего циклическое время¹. Какой тяжкий труд ради славы, ради быстролетной славы:

Non è il mondan romore altro ch'un fiato
di vento, ch'or vien quinci e or vien quindi,
e muta nome perchè muta lato².

В тексте поэмы можно обнаружить и другие свидетельства некоей раздвоенности Данте. Карло Штайнер отметил одно из них в диалоге, в котором Вергилий перебарывает страхи Данте и побуждает его предпринять неслыханное путешествие. Штайнер пишет: «Вымышленный спор, который Данте ведет с Вергилием, на самом деле происходит в сознании поэта, когда тот еще не решился создать „Комедию“. Этому спору соответствует другой, из песни XVII „Рая“, в котором идет речь о ее опубликовании. Следует ли публиковать поэму, вызвав тем самым гнев своих недругов? И в том и в другом случае торжествует сознание собственной ценности и намеченной высокой цели» («Комедия», 15). Итак, Данте в упомянутых фрагментах символизирует конфликт сознания; я предполагаю, что тот же конфликт, возможно сам того не желая и не подозревая об этом, Данте символизирует в трагической истории Улисса и именно этому эмоциональному заряду она обязана своим потрясающим воздействием. Данте сам был Улиссом и в какой-то мере мог опасаться, что его постигнет та же кара.

Последнее замечание. Обе англоязычные литературы, приверженные морю и благоговеющие перед Данте, испытали воздействие дантовского Улисса. Элиот (а до него Э. Лэнг, а еще прежде Лонгфелло) считал, что именно к этому славному архетипу восходит изумительный «Улисс» Теннисона. Насколько мне известно, никто до сих пор не отметил еще более глубокого сходства Улисса и другого злочастливого капитана — Ахава из «Моби Дика». Он, как и тот, сам уготовил собственную гибель своей отвагой и бессон-

¹ См.: Морис де Вульф, «Histoire de la philosophie médiévale» («История средневековой философии» (франц.)>.

² Мирской молвы многоголосый звон —
Как вихрь, то слева мчащийся, то справа;
Меня путь, меняет имя он
(«Чистилище», XI, 100–102).

ными трудами; сюжет в общих чертах один и тот же; конец один, последние слова почти совпадают. Шопенгауэр написал, что в наших судьбах нет ничего непреднамеренного; в свете этого изумительного суждения оба сюжета выглядят как тайное и запутанное осуществление самоубийства.

Постскриптум 1981 года. Считается, что Улисс Данте предвосхитил открытия известных мореплавателей, которые спустя столетия достигли берегов Америки и Индии. Столетиями раньше, чем была написана «Комедия», Эйрик Рыжий открыл остров Гренландию около 985 года; его сын Лейф в начале XI века доплыл до Канады. Данте не мог знать об этом. Скандинавы не раскрывают своих тайн, подобно образу, мелькнувшему в сновидении.

МИЛОСЕРДНЫЙ ПАЛАЧ

Данте, как известно, помещает Франческу в Ад и с бесконечным участием выслушивает историю ее прегрешений. Как смягчить это противоречие, как его оправдать? По-моему, есть четыре возможных варианта.

Первый — чисто технический. Определив общий план книги, Данте, видимо, решил, что она выродится в бесполезный каталог имен собственных или путеводитель по загробному миру, если ее не оживят исповеди умерших. Поэтому в каждый круг своего Ада он поместил по меньшей мере одного достойного внимания и не очень удаленного во времени грешника (устав от смены этих постояльцев, Ламартин назвал «Комедию» флорентийской газетой). Исповеди, понятно, должны были трогать читателя; автор же, замуровывая рассказчиков в Аду, нисколько не рисковал, что его обвинят в пособничестве. Подобная догадка (при поддержке Кроче пересаживающая поэтический образ мира на сухую почву богословского трактата), видимо, ближе всего к правде, но ее мелочность унижительна и не вяжется с нашим представлением о Данте. Да и вряд ли такие бездонные книги, как «Комедия», поддаются столь незатейливой расшифровке.

Другой ход, следуя учению Юнга¹, приравнивает вымыслы литературы к выдумкам сна. Данте, грезящийся сегодня

¹ Отчасти предсказанному классической метафорой сна как сцены. См. у Гонгоры в сонете «Воображень» («Сон как распорядитель представленья / Возводит невесомые подмости, / Воздушной плотью тени облекая»), или у Кеведо во «Сне о смерти» («И застав мою освободившуюся душу праздной, стяхнувшей бремя внешних чувств, со мной и приключилась следующая комедия; ее представили втайне мои душевные силы, так что я был для нее и публикой, и сценой»), или у Аддисона в 487-м выпуске «Зрителя» («спящая душа сама себе подмости, публика и труппа»). Столетиями раньше пантеист Омар Хайям сложил четверостишие, в буквальном переводе Мак-Карти звучащее так: «Теперь тебе не от кого скрываться, / Ты — в любой сотворенной вещи. / На радость себе рождаешь эти чудеса, / Сам и сцена, и зритель».

нам, пригрезил себе и горе Франчески, и свою жалость. Шопенгауэр заметил, что виденное и слышанное во сне поражает, хотя источник всего в конечном счете мы сами; именно так Данте может сочувствовать собственному сну или вымыслу. Можно, конечно, назвать Франческу (как, впрочем, и самого Данте в роли путешественника по преисподней) всего лишь проекцией автора. И все-таки это объяснение, по-видимому, хромает: одно дело — приписать книгам и снам общие корни, но совсем другое — терпеть в книгах бессвязность и безответственность снов.

Третий вариант — опять технического свойства. По ходу «Комедии» Данте случается опережать непостижимые решения Создателя. Опираясь лишь на собственный несовершенный разум, он берет на себя смелость предрешать приговоры Страшного суда. Скажем, проклинает, пусть на страницах книги, Целестина V и оправдывает Сигера Бранбантского, отстаивавшего тезис астрологов о вечном возвращении.

Маскируя это, Данте в «Аде» называет своего Бога справедливым («Giustizia mosse il mio alto fattore»¹) и заимствует у него понимание и милосердие. Он и осуждает Франческу и в то же время сочувствует ей. Кроче пишет: «Как богослов, как верующий, как человек непогрешимой морали, Данте осуждает грешников, но в сердце своем он не может их осуждать и даже оправдывает» («La poesia di Dante»², 78)³.

Четвертая догадка не столь проста. Чтобы понять ее смысл, нужно сначала кое о чем договориться. Рассмотрим два суждения: убийцы заслуживают смерти; смерти заслуживает Родион Раскольников. Ясно, что это не одно и то же. Как ни странно, дело не в том, что убийцы конкретны, а Раскольников — существо абстрактное и иллюзорное. Напротив, собирательное понятие об убийцах — простейшее обоб-

¹ Был правдою мой Зодчий вдохновлен («Ад», III, 4).

² «Поэзия Данте» (итал.).

³ Эндрю Лэнг пишет, что Дюма плакал при смерти Портоса. Невозможно не ощущать, что чувствует Сервантес, когда умирает Алонсо Кихано: «Все окружающие продолжали сокрушаться и оплакивать его, Дон Кихот же в это время испустил дух, попросту говоря — умер».

шение, тогда как Раскольников для читателя — живой человек. На самом деле никаких убийц, строго говоря, нет: есть люди, которых в силу несообразностей языка причисляют к этому непонятному сообществу (таков в конечном счете довод номиналистов Росцеллина и Уильяма Оккама). Скажу иначе: читатель романа Достоевского в каком-то смысле побывал на месте Раскольникова и знает, что его так называемое убийство не было актом свободной воли, — героя привело и подтолкнуло к нему неумолимое стечение миллионов обстоятельств. Убивший — вовсе не убийца, укравший — не вор, солгавший — не лжец, и осужденные знают (или, лучше сказать, чувствуют) это, а потому в каждом наказании скрыта несправедливость. Смерти заслуживает некая юридическая фикция под названием «убийца», но никак не тот несчастный, который убил, доведенный до этого историей собственной жизни, а может быть (где ты, маркиз Лаплас?), и всей историей мира. Госпожа де Сталь подытожила эти доводы в знаменитой фразе: «*Tout comprendre c'est tout pardonner*»¹.

Данте с нежностью и состраданием говорит о вине Франчески, которую любой признает невольной. Это чувствует и поэт наперекор богослову, в «Чистилище» (XVI, 70) доказывающему, что, руководи нашими действиями круговращение звезд, не было бы никакой свободы воли, а вознаграждение добрых и наказание злых оказались бы равно несправедливыми².

Данте понял, но не простил — таков неразрешимый парадокс поэмы. Думаю, логика тут бессильна. Он чувствовал (хоть и не понимал), что поступки человека продиктованы необходимостью и вечность заслуженного им блаженства или проклятья неизбежна. Спинозианцы и стоики отрицали свободу воли, но они же провозглашали верховенство морального закона. Можно напомнить Кальвина с его «*decretum Dei absolutum*»³, приговаривающим одних к аду,

¹ Все понять значит все простить (*франц.*).

² Ср. «О монархии», I, 14; «Чистилище», XVIII, 73; «Рай», V, 19. Но красноречивей всего великие слова XXXI песни «Рая»: «*Tu m'hai di servo tratto a libertate*» <«И вывел дух из рабства на свободу»>, 85.

³ Неоспоримое решение Бога (*лат.*).

а других — к раю. Во вступительных главах сэйловского «Алкорана» я читал, что этой мысли держится одна из исламских сект.

Четвертый вариант, как легко видеть, не решает вопроса. Он его ставит, к тому же — ребром. Остальные варианты соответствуют логике; этот, ей противоречащий, по-моему, верен.

ДАНТЕ И АНГЛОСАКСОНСКИЕ ВИДЕНИЯ

В десятой песни «Рая» Данте рассказывает, как поднялся к сфере солнца и увидел вокруг этой планеты — а в дантовском мироустройстве солнце — одна из планет — ослепительный венец из двенадцати духов, сиявших ярче света, на котором они вырисовывались. Первый из них, Фома Аквинский, перечислил имена остальных; седьмым назван Беда. Комментаторы поясняют, что речь идет о Беде Достопочтенном, дьяконе монастыря в Ярроу и авторе «*Historia ecclesiastica gentis Anglorum*»¹.

Вопреки эпитету, первая история Англии, составленная в VIII веке, не ограничивается церковными предметами. Это увлеченный и личный рассказ скрупулезного исследователя и образованного человека. Беда владел латынью, знал греческий, под перо ему то и дело подворачивается строка Вергилия. Его занимает все: история мира, истоки Писания, музыка, риторика², орфография, системы счета, науки о природе, богословие, латинская поэзия и поэзия на народных языках. Но по одному пункту он, как нарочно, хранит молчание. В своей летописи упорного проповедничества, завершившегося воцарением Христовой веры в германских королевствах Английской земли, Беда вполне мог сделать для саксонского язычества то, что Снорри Стурлусон пять веков спустя сделал для язычества скандинавского. Ни на йоту не поступаясь благочестивой целью труда, он мог бы сохранить или хотя бы обрисовать мифологию пред-

¹ «Церковная история народа англоv» (лат.).

² Беда и в Испании ищет риторические фигуры. Так, в качестве примера синекдохи (часть вместо целого) он приводит 14-й стих первой главы Евангелия от Иоанна: «И Слово стало Плотию...» Строго говоря, Слово стало не только плотью, но и костяком, хрящами, водой и кровью.

ков. И все же, как легко догадаться, не сделал этого. Причина очевидна: религия, или, верней, мифология, германцев была еще жива, а Беда хотел вычеркнуть ее и из собственной памяти, и из памяти своего народа. И вот мы никогда не узнаем, наступили ли сумерки богов, которым поклонялся Хенгист, и отплыл ли из краев вечного льда в чудовищный день, когда волки пожрали солнце и луну, корабль, сложенный из ногтей умерших. Не узнаем, составляли ли эти стертые боги целостный пантеон или, как полагает Гиббон, были всего лишь смутными суевериями варваров. Кроме ритуальной формулы «*сijus pater Voden*»¹, входящей во все его родословные королевских семейств, да упоминания о предусмотрительном короле, воздвигшем один алтарь для Иисуса, а другой, поменьше, для бесов, Беде, увы, практически нечем удовлетворить будущую любознательность германистов. Зато он отступил от жесткой хронологии, описав загробные видения, предвосхищающие поэму Данте.

Напомню одно из них. Беда рассказывает о Фурсе, ирландском монахе, обратившем в Христову веру многих саксов. Во время болезни Фурса был похищен ангелами и вознесен на небо. Там он увидел четыре огня, пылавших в черном воздухе неподалеку друг от друга. Ангелы объяснили, что огни эти спалят мир и имена их Раздор, Нечестие, Ложь и Корысть. Вдруг огни взвились, сливаясь в один и подступая к Фурсе. Он испугался, но ангелы предупредили: «Этот огонь разжег не ты, и он тебя не тронет». И в самом деле, огненная стена по манию ангелов расступилась, и Фурса оказался в Раю, где увидел немало чудесного. Возвращаясь на землю, ему пришлось еще раз проходить через пламя, злой дух толкнул на него одного из проклятых и горевших в огне, так что ему обожгло правое плечо и подбородок. Ангел сказал: «Этот огонь разжег ты сам. На земле тебе досталась одежда грешника, а теперь настигла его кара». Ожоги того видения Фурса сохранил до самой смерти.

Другой случай произошел с человеком из Нортумбрии по имени Дриктхельм. После многодневной болезни он ввечеру скончался, но уже наутро неожиданно воскрес. Жена бы-

¹ Отец которых Вотан (*лат.*).

ла у его одра, он сказал, что восстал из мертвых и будет теперь жить иначе. Помолившись, он разделил имение на три части и отдал одну жене, другую — сыновьям, а третью — бедным. Потом попрощался со всеми и затворился в монастыре, где строгостью жизни засвидетельствовал все то несравненное и чудовищное, что произошло с ним в ночь смерти и о чем он рассказывал так: «Лицо у моего проводника лучилось, одеяние сверкало. Мы шли молча, кажется, — на северо-восток. И вот оказались в долине — бездонной, бескрайней и бесконечной, слева от нас бушевал огонь, справа — вихрь со снегом и градом. Буря гнала из стороны в сторону толпы грешников, несчастные бросались от неугасимого огня в ледяную стужу и обратно, и так без конца. Я подумал, что это ад, но путеводный дух сказал: „Нет, это еще не ад“. Мы пошли дальше, сгустилась тьма, мне светил только мой вожатый. Из бездонного колодца один за другим взмывали бесчисленные шары черного огня и снова рушились вниз. Тут проводник покинул меня, я был один среди бесчисленных шаров, полных душами грешников. Из жерла обдавало смрадом. Меня охватил страх. Потом, через некоторое время, показавшееся вечностью, я услышал за спиной жалобный стон и безжалостный хохот, как будто толпа глумилась над пойманной жертвой. Довольный и злобный сонм бесов тащил в самую глубь мрака пять душ. У одной я разглядел тонзуру, как у священника, следом мелькнула женщина. Они тут же исчезли в бездне, жалобы душ смешались с хохотом бесов в один нестройный гул. Духи зла, вынырнувшие из огненных глубин, окружили меня, пугая взглядом и пламенем, но не смея коснуться. Окруженный врагами и темнотой, я не знал, как спастись. И вдруг увидел на тропинке звезду, она росла и приближалась. Бесы скрылись, это был мой ангел. Он шагнул вправо, мы двинулись к югу, перешли от тьмы к свету, от света к блеску и увидели стену, бесконечную и вширь и ввысь. В ней не было ни дверей, ни окон, непонятно, зачем мы здесь оказались. Внезапно, сам не знаю как, я очутился наверху и увидел широкий цветущий луг, его аромат развеял зловоние адских застенков. Луг был полон людьми в белых нарядах. Дух вел меня мимо этих счастливых, и я подумал, что это и есть рай, о кото-

ром я столько слышал, но он сказал: „Нет, это еще не рай“. Потом хлынул ослепительный свет, донеслись поющие голоса и запахло так чудесно, еще слаще прежнего. Мы было совсем вошли в царство неземных радостей, когда вожатый удержал меня и повернул назад. Потом он объяснил мне, что долина льда и пламени была чистилищем, колодец — жерлом ада, луг — местопребыванием праведников, ждущих Страшного суда, а край музыки и света — царствием небесным. И добавил: „Говорю тебе, возвращающемуся ныне в свое тело и мир людей: живи жизнью праведной и будешь на тех лугах, а потом в раю, ибо я оставлял тебя одного, чтобы справиться о твоей грядущей судьбе“. Тяжело мне было возвращаться в прежнее тело, но я не мог вымолвить ни слова и очнулся уже на земле».

В историях, которые я только что пересказал, мелькают картины, напоминающие — или предсказывающие — дантовские. Монах недоступен огню, который разжег не он, Беатриче тоже неуязвима для адского пламени («*nè fiamma d'esto incendio non m'assale*»¹).

Справа от бескрайней долины мятется вихрь снега и града, секущий грешников; таково же наказание эпикурейцев в круге третьем. Нортумбрийца пугает минутная разлука с ангелом, Данте — с Вергилием («*Vergilio a cui per mia salute die'mi*»²). Дриктхельм не понимает, как ему удалось взобраться на стену, Данте — как он сумел миновать сумрачный Ахерон.

Куда интересней этих — разумеется, не исчерпанных здесь — соответствий те детали, которые Беда вплетает в рассказ, придавая загробным виденьям редкое правдоподобие. Напомню только оставшиеся на лице ожоги, способность ангела читать мысль человека, смешение хохота со стоном и замешательство героя перед высокой стеной. Может быть, пером историка здесь ведет устная традиция, но само это слияние личного и чудесного — черта уже дантовской поэтики, совершенно чуждая обыкновеньям аллегорической литературы.

¹ И в это пламя нисхожу нетленной («Ад», II, 93).

² Вергилий, мне для избавленья данный («Чистилище», XXX, 51).

Читал ли Данте «Церковную историю»? Вероятней всего, нет. Включение в круг богословов имени Беда (два его слова прямо-таки просятся в стих), строго говоря, ничего не доказывает. В Средние века люди полагались друг на друга и для того, чтобы усвоить авторитет ученого англосакса, не было ни малейшей необходимости штудировать его тома, так же как было вовсе не обязательно читать написанные на почти неведомом языке гомеровские поэмы, чтобы знать, что место Гомера («*Mira colui con quella spada in mano*»¹) — рядом с Овидием, Луканом и Горацием. Важно и другое. Для нас Беда — историк Англии, для своих средневековых читателей — комментатор Писания, наставник в риторике и хронологии. История туманной в ту пору Британии вряд ли могла особенно увлечь Данте.

Знал ли Данте записанные Бедой видения или нет, куда менее существенно, чем факт, что Беда включил их в свои анналы, считая достойными памяти. Книга такого масштаба, как «Божественная комедия», не может быть отрезанной от всего мира, этаким случайной находкой одиночки: в нее внесли свой вклад многие люди и поколения людей. Изучение предшественников не имеет ничего общего с жалким трудом судебного или полицейского дознания: это исследование путей, испытаний, перипетий, проблесков и догадок человеческого Духа.

¹ Взгляни-ка на того, с мечом в руке («Ад», IV, 86).

«ЧИСТИЛИЩЕ», I, 13

Как и все слова абстрактного характера, слово «*метафора*» представляет собою метафору, перенос, что оно и означает в переводе с греческого. Как правило, метафора состоит из двух частей. Одна часть тут же обращается в другую. Так, саксы называли море «*путем кита*» или «*путем лебедя*». В первом примере громадность кита соответствует громадности моря, во втором — изящество лебедя противопоставлено морской безбрежности. Нам никогда не узнать, ощущали ли эти соответствия те, кто создал метафоры. Стих 60 песни I «Ада» звучит: «*mi ripigneva là dove'l sol tace*»¹.

Где лучи молчат; глагол, относящийся к области слуха, выражает зрительный образ. Вспомним известный стих «Энеиды»: «*a Tenedo, tacitae per amica silentia lunae*»².

Я предлагаю посмотреть на взаимопроникновение двух частей метафоры в трех любопытных строках.

Первая строка — стих 13 песни I «Чистилища»: «*Dolce color d'oriental zaffiro*»³.

Бути определяет сапфир как драгоценный камень, цветом от небесно-голубого до синего, необычайно красивый, а восточный сапфир — как разновидность, встречающуюся в Медине.

Цитированный стих Данте вызывает в памяти цвет неба на востоке, сравнивая его с сапфиром, в названии которого

¹ Туда теснимый, где лучи молчат («Ад», I, 60).

² Луны в благосклонном молчанье безмолвной («Энеида», II, 255).

³ Отрадный цвет восточного сапфира («Чистилище», I, 13).

есть слово «восточный», тем самым давая начало игре соответствий, которой нет конца¹.

В «Еврейских мелодиях» (1815) Байрона я нашел не менее изысканное построение: «She walks in beauty, like the night».

«Она идет во всей красе, светла, как ночь ее страны»². Чтобы воспринять этот стих, читатель должен вообразить стройную смуглую женщину, ступающую, как Ночь, которая, в свою очередь, смугла и стройна, как женщина, и так бесконечно³.

Третий пример из Роберта Броунинга. Это посвящение большой драматической поэмы «The Ring and the Book»⁴ (1868): «O lyric Love, half angel and half bird...»⁵

Поэт называет Элизабет Баррет, свою умершую жену, полуангелом, полуптицей, — но ведь ангел и так наполовину птица, — намечая тем самым почти неуловимый переход одного существа в другое.

Не знаю, можно ли в эту случайно составившуюся антологию включить спорную строку Мильтона («Потерянный рай», IV, 323): «...the fairest of her daughters, Eve».

«Прекраснейшая из дочерей своих, Ева»; для рассудка этот стих лишен смысла; но для воображения, пожалуй, нет.

¹ В начальной строфе «Одиночество» Гонгоры мы читаем:

Была пора весеннего цветенья,
когда хитрец, подложный вор Европы,
украшенный двуроугою луною
и облаченный в Солнце золотое,
небесной красотой
в сапфиновых долах пас свои светила

(перевод Б. Дубина).

Стих «Чистилища» — утончен; стих «Одиночество» — подчеркнуто пышен.

² Перевод С. Маршака.

³ Бодлер в стихотворении «Раздумье» пишет: «Подруга, слышишь ли, как шествует к нам Ночь...» (перевод М. Донского). Тихая поступь ночи не должна быть слышна.

⁴ «Кольцо и Книга» (англ.).

⁵ О нежная Любовь, полуангел, полуптица... (англ.)

СИМУРГ И ОРЕЛ

Что может дать литературе описание существа, состоящего из других существ, скажем, птицы, состоящей из птиц?¹ На такой вопрос, кажется, ответ может быть либо самый банальный, либо просто отрицательный. Этому определению удовлетворяет *monstrum horrendum ingens*², у которого множество перьев, зорких очей, языков, уст и ушей, олицетворяющее Славу (лучше сказать, Скандал, или Молву) в четвертой песне «Энеиды», или удивительный царь, состоящий из людей, на фронтиспise «Левиафана», с мечом и жезлом в руках. Фрэнсису Бэкону («Опыты», 1625) нравился первый из этих образов; Чосер и Шекспир повторили его; никто, однако, не поставит его выше «хищного Ахерона», который, как следует из пятидесяти с чем-то вариантов «Видения Тунгдала», держит внутри своего брюха осужденных на вечные муки, и там их терзают псы, медведи, львы, волки и ядовитые змеи.

Если взглянуть отвлеченно, существо, состоящее из других существ, не сулит нам ничего доброго; однако к их числу относятся, хотя в это трудно поверить, два памятных образа, один из которых принадлежит литературе западной, другой — восточной. Мне хотелось написать здесь об этих изумительных вымыслах. Родина одного из них — Италия, другого — Нишапур.

Первый появляется в песне XVIII «Рая». Данте, странствуя по концентрическим небесам, замечает, что красота Беатриче становится все чище, а в глазах светится благо-

¹ Подобным же образом в «Монадологии» (1714) Лейбница говорится, что универсум состоит из универсумов более низкого порядка, которые, в свою очередь, содержат универсум, и так до бесконечности.

² Ужасающе огромное чудовище (*лат.*).

дать, и понимает, что они вознеслись с багряного неба Марса в небеса Юпитера. Огромное пространство, наполненное благой белизны светом, полно кружащих в полете и распевających небесных существ, которые последовательно сплетают из букв фразу: «Diligite justitia»¹. Затем возникает голова Орла, безусловно не воспроизводящая головы земного существа, а такая, какая могла быть создана только на Небесах. Затем, в сиянии, появляется и парит на широко раскрытых крыльях весь Орел, образ которого составили души тех, кто «всех остальных во славе превзошли» («Рай», XX, 36); он, понятный всем символ Власти, начинает свои речи, говоря о себе в единственном числе и употребляя местоимения «я» и «мой» вместо «мы» и «наш» («Рай», XIX, 11). Все тот же вопрос тяготит Данте: справедливо ли Бог карает за отсутствие веры человека примерной жизни, который родился над берегом Ганга и ни слова не слышал о Христе? Ответ Орла полон неясностей, как и подобает божественному откровению; он осуждает дерзкий вопрос, повторяет, что вера в Искупителя необходима, говорит, что Бог пробудил эту веру в некоторых достойнейших язычниках. Он утверждает, что среди блаженных император Траян и герой Рифей, первый из которых жил позже, а второй раньше гибели Христа². (Великолепное для XIV века появление Орла кажется менее эффективным в веке XX, когда светящиеся орлы и горящие в небе буквы служат торговой рекламе. Ср. Честертон, «What I saw in America»³, 1922.)

Трудно представить себе что-либо превосходящее один из величайших образов «Комедии», тем не менее это случилось. Столетием раньше, чем у Данте возник его Орел, Фаридаддин Аттар, перс из секты суфиев, создал удивительного Симурга (Тридцать птиц), который мощнее и истиннее

¹ Любите справедливость (*лат.*).

² Помпео Вентури возражает против высокой чести, оказанной Рифею, герою, который до сих пор был известен лишь по нескольким стихам «Энеиды» (II, 339, 426). Вергилий считает его самым справедливым из троянцев и, описывая его кончину, смиренно добавляет: Боги судили не так (II, 428). Во всей литературе нет о нем больше никакого упоминания. Возможно, Данте привлекала расплывчатость его облика. Ср. комментарии Казини (1921) и Гвидо Витали (1943).

³ «Что я видел в Америке» (*англ.*).

Дантова образа. Фаридаддин Аттар родился в Нишапуре¹, славном бирюзой и мечами. Аттар по-персидски означает «торговец аптечным товаром». В «Воспоминаниях о Портах» говорится, что таково было его действительное занятие. Как-то вечером в его аптеку заходит дервиш, разглядывает разнообразные пузырьки, пастилки и облатки и принимается рыдать. Удивленный и обеспокоенный, Аттар просит его удалиться. Дервиш отвечает: «Мне ничего не стоит уйти, у меня ничего нет. А вот тебе придется распроститься со всеми твоими сокровищами, выставленными здесь». Сердце Аттара осталось твердым, как камфара. Дервиш ушел, а на следующее утро Аттар оставил свою аптеку и заботы этого мира.

Он совершил паломничество в Мекку, пройдя через Египет, Сирию, Туркестан и Северный Индостан; вернувшись, он с жаром предался созерцанию Бога и литературным занятиям. Говорят, что он оставил двадцать тысяч двустий; вот названия его книг: «Книга соловья», «Книга горести», «Книга совета», «Книга тайн», «Книга божественного знания», «Воспоминания о святых», «Царь и роза», «Возвешение чудес» и неповторимая «Беседа птиц» («Мантик ат-Тайр»). В последние годы жизни, а Аттар, как рассказывают, дожил до ста десяти лет, он отказался от всех земных радостей, включая стихосложение. Его убили солдаты Толуя, сына Чингисхана. Удивительный образ, о котором я говорил, составляет основу поэмы «Мантик ат-Тайр». Сюжет ее таков.

Прилетевший издалека царь птиц Симург роняет в центре Китая великолепное перо; птицы, устав от вечной анархии, решают отыскать Симурга. Они знают, что имя царя означает «Тридцать птиц», знают, что его дворец находится на горе Каф, кольцом охватывающей землю.

Начинается их почти бесконечное путешествие; они перелетают через семь долин или морей, предпоследнее зовется Головокружением, последнее — Уничтожением. Многие не выдерживают, прекращают свое паломничество; многие гибнут. Тридцать, очистившись в трудах, ступают на гору

¹ Катиби, автор «Слияния двух морей», восклицает: «Я, как и Аттар, из садов Нишапура, но я — шип, а он был розой».

Симурга. Здесь они понимают, что они и есть Симург, и каждая из них, и все они вместе¹. (Так же Плотин — «Эннеады», V, 8, 4 — провозглашает райское расширение принципа тождества: «В умопостигаемом небе есть все повсюду. Каждая вещь — это все вещи. Солнце есть все звезды, и каждая звезда — это все звезды, и каждая звезда — это все звезды и солнце».)

Различие между Орлом и Симургом не менее очевидно, чем сходство. Орел не более чем невероятен, Симург — невозможен. Отдельные люди, составляющие Орла, не теряются в нем (Давид — это зрачок его ока, Траян, Езекия и Константин образуют бровь); птицы же, которые находят Симурга, им же самим и оказываются. Орел — ненадолго возникший (как перед этим буквы) символ, и те, из кого он слагается, не перестают быть самими собой; вездесущий Симург неделим. За Орлом стоит воплощенный Бог Израиля и Рима; за волшебным Симургом — пантеизм.

Последнее замечание. В притче о Симурге изумляет сила воображения; менее заметны, но от этого не менее реальны ее строгость и сдержанность. Паломники стремятся к неведомой цели, эта цель, которая в конце концов становится нам известной, должна поражать, а не быть или казаться ненужным довеском. Поэт разрешает эту сложность с безупречным изяществом — ищущие оказываются искомым. Не так ли Давид оказывается героем притчи, рассказываемой ему Нафаном (2 Цар 12); не так ли и Де Куинси предполагал, что Эдип вовсе не человек, а трудно постижимое решение загадки фиванского сфинкса?

¹ Сильвина Окампо («Лирические пространства», 12) изложила этот эпизод в стихах следующего содержания:

Тот Бог был птицей птиц: как в зеркале глубоком,
роились птицы в нем, вмещаемые Богом,
как бы свое крыло, его крыло взметая,
смотря глаза в глаза, в которых — вся их стая
(перевод Б. Дубина).

СВИДАНИЕ ВО СНЕ

Одолев круги Ада и трудные уступы Чистилища, Данте в конце концов видит в земном Раю Беатриче; Озанам считает эту сцену (бесспорно, одну из самых поразительных в мировой литературе) истоком всей «Комедии». Моя задача — изложить ее, подытожить сказанное комментаторами и поделиться одним, кажется, не звучавшим прежде наблюдением психологического свойства.

Итак, утром 13 апреля 1300 года, в предпоследний день своего путешествия, Данте, окончив труды, вступает в земной Рай, увенчавший вершину Чистилища. Он видел временный и вечный огонь, преодолел огненную стену, его воля свободна и путь прям. Вергилий возложил на него митру и корону («*per ch'io te sovrate sogono e mitrio*»¹). Тропой древнего леса он выходит к реке несравненной чистоты, хотя купы деревьев застилают от него свет луны и солнца. Звучит музыка, по другому берегу движется странное шествие. Двадцать четыре старца в белых одеяниях и четверка зверей о шести многоочитых крылах выступают перед колесницей, в которую впряжен грифон; справа танцуют три женщины, одна из которых неотличима от огня, до того алы ее одежды; слева — четыре, они одеты в пурпур и у одной — три глаза. Колесница останавливается, появляется женщина под покрывалом и в платье огненного цвета. Не по ее облику, но по оцепенению духа и трепету собственной крови Данте догадывается: это Беатриче. На пороге небесного Блаженства он чувствует любовь, столько раз пронзавшую его в родной Флоренции. Как потерявшийся ребенок, он ищет взглядом Вергилия, но того уже нет.

¹ Я над самим тобою / Тебя венчаю митрой и венцом («Чистилище», XXVII, 141–142).

Ma Virgilio n'avea lasciati scemi
di sè, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die'mi'.

Беатриче повелительно зовет его по имени. Говорит, что ему нужно оплакивать не исчезновение Вергилия, а собственные грехи. Не без иронии она спрашивает, как это он соизволил подняться на высоты, отведенные для счастливых. Воздух полон ангелов, безжалостная Беатриче перечисляет им Дантовы прегрешения. Она говорит, что напрасно взывала к нему во сне: он пал так глубоко, что спасти его могло только зрелище погибших навеки. Пристыженный Данте опускает взгляд, теряет дар речи и заливаётся слезами. Сказочные звери обращаются в слух, Беатриче приказывает ему исповедаться перед всеми... Такова переданная плохой испанской прозой жалобная сцена первого свидания с Беатриче в Раю. Любопытно замечание Теофила Спёрри («Einführung in die Göttliche Komödie»², Цюрих, 1946): «Данте, конечно же, ожидал другого. На предыдущих страницах он и словом не обмолвился, что ему предстоит самое чудовищное унижение в жизни».

Комментаторы разгадывают сцену образ за образом. Двадцать четыре старца, перешедших из Апокалипсиса (4:4), — это, как свидетельствует «Prologus Galeatus»³ святого Иеронима, двадцать четыре книги Ветхого Завета. Шестикрылые звери — это евангелисты (по Томмазо) или сами Евангелия (по Ломбарди). Шесть их крыл — это шесть законов (Пьеро Алигьери) либо шесть сторон света, по которым разошлось христианское учение (Франческо да Бути). Колесница — вселенская Церковь, а два ее колеса — это два Завета (Бути), жизнь деятельная и жизнь созерцательная (Бенвенуто де Имола), святые Доминик и Франциск («Рай», XII, 106 — 111) либо же Справедливость и Милосердие (Луиджи Пьетробоно). Грифон — пометь льва с орлом — это Христос, воплощение божественного Слова в человеческом естестве; по Дидрону, Папа «подобно

¹ Но мой Вергилий в этот миг неожиданный
Исчез, Вергилий, мой отец и вождь,
Вергилий, мне для избавленья данный
(«Чистилище», XXX, 49–51).

² «Введение в „Божественную комедию“» (нем.).

³ «Оправдательное предисловие» (лат.).

понтифику или орлу взмывает к Господнему престолу, дабы внимать велениям Творца, и подобно льву или царю ступает по земле воплощенной крепостью и мощью». Женщины справа — это богословские добродетели, слева — добродетели нравственные. Женщина с тремя глазами — Осмотрительность, видящая разом прошлое, настоящее и будущее. Вергилий исчезает при появлении Беатриче, поскольку он олицетворяет разум, а она — веру. По Витали же, он — олицетворение античной культуры, она — культуры христианской.

Перечисленные интерпретации, несомненно, заслуживают внимания. С помощью логики (но не поэзии) им удается достаточно строго обосновать весьма зыбкие материи. Приняв некоторые из них, Карло Штайнер заключает: «Женщина с тремя глазами чудовищна, но здесь Поэт обрывает узду искусства, сосредоточиваясь на моральном уроке, который несет этот образ. Свидетельство однозначно: первое место в душе величайшего художника принадлежало не искусству, а любви к Добру». Не поднимаясь до подобных высот красноречия, Витали соглашается: «Тяга к аллегории приводит Данте к выдумкам сомнительной красоты».

Так или иначе, две вещи, по-моему, бесспорны. Данте всячески стремится сделать шествие прекрасным («Non che Roma di cargo cosi bello, ralegrasse Affricano»¹), но оно выглядит нагромождением уродств. Запряженный в колесницу грифон, звери с многоочитыми крыльями, женщина в зеленом, женщина в алом, женщина с тремя глазами, старик, идущий во сне, напоминают не о Блаженстве, а о безысходных кругах преисподней. И то, что иные из этих образов восходят к пророкам («Ma leggi Ezechiel che li dipigne»²), а другие — к Откровению святого Иоанна, нисколько не умаляет их безобразия. Скажут, моя придирчивость несколько запоздала, — но в других райских сценах ничего отвратительного нет³.

¹ Равной колесницей / Не тешил Рима даже Сципион («Чистилище», XXIX, 115–116).

² Прочти, их описал Езекииль («Чистилище», XXIX, 100).

³ Позже я прочел у Франческо Торраки, что грифон в одном из итальянских bestiариев означал дьявола. Не знаю, уместно ли добавить, что в Эксетерском кодексе пантера, зверь с благозвучным голосом и сладким дыханием, означает Искупителя.

Все комментаторы в один голос отмечают суровость Беатриче, некоторые — уродство тех или иных фигур; по-моему, у того и у другого — один источник. Речь, понятно, может идти только о гипотезе, изложу ее как можно короче.

Любить значит исповедовать религию, бог которой смертен. О том, что Данте боготворил Беатриче, кажется, никто не спорит, а сцены, когда она посмеялась над ним и отвергла его любовь, описаны в «Новой жизни». Да, это всего лишь образы реальности, но тем сильнее они убеждают в неразделенной и суеверной любви поэта. После смерти Беатриче, потеряв Беатриче навсегда, Данте попытался вернуть ее силой воображения, умерить боль; по-моему, он воздвиг тройной алтарь «Комедии» только затем, чтобы вставить в него одно-единственное свидание. Все произошло, как бывает во сне, — с искажениями и помехами. В этом и состоит смысл сцены. Навсегда отвергнутый Беатриче, Данте продолжал мечтать о ней, но видел ее непреклонной, видел недостижимой, видел в повозке, запряженной львом и в то же время птицей, который превращается в глазах Беатриче то вдруг в птицу, то в льва («Чистилище», XXXI, 121). Это что-то вроде намека на будущий кошмар, который уже стоит перед глазами, перенося в следующую песнь. Беатриче исчезает, на колесницу набрасываются орел, лиса и дракон, колеса и дышло покрываются перьями, у колесницы вырастают семь голов («Trasformato così'l dificio santo / Mise fuor teste...»¹), и вот уже на месте Беатриче — гигант и блудница².

Беатриче для Данте значила все. Данте для Беатриче — видимо, немного, может быть, ничего. Из милосердия и любви мы пытаемся забыть этот горький раздор, для Данте — неизгладимый. Я читаю и перечитываю слова о перипе-

¹ Преображенный так, священный храм // Явил семь глав... («Чистилище», XXXII, 142–143)

² Скажут, подобные уродства — не более чем изнанка прежней «Красоты». Все так, но они полны смысла... В аллегорическом плане злобный орел означает гонения на первых христиан, лиса — ереси, дракон — Сатану, Магомета или Антихриста, семь глав — семь смертных грехов (Бенвенуто де Имолла) или таинств (Бути), гигант — французского короля Филиппа IV Красивого.

тиях их призрачного свидания и думаю о двух влюбленных, грезившихся Данте в урагане круга второго и оставшихся (пусть он даже не понимал или не признавал этого) тайным символом счастья, которого он так и не достиг. Думаю о Франческе и Паоло, навсегда неразлучных в своем Аду («Questi, che mai da me non fia diviso»¹). О губельной любви, тоске, преклонении и зависти.

¹ Тот, с кем навек я скована терзаньем («Ад», V, 135).

ПОСЛЕДНЯЯ УЛЫБКА БЕАТРИЧЕ

Моя задача здесь — прокомментировать самые волнующие стихи в мировой литературе. Они — из XXXI песни «Рая», и — при всей известности — в них, кажется, никогда не различали боль, их так и не выслушали до конца. Правда, их трагический смысл относится не к произведению, а к самому поэту, не к Данте, действующему лицу, а к Данте-автору или постановщику.

Сцена такова. На вершине горы Чистилища Данте теряет Вергилия. Предводимый Беатриче, чья красота все ярче с каждым новым небом, которого они достигают, Данте мигует концентрические круги вплоть до обнимающего их все переводигателя. Внизу — неподвижные звезды, над ними — эмпирей, небо уже не земное, а вечное, из одного света. Они поднимаются в эмпирей: в его беспредельности (как на полотнах мастеров дорафаэлевой эпохи) далекое и близкое равны. Данте видит ниспадающий поток света, сонмы ангелов, многоликую Розу Рая, составленную из душ праведников, расположившихся амфитеатром. Вдруг он чувствует, что и Беатриче его покинула. Она — вверху, в одном из кругов Розы. Как человек, поднимающий взгляд из морской пучины к грозovým высотам, Данте приветствует и молит ее. Он благодарит за щедроты и милости, вручая ей свою душу. Дальнейший текст гласит:

*Così orai; e quella, sì lontana
come pareva, sorrise e riguardommi;
poi si tornò all'eterna fontana¹.*

¹ Так я воззвал; с улыбкой, издалека,
Она ко мне свой обратила взгляд;
И вновь — к сиянью Вечного Истока
(«Рай», XXXI, 91–93).

Как это все понять? Сторонники аллегорического подхода убеждают: разум (Вергилий) — это путь к вере, вера (Беатриче) — путь к Богу; приведя к цели, и тот и другая больше не нужны. Объяснение, как видит читатель, столь же безупречное, сколь и бездушное: из подобной жалкой схемы ничего равного приведенным стихам никогда бы не родилось.

Доступные мне комментарии видят в улыбке Беатриче лишь поощрение. «В последнем взгляде и последней улыбке — нерушимый обет», — утверждает Франческо Торрака. «Она улыбается, чтобы сказать Данте, что его мольба услышана, и дарит взгляд, чтобы уверить в прежней любви», — пишет Луиджи Пьетробано. Суждение (к нему присоединяется и Казини) беспорное; беда лишь в том, что оно практически не касается самой сцены.

Озанам («Dante et la philosophie catholique»¹, 1895) считает, что апофеоз Беатриче и был первоначальным зародышем «Комедии»; Гвидо Витали задается вопросом, не двигало ли Данте, создающим Рай, желание воздвигнуть царство для своей избранницы. Известный пассаж из «Новой жизни» («Я надеюсь когда-нибудь рассказать о ней то, что никогда еще не говорилось ни об одной другой») подтверждает или по крайней мере допускает эту догадку. Рискну пойти дальше. Думаю, что Данте создал лучшую книгу в мировой литературе, чтобы вставить в нее несколько свиданий с невозвратной Беатриче. А лучше сказать, вставками служили круги мучений и южное Чистилище, девять концентрических кругов и Франческа, сирена, грифон и Бертран де Борн, главным же были улыбка и голос, потерянные, как он знал, навсегда. В начале «Новой жизни» Данте говорит о послании, где перечислил шестьдесят женских имен, чтобы среди них тайком проскользнуло имя Беатриче. В «Комедии» он, уверен, повторил эту грустную забаву.

В том, что несчастный грезит о счастье, ничего удивительного нет: любой из нас предается этому ежедневно. То же самое делает и Данте, но в его мечтах о счастье всякий раз проглядывает что-то жуткое. В стихах Честертона говорится о «nightmares of delight», «кошмарах блаженства», — этот ок-

¹ «Данте и католическая философия» (франц.).

сюморон позволяет лучше понять цитированные строки «Рая». Но у Честертона ударение стоит на слове «delight», у Данте же — на слове «nightmare».

Еще раз вспомним сцену. Данте, вместе с Беатриче, в эмпирее. Над ними опрокинута бездонная Роза праведных. Роза высоко, но составляющие ее лица видны отчетливо. Это уже объясненное поэтом («Рай», XXX, 118) противоречие — может быть, первый намек на внутренний разлад: не случайно Беатриче вдруг исчезает. На ее месте — некий старик («credea veder Beatrice, e vidi un sene»¹). Данте едва решается спросить, где Беатриче. «Ove ella?»² — вскрикивает он. Старик показывает на один из кругов запредельной Розы. Там, окруженная сиянием, его Беатриче; Беатриче, чей взгляд переполнял его нестерпимым блаженством; Беатриче в красном платье; Беатриче, о которой он думал столько, что был как громом поражен, встретив однажды утром во Флоренции пилигримов, которые о ней слыхом не слыхали; Беатриче, однажды не ответившая на его приветствие; Беатриче, умершая в двадцать четыре года; Беатриче де Фолько Портинари, вышедшая замуж за Барди, виднеется теперь в недосыгаемой высоте: ясный небосклон не так далек от морской пучины, как она от него. Данте молит ее как Бога и как любимую:

O donna in cui la mia speranza vige,
E che soffristi per la mia salute
In inferno lasciar le tue vestige...³

И вот Беатриче на мгновенье обращает к нему взгляд, улыбается и снова возводит глаза к вечному источнику света.

Франческо де Санктис («Storia della letteratura italiana», VII) толкует это место так: «Когда Беатриче уходит, Данте не произносит ни слова жалобы: все земное в нем перегорело и отмерло». Это верно, если ограничиться замыслом поэта; иное дело — его чувства.

¹ И некий старец... на месте Беатриче мне предстал («Рай», XXXI, 59).

² Где она? (XXXI, 64).

³ О госпожа, надежд моих ограда,
Ты, чтобы свыше помощь мне подать,
Оставившая след свой в глубях Ада...
(XXXI, 79–81)

Вспомним неустранимый и, при всей его скромности, единственно бесспорный здесь факт: вся сцена *выдуманна* Данте. Для нас она реальна, для него — куда меньше (для него реальность — прежде всего жизнь Беатриче, а потом похитившая ее смерть). Навсегда разлученный с Беатриче, одинокий, вероятно, униженный, он представляет себе эту сцену, чтобы хоть в воображении побыть вместе с любимой. К несчастью для него и к счастью для читателей будущих столетий, сознание, что сцена эта — воображаемая, не может не искажать картину. Отсюда растрavляющие подробности, слишком, конечно же, inferнальные для эмпирея: исчезновение Беатриче, появившийся вместо нее старик, ее внезапный взлет к высотам Розы, мимолетность взгляда и улыбки, навечно отвернувшееся лицо¹. В самом выборе слов здесь ощутим ужас: «*come parea*» («казалась») относится к «*lontana*» («далекой»), вместе с тем бросая тень на «*sorgise*» («улыбку»), почему и Лонгфелло в 1867 году перевел:

Thus I implored; and she, so far away,
Smiled as it seemed, and looked once more at me...²

Точно так же «*eterna*» («вечная») бросает тень на «*si tornò*» («отвернулась»).

¹ «Blessed Demozel», «Счастливая красавица» Россетти, переведшего в свое время «Новую жизнь», тоже безутешна в раю.

² Так я взмолился; и она, так далеко,
Казалось, улыбнулась и снова взглянула на меня... (англ.)

**25 АВГУСТА
1983 ГОДА**

25 АВГУСТА 1983 ГОДА

Часы на маленькой станции показывали одиннадцать вчерашней ночи. Я направился к гостинице. Как и в прошлые разы, я ощущал умиротворение и покой, чувства, которые всегда испытываешь, оказавшись в давно знакомых местах. Широкие ворота были распахнуты, усадьба окутана сумерками. Я вошел в холл, где туманные зеркала удваивали расставленные цветы и растения. Удивительно, но хозяин не узнал меня. Он протянул мне книгу постояльцев. Я взял ручку, прикрепленную к конторке, обмакнул перо в бронзовую чернильницу и, склонившись над раскрытыми страницами, столкнулся с первой из множества неожиданностей, которые выпали на мою долю этой ночью. Мое имя, Хорхе Луис Борхес, уже было написано, и чернила еще не успели высохнуть.

Хозяин сказал мне:

— Мне казалось, вы уже поднялись. — Потом он присмотрелся ко мне внимательнее: — Простите, сеньор. Тот, другой, очень на вас похож, но вы моложе.

Я спросил хозяина:

— Какой у него номер?

— Он попросил девятнадцатый, — был ответ.

Этого я и боялся.

Я бросил ручку на конторку и бегом поднялся по ступенькам. Девятнадцатый номер находился на втором этаже, с окнами на внутренний дворик, жалкий и заброшенный, обнесенный балюстрадой; там, как мне помнится, стояла пляжная скамейка. Это была самая высокая комната в гостинице. Я толкнул дверь, она подалась. Под потолком горела люстра. В ее безжалостном свете я узнал себя. На узкой железной кровати навзничь лежал я, постаревший, обрюзг-

ший, побледневший, и разглядывал лепнину на потолке. Я услышал голос. Не совсем мой; без обертонов, неприятный, похожий на магнитофонную запись.

— Удивительно, — сказал он, — нас двое и мы одно. Впрочем, во сне ничто не может удивить.

Я робко спросил:

— Значит, все это сон?

— Да, я уверен, что это мой последний сон. — Жестом он показал на пустой пузырек, стоявший на мраморной крышке ночного столика. — Тебе придется, наверное, перевидать множество снов, прежде чем доживешь до этой ночи. Какое у тебя сегодня число?

— Не знаю точно, — ответил я ошеломленно. — Но вчера мне исполнился шестьдесят один год.

— Когда твои бессонницы приведут тебя к этой ночи, накануне тебе исполнится восемьдесят четыре. Сегодня двадцать пятое августа 1983 года.

— Как долго еще ждать, — прошептал я.

— А мне не осталось почти ничего, — сказал он резко. — В любой момент я могу умереть, затеряться в неведомом и продолжать видеть сны вдвойне. Неотвязная мысль, навеянная зеркалами и Стивенсоном.

Упоминание о Стивенсоне прозвучало для меня прощанием, а не стремлением порассуждать. Я был им и не понимал его. Чтобы стать Шекспиром и написать незабываемые фразы, недостаточно одних трагических моментов. Чтобы отвлечь его, я сказал:

— Я знал, что это с тобой случится. Как раз здесь, много лет назад, в одной из комнат первого этажа мы набросали черновик истории этого самоубийства.

— Да, — подтвердил он задумчиво, как бы погружившись в воспоминания. — Но я не вижу связи. В том наброске я брал билет до Адрогге и в гостинице «Лас Делисьяс» поднялся в номер девятнадцатый, самый дальний. И там совершил самоубийство.

— Поэтому я здесь, — сказал я.

— Здесь? Мы всегда здесь. Здесь я вижу тебя во сне в доме на улице Майпу. Здесь я хожу по комнате, которая принадлежала матери.

— В комнате, которая принадлежала матери, — повторил я, не стараясь понять. — Я вижу тебя во сне в номере девятнадцатом, расположенном над внутренним двориком.

— Кто кому снится? Я знаю, что ты снишься мне, но не знаю, снюсь ли я тебе. Гостиницу в Адрогге так давно сломали. То ли двадцать, то ли тридцать лет назад. Кто знает.

— Это я вижу сон, — произнес я с вызовом.

— Ты не представляешь себе, как важно выяснить, один ли человек видит сон, или двое снятся друг другу.

— Я Борхес, который увидел твое имя в книге постояльцев и поднялся сюда.

— Борхес я, и я убил себя на улице Майпу. — Помолчав, тот, другой, добавил: — Давай проверим. Что было самое ужасное в нашей жизни?

Я склонился к нему, и мы начали говорить одновременно. Я знал, что мы оба лжем.

Легкая улыбка осветила постаревшее лицо. Я чувствовал, что эта улыбка — отражение моей.

— Мы лжем, — заметил он, — потому что чувствуем себя двумя разными людьми, а не одним. На самом деле мы и один человек, и двое.

Мне наскучила наша беседа, и я откровенно сознался в этом. И добавил:

— Неужели тебе в 1983 году нечего рассказать о тех годах, что предстоят мне?

— Что сказать тебе, бедняга Борхес? На тебя будут продолжать сыпаться беды, к чему ты уже привык. Ты останешься один в доме. Будешь перебирать книги без букв и касаться барельефа с профилем Сведенборга и деревянного блюда, на котором лежит орден Креста. Слепота — это не тьма, она — род одиночества. Ты вновь окажешься в Исландии.

— В Исландии! В Исландии среди морей!

— В Риме ты станешь твердить строки Китса, чье имя, как и все прочие имена, так недолговечно.

— Я никогда не был в Риме.

— Случится еще многое. Ты напишешь наше лучшее стихотворение, элегию.

— На смерть... — не окончил я фразы, боясь назвать имя.

— Нет-нет, она переживет тебя.

Мы помолчали. Он продолжал:

— Ты напишешь книгу, о которой мы столько мечтали. А году в 1979-м ты поймешь, что твое так называемое произведение — не что иное, как ряд набросков, разнородных набросков, и откажешься от тщеславного заблуждения — написать свою великую книгу. Заблуждения, внушенного нам «Фаустом» Гёте, «Саламбо», «Улиссом». Я написал невероятно много.

— И в конце концов понял, что потерпел неудачу.

— Хуже. Я понял, что это ма́стерская работа в самом тягостном смысле этого слова. Мои благие намерения не шли дальше первых страниц; затем появлялись лабиринты, ножи, человек, считавший себя отражением, отражение, полагавшее себя реальным, тигры ночи, сражения, которые остаются в крови, Хуан Муранья, неумолимый и слепой, голос Маседонио, корабль из ногтей мертвецов, занятия староанглийским по вечерам.

— Эта кунсткамера мне знакома, — заметил я с улыбкой.

— Кроме того, ложные воспоминания, двойная игра символов, долгие перечисления, легкость в восприятии действительности, неполные симметрии, что с радостью обнаружили критики, ссылки, не всегда апокрифические.

— Ты опубликовал книгу?

— Меня посещала мелодраматическая мысль — уничтожить ее, возможно, предать огню. В конце концов я издал ее в Мадриде под псевдонимом. Книгу сочли бездарным подражанием, а автору вменяли в вину, что он не Борхес и что оригинал повторяет поверхностно.

— Ничего удивительного, — вставил я. — Каждый писатель кончает тем, что превращается в собственного бесталанного ученика.

— В числе прочего эта книга привела меня сюда. А прочее — старческие немощи, убежденность, что весь срок прожит...

— Я не стану писать эту книгу, — заверил я.

— Станешь. Мои слова, звучащие вполне реально, останутся в памяти лишь как воспоминание о сне.

Меня раздражал его менторский тон, без сомнений, тот самый, каким я говорил на лекциях. Меня раздражало, что мы так схожи и что он открыто пользовался безнаказанностью, которую ему давала близость смерти.

Чтобы отплатить ему, я спросил:

— Ты так уверен, что умираешь?

— Да, — ответил он. — Я чувствую облегчение и умиротворение, каких никогда не испытывал. Нет слов рассказать тебе об этом. Можно описывать только разделенный опыт. Отчего тебя так задевает то, что я говорю?

— Потому что мы слишком похожи. Мне отвратительно твое лицо, карикатура на мое, отвратителен твой голос, жалкое подражание моему, отвратительна твоя высокопарная манера выражаться, потому что она моя.

— Мне тоже, — ответил тот. — Поэтому я решил покончить с собой.

В саду коротко пропела птица.

— Последняя, — сказал он.

Жестом он подозвал меня к себе. Его рука искала мою. Я попятился, опасаясь, что мы смешаемся.

Он говорил:

— Стойки учат, что не должно сетовать на жизнь; дверь тюрьмы открыта. Я всегда чувствовал это, но лень и трусость останавливали меня. Недели две назад я читал в Ла-Плата лекцию о шестой книге «Энеиды». Вдруг, произнося вслух гекзаметры, я понял, что мне делать. Я принял решение. С этого момента я почувствовал себя неуязвимым. Моя судьба станет твоей, ты совершишь внезапное открытие благодаря латыни и Вергилию, полностью забыв об этом любопытном провидческом диалоге, происходящем в двух разных местах и двух разных временах. Когда ты вновь увидишь этот сон, ты станешь мною и станешь моим сном.

— Я не забуду сна и запишу его завтра.

— Этот сон глубоко запечатлется в твоей памяти под толщей других снов. Записав его, ты захочешь превратить его в фантастический рассказ. Это будет не завтра, пройдет еще много лет.

Он перестал говорить, и я понял, что он мертв. Каким-то образом и я умер вместе с ним; я, опечаленный, склонился над подушкой, но там уже никого не было.

Я выбежал из комнаты. Там не оказалось ни внутреннего дворика, ни мраморных лестниц, ни большой уснувшей усадьбы, ни эвкалиптов, ни статуй, ни беседки, ни фонтанов, ни широких ворот в ограде усадьбы в поселке Адрогге.

Там меня ожидали другие сны.

РОЗА ПАРАЦЕЛЬСА

Де Кзинси, «Writings»¹, XIII, 345.

В лаборатории, расположенной в двух подвальных комнатах, Парацельс молил своего Бога, Бога вообще, Бога все равно какого, чтобы тот послал ему ученика. Смеркалось. Тусклый огонь камина отбрасывал смутные тени. Сил, чтобы подняться и зажечь железный светильник, не было. Парацельса сморила усталость, и он забыл о своей молитве. Ночь уже стерла очертания запыленных колб и сосуда для перегонки, когда в дверь постучали. Полусонный хозяин встал, поднялся по высокой винтовой лестнице и отворил одну из створок. В дом вошел незнакомец. Он тоже был очень усталым. Парацельс указал ему на скамью; вошедший сел и стал ждать. Некоторое время они молчали.

Первым заговорил учитель.

— Мне знаком и восточный, и западный тип лица, — не без гордости сказал он. — Но твой мне неизвестен. Кто ты и чего ждешь от меня?

— Мое имя не имеет значения, — ответил вошедший. — Три дня и три ночи я был в пути, прежде чем достиг твоего дома. Я хочу быть твоим учеником. Я взял с собой все, что у меня есть.

Он снял торбу и вытряхнул ее над столом. Монеты были золотые, и их было очень много. Он сделал это правой рукой. Парацельс отошел, чтобы зажечь светильник. Вернувшись, он увидел, что в левой руке вошедшего была роза. Роза его взволновала.

Он сел поудобнее, скрестил кончики пальцев и произнес:

— Ты надеешься, что я могу создать камень, способный превращать в золото все природные элементы, и предлагаешь мне золото. Но я ищу не золото, и, если тебя интересует золото, ты никогда не будешь моим учеником.

¹ «Сочинения» (англ.).

— Золото меня не интересует, — ответил вошедший. — Эти монеты — всего лишь доказательство моей готовности работать. Я хочу, чтобы ты обучил меня Науке. Я хочу рядом с тобой пройти путь, ведущий к Камню.

Парацельс медленно промолвил:

— Путь — это и есть Камень. Место, откуда идешь, — это и есть Камень. Если ты не понимаешь этих слов, то ты ничего пока не понимаешь. Каждый шаг является целью.

Вошедший смотрел на него с недоверием. Он отчетливо произнес:

— Значит, цель все-таки есть?

Парацельс засмеялся:

— Мои хулители, столь же многочисленные, сколь и далекие, уверяют, что нет, и называют меня лжецом. У меня на этот счет иное мнение, однако допускаю, что я и в самом деле обольщаю себя иллюзиями. Мне известно лишь, что Путь *есть*.

Наступила тишина, затем вошедший сказал:

— Я готов пройти его вместе с тобой; если понадобится — положить на это годы. Позволь мне одолеть пустыню. Позволь мне хотя бы издали увидеть обетованную землю, если даже мне не суждено на нее ступить. Но, прежде чем отправиться в путь, дай мне одно доказательство своего мастерства.

— Когда? — с тревогой произнес Парацельс.

— Немедленно, — с неожиданной решимостью ответил ученик.

Вначале они говорили на латыни, теперь по-немецки.

Юноша поднял перед собой розу:

— Говорят, что ты можешь, вооружившись своей наукой, сжечь розу и затем возродить ее из пепла. Позволь мне быть свидетелем этого чуда. Вот о чем я тебя прошу, и я отдам тебе мою жизнь без остатка.

— Ты слишком доверчив, — сказал учитель. — Я не нуждаюсь в доверчивости. Мне нужна вера.

Вошедший стоял на своем:

— Именно потому, что я недоверчив, я и хочу увидеть воочию исчезновение и возвращение розы к жизни.

Парацельс взял ее и, разговаривая, играл ею.

— Ты доверчив, — повторил он. — Ты утверждаешь, что я могу уничтожить ее?

— Каждый может ее уничтожить, — сказал ученик.

— Ты заблуждаешься. Неужели ты думаешь, что возможен возврат к небытию? Неужели ты думаешь, что Адам в Раю мог уничтожить хотя бы один цветок, хотя бы одну былинку?

— Мы не в Раю, — настойчиво повторил юноша, — здесь, под луной, все смертно.

Парацельс встал.

— А где же мы тогда? Неужели ты думаешь, что Всевышний мог создать что-то, помимо Рая? Понимаешь ли ты, что Грехопадение — это неспособность осознать, что мы в Раю?

— Роза может сгореть, — упорствовал ученик.

— Однако в камине останется огонь, — сказал Парацельс.

— Стоит тебе бросить эту розу в пламя, как ты убедишься, что она исчезнет, а пепел будет настоящим.

— Я повторяю, что роза бессмертна и что только облик ее меняется. Одного моего слова хватило бы, чтобы ты ее вновь увидел.

— Одного слова? — с недоверием сказал ученик. — Сосуд для перегонки стоит без дела, а колбы покрыты слоем пыли. Как же ты вернул бы ее к жизни?

Парацельс взглянул на него с сожалением.

— Сосуд для перегонки стоит без дела, — повторил он, — и колбы покрыты слоем пыли. Чем я только не пользовался на моем долгом веку; сейчас я обхожусь без них.

— Чем же ты пользуешься сейчас? — с напускным смирением спросил вошедший.

— Тем же, чем пользовался Всевышний, создавший небеса, и землю, и невидимый Рай, в котором мы обитаем и который сокрыт от нас первородным грехом. Я имею в виду Слово, познать которое помогает нам Каббала.

Ученик сказал с полным безразличием:

— Я прошу, чтобы ты продемонстрировал мне исчезновение и появление розы. К чему ты при этом прибежешь — к сосуду для перегонки или к Слову, — для меня не имеет значения.

Парацельс задумался. Затем он сказал:

— Если бы я это сделал, ты мог бы сказать, что все увиденное — всего лишь обман зрения. Чудо не принесет тебе искомой веры. Поэтому положи розу.

Юноша смотрел на него с недоверием. Тогда учитель, повысив голос, сказал:

— А кто дал тебе право входить в дом учителя и требовать чуда? Чем ты заслужил подобную милость?

Вошедший, охваченный волнением, произнес:

— Я сознаю свое нынешнее ничтожество. Я заклинаю тебя во имя долгих лет моего будущего послушничества у тебя позволить мне лицезреть пепел, а затем розу. Я ни о чем больше не попрошу тебя. Увиденное собственными глазами и будет для меня доказательством.

Резким движением он схватил алую розу, оставленную Парацельсом на пюпитре, и швырнул ее в огонь. Цвет истаял, и осталась горсточка пепла. Некоторое время он ждал слов и чуда.

Парацельс был невозмутим. Он сказал с неожиданной прямоотой:

— Все врачи и аптекари Базеля считают меня шарлатаном. Как видно, они правы. Вот пепел, который был розой и который ею больше не будет.

Юноше стало стыдно. Парацельс был лгуном или же фантазером, а он, ворвавшись к нему, требовал, чтобы тот признал бессилие всей своей колдовской науки.

Он преклонил колени и сказал:

— Я совершил проступок. Мне не хватило веры, без которой для Господа нет благочестия. Так пусть же глаза мои видят пепел. Я вернусь, когда дух мой окрепнет, стану твоим учеником, и в конце пути я увижу розу.

Он говорил с неподдельным чувством, однако это чувство было вызвано состраданием к старому учителю, столь почитаемому, столь пострадавшему, столь необыкновенному и поэтому-то столь ничтожному. Как смеет он, Иоганн Гризбах, срывать своей нечестивой рукой маску, которая прикрывает пустоту?

Оставленные золотые монеты были бы милостыней. Уходя, он взял их. Парацельс проводил его до лестницы и сказал ему, что в этом доме он всегда будет желанным гостем. Оба прекрасно понимали, что встретиться им больше не придется.

Парацельс остался один. Прежде чем погасить светильник и удобно расположиться в кресле, он встряхнул щепотку пепла в горсти, тихо произнес Слово. И возникла роза.

СИНИЕ ТИГРЫ

В знаменитых строках Блейка тигр — это пылающий огонь и непреходящий архетип Зла; я же скорее согласен с Честертоном, который видит в нем символ изысканной мощи. И все же нет абсолютно точных слов, которые давали бы представление о тигре, этом образе, издавна волнующем воображение человека. Меня всегда неодолимо влекло к тигру. В детстве я, помнится, часами простаивал у одной-единственной клетки в зоопарке: остальных для меня как бы не существовало. Критерием оценки энциклопедий и книг о мире природы служили гравюры с изображением тигра. Когда я открыл для себя «Jungle Books»¹, меня огорчило, что Шер Хан, тигр, был врагом героя. Шли годы, а этой странной любви я остался верен. Не в пример моим былым охотничьим притязаниям и иным парадоксальным и недолговечным увлечениям. До самого недавнего времени — совсем недавнего, хотя у обманчивой памяти и другой счет, — она вполне уживалась с моими служебными обязанностями в университете Лахора. Я преподаю западную и восточную логику, а в выходные веду семинар, посвященный творчеству Спинозы. Остается добавить, что я шотландец; как видно, не что иное, как любовь к тиграм, и привело меня из Абердина в Пенджаб. Моя жизнь была ничем не примечательна, однако во сне я всегда видел тигров (ныне они уступили место иным образам).

Я столько раз об этом рассказывал, что утратил к происшедшему всякий интерес. Оставляю же эти подробности я только потому, что моя история того требует.

В конце 1904 года я прочел, что в одном из районов в дельте Ганга обнаружены тигры синей окраски. Новость

¹ «Книги джунглей» (англ.).

подтвердилась последующими сообщениями, неоднозначными и противоречивыми, подогревавшими мой интерес. Во мне проснулась старая любовь. Я тут же предположил ошибку, в которую столь часто впадают, определяя цвета. Помнится, я читал, что по-исландски Эфиопия — Bláland, то ли Синяя Земля, то ли Земля Негров. Синий тигр вполне мог оказаться черной пантерой. Мало чем помог и опубликованный в лондонской прессе эстамп, на котором был изображен синий тигр с серебристыми полосами; не могло быть никаких сомнений в его апокрифическом происхождении. Синий цвет иллюстрации отдавал скорее геральдикой, чем реальностью. Однажды во сне я видел тигров неизвестного мне оттенка синего цвета, которому я не смог подобрать названия. Без сомнения, он был почти черным, однако точнее определить его цвет мне все же не удалось.

Несколько месяцев спустя один из моих сослуживцев сообщил мне, что в некоем весьма удаленном от Ганга селении он слышал разговоры о синих тиграх. Этот факт не мог меня не поразить, ибо я знал, что в этом районе тигры — большая редкость. Мне снова приснился синий тигр, который, передвигаясь, отбрасывал на песок длинную тень. Воспользовавшись отпуском, я отправился в эту деревню, названия которой — по причинам, о которых вскоре пойдет речь, — мне не хотелось бы вспоминать.

Я приехал, когда кончился уже сезон дождей. Селение, которое лепилось к подножию холма, показавшегося мне скорее обширным, чем высоким, со всех сторон обступили неприветливые джунгли темно-бурого цвета. Увиденную мной деревушку не составит труда отыскать у Киплинга, который вместил в свои книги всю Индию, если не весь мир. Скажу лишь, что ров с хрупкими тростниковыми мостками служил слабым прикрытием для лачуг. На юге, в заболоченных местах, были рисовые поля и ложбина, по дну которой протекала илистая речушка с неведомым мне названием, а за ними опять-таки джунгли.

Жители исповедовали индуизм. Я это предвидел и был огорчен. Мне всегда было проще найти общий язык с мусульманами, хотя я и понимал, что ислам — наименее глубокая из всех религий, восходящих к иудаизму.

Мы понимаем, что в Индии человек изобилует; в деревне я понял, что на самом деле изобилует лес, проникающий даже в жилища.

Дни были изнуряющими, а ночи не приносили прохлады.

Старейшины приветствовали меня, и мы обменялись первыми учтиво-расплывчатыми фразами. Я уже говорил об убожестве этой местности, однако все мы убеждены в исключительности родных мест. Я одобрительно отозвался о сомнительных достоинствах жилищах и не менее сомнительных достоинствах еде и добавил, что слава об их крае достигла Лакхора. В лицах моих собеседников произошла перемена; мне тотчас стало ясно, что я совершил ошибку и должен ее загладить. По-видимому, они хранят тайну, которую не склонны делить с посторонними. Кто знает, не поклоняются ли они Синему Тигру и не были ли мои опрометчивые слова кощунственными по отношению к его культу.

Я отложил разговор до рассвета. Подкрепившись рисом и выпив чаю, я вновь вернулся к теме. Вопреки ожиданию, я не понял, не смог понять, что же произошло. Я вызывал изумление и почти ужас. Однако когда я сказал, что моя цель — поймать хищника редкой масти, они с облегчением вздохнули. Кто-то сказал, что видел его выходящим из джунглей.

Среди ночи меня разбудили. Мальчик мне сообщил, что, когда из загона исчезла коза, он, отправившись на ее поиски, видел синего тигра на другом берегу реки. Я подумал, что в свете молодой луны цвет определить практически невозможно, однако все присутствующие подтвердили рассказ, а один из них, до сих пор молчавший, сказал, что он также его видел. Мы вышли, прихватив ружья, и я увидел или решил, что увидел, промельк кошачьего силуэта в сумеречных джунглях. Козу найти не удалось, к тому же сомнительно, чтобы утащивший ее хищник был моим синим тигром. Мне многозначительно показывали какие-то следы, которые ровным счетом ни о чем не говорили.

В одну из таких ночей я наконец понял, что эти ложные тревоги были данью старой привычке. Подобно Даниелю Дефо, жители этих мест были мастера изобретать значимые детали. Тигра могли заметить в любое время вблизи рисо-

вых полей на юге или в зарослях на севере, однако в свидетельствах очевидцев просматривалась четкая регулярность. Тигр неизменно исчезал в момент моего прибытия. Мне всегда демонстрировали его следы или нанесенный им ущерб, но человек без труда может имитировать отпечаток тигровой лапы. Время от времени я видел мертвых собак. В одну из лунных ночей мы до рассвета прокараулили возле козы, взятой в качестве приманки. Поначалу я решил, что за этими побасенками стоит желание продлить мое пребывание в селении к выгоде его жителей, обеспечивавших меня едой и выполнявших работы по дому. Чтобы проверить свою догадку, я сообщил им о намерении отправиться на поиски тигра в другие места, ниже по течению реки. К моему удивлению, все поддержали мое решение. И все же меня не оставляла мысль, что от меня что-то скрывают и я у всех вызываю опасения.

Я уже говорил, что лесистая гора, у подножия которой лепилось селение, была невысокой; она плавно переходила в плато. Ее западные и северные склоны были покрыты джунглями. Поскольку скаты ее особой крутизной не отличались, я предложил им на нее подняться. Столь скромное желание привело их в замешательство. Один из них заявил, что склоны ее слишком обрывисты. Веское слово, подчеркнув неосуществимость моего намерения, произнес старейший из них. Вершина горы священна и по магическим причинам для людей запретна. Смертный, осмелившийся ступить туда ногой, рискует заглянуть в тайны богов и потерять разум или зрение. Я не настаивал, однако в первую же ночь, когда все уснули, бесшумно выскользнул из хижины и стал подниматься по невысокому косогору. Я двигался медленно, без дороги, сквозь кустарники и травы. Луна была на горизонте. Я смотрел на все с обостренным вниманием, будто предчувствуя, что этому дню суждено быть очень важным, если не главным днем моей жизни. Мне запомнился темный, почти черный цвет листвы. Лес был залит лунным светом, птицы безмолвствовали.

Двадцать—тридцать минут подъема, и вот я уже на плато. Нетрудно было предположить, что воздух тут живительный и атмосфера не столь удушлива, как в оставшемся внизу

селении. Я удостоверился, что это была не вершина, а некая терраса, не слишком обширная, и что джунгли простирались еще выше по откосу горы. Я почувствовал себя свободным, как будто деревня была для меня тюрьмой. Что с того, что ее жители пытались меня обмануть; я сознавал, что они во многом подобны детям.

Что же до тигра... Полоса разочарований подточила как мое любопытство, так и мою веру, и все же почти машинально я высматривал следы.

Почва была песчаной и вся в расщелинах, неглубоких и переплетавшихся между собой. Цвет одной из них привлек мое внимание. Вне всяких сомнений, это был синий цвет тигра моих сновидений. Я присмотрелся. Расщелина была полна голышей, абсолютно одинаковых, круглых, очень гладких и небольших. Их идентичность, как если бы это были фишки, казалась чем-то искусственным.

Наклонившись, я вытащил из расщелины несколько штук. Я почувствовал легкий трепет. Горсть голышей я положил в правый карман, где уже были ножнички и письмо из Аллахабада. Эти случайные предметы сыграют в моей истории свою роль.

Вернувшись в хижину, я снял куртку, растянулся на кровати и погрузился в сон с тигром. Во сне я отчетливо видел цвет: один и тот же у тигра из сновидений и у голышей с плато. Я проснулся от ярко светившего в лицо солнца. Я встал. Ножницы и письмо мешали вытащить окатыши. Я вытащил первую пригоршню и почувствовал, что две или три еще остались. Едва уловимая дрожь прошла по моей руке, и я ощутил тепло. Разжав кулак, я увидел, что окатышей было около тридцати или сорока. Я готов был поклясться, что раньше их было не более десяти. Оставив их на столе, я вытащил остальные. Не было особой нужды считать их, чтобы убедиться, что их становилось все больше. Я сгреб их в одну кучу и стал пересчитывать один за другим.

Этой простейшей операции выполнить я не смог.

Я впивался взглядом в один из них, сжимал его между большим и указательным пальцами, но стоило взять один, как тут же их становилось несколько. Я проверил, нет ли у меня лихорадки, и без конца повторял попытку. Несураз-

нейшее чудо повторялось. У меня похолодели ноги и задрожали колени. Я потерял счет времени.

Не глядя, я сгреб окатыши в одну кучу и вышвырнул их в окно. Необъяснимым образом почувствовал и обрадовался, что число их уменьшилось. Я захлопнул дверь и бросился на кровать. Затосковав по утраченной былой определенности, я попытался убедить себя в том, что все это мне приснилось. Чтобы не думать об окатышах, чтобы чем-то заполнить время, я повторил вслух, медленно и отчетливо, восемь дефиниций и семь аксиом этики. Помогло ли это, не знаю. Из подобных заклинаний меня вывел стук в дверь. Инстинктивно забеспокоившись, что мои разговоры с самим собой кто-то слышал, я открыл дверь.

На пороге стоял самый старый из жителей, Бхагван Дас. Своим появлением он как будто вернул мне ощущение реальности. Мы вышли. Я надеялся, что окатыши исчезли, но они были здесь. Не берусь сказать, сколько их было.

Старик взглянул на них, затем на меня.

— Эти камни не отсюда. Они сверху, — произнес он голосом, который ему не принадлежал.

— Верно, — ответил я. Затем не без вызова я добавил, что нашел их на плато, и тут же устыдился своей словоохотливости. Бхагван Дас, не обращая на меня внимания, зачарованно созерцал камни. Я приказал ему собрать их. Он не шелухнулся.

Мне горько вспоминать, но я вытащил револьвер и, повысив голос, повторил приказ.

Бхагван Дас пробормотал:

— Лучше получить пулю в сердце, чем взять в руку синий камень.

— Ты трус, — сказал я ему.

По правде, мне было также жутко, но все же я взял, закрыв глаза, горсть камней левой рукой. Убрав револьвер, я пересыпал их из одной руки в другую. Их было уже значительно больше.

Мало-помалу я привыкал к этим переходам. Внезапно раздавшиеся крики Бхагвана Даса были для меня большой неожиданностью.

— Это самозарождающиеся камни! — вскричал он. — Их только что было много, и вдруг число их меняется. Они

похожи на диск луны, а их синий цвет мы видим только во сне. Родители моих родителей не лгали, когда рассказывали об их могуществе.

Вокруг нас собралась вся деревня.

Я почувствовал себя чудесным обладателем этих диковин. Ко всеобщему удивлению, я собирал окатыши, поднимал, бросал, рассыпал, наблюдал, как чудесным образом их становится то больше, то меньше.

Люди теснились, охваченные изумлением и ужасом. Мужчины заставляли своих жен смотреть на чудо. Одна из них закрывала лицо рукой, другая зажмуривала глаза. Никто не осмеливался дотронуться до окатышей, не считая ребенка, блаженно игравшего с ними. Тут я почувствовал, что эта сумятица опошляет чудо. Тогда я собрал столько окатышей, сколько сумел, и ушел в хижину.

Пытался ли я забыть, как кончился этот день, первый в бесконечной череде злосчастий, — не знаю. Во всяком случае, я ничего не помню. Когда стемнело, я с тоской вспоминал минувший вечер, пусть даже не особенно счастливый, ибо, как и во все предыдущие, я был одержим идеей тигра. Я пытался найти защиту у этого образа, столь могущественного недавно и столь ничтожного ныне. Синий тигр так же поблек в моих глазах, как черный лебедь римлянина, позднее обнаруженный в Австралии.

Перечитывая сделанные ранее записи, я обнаружил грубейшую ошибку. Сбитый с толку приемами литературы, не важно, хорошей или плохой, почему-то называемой психологической, я по необъяснимой причине увлекся воссозданием последовательности событий, связанных с моим открытием. Неизмеримо важнее было бы сосредоточиться на жуткой природе окатышей.

Если бы мне сообщили, что на луне водятся носороги, я согласился бы с этим утверждением, или отверг его, или же воздержался от суждения, однако я смог бы их себе представить. Напротив, если бы мне сказали, что на луне шесть или семь носорогов могут быть тремя, я, не раздумывая, сказал бы, что это невозможно. Тот, кто усвоил, что три плюс один будет четыре, не станет проверять это на монетах, игровых костях, шахматных фигурах или карандашах. Он это

знает, и все тут. Он не может представить себе иной цифры. Некоторые математики утверждают, что три плюс один — это тавтология четырех, те же четыре, только выраженные иным образом. Мне, Александру Крэйгу, единственному выпал жребий обнаружить предметы, противоречащие этому коренному закону человеческого разума.

Вначале меня охватил страх перед безумием; спустя какое-то время я и сам предпочел бы сойти с ума, ибо помрачение моего рассудка значит неизмеримо меньше, чем свидетельство беспорядка, вполне допускаемого мирозданием. Если три плюс один равняется и двум, и четырем, то разум безумен.

Со временем у меня вошло в привычку видеть во сне камни. То обстоятельство, что сон преследовал меня не каждую ночь, вселяло в меня слабую надежду, что крошечный ужас недалек. В сущности, сон был один и тот же. Уже самое начало возвещало траурный финал. Балюстрада и спирально спускавшиеся ступени, затем подвал или система подвалов, от которых отвесно вниз шли новые лестницы, и наконец — кузницы, слесарни, застенки, резервуары с водой. На самом дне в расщелине неизменно лежали камни, они же — Бегемот и Левиафан, животные, свидетельствующие в Священном Писании, что Господь иррационален. Содрогаясь, я просыпался, а камни лежали в ящике, готовые к превращениям.

Трудно сказать, чем я был для этих людей. В какой-то мере меня коснулась божественная природа окатышей, которые они окрестили синими тиграми, но вместе с тем я был повинен в надругательстве над вершиной. В любое время дня и ночи меня могли покарать боги. Не то чтобы я ждал нападения или осуждения моего поступка, однако мне было ясно, что раболепие этих людей таило опасность. Я не встречал больше ребенка, игравшего окатышами. В любую минуту я ожидал яда или удара ножом в спину. Однажды рано утром я сбежал из деревни. Я понимал, что все жители следят за мной и мой побег для них большое облегчение. Никто с того самого первого утра ни разу не пожелал взглянуть на камни.

Я вернулся в Лахор. В кармане у меня была горсть голышей.

Привычная книжная среда не принесла мне желанного покоя. Я сознавал, что на земле есть унылое селение, и джунгли, и косогор, усеянный колючками и ведущий к плато, и узкие расщелины на плато, и камни в расщелинах. Во мне эти несхожие вещи переплетались, и число их росло. Селение становилось камнями, джунгли — болотом, а болото — джунглями.

Я стал сторониться друзей. Я боялся, что не устою перед соблазном сделать их свидетелями нестерпимого чуда, опрокидывающего научные знания.

Я провел несколько опытов. На одном из окатышей я нацарапал крест. Смешав его с остальными, я уже после двух трансформаций не смог его отыскать, хотя шел лишь процесс приращения. Сходный опыт я провел с другим окатышем, на котором вырезал напильником дугу. Его также не удалось отыскать. Еще в одном окатыше я проделал шилом отверстие и повторил опыт. Результат был тот же. Неожиданно обнаружился обитавший в небытии окатыш с крестом. Что за таинственное пространство поглощало камни, а затем со временем возвращало их, повинуюсь непостижимым законам или внечеловеческой воле?

Неодолимая потребность в порядке, породившая математику, вынудила меня искать порядок в этих отклонениях от законов математики, в этих нелепых самозарождающихся камнях. Я надеялся понять закономерность их непредсказуемых комбинаций. Дни и ночи напролет я составлял статистику превращений. С той поры у меня хранятся тетради, испещренные бесконечными цифрами. Мой метод состоял в следующем. Сначала я вел счет глазами и записывал результат. Затем, взяв окатыши обеими руками, я вновь вываливал их двумя кучками на стол. Я пересчитывал их уже отдельно, снова записывал и повторял операцию. Поиск некоего порядка, скрытого плана этих чередований был тщетным. Максимальное полученное мной число было четыреста девятнадцать, минимальное — три. Как-то мне с надеждой, а может, с ужасом почудилось, что они вот-вот исчезнут. Мне удалось выяснить, что стоило отделить один окатыш от остальных, как он не мог уже порождать другие, равно как и исчезнуть. Стоит ли говорить, что сложение, вы-

читание, умножение и деление были невозможны. Камни противились математике и теории вероятности. Разделив сорок окатышей, я получал девять, в свою очередь, деление девяти давало триста. Я не знаю, сколько они весили. Я их не взвешивал, однако уверен, что вес их был неизменен и невелик. Цвет их всегда был синим.

Эти расчеты спасли меня от безумия. Манипулируя камнями, опровергающими математическую науку, я нередко вспоминал грека и его камни, которые явились первыми числами и которые одарили многочисленные языки самим словом «счет». Истоки математики, сказал я себе, в камнях, и в них же ее конечная цель. Имей Пифагор под рукой эти...

Спустя месяц я понял, что хаос безысходен. Строптивные окатыши были под рукой, и неистребимым было искушение дотронуться до них, вновь ощутить их трепет, швырнуть их, наблюдать, как они растут или уменьшаются в числе, переводить взгляд с парных на непарные. Какое-то время я самовнушением заставлял себя непрестанно думать о камнях, ибо знал, что забвение недолговечно, а возобновившись, мои мучения будут еще нестерпимее.

В ночь на десятое февраля я не сомкнул глаз. После долгих блужданий я на заре вступил в портики мечети Вазир-Хан. В едва забрезжившем свете были еще неразличимы цвета. Во дворе не было ни души. Сам не зная зачем, я погрузил руки в воду фонтана. Уже в помещении я подумал, что Господь и Аллах суть два имени Того, бытие Которого недоступно нашему разумению, и громко попросил его избавить меня от моего бремени. Затаив дыхание, я ждал ответа.

Шагов я не слышал, но вдруг рядом кто-то сказал:

— Я здесь.

Рядом с собой я увидел нищего. В полумраке я различил тюрбан, потухший взгляд, желтоватую кожу и седую бороду. Он был невысокого роста.

Он протянул мне руку и сказал очень тихо:

— Подайте, ради Создателя.

Порывшись в кармане, я сказал:

— У меня нет ни одной монеты.

— У тебя их много, — ответил он.

В правом моем кармане были камни. Я вытащил один из них и опустил в его пустую ладонь. Меня поразило, насколько бесшумно он упал.

— Ты должен дать все, — произнес он. — Не дав все, ты не даешь ничего.

Я понял его и сказал:

— Ты должен знать, что моя милостыня может быть ужасной.

Он ответил:

— Быть может, это та единственная милостыня, которой я стою. Я грешил.

Я переложил все камни в его вогнутую ладонь. Они падали, будто в морские глубины, без единого звука.

Он медленно произнес:

— Твоей милостыни я не знаю, но моя будет ужасна. Ты останешься с днями и ночами, со здравым смыслом, с обычаями и привычками, с окружающим миром.

Я не слышал шагов слепого нищего и не видел, как он растворился в рассвете.

Из книги

АТЛАС

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кажется, Стюарт Милль первым заговорил о множественности причин; для этой книги, которая, конечно же, не атлас, могу указать две, обе — неоспоримые. Одна носит имя Альберто Хирри. В щедром течении наших земных дней Мария Кодама и я посетили и открыли для себя немало земель, вызвавших к жизни немало фотографий и текстов. Их однажды увидел Энрике Пеццони — такова другая причина этой книги; Хирри заметил, что они могли бы сложиться в умело запутанное целое. Оно перед вами. Это не набор текстов, иллюстрированных фотоснимками, и не набор фотоснимков, растолкованных подписями. Каждая главка — особое единство, которое соткано из картин и слов. Открывать неизведанное — не привилегия Синдбада, Эрика Рыжего или Коперника. Любой из нас — первооткрыватель. Сначала он открывает горькое, соленое, вогнутое, гладкое, шершавое, семь цветов радуги и двадцать с чем-то букв алфавита; затем переходит к лицам, картам, животным и созвездиям, а заканчивает сомнением, верой и едва ли не абсолютной убежденностью в собственном невежестве.

Мы, Мария Кодама и я, с удивлением и радостью делили наши находки — звуки, языки, сумерки, города, сады, людей; все они были особыми и непохожими друг на друга. Следующие ниже страницы хотели бы остаться памятниками этого долгого и все еще не оконченного пути.

Х. Л. Б.

ГАЛЛЬСКАЯ БОГИНЯ

Когда Рим дошел до здешних окраинных земель и до пресных вод их необозримого и, вероятно, бескрайнего моря, когда сюда дошли два звонких и высоких имени, Цезарь и Рим, эта богиня из обожженного дерева уже существовала. Пришельцы дали ей имя Дианы или Минервы с безразличием империй, которые тем и отличаются от миссионеров, что признают побежденных богов и вводят их в собственный пантеон. Прежде она занимала свое место в неукоснительной иерархии, была дочерью одного из богов, матерью другого и соединялась для людей с дарами весны или ужасом битвы. Теперь она скрыта ото всех и выставлена в странном месте, которое называют музеем.

Она дошла до нас без единого мифа, без единого собственного слова — беззвучный голос ушедших поколений. Изувеченное и священное изваяние, которое может безответственно разукрашивать наш праздный ум. Мы никогда не услышим молитв ее почитателей, никогда не узнаем их обрядов.

ТОТЕМ

Александриец Плотин, по рассказу Порфирия, не хотел, чтобы с него писали портрет, ссылаясь на то, что он — попросту тень своего платоновского первообраза, а портрет будет и вовсе лишь тенью тени. Через несколько веков Паскаль снова прибегнет к этому доводу, обратив его против живописи как таковой. Изображение, которое видит читатель, отпечатано с фотографии канадского идола, иными словами, это тень тени от тени. Подлинник — назовем его так — высится за последним из трех корпусов буэнос-айресского вокзала Ретиро, огромный и одинокий. Я говорю об официальном даре правительства Канады. Эту страну не смутило, что ее будет представлять подобное варварское изваяние. Латиноамериканцы не рискнули воспользоваться случаем и в ответ тоже подарить Канаде изображение безымянного, грубо сработанного божества.

Все это знаешь. И тем не менее ум тешится мыслью о тоте, сосланном на чужбину, — тотеме, втайне ждущем мифов, племен, заклятий, а может быть, и жертвоприношений. Как его чтить, неизвестно; тем больше причин мечтать об этом в смутных сумерках.

ИРЛАНДИЯ

Древние и великодушные тени не хотят, чтобы я посмотрел на Ирландию или чтобы я смотрел на нее иначе как с благодарностью вглядываясь в историческое прошлое. Эти тени носят имя Эриугены, для которого вся наша история — лишь долгий сон Бога и в конце концов снова приведет к Богу (подобное учение провозглашалось потом в драме «Back to Methuselah»¹ и знаменитом стихотворении Гюго «Ce que dit la Bouche d’Ombre»²); носят имя Джорджа Беркли, считавшего, будто все мы в неисчислимых подробностях снимся Богу и, если он, как Красный Король, однажды очнется ото сна, небо и земля немедленно исчезнут; носят имя Оскара Уайльда, от чьей судьбы, не обойденной несчастьем и бесчестьем, остались страницы, безоблачные и чистые, как заря и вода. Я думаю о Веллингтоне, который наутро после битвы при Ватерлоо почувствовал, что победа так же чудовищна, как поражение. Думаю о двух великих барочных поэтах, Йейтсе и Джойсе, которые прибегали к прозе и стихам ради единой цели — красоты. Думаю о Джордже Муре, который создал в «Ave Atque Vale»³ новый литературный жанр, что само по себе пустяк, но создал его с удовольствием, а это главное. Эти необозримые тени стоят между множеством вещей, которые я помню, и тем немногим, что удалось посмотреть за два-три дня, как всегда, переполненных случайностями.

Самое живое среди этого немногого — Круглая Башня, которой я не видел, но которую нащупывали мои руки

¹ «Назад к Мафусаилу» (англ.).

² «Сказанное Устами Тьмы» (франц.).

³ «Славься и здравствуй» (лат.).

и в которой наши благодетели-монахи сохранили для нас от черных времен греческий и латынь, иначе говоря — культуру. Для меня Ирландия — это земля добрейших людей, истинных христиан, одержимых непонятной страстью во всем быть ирландцами.

Я прошел по улицам, которыми бродили и по-прежнему бродят обитатели «Улисса».

ВЕНЕЦИЯ

Утесы, реки, берущие начало в горах, смешение этих рек с водами Адриатического моря, случайность и неотвратимость истории и геологии, прибой, песок, постепенное образование островов, близость Греции, рыбы, переселения народов, войны в Арморике и Балтике, камышовые хижины, сучья, сцепившиеся с глиной, неисследимая паутина каналов, дикие волки, набеги далматинских пиратов, нежная терракота, крыши, мрамор, всадники и копья Аттилы, рыбаки, неуязвимые в своей нищете, лангобарды, судьба перекрестка, где соединяются Запад и Восток, дни и ночи бесчисленных и забытых теперь поколений — вот какие мастера ее создавали. А еще вспоминаешь ежегодные золотые кольца, которые герцог должен был бросать, стоя на носу буцентавра, и которые в полутьме или мраке вод обернулись неисчислимыми звеньями идеальной цепи, протянувшейся сквозь время. Но несправедливо было бы забыть и холостяка, искавшего бумаги Асперна, и Дандоло, и Карпаччо, и Петрарку, и Шейлока, и Байрона, и Беппо, и Рескина, и Марсея Пруста. В памяти высятся бронзовые полководцы, издавна незримо смотревшие на город с обоих краев неохватной равнины.

Гиббон пишет, что независимость древней республики Венеция была завоевана мечом, а утверждена пером. Паскаль называет реки ходячими дорогами; венецианские каналы — это дороги, которыми ходят черные гондолы, похожие на черные скрипки и напоминающие о музыке еще и тем, что на них не стихают песни.

Как-то я в одном из предисловий написал о Венеции из хрустали и сумерек. Сумерки и Венеция для меня — два почти однозначных слова, только мои сумерки теряют свет и грозят ночью, а венецианские нежны, вечны и не знают ни вчера, ни завтра.

ХРАМ ПОСЕЙДОНА

Подозреваю, что никакого бога морей, как и бога земли, не было: оба этих понятия чужды первобытному уму. Было море и был Посейдон, кроме того бывший морем. Потом пришли теогонии и Гомер, который, по словам Сэмюэла Батлера, переплел комические интерлюдии «Илиады» с позднейшими сказками. Время и войны разрушили изваяние бога, но не тронули его второго воплощения, моря.

Моя сестра любит говорить, что дети старше христианства. Несмотря на иконы и купола, то же самое можно сказать про греков. Впрочем, их религия была не столько учением, сколько собранием снов, божества которых подчинялись керам. Храм датируется пятым веком до новой эры — то есть именно тем временем, когда философы усомнились в сущем.

Таинственно все вокруг, но в некоторых вещах эта тайна заметнее. В море, желтом цвете, глазах стариков, музыке.

НАЧАЛО

Разговаривают двое греков: допустим, Сократ и Парменид.

Условимся не разузнавать их имена; так история будет выглядеть таинственней и безмятежней.

Разговор идет об отвлеченных вещах. Иногда они прибегают к мифам, в которые оба не верят.

Приводимые доводы могут быть ложными и не достигают цели.

Они не спорят. Не хотят ни убедить, ни оказаться убежденными, не думают о победе или поражении.

Они согласны в одном: беседа — возможный путь к истине.

Свободные от мифов и метафор, они мыслят, пытаются мыслить.

Нам никогда не узнать их имена.

Этот разговор двух незнакомцев на земле Греции — величайшее событие в истории мира.

Молитва и магия остались в прошлом.

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Одержимость полетом присуща человеку изначально — сошлюсь на сны, сошлюсь на ангелов. Меня дар левитации пока не посещал, и нет ни малейших оснований думать, что за оставшийся срок посетит. Ясно одно: ничего подобного полету в авиалайнере не узнаешь. То, что тебя заперли в аккуратной постройке из металла и стекла, не похоже ни на полет птицы, ни на полет ангела. Ужасающие оракулы бортпроводников с их скрупулезным перечнем кислородных масок, спасательных поясов, боковых дверей и немислимых воздушных пируэтов не несут и не могут нести в себе никакой загадки. Материки и моря застланы и скрыты облаками. Остается скучать. Другое дело — воздушный шар: он дарит ощущение полета, дружелюбное касание ветра, соседство птиц. Но любые слова предполагают общий опыт. Если кто-то никогда не видел красного цвета, я понапрасну буду сравнивать его с кровавой луной Иоанна Богослова или с гневом, застилающим глаза; если кому-то неизвестно редкое счастье полета на воздушном шаре, ему трудно что-нибудь объяснить. Я сказал «счастье» — думаю, это самое верное слово. Месяц назад, в Калифорнии, мы с Марией Кодамой оказались в скромной конторе, затерянной в долине Напа. Было четыре-пять часов утра; мы догадывались об этом по первым проблескам зари. Грузовик с корзиной на буксире довез нас до еще более глухих мест. Мы высадились в точке, ничем не отличавшейся от любой другой. Служащие отцепили прямоугольную корзину из досок и прутьев, а потом с трудом извлекли из тюка гигантский шар, расстелили его на земле, начали надувать через специальные отверстия в нейлоновой ткани, и шар, по форме напоминая, как на рисунках энциклопедий, перевернутую грушу, стал постепенно

расти, пока не достиг высоты и ширины многоэтажного дома. Ни боковой дверцы, ни лестницы не было, нужно было перелезть через борт. Нас оказалось пятеро пассажиров и пилот, который время от времени поддувал газ в полости гигантского шара. Мы стояли, держась за борт корзины. Рассветало; под ногами с высоты ангельского или птичьего полета открывались виноградники и поля.

Пространству не было предела; беззаботный ветер, несший нас как неторопливая река, овеивал нам лоб, шею, щеки. Все мы, по-моему, почти физически чувствовали счастье. Я пишу «почти», поскольку ни счастье, ни горе не бывают только физическими, к ним всегда примешивается прошлое, окружающее, испуг, другие чувства и мысли. Наш полуторачасовой полет, кроме всего прочего, был еще и путешествием по утраченному раю девятнадцатого столетия. Лететь на шаре, придуманном братьями Монгольфье, означало вернуться к страницам По, Жюль Верна, Уэллса. Я вспомнил, что у этого последнего селениты, жившие в недрах Луны, перелетали с одного яруса на другой с помощью вот таких же воздушных шаров и не испытывали ни малейшего головокружения.

АФИНЫ

В первое утро моего первого дня в Афинах мне привиделся такой сон. На длинной полке передо мной выстроились книги. Это были тома Британской энциклопедии, моего утраченного рая — одного из многих. Я вытащил первый подвернувшийся под руку. Отыскал статью «Колридж», в ней был конец, но отсутствовало начало. Отыскал статью «Крит» — то же самое. Тогда я отыскал слово «chess»¹. Тут сон переменялся. На сцене театра, заполненного внимательными зрителями, я разыгрывал партию в шахматы с моим отцом, в то же время бывшим тем самым Псевдо-Артаксерксом, которому отрезали уши (это обнаружила, пока он спал, одна из его жен, тихо — чтобы не разбудить — погладившая его по голове) и которого потом убили. Я переставил фигуру, а противник своих фигур даже не коснулся, но магическим способом стер с доски одну из моих. Так повторилось несколько раз.

Тут я проснулся и сказал себе: *«Я в Греции, краю, где все началось, если только мир, в отличие от статей моей сновиденной энциклопедии, имеет начало»*.

¹ Шахматы (англ.).

ЖЕНЕВА

Из всех городов планеты, из стольких разных и дорогих человеку родных мест, которые он ищет и находит среди своих странствий, Женева, по-моему, больше других создана для счастья. После 1914 года я обязан ей тем, что открыл для себя французский, латынь, немецкий, экспрессионизм, Шопенгауэра, учение Будды, даосизм, Конрада, Лафкадио Хирна и ностальгию по Буэнос-Айресу. А еще любовь, дружбу, стыд и желание покончить с собой. Память приукрашивает все, даже невзгоды. Я перечислил личные причины, приведу одну общую. В отличие от других городов, Женева не испорчена сомнением. Париж никогда не забывает о том, что он — Париж; даже скромный Лондон знает, что он — Лондон, и только Женева как будто не сознает того, что она — Женева. Великие тени Кальвина, Руссо, Амьеля и Фердинанда Ходлера никуда не исчезли, но никто здесь не напомнит о них путнику. Женева, отчасти похожая в этом на Японию, сумела стать новой, не утратив себя прежней. Крутые улочки Старого города остались теми же, теми же остались купола и фонтаны, но рядом с ними существует другой, огромный город с книжными магазинами, с лавками западных и восточных товаров.

Я знаю, что рано или поздно обязательно вернусь в Женеву. Может быть, после смерти.

ПАМЯТНИК

Принято думать, что скульптор рыщет в поисках темы, но такая мысленная охота — занятие не столько для художника, сколько для фокусника. Правдоподобней предположить, что художник — это человек, который неожиданно прозревает. Ведь для того, чтобы не видеть, не обязательно быть слепым или закрывать глаза: многое видишь по памяти, так же как думаешь по памяти, повторяя привычные образы или привычные мысли. Я уверен, что художник, имени которого я не запомнил, вдруг увидел то, чего с начала мира не видел ни один живущий. Он увидел пуговицу. Увидел это повседневное приспособление, доставляющее столько трудов пальцам, и понял: чтобы передать откровение, явившееся ему в образе этой простейшей мелочи, нужно увеличить ее до невероятных размеров и создать огромный светлый круг, который мы и видим теперь на этой странице и в центре одной из площадей Филадельфии.

ЭПИДАВР

Как тому, кто смотрит на битву издали, как тому, кто втягивает соленый воздух, и слышит работу волн, и предчувствует море, как тому, кто открывает для себя страну или книгу, мне позавчерашним вечером посчастливилось оказаться на представлении «Прикованного Прометея» в высоком театре Эпидавра. Я, совсем как Шекспир, не знаю греческого, за исключением множества слов, обозначающих инструменты и науки, неведомые грекам. Вначале я попробовал вспомнить испанские переводы трагедии, которые читал больше полувека назад. Потом подумал о Гюго, о Шелли, о какой-то гравюре прикованного к скале титана. Потом попытался разобрать то одно слово, то другое. Подумал о мифе, который стал частью общей памяти человечества. И тут, неожиданно и вопреки всему, меня захватила двойная музыка оркестра и языка, чьего смысла я не понимал, но чью древнюю страсть почувствовал.

Независимо от стихов (актеры их, кажется, даже не скандировали), независимо от прославленного сюжета, та глубокая река той глубокой ночью стала моей.

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТИГР

Всю жизнь меня сопровождали тигры. Чтение так переплелось у меня с другими повседневными привычками, что я, сказать правду, уже не знаю, был ли моим первым тигром тигр с книжной иллюстрации или тот, давно умерший, за чьей упрямой ходьбой взад и вперед я замороженно следил с другой стороны стальных прутьев. Мой отец любил энциклопедии; за что их ценил я, так это за изображенных там тигров. Вспоминаю теперь тех, что были в томах Монтанера и Симона (белого сибирского тигра и тигра из Бенгалии), и еще одного, тщательно выписанного пером, растянувшегося в прыжке и чем-то напоминающего реку. К этим тиграм, стоящим перед глазами, присоединяются иные, созданные из слов: знаменитый костер Блейка («Tyger, tyger, burning bright») и формула Честертона: «Воплощение ужасающего изящества». Ребенком, прочитав «Jungle Books», я навсегда расстроился из-за того, что Шер Хан был по сюжету злодеем, а не другом героя. Пытаюсь и не могу вспомнить волнистого тигра, вычерченного кисточкой какого-то китайского художника и никогда не видевшего другого тигра, но, без сомнения, видевшего его вечный прообраз. Вероятно, я обнаружил этого платоновского тигра в книге Аниты Берри «Art for Children». Я не раз спрашивал себя потом, почему именно тигры, а не леопарды, не ягуары? Единственное, что могу сказать: я не люблю пятен, а полосы люблю. И напиши я вместо тигра «леопард», читатель безотчетно почувствовал бы фальшь. Теперь к этим нарисованным и описанным тиграм прибавился другой, которого мне открыл наш друг Куттини в замечательном зоологическом саду, носящем название «Мир животных» и не имеющем клеток.

Этот последний тигр — из плоти и крови. С явной и пугающей радостью приблизился я к этому тигру, язык которого лизнул меня в лицо, лапа которого равнодушно или ласково легла мне на голову и который, в отличие от своих предшественников, был пахнущим и тяжелым. Не могу сказать, что этот ужаснувший меня тигр более реален, чем те другие, ведь ствол дуба ничуть не более реален, чем картины сна, но хотел бы поблагодарить нашего друга за этого тигра из плоти и крови, которого сегодня утром ощущал всеми чувствами и образ которого вспоминается мне теперь, как вспоминаются тигры из прежних книг.

ГРЕЙВС В ДЕЕ

Пока я диктую эти строки, пока ты, может быть, читаешь эти строки, Роберт Грейвс, уже вне времени и обозначений времени, умирает на острове Мальорка. Умирает, но не переживает агонию, поскольку агония — это борьба. А нет ничего дальше от борьбы и ничего дальше от восторга, чем этот неподвижный старик, сидевший в окружении жены, детей, внуков, младший из которых у него на коленях, и посреди множества паломников из самых разных стран мира. (По-моему, там был даже перс.) Рослое тело продолжало исполнять свой долг, ничего не видя, не слыша и не произнося ни слова; от него осталась одна душа. Я даже думал, что он не видит нас, но в ответ на слова прощания он пожал мне руку и поцеловал руку Марии Кодаме. Жена из калитки крикнула: «You must come back! This is a Heaven!»¹ Это было в 1981 году. На следующий год мы вернулись. Жена кормила его с ложки, все были очень печальны и со дня на день ждали конца. Я понимаю, что приведенные здесь даты составляли для него один бесконечный миг.

«Белую богиню» читатели не забудут и так, напомним здесь сюжет одного из стихотворений Грейвса.

Александр не умирает тридцати двух лет в Вавилоне. После битвы он теряет дорогу и много ночей пробирается через лес. В конце концов видит костры военного лагеря. Мужчины с раскосыми глазами и желтой кожей подбирают его, выхаживают и принимают потом в свои ряды. Гордясь воинской судьбой, он сражается в долгих походах по пустыням неведомых ему краев. Однажды с воинами расплачиваются. Он узнает профиль на серебряной монете и говорит про себя: «Эту монету я повелел отчеканить в честь победы под Арбелой, когда был Александром Македонским».

Эту легенду вполне могли сложить в древности.

¹ Ты должен вернуться! Это рай! (англ.)

ПЕРЕКРЕСТКИ

Здесь будет изображение одного из углов на улицах Буэнос-Айреса. Все равно какого. Может быть, того, на пересечении улиц Чаркас и Майпу, где мой дом; я воображаю его, населенный моими призраками, и никак не могу найти ни выхода, ни входа, а только снова и снова пересекаю перекресток. А может быть, это будет угол напротив, там, где теперь высокое здание с двускатной крышей, а до того был длинный особняк с цветочными горшками на балконе, а еще раньше — дом, о котором я ничего не знаю, а во времена Росаса — усадьба с выложенной кирпичом дорожкой и грунтовой улицей. Может быть, это будет угол того сада, в котором ты нашел рай. Может быть, угол кондитерской на площади Онсе, где Маседонио Фернандес, так боявшийся смерти, уверял нас, будто умереть — самая заурядная вещь из тех, что приключаются с каждым. Может быть, угол той библиотеки в квартале Альмагро Сур, где я открыл для себя Леона Блуа. Может быть, один из тех углов без забегаловки внизу, которых остается все меньше. Может быть, это будет угол того дома, куда мы с Марией Кодамой внесли плетеную корзину с маленьким абиссинским котом, носившим имя Один и только что пересекшим океан. Может быть, угол с деревом на нем, которое так и никогда и не узнает, что оно — дерево, но осеняет нас тенью. Может быть, один из бесчисленных углов, которые в последний раз видел Леандро Алем перед дверцей тесной кареты и за секунду до выстрела, оборвавшего его жизнь. Может быть, угол той книжной лавки, где я, с разрывом во много лет, открыл для себя две истории из философии Китая. Может быть, угол на пересечении улиц Эсмеральда и Лавалье, где умер Эстанислао дель Кампо. Это может быть любой из углов, на которые щедро неохватная шахматная доска. Это могут быть они все и тем самым их невидимый прообраз.

ГОСТИНИЦА В РЕЙКЬЯВИКЕ

В жизни бывают мелочи, которые переживаешь как нечаянный подарок.

Я только что поселился в гостинице. И, окруженный, как обычно, светлым облаком, которое только и видят глаза слепого, обследовал свой незнакомый номер. Погладил чуть неровные стены и, огибая мебель, нащупал большую круглую колонну. Она была такой широкой, что я с трудом обхватил ее руками и еле сумел соединить пальцы. Почему-то я вдруг понял, что она белая. Твердая и мощная, она поднималась к высокому потолку.

Несколько секунд я ловил в себе странное чувство, которое дарят вещи, напоминающие изначальный образ. И вдруг понял, что испытываю ту первозданную радость, которую ощутил, когда мне открылись чистые формы Евклидовой геометрии: цилиндр, куб, шар, пирамида.

ЛАБИРИНТ

Это критский лабиринт. Критский лабиринт, в центре которого Минотавр. Критский лабиринт, в центре которого Минотавр — Данте представлял его быком с головой человека — и по чьим каменным дебрям плутало уже столько поколений. Критский лабиринт, в центре которого Минотавр — Данте представлял его быком с головой человека — и по чьим каменным дебрям плутало уже столько поколений, как плутали по нему и мы с Марией Кодамой. Критский лабиринт, в центре которого Минотавр — Данте представлял его быком с головой человека — и по чьим каменным дебрям плутало уже столько поколений, как плутали по нему и мы с Марией Кодамой сегодня утром и как продолжаем плутать по дебрям другого лабиринта, времени.

ARS MAGNA¹

Я стою на одном из перекрестков улицы Раймунда Луллия на острове Мальорка.

Эмерсон считал, что язык есть окаменевшая поэзия; чтобы оценить его мысль, достаточно вспомнить, что все отвлеченные слова — на самом деле метафоры, включая слово «метафора», по-гречески означавшее «перенос». Для тринадцатого века, исповедовавшего культ Писания, иначе говоря — совокупности слов, одобренных и отобранных Святым Духом, подобная мысль невозможна. Разносторонне одаренный человек, Раймунд Луллий наделил Бога несколькими атрибутами (благостью, величием, вечностью, всемогуществом, премудростью, волей, праведностью, славой) и изобрел своеобразную логическую машину, состоящую из деревянных концентрических дисков, которые покрыты символами божественных атрибутов и при вращении их исследователем порождают трудноопределимое, почти бесчисленное количество понятий богословского порядка. Точно так же он поступил со способностями души и свойствами предметного мира. Как и следовало предположить, из всей этой затеи ничего не вышло. Через несколько веков Джонатан Свифт высмеял ее в третьей части «Путешествий Гулливера»; Лейбниц ее оценил, но от создания машины, разумеется, воздержался.

Напророченная Фрэнсисом Бэконом экспериментальная наука привела сегодня к возникновению кибернетики, позволившей человеку ступить на Луну и создавшей компьютеры, которые, если будет позволено так выразиться, представляют собой позднее потомство горделивых кругов Луллия.

Словарь рифм, заметил Маутнер, это еще одна разновидность логической машины.

¹ Великое искусство (*лат.*).

МАДРИД, ИЮЛЬ 1982 ГОДА

Пространство можно разделить на вары, ярды или километры; время нашей жизни таким меркам не подчиняется. Я только что получил ожог первой степени, и врач сказал, что мне придется безвыходно провести в этом безличном номере мадридской гостиницы десять-двенадцать дней. Но я ведь знаю, что подобная сумма невозможна; знаю, что каждый день состоит из мгновений, которые и есть единственная реальность и каждое из которых несет свой особенный вкус меланхолии, счастья, подъема, скуки или страсти. В одной из строчек своих «Пророческих книг» Уильям Блейк говорит, что в каждой минуте заключено шестьдесят с лишним золотых дворцов и шестьдесят с лишним железных ворот; скорее всего, моя цитата рискованна и неточна, как ее источник. Ровно так же и Джойс в своем «Улиссе» вкладывает долгие дневные маршруты «Одиссеи» в один совершенно обычный дублинский день.

Обожженная нога отставлена в сторону и дает о себе знать: это похоже на боль, но это не боль. Я уже чувствую тоску по той минуте, когда затоскую по этой минуте. От неверного времени пребывания здесь я удержу в памяти единственный образ. И знаю, что сам удивлюсь этому воспоминанию, вернувшись в Буэнос-Айрес. Думаю, ночь будет ужасной.

ПУСТЫНЯ

В трех-четырех сотнях метров от пирамиды я наклонился, набрал горсть песка, через несколько шагов молча высыпал его на землю и чуть слышно произнес: «Я изменил Сахару». Случившееся было ничтожно, но бесхитростные слова говорили правду, и я подумал: для того чтобы их произнести, понадобилась вся жизнь. Память о той минуте — среди самых важных вещей, которые я вывез из Египта.

ШТАУББАХ

Далеко не так прославленный, как Ниагара, он куда чудовищней и куда глубже врезан в мою память, этот водопад Штауббах на Лаутербруннене, Ручей Водяной Пыли из Чистого Истока. Он открылся мне в 1916 году; я еще издали услышал непомерный гул крутых и могучих вод, отвесно падавших в каменный колодец, прорытый и углублявшийся с начала времен. Мы провели там целую ночь; в конце концов постоянный шум стал для нас, как и для жителей тамошней деревни, беззвучным.

В многоликой Швейцарии столько всего, что есть место и страшному.

КЛАДБИЩЕ РЕКОЛЕТА

Там нет Исидоро Суареса, командовавшего в сражении под Хунином атакой гусар, которая была мелкой стычкой и преобразила историю Америки.

Нет Феликса Олаваррии, делившего с ним походы, тайну, мили, снега вершин, риск, дружбу и изгнание. Там всего лишь прах его праха.

Там нет моего деда, пошедшего на смерть после того, как Митре сложил оружие под Ла Верде.

Нет моего отца, научившего меня не верить в невыносимое бессмертие.

Нет матери, которая мне столько простила.

Там, под эпитафиями и крестами, нет почти ничего.

Не будет там и меня. А будут волосы и ногти, которые так и не узнают, что все остальное мертво, и не перестанут расти, пока не превратятся в прах.

Не будет меня, обреченного стать частью забвенья — бес-телесной субстанции, из которой создан мир.

О СОБСТВЕННОРУЧНОМ СПАСЕНИИ

Как-то осенью, в одну из многих осеней времени, синтоистские боги уже не в первый раз собрались в Идзумо. Говорят, их было восемь миллионов, но я — человек стеснительный и среди подобного множества чувствовал бы себя неуютно. Кроме того, мне с такими невообразимыми величинами просто не справиться. Скажем, божеств было восемь, тем более что восемь на здешних островах — счастливое число.

Боги были печальны, но не показывали этого, ведь лица богов — канси, они непроницаемы. Собравшиеся расселись кружком на вершине зеленого холма. И посмотрели со своих небес, или камней, или снежных облаков на людской род. Один из богов сказал:

«Много дней или веков назад мы собрались здесь, чтобы создать Японию и мир. Воды, рыбы, семь цветов радуги, растения и животные вышли неплохо. Чтобы не отягощать людей всем этим многообразием, мы дали им потомство, подарили многоликий день и единую ночь. Еще мы наделили их способностью вносить перемены. Пчела повторяет ячейки того же улья; человек изобрел орудия: плуг, ключ, калейдоскоп. Выдумал меч и военное искусство. В конце концов он создал невидимое оружие, которое может положить конец миру. Чтобы этого безумия не случилось, давайте уничтожим людей».

Все задумались. Другой бог не спеша сказал:

«Это правда. Они выдумали это чудовищное оружие, но создали и совсем другое — вот эту вещь величиной в семнадцать слогов».

И произнес их. Я не знаю того языка и не смог понять сказанного.

Старший бог подытожил:

«Пусть остаются».

Так с помощью хайку был спасен человеческий род.

Идзумо, 27 апреля 1984 г.

Из книги

ПОРУКА

ПОСВЯЩЕНИЕ

Поэзия — младшая сестра магии. Орудие этой магии — язык — вещь довольно загадочная. О его происхождении мы ничего не знаем. А знаем только, что он делится на языки, каждый из которых располагает неисчерпаемым, текучим множеством слов и бесконечным набором их сочетаний. Из подобных бесчисленных единиц создана и эта книга. (В стихах звучание и окружение слова могут оказаться куда важнее его смысла.)

Эта книга — твоя, Мария Кодама. Нужно ли говорить, что в мое посвящение входят сумерки, олени в садах Нары, одинокая ночь и многоликие зори, общие острова, моря, пустыни и парки, то, что уносит забвение и преображает память, пронзительный крик муэдзина, смерть в Хоуквуде, книги и гравюры?

Отдать можно только то, что уже отдано. Отдать можно только то, что принадлежит другому. В этой книге собрано то, что всегда было твоим. Какая загадочная вещь посвящение, игра символов!

Х. Л. Б.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вряд ли кто удивится, не найдя в книге человека, перевалившего за восемьдесят, первой среди стихий — огня. Царица на пороге смерти уподобляет себя воздуху и огню, я чаще всего чувствую себя прахом, бессильным прахом. И все-таки продолжаю писать. А что мне еще остается кроме этой — в конце концов, счастливой — судьбы? Радость пишущего и достоинства (или огрехи) написанного — вещи разные. Любой из человеческих трудов, по мнению Карлейля, не многого стоит — кроме самого труда.

Никакой эстетической программы у меня нет. Произведение само диктует автору нужную форму: стих или прозу, манеру барочную или простую. Теория может оказаться замечательным подспорьем (вспомним Уитмена), а может породить чудовищ или попросту музейные экспонаты. Опять-таки вспомним внутренний монолог у Джойса или, в общем и целом, непереносимого «Полифема».

С годами убеждаешься, что красота (и счастье) вовсе не диковины. Дня не проходит, чтобы мы — пусть на миг — не побывали в раю. Любому даже самому серому поэту рано или поздно удастся лучшая в мировой литературе строка (равно как и множество худших). Красота — не привилегия великих одиночек. Вряд ли среди сорока стихотворений этой книги не таится хотя бы единственная строка, достойная пройти с тобой до последней минуты.

В книге много снов. Они — не прихоть и не выдумка, а невольные дары ночей или, точнее, зорь. Если я что и прибавил, то разве одну-другую деталь, как этого требует, начиная с Дефо, наше время.

Диктую эти слова на одной из моих родин — в Женеве.

Х. Л. Б.

9 января 1985 г.

ХРИСТОС НА КРЕСТЕ

Он пригвожден к кресту. Свисают ноги.
Все три распятия — равной высоты.
Христос не в центре. Он — всего лишь третий,
Он с черной бородой и не похож
На поздние свои изображения.
Суровый иудей. Я не встречал
Его ни разу, но искал годами
И, сколько б ни осталось, буду впредь.
Он мучится, не проронив ни звука.
Изранен лоб колючками венца.
Ему не слышно, как над ним смеются:
Агония не внове для толпы,
Не все ль равно — его или другая?
Он пригвожден к кресту. Мелькают мысли
О царствии, обещанном ему,
О женщине, потерянной навеки.
Ни гностиков, ни богословов он
Не знает, ни Единого в трех лицах,
Ни Оккамова лезвия, ни храмов,
Ни литургии, ни порфир, ни митр,
Ни Гутрума, крещенного мечом,
Ни палача и гибнущих за веру,
Ни крестоносцев и ни Жанны Д'Арк,
Ни пап, благословляющих оружие.
Он знает, что не бог, а человек
И что умрет. Но мучает не это,
А сталь гвоздей — вот что больней всего.
Ведь он не грек, не римлянин. Он стонет.
Нам остаются дивный блеск метафор
И таинство прощенья, без следа
Стирающего прошлое. (Так пишет

Один ирландец, брошенный в застенки.)
Душа, томясь, торопит свой конец.
Смеркается. Его уже не стало.
Лишь муха проползает по плечу...
И что мне, кажется, в его мученьях,
Когда я сам здесь мучаюсь сейчас?

Киото, 1984

**ФРАГМЕНТЫ ГЛИНЯНОЙ ТАБЛИЧКИ,
ОБНАРУЖЕННОЙ И ПРОЧИТАННОЙ
ЭДМУНДОМ БИШОПОМ**

... Час без единой тени. С вершины дня Бог Мелькарт правит морем Карфагена. Ганнибал — меч Мелькарта.

Три фанеги золотых колец — украшения шести тысяч римлян, павших в Апулии, — стоят у причала.

Когда гроздья нальются осенью, я продиктую последний стих.

Да будет славен Баал, Бог многих небес, да славится Тиннит, лик Баала, они принесли Карфагену победу и даровали мне наследие предков — неисчерпаемый пунический язык, который станет языком всего мира и чьи буквы оберегают от зла.

Я не погиб в бою, как мои сыновья, возглавлявшие бой; мне не дано предать их земле, но долгими ночами я ковал песнь о двух войнах и самозабвении битвы.

Море теперь наше. Что понимают в море эти римляне?

Мрамор Рима дрожит; он слышал поступь наших боевых слонов.

После нарушенных договоров и лживых слов мы перешли на язык меча.

Меч теперь твой, римлянин: он — у тебя в груди.

Я пел пурпур Тира, матери городов. Пел труды открывших азбуку и бороздивших моря. Пел костер прославленной царицы. Пел весла, и мачты, и многотрудные бури...

Берн, 1984

РЕЛИКВИИ

Ночь. Южный город. Алгебра светил,
неведомых скитальцу Одиссею,
и человек в попытках вновь собрать
реликвии того богоявления,
что было послано ему давным-
давно за нумерованною дверью
отеля над британскою рекой,
бегущей век за веком, как другая,
незримая река времен. Тела
ни радостей, ни тягостей не помнят.
А он все ждет и грезит, в полусне
перебирая нищие детали:
девичье имя, светлое пятно
волос, фигуру без лица, потемки
безвестного заката, мелкий дождик,
и воск цветов на мраморе стола,
и стены бледно-розового тона.

СЛОВНО РЕКИ

Мы — время. Мы — живое воплощенье
той Гераклитовой старинной фразы.
Мы — капли, а не твердые алмазы.
Мы — влага не затона, а теченья.
Мы — воды с мимолетными чертами
эфесца, к ним припавшего. Движенье
колышет и меняет отраженья
на глади, переменчивой, как пламя.
Мы — реки, что дорогою заветной
бегут к морям. Потемки беспросветны.
Минует все. Ничто не повторится.
Своей монеты память не чеканит.
Но что-то потайное в нас не канет,
и что-то плачущее не смирится.

ЗАКАТ

Грядущие и прошлые закаты
Сливаются, до странности едины.
Они — стекло, чьи сирые глубины
Не знают ни забвения, ни даты.
Они лишь зеркало, где спит безмерный
Закат, что небеса хранят веками.
И в этом небе ждут тебя с клинками,
Зарей, весами, рыбой и цистерной —
Прообразом всего. Так мирозданье
Описывал Плотин в «Девятерице».
Быть может, в нас, осколках, отразится
Хотя бы искра Божьего блистанья.
В окне все тот же вечер скоротечный —
Развеявшийся, дрящущийся и вечный.

ОБЛАКА

I

В малейшем облаке — весь мир со всею
бездонностью. Оно — стекло и камень
соборов, воздвигавшихся веками
и стертых ими, или «Одиссея»,
как море зыблущаяся: сегодня
вчерашней не узнаешь. В зазеркалье
глаза не то увидят, что искали,
и день твой лабиринта безысходней.
Недолговечны мы, напоминая
тех облаков изменчивый и смутный
закатный очерк. Роза поминутно
перед тобой уже опять иная.
Ты — облако, и море, и забвенье,
и все, что за чертой исчезновенья.

II

То розовеет кромка вырезная,
то грозный кряж, чернея шишаками,
полнеба закрывает. Облаками
они зовутся, облики меняя.
Шекспир одно из них сравнил с драконом.
И, в слове отчеканившись когда-то,
оно горит огнем того заката,
плывая сегодня этим небосклоном.
Что создает и движет их? Случайный
каприз природы? Или Бог, быть может,
тасует эти призраки и множит,
вплетая нитью в свой сюжет бескрайный?
Или бессмысленны и тени эти,
И ты, на них смотрящий на рассвете?

АБРАМОВИЦ

Нынче вечером на холме Святого Петра, почти у самой вершины, бесстрашная и победная музыка эллинской речи поведала нам, что смерть куда невероятней жизни, а стало быть, душа живет и после распада тела. Говоря иначе, Мария Кодама, Изабель Моне и я сидели сейчас не втроем, как казалось с виду. Нас было четверо, и ты, Морис, тоже был вместе с нами. Бокалы красного вина поднялись в твою честь. Нас не томил ни твой голос, ни касанье руки, ни память о тебе. Ты же был здесь, не произнося ни слова и, думаю, улыбаясь нашему страху и удивлению перед таким очевидным фактом, что никто на свете не умирает. Ты был здесь, рядом, а вместе с тобою — сонмы тех, кто почил с отцами своими, как сказано в твоём Писании. Вместе с тобой были сонмы теней, пивших из ямы перед Улиссом, и сам Улисс, и все, кто ушел до или после него либо грезил об ушедших. Здесь были все — и мои предки, и Гераклит, и Йорик. Как же могут умереть женщина, мужчина или ребенок, если в каждом из них — столько весен и листьев, столько книг и птиц, столько рассветов и закатов?

Нынче вечером мне было даровано счастье плакать, как всем живущим, чувствуя, как по щекам скатываются слезы, и понимая, что на земле нет ничего, обреченного смерти и не оставляющего следа. Нынче вечером, не произнося ни слова, ты, Абрамовиц, открыл мне, что в смерть подобает вступать как в праздник.

ЭЛЕГИЯ О САДЕ

Тот лабиринт исчез. Уже не будет
ни стройных эвкалиптовых аллей,
ни летнего навеса над верандой,
ни бдительных зеркал, не упускавших
любое чувство на любом лице,
любой налет. Пустое крохоборство
часов, разросшаяся каприфоль,
беседка, простодушный мрамор статуй,
двойник заката, засвиставший дрозд,
балкончик с башней, гладь воды в фонтане
теперь былое. Ты сказал — былое?
Но если нет начала и конца
и ждет нас лишь неведомая сумма
лучистых дней и сумрачных ночей,
то мы и есть грядущее былое.
Мы — время, непрестанная река,
Ушмаль и Карфаген, и вросший в землю
латинский вал, и канувший во тьму
сад, поминаемый теперь стихами.

ОБЛАДАНИЕ ПРОШЛЫМ

Знаю, в жизни потеряно столько, что не сосчитать, — эти потери и есть мое сегодняшнее достояние. Знаю, мне не увидеть ни золотого, ни черного; недостижимые, они для меня дороже, чем для любого из зрячих. Мой отец умер, теперь он всегда со мной. Говорят, я читаю Суинберна его голосом. Умершие принадлежат нам одним; в нашем владении — одни потери. Илион пал, но живет в оплакавших его гекзаметрах. Израиль пал, оставшись древней тоской по дому. Любое стихотворение годы превратят в элегию. Самые верные наши подруги — ушедшие: они неподвластны ни ожиданию с его смутой, ни тревогам и страхам надежды. Единственный подлинный рай — потерянный.

ЧЕЙ-ТО БУДУЩИЙ СОН

Что увидит во сне непредвосхитимое будущее? Что Алонсо Кихано останется Дон Кихотом, даже не покидая своего села и библиотеки. Что минута перед пробуждением Улисса может быть богаче поэмы о его трудах. Увидит целые поколения, слыхом не слыхавшие имени Улисс. Увидит сны куда отчетливей сегодняшней яви. Увидит, что мы в силах сотворить любое чудо, а не делаем этого, поскольку в воображении оно гораздо реальней. Увидит миры такой мощи, что трель одной-единственной тамошней птицы может убить там человека. Увидит, что забвение и память — действие воли, а не вмешательство или прихоть случая. Что можно смотреть всем телом, как во тьме померкших миров — своих ослабевших глаз — мечтал Мильтон. Увидит мир без машин и без этой хрупкой машины — нашего тела. Жизнь — не сон, но, как писал Новалис, может когда-нибудь дорасти до сна.

СОН, ПРИСНИВШИЙСЯ В ЭДИНБУРГЕ

На рассвете мне приснился сон, от которого я не в силах отделаться и в котором попытаюсь разобраться.

Ты уже зачат. На пустынном горизонте — что-то вроде пыльных классов, а может быть — пыльных складов, и в этих классах или складах — параллельные ряды школьных досок длиной в километры или тысячи километров, на которых выведены мелом буквы и цифры. Сколько досок всего — неизвестно, понятно только, что их много и одни уже исписаны, а другие — почти чистые. Двери, как в Японии, раздвижные, они — из проржавевшего металла. Само строение круглое, но таких гигантских размеров, что со стороны кривизна незаметна и стены кажутся прямыми. Придвинутые друг к другу доски — много выше человеческого роста и доходят до гладкого општукатуренного потолка, среднего между белесым и сероватым. Слева на каждой доске — слова, следом за ними — цифры. Слова размещены друг под другом, как в словаре. Первое слово — Аар, название реки в Берне. За ним — арабские цифры; составленное ими число огромно, но не бесконечно. Оно с точностью показывает, сколько раз в жизни ты увидишь эту реку, сколько раз в жизни прочтешь ее название на карте, сколько раз в жизни о ней подумаешь. Последнее слово, кажется, Цвингли, оно слишком далеко. Еще на одной бесконечной доске написано «neverness», и рядом с иноземным словом тоже стоит цифра. В этих значках — вся твоя жизнь.

Каждую секунду какой-то ряд цифр обрывается.

Ты исчерпаешь число раз, отпущенных тебе на вкус имбиря, но жизнь еще не кончится. Исчерпаешь число, отпущенное на гладкость стекла, но какое-то время будешь жить. Исчерпаешь число отведенных тебе ударов сердца и только тогда умрешь.

ЗЕЛЕНЬ КИПАРИСА

У меня есть враг. Как он проник ко мне в дом ночью четырнадцатого апреля 1977 года, не знаю. Ему пришлось одолеть две двери: одну, тяжелую, на входе и другую — в скромной квартире. Он зажег свет и оборвал мой кошмар, из которого помню теперь только сад. Не повышая голоса, приказал вставать и одеваться. Конец был предreshен, место казни — неподалеку. От страха я молча повиновался. Он был ниже, но крепче меня, ненависть делала его еще сильнее. За долгие годы он совсем не переменился, разве что в темную шевелюру закралось несколько седых волос. Его переполняла сумрачная радость. Он всегда ненавидел меня и вот наконец убьет. Кот Беппо глядел на нас из своей вечности, но даже лапой не шевельнул, чтобы мне помочь. Не шелохнулись ни синий обливной тигр в спальне, ни чародеи и духи в томах «Тысячи и одной ночи». Остаться совсем одному не хотелось. Я попросил разрешения взять книгу. Библия была бы слишком. Рука выхватила из двенадцати томов Эмерсона один, наудачу. Чтобы не шуметь, мы спустились по лестнице. Я считал ступеньку за ступенькой. И заметил, что он старается не прикасаться ко мне, словно боится заразы.

У дома на углу Чаркас и Майпу ждала карета. Церемонным, но беспрекословным жестом мне приказали войти. Возница знал дорогу и тут же хлестнул коня. Путь был долгим и, как легко понять, молчаливым. Я боялся (а может быть, надеялся), что он не кончится никогда. Ночь стояла лунная, ясная, без малейшего ветерка. Кругом — ни души. Вдоль приземистых домов по обе стороны дороги тянулась глинобитная изгородь. «Уже Юг», — подумал я. Высоко в темноте маячили башенные часы; ни цифр, ни стрелок на циферблате не было. Ни одной улицы мы, сколько помню,

не пересекали. По неисчерпаемому примеру элеатов, я не чувствовал ни страха, ни страха перед страхом, ни страха перед страхом этого страха, но, когда дверца распахнулась, при выходе чуть не упал. Мы поднялись по каменным ступеням. Над заботливо подстриженными газонами густо темнели деревья. Он подвел меня к одному и приказал лечь на траву навзничь, раскинув руки крестом. Лежа, я разглядел вдали капитолийскую волчицу и тут же понял, где мы. Деревом смерти стал для меня кипарис. На память сама собой пришла знаменитая строка: «*Quantum lenta solent inter viburna cupressi*»¹.

Я вспомнил, что слово «*lenta*» здесь означает «гибкая», но зелень моего дерева гибкостью не отличалась. Хвоинки были одинаковые, жесткие, глянцевитые, неживые. На каждой виднелась монограмма. Я почувствовал тошноту и слабость. Но понимал: только собрав все силы, я смогу спастись. Спастись сам и, может быть, погубить его. Одержимый злобой, он уже не смотрел ни на часы, ни на чудовищные кроны. Я выпустил из рук свой талисман и ухватился за траву. В первый и последний раз надо мной блеснул клинок. И тут я проснулся; левая рука цеплялась за стену комнаты.

«Странный кошмар», — подумал я и опять нырнул в сон. Утром я обнаружил среди книг брешь: тома Эмерсона, взятого с собой во сне, на месте не было. Дней через десять мне передали, что недавно мой враг ушел ночью из дома и пока не возвращался. И не вернется. Замурованный в моем сне, он так и будет с ужасом открывать для себя под невидимой луной этот город со слепыми часами, мишурными вечными деревьями и другими подробностями, которым нет ни имени, ни конца.

¹ Как над ползучей лозой возносятся ввысь кипарисы (лат.; перевод С. Шервинского).

СКАЗОЧНАЯ НИТЬ

Эту нить Ариадна своей рукой вложила в руку Тезею (в другой у него был меч), чтобы он сошел в лабиринт, отыскал его центр, человека с головой быка или, как предпочел Данте, быка с головой человека, убил его и сумел потом, после подвига, распутать хитросплетения камня и возвратиться наружу к ней, любимой.

Все так и случилось. Тезей ведь не мог знать, что этот лабиринт — лишь малая часть другого, лабиринта времени, где в назначенном месте его ожидает Медея.

Потом нить затерялась, затерялся и сам лабиринт. И теперь никому не известно, что вокруг нас — затаенный строй лабиринта или гибельный хаос. Наше чудесное предназначение — воображать, будто лабиринт и нить существуют. Мы никогда не держали нити в руках; быть может, она мелькала (чтобы тут же исчезнуть) в миг откровенья, в музыкальной фразе, во сне, в совокупности слов, именуемых философией, или в простом, бесхитроном счастье.

Кносс, 1984

1982 ГОД

В глубине полок, за шеренгой книг, накопилась пыль. Видеть ее я не могу, но под рукой — что-то вроде паутинок.

Это мельчайшая часть того хитросплетенья, которое мы зовем мировой историей или космическим процессом. Хитросплетенья, куда входят звезды, предсмертные хрипы, переселения народов, маршруты мореплавателей, луны, светляки, бдения, карты, наковальни, Карфаген и Шекспир.

Входит в него и эта страничка, так и не ставшая стихами, и сон, который видел под утро и уже позабыл.

Есть ли у хитросплетенья цель? Шопенгауэр считал ее такой же неуловимой, как лица или львы, увиденные вдруг в рисунке облаков. Так есть цель у хитросплетенья? В любом случае она не имеет ничего общего с моралью: мораль — выдумка людей, чуждая непостижимым богам.

Может быть, щепотка пыли — такое же необходимое звено этого хитросплетенья, как груженные золотом корабли империй или дымок нарда.

ПРАХ

Гостиница и номер, как всегда.
Один из полдней, тяготящих тело,
томя и разывая. Вкус воды,
лишь на секунду освежившей горло.
Светящаяся пелена, слепых
не покидающая днем и ночью.
Конверты с адресами мертвецов.
Неуловимость сна и сновидений.
Рейн или Рона за окном внизу.
Давно привычные недуги. Все, что,
должно быть, слишком мелко для стихов.

ИТОГ

И вот художник встал перед белой
стеной, быть может (я не исключаю)
необозримой, втайне размечая
громаду, чтобы кистью неуклонной
вместить весь мир, всю пестроту и цельность:
весы, татар, ворота, гиацинты,
престолы, стеллажи и лабиринты,
Ушмаль и якорь, ноль и беспредельность.
Поверхность заполнялась. И фортуна,
венчая щедро труд его несладкий,
дала творцу увидеть завершенье.
Навеки покидая мир подлунный,
он различил в туманном беспорядке
свое точнейшее изображение.

ХУАН ЛОПЕС И ДЖОН УОРД

Им выпало жить в странную эпоху.

Планета была поделена на разные страны, каждая — со своей клятвой верности, бесценными воспоминаниями, непременно героическим прошлым, правами, обидами, со своей особой мифологией, бронзовыми героями, юбилейными датами, демагогами и символами. Это разделение, дорогое сердцам картографов, предвещало неминуемые войны.

Лопес родился в городе у недвижной реки; Уорд — в окрестностях другого, по чьим улицам бродил отец Браун.

Один выучил испанский, чтобы прочесть «Дон Кихота». Другой исповедовал любовь к Конраду, однажды озарившую его в классе на улице Виамонте.

Они могли стать друзьями, но увиделись лицом к лицу единственный раз, на островах, чье имя сегодня слишком известно, и тогда каждый из двоих был Каином и каждый из двоих — Авелем.

Их зарыли рядом. Теперь они — добыча снегов и тлена.

Это было в те времена, которые отказывается понимать разум.

ПОРУКА

Начало ее уводит в самый центр Европы.

Известна и дата — 1291 год.

Ее скрепили люди разных родов, исповедавшие разную веру и говорившие на разных языках.

Они приняли диковинное решение — жить разумом.

Решили забыть различия и подчеркнуть сходство.

Вначале они были солдатами Содружества, а потом — просто наемниками у него на службе, поскольку оставались нищими, привыкли воевать и никогда не забывали, что любая человеческая затея — всего лишь суета сует.

Среди них был Винкельрид, подставивший грудь копьям врага, чтобы спасти друзей.

Среди них были врачи, священники, адвокаты, но были и Парацельс, Амьель, Юнг, Пауль Клее.

В центре Европы, на холмах Европы, год за годом росла твердыня разума и несокрушимой веры.

Сегодня в ней двадцать два кантона. Последний, Женевский, — одна из моих родин.

А завтра будет весь мир.

Может быть, это лишь пустые слова, но если бы они стали пророческими...

Из книги

**ЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА**

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Год за годом наша память создает разнородную библиотеку из книг или отдельных страниц, чтение которых делало нас счастливыми и радость от которых нам было бы приятно разделить с другими. Тексты в такой личной библиотеке не обязательно самые известные. И это понятно. Ведь профессоров литературы — а кто как не они создает известность? — куда меньше занимает красота, чем превратности моды и даты литературной истории вкупе с пространством анализом книг, которые, кажется, и писались для подобного анализа, а не для читательского удовольствия.

Напротив, задача библиотечки, для которой я пишу предисловия и очертания которой уже смутно различаю, — быть источником этого удовольствия. В отборе книг я не ограничивался своими литературными привычками, определенной традицией, определенной школой, какой-то страной или эпохой. «Иные гордятся каждой написанной книгой, я — любую прочтенной», — написал я однажды. Хороший ли я писатель, не знаю; но читатель, смею думать, неплохой и уж во всяком случае чуткий и благодарный. Мне хотелось, чтобы эта библиотека была такой же разнообразной, как неутолимая любознательность, которая подталкивала и по-прежнему подталкивает меня углубляться в различные языки и разные литературы. Я знаю, роман — жанр не менее искусственный, чем аллегория или опера, но включаю сюда и романы, ведь они тоже вошли в мою жизнь. Повторюсь: эта серия разнородных книг — библиотека симпатий.

Мы с Марией Кодамой объехали земной шар по суше и по морю. Были в Техасе и Японии, в Женеве и Фивах. А теперь, чтобы собрать воедино все тексты, которые были важными для нас, обходим дворцы и галереи памяти, как писал Святой Августин.

Книга — вещь среди других вещей, том, затерянный среди других томов, наполняющих равнодушный мир, пока не нашелся ее читатель, человек, которому предназначены ее символы. Из этой встречи и рождается неповторимое чувство, называемое красотой, чудесная тайна, расшифровать которую не под силу ни психологии, ни риторике. «Роза цветет безо всякого почему», — сказал Ангелус Силезиус, а Уистлер через несколько веков заявил: «Искусство существует — и всё».

Пусть же эта книга дождетсЯ своего читателя.

Х. Л. Б.

ХУЛИО КОРТАСАР «РАССКАЗЫ»

В сороковых годах я был секретарем редакции в одном достаточно неизвестном литературном журнале. Как-то раз, в обыкновенный день, рослый молодой человек, лицо которого я не могу сейчас восстановить в памяти, принес рукопись рассказа. Я попросил его зайти через две недели и пообещал высказать свое мнение. Он вернулся через неделю. Я сказал, что рассказ мне понравился и уже поставлен в номер. Вскоре Хулио Кортасар увидел свой «Захваченный дом» напечатанным с двумя карандашными рисунками Норы Борхес. Прошли годы, и однажды вечером, в Париже, он сказал мне, что это была его первая публикация. Я горжусь, что помог ей появиться на свет.

Темой того рассказа был постепенный захват дома чьим-то невидимым присутствием. В последующих вещах Кортасар брался за нее не так прямо и поэтому более результативно.

Прочитав роман «Грозовой перевал», Данте Габриэль Россетти написал другу: «Действие происходит в аду, но места, неизвестно почему, носят английские названия». То же самое у Кортасара. Его герои — самые обычные люди. Их связывает рутина случайных привязанностей и столь же случайных размолвок. Обстановка — марки сигарет, витрины, прилавки, бутылки виски, аптеки, аэропорты и перроны — тоже самая обычная. Тут читают газеты и слушают радио. Топография — то буэнос-айресская, то парижская, и сначала может показаться, будто речь идет о простой хронике. Но мало-помалу понимаешь, что это не так. Рассказчик умело втягивает нас в свой чудовищный мир, где счастливых нет. Этот мир пронцаем, сознание человека может здесь вселиться в животное и наоборот. Кроме того, автор

играет с материей, из которой сотканы мы все: я говорю о времени. В некоторых рассказах две временные цепочки сплетаются или подменяют друг друга.

Стиль кажется небрежным, но каждое слово взвешено. Передать сюжет кортасаровской новеллы невозможно: в каждой из них свои слова стоят на своем месте. Пробуя их пересказать, убеждаешься, что упустил главное.

«АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ»

Читая эту книгу, мы чудом возвращаемся к первым векам нашей эры, когда религия воплощала страсть. Догматы Церкви и рассуждения богословов последовали потом; вначале самой важной была новость, что Сын Божий тридцать три года существовал в образе человека — подвергнутого бичеванию и распятию человека, чья смерть искупила грехи всех потомков Адама. Среди книг, несших эту новость, были и апокрифические Евангелия. Сегодня слово «апокрифический» обозначает «поддельный» или «ложный», хотя первое его значение — «тайный». Апокрифические тексты охранялись от непосвященных, читать их дозволялось лишь избранным.

Независимо от нашего маловерия, Христос — самый живой образ в памяти человечества. Свое учение, сегодня охватившее планету, ему довелось проповедовать в глухой провинции. Двенадцать его апостолов были людьми неграмотными и бедными. За исключением нескольких начертанных на земле и тут же стертых слов, он ничего не написал. (Пифагор и Будда тоже излагали свое учение вслух.) Доказательствами он не пользовался, естественной формой его мысли служила метафора. Осуждая пышную тщету погребений, он говорил, что мертвецов хоронят такие же мертвецы. Осуждая лицемерие фарисеев — что они похожи на раскрашенные гробы. Он умер молодым на кресте, который в те времена был виселицей, а теперь стал символом. Не подозревая о его беспредельном будущем, Тацит бегло сообщает о нем и именует Хрестом. Никто до такой степени не повлиял и не влияет сегодня на ход истории.

Эта книга не противоречит каноническим Евангелиям. Она лишь рассказывает ту же биографию с непривычными

вариациями. Повествует о неожиданных чудесах. Так, она сообщает, что пятилетним мальчиком Иисус слепил из дорожной глины птиц, и те, к изумлению его приятелей по играм, вдруг взлетели и, распевая, исчезли в небе. Приписываются ему и жестокие чудеса, на которые способен всемогущий ребенок, еще не наученный разуму. В Ветхом Завете ад (Шел) — это могила; в терцинах «Божественной комедии» — разветвленная система подземных темниц с точнейшей топографией; в этой книге так зовут героя, который ведет спор с самим Князем Тьмы, Сатаной, и славит Господа.

Вместе с каноническими книгами Нового Завета эти забытые на много веков и воскрешенные сегодня апокрифы — самые древние орудия христианской веры.

ФРАНЦ КАФКА
«АМЕРИКА. РАССКАЗЫ»

1883 и 1924. Между двумя этими датами располагается жизнь Франца Кафки. Как известно, в нее входят события поистине прославленные: мировая война, вторжение немецких армий в Бельгию, поражения и победы, континентальная блокада силами британского флота, годы голода, русская революция, бывшая благородной надеждой, а ставшая продолжением царизма, крах и распад, Брест-Литовский мир и Версальский мир, давший начало следующей войне. Входят в нее и более скромные события, отмеченные в биографии Макса Брода: разлад с отцом, одиночество, учеба на юриста, часы, проведенные в конторе, нескончаемые черновики, туберкулез. А кроме того, беспредельные барочные приключения тогдашней литературы: немецкий экспрессионизм, словесные подвиги Иоганнеса Бехера, Йейтса, Джеймса Джойса.

Судьба Кафки состояла в том, чтобы случайности и смерти претворять в притчи. Гнуснейшие кошмары он излагал прозрачайшим языком. Не зря он читал Библию и поклонялся Флоберу, Гёте и Свифту. Он был евреем, но слово «еврей», насколько помню, в его сочинениях не встречается. Они вне-временны, может быть, вечны.

Кафка — один из классических писателей нашего мучительного и необычайного столетия.

МОРИС МЕТЕРЛИНК
«РАЗУМ ЦВЕТОВ»

Аристотель писал, что философия рождается из удивления. Из удивления перед бытием, перед бытием во времени, перед бытием в этом мире, где есть другие люди, а еще есть четвероногие и звезды. Из удивления рождается и поэзия. В случае с Морисом Метерлинком, как и с Эдгаром По, это удивление переплелось со страхом. В его первой книге стихов «*Les serres chaudes*»¹ (1889) собраны существа, при мысли о которых становится не по себе: принцесса, замурованная в башне и умирающая от голода, моряк, заблудившийся в пустыне, неизвестно откуда пришедший охотник на оленей, взявшийся врачевать больных, прячущиеся в ирисах ночные птицы, запах эфира в солнечный день, бродяга на царском троне, снега и дожди давно минувших лет. Этот перечень вызвал легко напрашивающуюся пародию со стороны доктора Нордау, чья холерическая диатриба «О вырождении» стала ценнейшей антологией писателей, подвергнутых им суду. Как правило, искусство обосновывает и предвещает события, о которых говорит; Метерлинк в своих драмах намеренно выводит перед нами странные существа, которые подчиняют себе воображение, но остаются необъясненными. Герои «*Les aveugles*»² (1890) — двое потерявшихся в лесу слепцов; в написанной тогда же «*L'intruse*»³ старик слышит шаги входящей в его дом смерти. В «*L'oiseau bleu*»⁴ (1909) прошлое — замкнутый круг, населенный неподвижными восковыми фигурами. Метерлинк был первым драматургом-символистом.

¹ «Теплицы» (франц.)

² «Слепые» (франц.).

³ «Непрошенная» (франц.).

⁴ «Синяя птица» (франц.).

Вначале он разрабатывал художественные возможности тайны. Потом захотел эти тайны раскрыть. Отойдя от католической веры своего детства, он сосредоточился на необычайном — передаче мыслей на расстояние, четвертом измерении Хинтона, неповторимых рысаках Эльберфельда, разуме цветов. Стройные и неизменные сообщества насекомых внушили ему две книги. Даром предвидения и памяти наделил муравьев уже Плиний. Метерлинковская «*La vie des termites*»¹ вышла в 1930 году. Наиболее известный из его трудов, «*La vie des abeilles*»², вдохновенно и строго исследует обиход существ, прославленных Вергилием и Шекспиром.

Морис Метерлинк родился в 1867 году в Генте и умер в 1949 году в Ницце. В 1911-м ему была присуждена Нобелевская премия.

¹ «Жизнь термитов» (франц.).

² «Жизнь пчел» (франц.).

ДИНО БУЦЧАТИ «ТАТАРСКАЯ ПУСТЫНЯ»

Можно знать древних и классических авторов, можно знать писателей прошлого столетия и начала нашего уже кончающегося века. Куда трудней знать писателей современных. Число их велико, и время еще не составило свою антологию. Тем не менее и сегодня есть имена, которые читатели будущих поколений не согласятся вычеркнуть из памяти. Среди них, не исключая, имя Дино Буццати.

Буццати родился в 1906 году в старинном городе Беллуно, неподалеку от Венето и почти на границе с Австрией. Он был репортером, а потом посвятил себя фантастической литературе. Его первая книга, «*Barnabo delle Montagne*»¹, вышла в 1933 году, последняя, «*I miracoli di Val Morel*»², появилась в 1972-м, когда он и умер. Его многочисленные, нередко аллегорические вещи проникнуты печалью и магией. О воздействии Эдгара По и готического романа он говорил сам. Другие упоминали Кафку. Почему бы, без малейшего ущерба для Буццати, не признать влияние обоих этих прославленных учителей?

Эта, вероятно, главная книга автора, легшая в основу удачного фильма Валерио Дзурлини, построена на методе бесконечной отсрочки, который любили элеаты и Кафка. Атмосфера в прозе Кафки самая серая и обыденная, она отдает бюрократией и скукой. У Буццати все иначе. Здесь тоже во всем чувствуется предвосхищение, но это предвосхищение гигантской битвы, пугающей и долгожданной. На своих страницах Дино Буццати возвращает роман к его древнему истоку — эпосу. Пустыня здесь — и реальность, и символ. Она безгранична, и герой ожидает полчищ, бесчисленных, как песок.

¹ «Барнабо с гор» (итал.).

² «Чудеса в Валь Мореле» (итал.).

ГЕНРИК ИБСЕН
«ПЕР ГЮНТ. ГЕДДА ГАБЛЕР»

Самый знаменитый из евангелистов Ибсена, Джордж Бернارد Шоу, в «Квинтэссенции ибсенизма» заявил, что требовать от автора объяснений его пьесы — полный абсурд, поскольку служить таким объяснением, вероятно, должна была сама пьеса. Сюжет вещи придумывается раньше, чем осознается ее мораль. В случае с Ибсеном выдумки для нас теперь куда важнее идей. Однако в пору, когда его пьесы ставились, дело обстояло иначе. Благодаря Ибсену, идея о праве женщины на собственную жизнь стала сегодня расхожей. В 1879 году она была скандальной. В Лондоне пришлось присочинить «Кукольному дому» новый финал, где раскаявшаяся Нора Хелмер возвращается к семье и домашнему очагу. В Париже пришлось придумать ей любовника, иначе публика не понимала происходящего на сцене.

Я намеренно отобрал для этого тома две пьесы, в которых воображение и фантастика играют не меньшую роль, чем реализм.

Первая, «Пер Гюнт», — по-моему, лучшая вещь автора и одна из лучших пьес в мировой литературе. В ней фантастично все, кроме убежденности, что это сон. Пер Гюнт — абсолютно безответственный и абсолютно обворожительный негодяй. Он одержим иллюзией собственной исключительности. Разбитый и осмеянный, он мечтает о высочайшем титуле Властелина над Самим Собой; в каирском сумасшедшем доме помешанные провозглашают его, затоптанного в прах, своим царем. «Пер Гюнт» — смесь кошмара и волшебной сказки. Мы воспринимаем невероятные перипетии и переменчивую географию, развернутую на его страницах, с благодарным ужасом. Высказывалось предположение, что поразительная финальная сцена происходит уже после смерти героя, в загробном мире.

Техническое мастерство «Гедды Габлер» (1890) может навести на мысль, будто вся эта трагедия — не более чем прием и написана ради внушения тех или иных чувств, а не в развитие характера главной героини. На самом деле, Гедда Габлер — фигура загадочная. Одни видят в ней истеричку, другие — всего лишь светскую даму, третьи — маленькую хищницу. Я бы сказал, что она загадочна именно потому, что реальна, — реальна настолько же, насколько всякий из нас реален для других и себя самого, насколько Генрик Ибсен был реален для Генрика Ибсена. Кстати, добавлю, что пистолеты, завещанные генералом Габлером своей дочери, движут сюжетом пьесы ровно так же, как ее персонажи.

Постоянная тема Ибсена — разлад между реальностью и романтическими иллюзиями. Джордж Бернард Шоу, апологет Ибсена, и Макс Нордау, его ниспровергатель, сравнивали драматурга с Сервантесом.

Генрик Ибсен — наш предшественник и современник. Без его великой тени невозможно представить себе весь позднейший театр.

ЖОЗЕ МАРИЯ ЭСА ДИ КЕЙРОШ «МАНДАРИН»

На исходе девятнадцатого столетия Груссак имел полное право написать, что в Латинской Америке знаменитый человек вовсе не становится известным. Этот приговор, с разницей в несколько лет, справедлив и для Португалии. Знаменитый в своей маленькой и прославленной стране, Жозе Мария Эса ди Кейрош (1845–1900) умер почти неизвестным остальной Европе. Теперь запоздалая международная критика причисляет его к лучшим рассказчикам и романистам эпохи.

Эса ди Кейрош был разорившимся аристократом, иначе говоря — воплощенной меланхолией. Он учился на юридическом факультете Коимбрского университета, а закончив курс, занял самую обыкновенную должность в самой обыкновенной глуши. В 1869 году вместе со своим другом графом де Резенде присутствовал на церемонии открытия Суэцкого канала. Из Египта он проследовал в Палестину; воспоминания об этом путешествии легли на страницы, которые читает и перечитывает не одно поколение. Тремя годами позже началась его дипломатическая карьера. Он служил консулом в Гаване, Ньюкасле, Бристоле, Китае и Париже. Его пожизненной любовью была французская литература. Он исповедовал эстетику «Парнаса», а в своих разноликих романах был близок к Флоберу. В «Кузене Базилиу» видна осеняющая тень «Госпожи Бовари», однако Эмиль Золя ставит португальский роман выше его бесспорного прообраза, заключая свой вердикт словами: «Говорю это как ученик Флобера».

Каждая речь, с которой Эса ди Кейрош выступал публично, была выверена и отточена, каждая сцена в его обширном и многообразном наследии тщательно продумана. Автор считал себя реалистом, но его реализм не исключает химер,

сардонической усмешки, горечи и сожаления. Вслед за родной Португалией, которую с нежностью и иронией любил, Эса ди Кейрош открыл и воссоздал Восток. Его «Мандарин» (1880) — фантастическая история. Один из героев — злой дух; другой из своего грязного лиссабонского пансиона колдовским способом убивает мандарина, запускающего змею на террасе, которая находится в самом центре Поднебесной Империи. Ум читателя с удовольствием обживает этот невероятный сюжет.

В последний год девятнадцатого столетия в Париже скончались два замечательных человека, Эса ди Кейрош и Оскар Уайльд. Насколько мне известно, они не были знакомы, но, помоему, великолепно поняли бы друг друга.

ЛЕОПОЛЬДО ЛУГОНЕС «ИМПЕРИЯ ИЕЗУИТОВ»

Можно сказать, что главным событием в жизни Алонсо Кихано были прочитанные книги, которые привели его к небывалому решению стать Дон Кихотом. Так и Лугонес: он переживал каждую книжную находку с той же остротой чувств, что встречу с морем или женщиной. За любой из его книг стоит родственная тень. За «Сумерками сада», чье заглавие — уже стихи, различаешь тень Альбера Самена, за «Чуждыми силами» — тень Эдгара Аллана По, за «Календарем души» — Жюля Лафорга. При всем том написать эти книги, такие разные по истокам, мог лишь один человек: Лугонес. Придать непокорному испанскому языку символистскую музыку — немалая заслуга. Всегдашними спутниками Лугонеса были Гомер, Данте, Гюго и Уитмен.

«Рубен Дарио со товарищи» (как выражался Лугонес) толкнули испаноязычную словесность на неизведанные пути: с них начался так называемый модернизм. Это крупное литературное движение обновило темы, словарь, чувства и метрику испанского стиха. Родившись по сю сторону океана, модернизм переплеснулся затем в Испанию, где вдохновил, вероятно, наиболее значительных тогдашних поэтов: Хуана Рамона Хименеса и братьев Мачадо.

Человек бесхитростных убеждений и страстей, Лугонес стремился к усложненному стилю, блестяще развитому потом Лопесом Веларде и Мартинесом Эстрадой. Избыточность этого стиля не всегда соответствовала избранным темам. Так в «Пайядоре» (1915), положившем начало культуре «Мартина Фьерро», чувствуешь явную диспропорцию между безлюдной равниной, которую образованные люди из города зовут «пампой», и запутанными словесными периодами; другое дело — «Империя иезуитов». В 1903 году аргентинское

правительство поручило Лугонесу составить этот труд, теперь лежащий перед читателем отдельной книгой. На ее страницах царит естественная гармония между пышностью прозы и описываемых в ней краев.

Забавно сравнить этот «исторический очерк» Лугонеса с аналогичным трудом Груссака об отце Хосе Геваре и его «Истории Парагвая». Лугонес переносит в свою книгу все легенды о чудесах, которыми кишели записки иезуитов; Груссак между делом намекает, что возможным источником этого многочисудесия был известный рескрипт о канонизации, формулировавший ее условия буквально следующими словами: «Добродетели без чудес не в счет».

Леопольдо Лугонес родился в провинции Кордова в 1874 году и покончил с собой в 1938-м на одном из островков возле Тигре.

АНДРЕ ЖИД
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»

Сомневавшийся в стольких вещах на свете, Андре Жид, кажется, ни разу не усомнился в одной неистребимой иллюзии — свободе воли. Он верил, будто человек может управлять своими поступками, и отдал исследованию и обновлению морали не меньше сил, чем трудам и радостям литературы. Жид родился в Париже в 1869 году, при Второй империи. Получил протестантское воспитание, первой книгой, прочитанной им со страстью, было Четвероевангелие. Застенчивый и немногословный, он посещал вторники у Малларме, где мог беседовать с Пьером Луисом, Полем Валери, Клоделем и Уайльдом. В первой книге, «Les cahiers d'André Walter»¹ (1891), он еще пользовался узорчатым слогом символистов. Томик принадлежит не столько автору, сколько его эпохе. Потом и до конца он уже следовал добрым традициям прозрачной прозы. После важнейшего для него пребывания в Алжире Жид опубликовал в 1897 году книгу «Les pourritures terrestres»², где превозносил плотские желания, не стремясь, впрочем, полностью их удовлетворить. В позднейших книгах, перечислять которые было бы слишком долго, он исповедовал чувственные удовольствия, независимость от любых моральных предписаний, переменчивую «свободу» и незаинтересованное действие из чистой прихоти. Почему не раз обвинялся в соvrращении юношества.

Его любовью была английская литература; Виктору Гюго он предпочитал Джона Китса. Он сознавался, что слушает негромкий голос Китса с большим чувством, чем оратор-

¹ «Записные книжки Андре Вальтера» (франц.).

² «Яства земные» (франц.).

ский и пророческий тон Гюго. В 1919 году он стал одним из троих основателей «Нувель ревю франсэз», лучшего литературного журнала в нашем столетии.

Андре Мальро написал, что Жид — самый важный из наших современников. Жид, как и Гёте, — не в какой-то одной из своих книг, а в их совокупности и различии.

Самый знаменитый среди романов Андре Жида — «Les faux monnaieurs»¹, занимательная и восхитительная повесть, включающая в себя анализ повествовательного жанра. «Journal»² отражает разные этапы его стиля. В 1947 году, за год до смерти, ему была единодушно присуждена Нобелевская премия.

¹ «Фальшивомонетчики» (франц.).

² «Дневник» (франц.).

РОБЕРТ ГРЕЙВС «ГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ»

Замечательный во всех своих разноликих проявлениях поэта, исследователя поэзии, восприимчивого и просвещенного гуманитария, романиста, рассказчика, мифолога, Роберт Грейвс — один из самых оригинальных писателей нашего века. Он родился в Лондоне в 1895 году. Среди его предков был немецкий историк Леопольд фон Ранке, чью всеохватывающую любознательность он, вероятно, унаследовал. Ребенком он получил в усадебном парке благословение Суинберна, получившего благословение Лэндора, получившего благословение доктора Сэмюэла Джонсона. В годы Первой мировой войны Грейвс сражался в рядах знаменитого полка королевских уэльских стрелков. Данный период его биографии отражен в книге «Goodbye to All That» («Прощание со всем этим»), вышедшей в 1929 году. Он одним из первых увидел в написанном Джерардом Мэнли Хопкинсом уникальную ценность, но не соблазнился ни его метрикой, ни аллитерационным стихом. Грейвс никогда не старался быть современным и считал, что поэт должен писать сам за себя, а не за целую эпоху. Он наделял сакральными чертами каждого занятого искусством, которое было для него единым и вечным. Не верил в литературные школы и манифесты. В «The Common Asphodel»¹ (1949) покусился на авторитет Вергилия, Суинберна, Киплинга, Элиота и — что уже гораздо понятней — Эзры Паунда. Его главная книга «The White Goddess»² (1946), претендующая на роль первой грамматики поэтического языка, на самом деле — великолепный миф, то ли отысканный Грейвсом, то ли Грейвсом

¹ «Обыкновенный Асфодель» (англ.).

² «Белая богиня» (англ.).

придуманый. Белая богиня его мифа — это Луна; по Грейвсу, западная поэзия представляет собой лишь разветвления и вариации этого сложного лунного мифа, ныне восстановленного им в целостности. Он хотел вернуть поэзию к ее магическим истокам.

Сейчас, когда я пишу это предисловие, Роберт Грейвс, окруженный любовью близких и почти свободный от своего как бы уже забытого смертью тела, угасает на Мальорке в спокойном упоении жизнью, близком к счастью.

Для всех эллинистов, включая Грималю, мифы, которыми они занимаются, — попросту музейные экспонаты либо забавные старые сказки. Грейвс исследует их в хронологии, ища за различием форм постепенное видоизменение живых истин, которых не стерло христианство. Это не словарь, это книга, охватывающая века и соединяющая в себе воображение и природу.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ «БЕСЫ»

Как первая встреча с любовью, как первая встреча с морем, первая встреча с Достоевским — памятная дата в жизни каждого. Обычно она относится к юношеским годам: зрелость ищет и находит авторов более уравновешенных. В 1915 году, в Женеве, я с жадностью проглотил «Преступление и наказание» в легко читаемом переводе Констанс Гарнетт. Роман, в центре которого — преступник и проститутка, навел на меня не меньший ужас, чем обступавшая со всех сторон война. Сын военного хирурга, погибшего от руки убийц, Достоевский (1821–1881) знал в своей жизни бедность, болезнь, тюрьму, ссылку, безоглядную преданность литературе, путешествия, страсть к азартным играм и, в самом конце, славу. Исповедовал культ Бальзака. Как члена тайного общества его приговорили к повешению. На эшафоте, где уже нашли смерть его товарищи, ему был изменен приговор, и Достоевский провел на каторжных работах в Сибири четыре года, о которых не забывал потом никогда.

Он изучал и пересказывал утопии Фурье, Оуэна и Сен-Симона. Был социалистом и разделял идеи панславизма. Достоевский представлялся мне своего рода неисчерпаемым божеством, способным понять и простить все живое. Странно, что порой он опускался до обычной политики, чье дело — лишать прав и клеймить позором.

Взяться за книгу Достоевского — значит очутиться в огромном неизвестном городе или в гуще битвы. «Преступление и наказание» открыло мне совершенно неведомый мир. Но когда я начал читать «Бесов», произошло что-то странное. Я почувствовал, что вернулся на родину. Степь в этом романе была вроде нашей пампы, только увеличенной в размерах. Варвара Петровна и Степан Трофимович ничем, кроме

непроизносимых имен, не отличались от двух безалаберных аргентинских стариков. Книга начиналась так оживленно, как будто рассказчик не знал о ее трагическом конце.

Во вступительной статье к антологии русской литературы Владимир Набоков пишет, что не нашел у Достоевского ни одной страницы, которую мог бы отобрать. Это только значит, что о Достоевском следует судить не по отдельным страницам, а по совокупности страниц, составляющих книгу.

ЭДВАРД КАСНЕР и ДЖЕЙМС НЬЮМЕН «МАТЕМАТИКА И ВООБРАЖЕНИЕ»

Будь человек бессмертен и приговорен к вечному заключению в безвыходной темнице, он даже там сумел бы постигнуть всю алгебру и геометрию, начиная со счета на пальцах и кончая бесподобным учением о множествах, а то и больше. Примером здесь может служить Паскаль, в двенадцатилетнем возрасте самостоятельно решивший тридцать теорем Евклида. Математика — наука не эмпирическая. Мы интуитивно знаем, что три плюс четыре равно семи, и не нуждаемся в доказательствах этого с помощью молотков, шахмат или шашек. Гораций, пытаясь изобразить невозможное, говорил о черных лебедях; сумрачные стаи лебедей бороздили в это время заводи Австралии. Гораций об этом не догадывался; но узнай он об их существовании, и он тут же понял бы, что, сложив трех этих мрачнецов с четырьмя, в итоге все равно получит семь. Расселл писал, что вся обширная математика есть лишь обширная тавтология и слова «три плюс четыре» — это просто еще один способ сказать «семь». Так оно или нет, воображение и математика не противостоят друг другу; они взаимодополнительны, словно скважина и ключ. Как и музыка, математика вполне может обойтись без внешнего мира, чьи пространства в себя включает и чьи тайные законы исследует.

Даже самая малая линия состоит из бесконечного множества точек; даже самая малая плоскость — из бесконечного множества линий; объем — из бесконечного множества плоскостей. Геометрия четырехмерного пространства изучает свойства гиперобъемов. Гиперсфера состоит из бесконечного множества сфер; гиперкуб — из бесконечного множества кубов. Мы не знаем, существуют ли они, но познаём их законы.

Еще чудеснее то, что мое предисловие тоже составляет часть этой книги. Приглашаю читателей ее перелистать и полюбоваться необыкновенными иллюстрациями. Среди них немало неожиданностей. Например, топологические острова из главы восьмой; например, лента Мёбиуса, которую всякий может смастерить с помощью ножниц и листа бумаги и которая представляет собой невероятную одностороннюю поверхность.

ЮДЖИН О'НИЛ
«ВЕЛИКИЙ БОГ БРАУН.
СТРАННАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ.
ТРАУР — УЧАСТЬ ЭЛЕКТРЫ»

Две разные — или две на первый взгляд разные — судьбы переплелись в жизни Юджина О'Нила, начавшейся в 1888 году и закончившейся в 1953-м.

Одна — судьба авантюриста и моряка. Он был театральным актером, прежде чем взялся писать для театра, принявшись за литературное ремесло, которое принесло ему впоследствии много радости, а может быть, и горя. Искал золото в Гондурасе, как Сэмюэл Клеменс (Марк Твен) — в Калифорнии. Случай или рок (что, по сути, одно и то же) забросил его в Буэнос-Айрес; в одной из пьес он не без некоторой ностальгии вспоминает «проспект Колумба и шнырявших по нему полицейских», кварталы Бахо, где моряки находили недорогую любовь и короткое счастье выпивки. Он плавал в Южную Африку и в Великобританию. В 1927 году вместе с Робертом Эдмондом Джонсом он открыл на юге Манхэттена свой Вилледж-театр.

Но нам важны не суровые обстоятельства его биографии, а то, что он сумел сделать, опираясь на них и свое не знавшее усталости воображение. Юджин О'Нил — один из самых непредсказуемых авторов. Как Август Стриндберг, он шел от натурализма к символическому и фантастическому. И был убежден, что лучшее средство внести в театр новое или сделать новым сам театр — это традиция; надо только не рабски копировать ее, а развивать и обогащать. Он перевел на современное наречие, несколько изменив имена действующих лиц, древние истории греков, приспособленные для сцены уже Софоклом. Перенес на подмостки «Балладу о старом моряке» Колриджа. В «Странной интерлюдии» (1928) мы сначала слышим то, что говорят персонажи, а потом — несколько измененными голосами — то, о чем они втайне

думают. О'Нила всегда притягивали маски, и он использовал их совсем иначе, чем это делали греки или театр Но. В «Великом боге Брауне» (1926) вдова главного героя, солидного американского предпринимателя, утешается и лобуется оставленной им маской, забывая умершего мужа. В трилогии «Граур — участь Электры» (1931) лица актеров и фасад особняка Мэннонов напоминают застывшие маски. Аллегорический смысл этих символов отступает перед их внушительностью.

«В О'Ниле нет ничего нового, кроме его новшеств», — написал Бернард Шоу. Удачные остроты редко бывают верными. Юджин О'Нил обновил и продолжает обновлять мировой театр.

АРИВАРА НАРИХИРА «ИСЭ-МОНОГАТАРИ»

Япония, подобно Франции, — страна, среди прочего, литературная, страна, жители которой владеют словом и исповедуют любовь к слову. Свидетельством тому — эти рассказы, относящиеся к десятому веку нашей эры. Перед нами — один из древнейших образцов японской прозы, и центральная его тема — лирическая поэзия. История Японии была эпической, но, в отличие от других стран, главный предмет ее поэзии — вовсе не меч. С самого начала сквозной темой здесь была природа, краски сменяющихся дней и времен года, радости и горести любви. В эту книгу входят около двух сотен коротких стихотворений вместе с подлинными или мнимыми историями их создания. Герой книги — принц Аривару Нарихира, кое-где называемый по имени. Като в своей «Истории японской литературы» (1979) сравнивает его с Дон Жуаном. Несмотря на неисчислимые любовные подвиги, пересказанные на этих страницах, сравнение грешит неточностью. Дон Жуан — отдавшийся разврату католик, который соблазняет многих женщин и дерзко нарушает закон, предписанный, как ему известно, Богом. Нарихира — гедонист в безгрешном мире язычества, еще не потрясенном учением о Дао и требованием неукоснительно следовать восьмеричным путем Будды. По ту или по эту сторону добра и зла, но раскрытые перед читателем классические страницы японской словесности не ведают ни морали, ни аморальности.

По мнению уже упоминавшегося доктора Като, эта книга предвещает знаменитую «Повесть о Гэндзи».

Подобно критянам, обитатели Исэ пользуются славой лжецов. Заглавие тома подразумевает, что входящие в него истории — выдумка. Вполне вероятно, что безымянный автор написал многие из приведенных стихов сам, а потом попросту присочинил объясняющие их драматические обстоятельства.

**ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ
«БЕНИТО СЕРЕНО. БИЛЛИ БАД.
ПИСЕЦ БАРТЛЕБИ»**

Есть писатели, совершенно не похожие на свою известную читателям судьбу. Не таков Герман Мелвилл, на себе переживший испытания и разлуки, послужившие позднее материалом для его символических притч. Он родился в 1819 году в Нью-Йорке. Один из сыновей в многодетной и обедневшей семье суровых кальвинистов, он в тринадцать лет потерял отца. В девятнадцать отправился в первое длительное плавание — матросом до Ливерпуля. В 1841 году нанялся на китобойное судно, поднявшее якорь в Нантукете. Капитан оказался сущим зверем; Мелвилл бежал и доплыл до одного из тихоокеанских островов. Пришельца приютили каннибалы-островитяне. Прошло сто дней и сто ночей, прежде чем его взяло на борт австралийское судно. Мелвилл поднял там матросский бунт. К 1845 году он добрался до Нью-Йорка.

На следующий год вышла его первая книга, «Тайпи». В 1851-м появился роман «Моби Дик», прошедший незамеченным. Критика открыла его лишь в двадцатые годы нашего века. Теперь он снискал всемирную славу; белый кит и капитал Ахав заняли место в той разноголосой мифологии, которую называют памятью человечества. В романе немало счастливых и загадочных находок: «Проповедник, пав на колени, молился с таким жаром, что, казалось, он стоит и молится среди бушующих волн». О том, что белизна может пугать, догадывался уже Эдгар По. Кроме него, по страницам этого тома бродят тени Карлейля и Шекспира.

Мелвилл, как и Колридж, часто впадал в отчаяние. Не случайно в его «Моби Дике» царит кошмар.

Любовь к Библии внушила Мелвиллу мысль о его последнем путешествии. В 1855 году он объехал Египет и Палестину.

Его другом был Натаниел Готорн. Почти забытый, Мелвилл скончался в Нью-Йорке в 1891 году.

Опубликованный в 1856 году «Бартлеби» предвещает Кафку. Его обезоруживающий протагонист — загадочный человек, который упорно отказывается от поступков. Автор обходится без объяснений, но наше воображение тут же и с большим сочувствием принимает героя. На самом деле в повести два действующих лица: непреклонный Бартлеби и рассказчик, мирящийся с этой непреклонностью и в конце концов привязывающийся к герою.

«Билли Бада» можно назвать повестью о конфликте между справедливостью и законом. Но этот сюжет отступает перед характером заглавного героя, который убивает человека и до конца не может понять, за что его судят и приговаривают к смерти.

О «Бенито Серено» по-прежнему идут споры. Одни считают его лучшей вещью Мелвилла и одной из лучших вещей в мировой литературе. Другие видят в нем неудачу или даже серию неудач. Иные же убеждены, что Мелвилл оставил нам заведомо непостижимый текст как верный символ непостижимости всего нашего мира.

ДЖОВАННИ ПАПИНИ
«ТРАГИЧЕСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ.
СЛЕПОЙ ПОВОДЫРЬ. СЛОВА И КРОВЬ»

Если есть в нашем столетии пара египтянину Протею, то это Джованни Папини, в иных случаях подписывавшийся именем Джан Фалько, историк литературы и поэт, прагматист и романтик, атеист, а впоследствии — богослов. Лицо Папини нам неизвестно: слишком многочисленны были его маски. Но, может быть, говорить здесь о масках несправедливо. На протяжении своей долгой жизни Папини удавалось с одинаковой искренностью поддерживать абсолютно противоположные идеи. (В наших краях такова была судьба Лугонеса.) Случается, стиль не позволяет автору понизить голос. Как полемист Папини был обязан говорить громко и страстно. Он ниспровергал и «Декамерона», и «Гамлета».

Папини родился во Флоренции в 1881 году. Если верить биографам, он был скромного происхождения, но родиться флорентийцем значит уже унаследовать, помимо сомнительных генеалогических деревьев, замечательную многовековую традицию. Он был читатель-гедонист, движимый радостью чтения, а не понукаемый завтрашним экзаменом. Первым предметом его интереса стала философия. Он перевел и откомментировал книги Бергсона, Шопенгауэра, Беркли. Шопенгауэр говорит о сновиденной сущности жизни; по Беркли, всемирная история — это долгий сон Бога, который ее бесконечно творит и воспринимает. Подобные воззрения не были для Папини простой абстракцией. Их лучами освещены рассказы, составившие эту книгу. Все они относятся к началу века.

В 1912 году он опубликовал свои «Сумерки богов», заглавие которых — вариант «Сумерек идолов» Ницше, заглавие которых — вариант «Сумерек богов» из первой песни «Старшей

Эдды». От идеализма Папини перешел к прагматизму, который соединял психологию с магией и мало чем напоминал Уильяма Джеймса. Спустя несколько лет он счел своим долгом подыскать оправдание фашизму. Грустная автобиография Папини под названием «Конченный» появилась в 1913 году. Его наиболее известные книги — «Жизнь Христа», «Гог и Магог», «Вечноживой Данте», «Дьявол» — писались как шедевры, жанр, требующий от автора известного простодушия.

В 1921 году он с некоторым шумом обратился в католицизм. Умер Папини во Флоренции в 1956 году.

Мне было десять, когда я в скверном испанском переводе прочел «Трагическую повседневность» и «Слепого поводыря». Потом их стерли другие книги. Сам того не подозревая, я работал тогда на будущее. Может быть, забвение есть лишь скрытая форма памяти. В 1969 году я сочинил в Кембридже фантастический рассказ «Другой». Сегодня я с изумлением и признательностью убедился, что мой рассказ повторяет сюжет «Двух лиц в пруду» — истории, которая включена в эту книгу.

АРТУР МЭЧЕН
«ТРИ ОБМАНЩИКА»

В начале того, что один голландский историк туманно именуется Новым временем, всю Европу обошло заглавие книги «De tribus impostoribus»¹, героями которой выступали Моисей, Христос и Магомет и которую встревоженные власти мечтали найти и уничтожить. Этого не случилось по той простой причине, что подобной книги не существовало в природе. Книга-химера оказала заметное влияние на многих, хотя единственным ее достоинством был заголовок и то, что этот заголовок подразумевал, а вовсе не отсутствующие страницы.

По ее подобию книга, лежащая сейчас перед читателем, тоже называется «Три обманщика». Опираясь на Стивенсона, Артур Мэчен написал ее в непринужденной манере, вполне достойной прославленного мастера. События развиваются в том Лондоне чудесных и чудовищных возможностей, который открыт Стивенсоном в «New Arabian Nights»², а позже исследован Честертоном в хрониках отца Брауна. Знание того, что рассказы всех трех героев — выдумка, нисколько не уменьшает настоящего ужаса, которым дышат страницы книги. В конце концов, всякая литература — выдумка; важно чувствовать, что воспринимаешь этот сон взаправду. В других вещах — «The House of Souls», «The Shining Pyramid», «Things Near and Far»³ — догадываешься, что автор не верит собственным рассказам; про страницы меланхолического «Hill of Dreams»⁴, ожидающие читателя ниже, такого не скажешь. Почти на каждой из них, как в некоторых других текс-

¹ «О трех обманщиках» (лат.).

² «Новые сказки Тысячи и одной ночи» (англ.).

³ «Дом духов», «Сияющая пирамида», «Близкое и далекое» (англ.).

⁴ «Холм грез» (англ.).

тах и в «Дон Кихоте», есть сны во сне, погружающие в игру зеркал. Иногда попадаешь в полный хаос; распад сознания оборачивается распадом плоти. Мэчен придумывает легенду об Ангелах из Монса, в самый тяжелый период Первой мировой войны спасших британские войска. Теперь эта легенда — часть народных поверий и ходит по устам простых людей, которые и знать не знают о ее создателе. Оказаться долговечней своего земного имени — думаю, ему бы это понравилось.

Он перевел с французского двенадцать томов не во всем достоверных и отнюдь не всегда распутных «Мемуаров» венецианца Казановы.

Артур Мэчен (1863–1947) родился в горах Уэльса, колыбели «Matière de Bretagne», чьи сны разошлись по всей земле.

В литературах мира немало кратких, почти потайных шедевров. «Три обманщика» — из их числа.

ФРАЙ ЛУИС ДЕ ЛЕОН
«ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ. ПЕРЕЛОЖЕНИЕ КНИГИ ИОВА»

Слово «Библия» — по-гречески это множественное число — означает «книги». Это и вправду библиотека основополагающих книг еврейского народа, составленная без особого хронологического порядка и приписанная Духу, Руах. Она включает в себя космогонию, историю, поэзию, притчи, размышления и пророческое неистовство. Разные авторы относятся к разным эпохам и обитают в разных местах. Для благочестивого читателя все они — лишь писцы на службе Духа, которым проникнуто здесь каждое слово, а если верить каббалистам, то и каждая буква, ее числовое значение и все ее сочетания, как возможные, так и предопределенные. Самый поразительный из этих текстов — «Книга Иова».

Фрауд в 1853 году предсказывал, что в положенный срок эту книгу назовут вершиной всего написанного человеком. Ее тема, вечная тема — несчастья праведника. Иов посреди гноища жалуется и клянет свою судьбу, а друзья пытаются его утешить. Мы ждем доводов, но доводы, дорогие разуму греков, совершенно чужды еврейской душе, и книга ограничивается великолепными метафорами. Спор высок и неукротим. В заключительных главах раздается глас Бога, говорящего из бури и предающего проклятию как тех, кто его винил, так и тех, кто оправдывал. Он говорит, что непостижим и, пользуясь косвенными средствами, уподобляет себя самым диковинным существам: слону (Бегемоту, чье имя, как и в случае с Библией, отсылает ко множественному числу и означает животных, до того он огромен) и киту, или Левиафану. Макс Брод разобрал этот пассаж в «Иудаизме и христианстве». В основе мира — загадка.

Точное время написания этой книги неизвестно. Герберт Уэллс видел в ней великий отклик еврейства на платоновские диалоги.

Ниже публикуется дословный перевод фрая Луиса, его толкование каждого стиха и переложение книги рифмованным восьмисложником в тогдашней итальянской манере. По большей части проза Луиса де Леона отличается образцовой чистотой; еврейскому оригиналу он придает могучую музыку: «При гласе трубы он восклицает „гу-гу“ и уже издали чует битву, крики военачальников и рев солдат».

В настоящий том включена также «Песнь песней», или, как переводит фрай Луис, «Песнь всех песней». Он считает ее пастушеской эклогой и придает ей аллегорический смысл. Женinx здесь — пророческий образ Христа, невеста — Церкви. Земная любовь — эмблема Любви небесной. Думаю, не стоит напоминать, что самые пылкие страницы испанской словесности — а они принадлежат Сан-Хуану де ла Крусy — берут свое начало в этой книге.

ДЖОЗЕФ КОНРАД
«СЕРДЦЕ ТЬМЫ.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ»

Вдохновенная божественной мощью, высшей мудростью и, как ни странно, первой любовью, самая известная среди литературных преисподних — я говорю про дантовский ад — это карательное учреждение в виде поставленной на острие пирамиды, одушевленной тенями итальянских героев и бессмертным одиннадцатисложным стихом. Куда страшней преисподняя из «Heart of Darkness»¹, африканская река, к верховьям которой между тянущихся по берегам развалин и непроходимых чащ поднимается капитан Марлоу и в которой можно угадать перевернутую проекцию отвратительного Курца — цели всего пути. В 1889 году Теодор Юзеф Конрад Коженёвский поднялся по реке Конго до водопада Стенли; в 1902-м уже знаменитый Джозеф Конрад опубликовал в Лондоне «Heart of Darkness», может быть самую захватывающую повесть из всех когда-либо созданных воображением человека. Этой повестью и открывается наш том.

Далее следует не менее драматичная история «The End of the Tether»². Ключ к ней — событие, которое я не стану раскрывать и о котором читателю предстоит шаг за шагом догадываться. Намеки на него есть уже на первых страницах.

Г. Л. Менкен, обычно не щедрый на похвалы, называет «The End of the Tether» одним из самых поразительных рассказов — как коротких, так и длинных, как новых, так и старых — во всей англоязычной словесности. Он сравнивает

¹ «Сердце тьмы» (англ.).

² «Смертельная опасность» (англ.).

две повести, составившие нашу книгу, с музыкальными композициями Баха.

По свидетельству Уэллса, устный английский Конрада был довольно топорным. Но на письме — а это для нас и важно — его язык великолепен и отличается тонким мастерством.

Сын польского повстанца, Конрад родился в ссылке, на Украине, в 1857 году. Умер он в графстве Кент в 1924-м.

АНРИ МИШО
«ВАРВАР В АЗИИ»

С Анри Мишо мы познакомились в 1935 году в Буэнос-Айресе. Я запомнил его приветливым, улыбчивым человеком острого ума, разговаривающим охотно, но без восторженности, слегка ироничным. Ни одного из предрассудков той поры он не разделял. С подозрением относился к Парижу, литературным кружкам, повсеместному тогда культу Пикассо. С тем же беспристрастием и недоверием относился он и к восточной мудрости. Свидетельство тому — его книга «Un barbare en Asie»¹, перевод которой на испанский был для меня не долгом, а игрой. Мишо имел обыкновение пугать нас неприятными известиями из Боливии, где некоторое время жил. В те годы он не подозревал, сколько ему подарит или, верней, каким-то чудом уже подарил Восток. Восхищался картинами Пауля Клее и Джорджо Де Кирико.

Его долгая жизнь была отдана двум искусствам: живописи и литературе. В поздних книгах они идут рука об руку. Китайское и японское понимание поэтических идеограмм, которые создаются не только для уха, но и для глаза, толкнуло его на любопытные поиски. Как и Олдос Хаксли, он пробовал на себе действие наркотиков и проникал в края кошмарных видений, вдохновлявших потом его перо и кисть. В 1941 году Андре Жид выпустил книжечку под названием «Откроем Анри Мишо».

В 1982 году Мишо навестил меня в Париже. Мы обменялись обычными фразами; в его голосе слышалась усталость. Я почувствовал, что этот наш разговор, вероятно, последний.

Даты его рождения и смерти — 1899 и 1984.

¹ «Варвар в Азии» (франц.).

ГЕРМАН ГЕССЕ «ИГРА В БИСЕР»

Взявшись году в 1917-м учить немецкий, я нашел в антологии Бенцмана стихотворение Германа Гессе. Путник проводит ночь на постоялом дворе. Там есть источник. Наутро путник отправляется в дорогу и думает, что вода будет все так же течь после его ухода, а он — вспоминать о ней в далеком краю. Сегодня в Буэнос-Айресе я вспоминаю то стихотворение Гессе. Его книги пришли поздней.

Герман Гессе родился в Вюртемберге в 1877 году. Его родители проповедовали в Индии учение пиетистов. Он побывал механиком и книгопродавцом, служил в антикварной лавке. Как множество других молодых людей, повторял нерешительный гамлетовский монолог и готовился уйти из жизни. В 1899 году вышла его первая книга, сборник стихов; в 1904-м — автобиографический роман «Петер Каменцинд». Современник реализма, символизма и экспрессионизма, Гессе не присягнул ни одной из этих школ. В его творчестве преобладает так называемый *Bildungsroman*¹, иными словами, роман, предмет которого — формирование духа. В 1911 году писатель отправился в Индию, или, точнее сказать, вернулся в нее, ведь он столько лет мечтал об этой стране. В 1912-м обосновался в Швейцарии, в Бернском кантоне. Во время войны Гессе был пацифистом, как Ромен Роллан и Бертран Расселл. Физически и морально поддерживал пленных, интернированных немцами в Швейцарию. В 1919 году вышел его роман «Последнее лето Клингзора», в 1921-м — «Сиддхартха», в 1926-м — «Степной волк». Тремя годами позже Гессе принял швейцарское

¹ Роман воспитания (нем.).

гражданство. Он умер в Монтаньоле, неподалеку от Лугано, в 1962 году.

Из многих книг Гессе «Игра в бисер» («Das Glasperlen Spiel») — самая серьезная по замыслу и объему. Критики отмечали, что игра, о которой идет речь на ее страницах, — лишь развернутая метафора музыки. Ясно, что автор не представлял себе эту игру с достаточной подробностью; иначе она занимала бы читателей больше, чем реплики и тревоги действующих лиц или окружающие их просторы.

КЛАВДИЙ ЭЛИАН «ИСТОРИЯ ЖИВОТНЫХ»

Вопреки названию, которое можно было бы присвоить этой книге, «*De natura animalium*»¹, мало кто до такой степени непохож на зоолога в нынешнем смысле этого термина, как ее автор Клавдий Элиан. Его совершенно не интересуют роды, подразделяющиеся на виды, анатомия животных или их подробное описание. В послесловии он ставит себе в заслугу любовь к знанию, но во втором веке нашей эры это слово включало в себя все сущее, а также все воображаемое или придуманное по его поводу. Разнородный трактат Элиана полон отступлений. Его беспорядок — намеренный. Избегая монотонности и скуки, автор предпочел перемешать различные темы и предложить читателям «что-то вроде цветущего луга». Его занимают обычаи животного мира и моральные качества, примером которых эти обычаи выступают.

Клавдий Элиан воплотил в своей книге лучшую из разновидностей романа — эллинистический роман. Он никогда не покидал пределов Италии, но ни строки не написал по-латыни. Для него авторитетны только греки: напрасно читатель будет искать в книге имя Плиния, учитывая ее предмет, казалось бы, обязательное. Сегодня, через столько веков, этот трактат уже ни за что не отвечает, но способен подарить многое. Клавдий Элиан снискал официальное звание софиста, то есть ратора, имеющего право преподавать риторику и пользоваться ею. О событиях, соткавших узор его биографии, ничего не известно; нам остался лишь его ровный голос, пересказывающий сны.

¹ «О природе животных» (лат.).

ГЮСТАВ ФЛОБЕР «ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ»

Религией Гюстава Флобера (1821–1880) была литература. Он впал в то, что Уайтхед назвал бы наваждением идеального словаря: поверил, будто для каждой вещи в нашем запутанном мире есть предназначенное ей, единственно верное слово, *mot juste*, и долг писателя — это слово найти.

Как в доказанную истину, поверил он и в то, что искомое слово — самое благозвучное. Он никогда не торопил свое перо; в его наследии нет ни одной небрежной, неотшлифованной фразы. Ему хотелось и удавалось быть честным, а нередко и по-настоящему увлеченным писателем. «Проза родилась недавно, — писал он. — Стихотворная форма — достояние древних литератур. Возможности стиха исчерпаны; другое дело — проза». И в другом письме: «Роман еще ждет своего Гомера».

Самая поразительная из многочисленных флоберовских книг — «Искушение святого Антония». Источниками его вдохновения были старая пьеса для театра марионеток, картина Брейгеля, байроновский «Каин» и гётевский «Фауст». В 1849 году, после полутора лет упорного труда, Флобер пригласил к себе ближайших друзей Буйе и Дюкана и с воодушевлением прочел им гигантскую рукопись объемом свыше пятисот страниц. Чтение вслух продолжалось четыре дня. Последовал не подлежащий обжалованию приговор: бросить книгу в огонь и постараться не вспоминать о ней. Друзья посоветовали Флоберу подыскать тему попроще, без лирики. Покорившись, Флобер написал «Госпожу Бовари», которая и вышла в свет в 1857 году. Что касается рукописи, то смертный приговор приведен в исполнение не был. Флобер ее переписал и сократил. А в 1874 году все-таки напечатал.

Эта книга написана со сценическими ремарками, как пьеса. К счастью для нас, она обходится без излишней шепетильности, которая сковывает и портит остальные флоберовские вещи. Фантасмагория относится к третьему веку христианской эры, а говорит о девятнадцатом. Святой Антоний — это опять-таки Флобер. В увлекательных и блестящих последних пассажах отшельник хочет стать всем — наподобие Браммы или Уолта Уитмена.

Альбер Тибодэ назвал «Искушение» гигантским «цветком зла». Как бы посмотрел на эту смелую и неуклюжую метафору сам Флобер?

МАРКО ПОЛО «ОПИСАНИЕ МИРА»

Одно из центральных событий нашей истории — открытие Востока (поразительное слово, объединяющее утро и столько разных прославленных народов). Геродот, Александр Македонский, Библия, Васко да Гама, «Тысяча и одна ночь», Клайв и Киплинг — вот несколько этапов этого приключения, которое не закончилось и по сей день. Еще один этап (по Мейсфилду, самый важный) — лежащая перед читателем книга.

К счастью для всех нас, генуэзцы захватили в 1296 году венецианскую галеру. Ею командовал человек, непохожий на других, поскольку много лет провел на Востоке. Этот человек — его звали Марко Поло — продиктовал на латинском языке своему товарищу по плену, пизанцу Рустичано, длинную хронику собственных путешествий и описание царств земли, которые ему довелось посетить. Тюрьмы всегда покровительствовали литературе: вспомним Верлена и Сервантеса. То, что текст диктовали по-латыни, а не на местном наречии, означало, что автор обращался к широкому читателю. Марко Поло был купцом, но купцы в Средние века нередко становились Синдбадами. По шелковому пути, трудному пути, который обременяли собой древние караваны, чтобы кусок разрисованной ткани попал в руки Вергилия и внушил ему известный гекзаметр, Марко Поло, пересекая горы и пустыни, добрался до Китая, Поднебесной, где его облагодетельствовал сам Император, удостоив нашего героя сложнейших поручений и назначив его правителем области Сун. Он был искусен в письме и владел многими языками.

Марко Поло знал: воображаемое людьми столь же реально, как то, что именуют реальностью. Его книга изобилует чудесами. Перечислю первое, что приходит в голову: кре-

постную стену, воздвигнутую Александром для защиты от татар, искусственный рай Горного Старца Хассана ибн Саббаха, страну, откуда можно и нельзя увидеть царство тьмы, полную несметных сокровищ башню, где царь умирает от голода, демонов пустыни, принимающих обличье и говорящих голосом друга, чтобы сбить странника с пути, гробницу Адама на вершине горы, тигров черного цвета...

Героев в этой книге — два. Один — Император монголов хан Хубилай, Кубла-хан из тройного колриджевского сна. Другой, который не бросается в глаза, но и не таится, — сдержанный и любознательный венецианец, послуживший им всем и обессмертивший себя своим пером.

МАРСЕЛЬ ШВОБ «ВООБРАЖАЕМЫЕ ЖИЗНИ»

Подобно тому испанцу, который под воздействием книг превратился в «Дон Кихота», Марсель Швоб, прежде чем сделать своей судьбой и обогатить своими произведениями литературу, был замечательным читателем. На долю ему выпала Франция, самая литературная из стран мира. На долю ему выпал девятнадцатый век, не желавший ни в чем уступать предшествовавшему. От предков-раввинов Швоб унаследовал одну из традиций Востока, соединив ее с многочисленными традициями Запада. Пространства бездонных библиотек всегда были для него своими. Он изучил греческий и перевел Лукиана Самосатского. Как многие французы, был влюблен в англоязычную словесность. Безраздельно обожал Уитмена и По. Увлечен средневековым арго, которым орудовал Франсуа Вийон. Открыл и перевел роман «Молль Флендерс», который наверняка немало научил его в редком искусстве изобретать.

Его «Воображаемые жизни» написаны в 1896 году. Он придумал для них занятный метод. Главные герои реальны, тогда как обстоятельства действия выдуманы, а порою и просто фантастичны. Эта двойственность и придает книге неповторимый вкус.

Почитатели Марсея Швоба существуют во всем мире, составляя небольшие тайные общества. Он не искал славы и вполне сознательно писал для избранных, для *harry few*. Посещал кружки символистов, дружил с Реми де Гурмоном и Полем Клоделем.

В 1935 году я написал немудреную книгу под названием «Всемирная история бесславья». Одним из многочисленных и до сих пор не замеченных критикой источников для нее послужили «Воображаемые жизни» Марсея Швоба.

Его жизнь уместилась между годами 1867-м и 1905-м.

ИДЕН ФИЛПОТС «РЫЖИЙ РОД РЕДМЕЙНОВ»

Иден Филпотс как-то сказал: «Если верить нескромным каталогам Библиотеки Британского музея, я — автор ста со-рока девяти книг. Раскаиваюсь, признаю и удивляюсь».

«Самый английский из английских писателей», Иден Филпотс был еврейского происхождения и родился в Индии. Не отвергая наследия предков, он, в отличие от Исаэля Зангвилла, никогда не исповедовал иудаизм. В 1867 году его отец, капитан Генри Филпотс, отправил пятилетнего сына в Англию. В четырнадцать тот впервые пересек Дартмурскую равнину, туманную и каменистую пустошь в центре графства Девоншир. (Загадки творческого процесса: этот предпринятый в 1876 году утомительный переход в восемь лиг длиной стал основой практически всех его будущих книг, первая из которых, «Дети туманов», вышла в свет в 1897-м.) В восемнадцать он перебрался в Лондон, надеясь и стремясь стать великим актером. Публике удалось его разубедить. Годы с 1880-го по 1891-й были отданы неблагодарной конторской службе. По ночам он писал, перечитывал, вычеркивал, усиливал, заменял, бросал в огонь. В 1892-м он женился.

Известность Идена Филпотса — слава здесь слишком громкое слово — была умеренной. Скромный человек, не утомлявший и без того утружденный Атлантический океан, чтобы разразиться циклом лекций, он умел поговорить с садовником о будущем левкоев или гиацинтов и всегда мог рассчитывать на молчаливых читателей, ждавших его книги в Абердине, Окленде, Ванкувере, Симле и Бомбее. Молчаливых англоязычных читателей, иногда писавших ему, чтобы засвидетельствовать точный штрих в изображении осени или — совершенно серьезно — пожалеть о трагической

развязке сюжета. Читателей, которые со всех концов мира присылали мельчайшие семена для английского сада Идена Филпотса.

Его романы можно разбить на три группы. В первую, несомненно самую важную, входят вещи дартмурского цикла. Из этих региональных романов достаточно назвать «Суд присяжных», «Детей зари», «Сынов человеческих». Вторая — исторические романы: «Эвандр», «Сокровища Тифона», «Драконгелиотроп», «Друзья луны». Третья — романы детективные: «Мистер Дигвид и мистер Лэм», «Врачу, исцелися сам», «Серая комната». Их сжатость и точность поразительны. Лучший, по-моему, «The Red Redmaynes». Еще один, «Bred in the Bone» («Прирожденная страсть»), начинается как детектив и перерастает в трагедию. Это смешение (или замешательство) — черта очень филпотсовская.

Кроме того, он автор пьес — некоторые из них написаны вместе с дочерью, другие с Арнолдом Беннетом — и стихотворных книг: «Сто один сонет», «Родник под яблоней».

Однажды мне пришлось (не всегда с должным усердием) прочесть несколько сотен детективных романов. Ни один не заинтриговал меня так, как «The Red Redmaynes», сюжет которого повторил потом с некоторыми вариациями Никлас Блейк в своем «There's Trouble Brewing»¹. В других книгах Филпотса разгадка очевидна с самого начала; она не важна, поскольку история и так завораживает. Другое дело — этот том, втягивающий читателя в увлекательнейшие хитросплетения.

¹ «Жди неприятностей» (англ.).

СЁРЕН КЬЕРКЕГОР «СТРАХ И ТРЕПЕТ»

Сёрен Кьеркегор, чье пророческое имя вполне подошло бы кладбищу (Churchyard), родился в Копенгагене в 1813 году и умер там же в 1855-м. Его считают основателем или, точнее, родоначальником экзистенциализма. Куда меньше своих потомков стремившийся блистать на публике, Кьеркегор вел жизнь отшельническую, замкнутую. Его, как и другого прославленного датчанина, принца Гамлета, часто посещали сомнение и меланхолия — старинное слово, которому он придал новый трепет. Кьеркегор был не столько философом, сколько богословом, и не столько богословом, сколько красноречивым, тонко чувствующим человеком. Приверженец евангелического лютеранства, он отвергал доказательства существования Бога и вочеловечения Иисуса, которые с позиций разума считал абсурдными, а главным для любого христианина считал акт личной веры. Не признавал беспрекословный авторитет Церкви и отстаивал право каждого на выбор. Не принимал диалектику — и диалект — Гегеля. Холостяцкая биография Кьеркегора богата не внешними фактами, а размышлениями и молитвами. Вера была самой сильной из его страстей. Его неотступно преследовало жертвоприношение Авраама.

Некая газетка опубликовала карикатуру, выставившую Кьеркегора в смешном свете; он признался, что настоящая цель его жизни, может быть, и заключалась в том, чтобы спровоцировать подобную карикатуру. Паскаль больше всего на свете дорожил спасением своей души; Кьеркегор же однажды написал: «Даже если после Страшного суда в аду будет лишь один осужденный и этим осужденным выпадет

стать мне, я из бездны восславлю божественную справедливость».

Унамуно выучил датский, чтобы читать Кьеркегора в подлиннике, и подтверждал, что труд того стоит.

На одной из страниц, облюбованной составителями антологий, Кьеркегор воздает скромную хвалу родному языку, который многие считали негодным для философских споров.

ГЕНРИ ДЖЕЙМС
«УРОК МАСТЕРА. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ.
РИСУНОК НА КОВРЕ»

Старший сын богослова, носившего то же имя и оставившего безжалостный кальвинизм ради духовидческого учения Сведенборга, Генри Джеймс родился в Нью-Йорке в 1843 году. Отец хотел, чтобы его сыновья выросли не просто американскими провинциалами, а гражданами мира. Генри и его брат Уильям получили безупречное европейское образование. Генри Джеймс с самого рождения знал, что в этой жизни он — наблюдатель, а не деятель. Читая его книги, убеждаешься, что наблюдатель он тонкий и изобретательный. Он всегда верил, что американцы уступают европейцам по уму, но выше их душой. Пьесы у него не получались, зато романы и новеллы удавались превосходно. В отличие от Конрада или Диккенса он не был творцом характеров; он выстраивал обдуманно двусмысленные, сложные ситуации, открытые для непредсказуемых, едва ли не бесконечных прочтений. Его книги, его многочисленные книги созданы для неторопливого наслаждения анализом. Он исповедовал любовь к Англии, Италии и Франции, но не к Германии. Написал, что Париж — это светоч, горящий для всех влюбленных земли. Он умер в Лондоне перед самым концом Первой мировой войны, в 1916 году.

Джеймс открыл, что жизнь писателя может стать для прозаика прекрасной темой. Читатель трех входящих в этот том повестей убедится: владение словом — занятие ничуть не менее увлекательное и любопытное, чем владение оружием, дорогое эпическим поэтам. Стиль первой проникнут иронией. Вторая невероятна и фантастична; как известно, она навеяна последними годами жизни Роберта Браунинга. Третья — своего рода символ всего обширного джеймсовского наследия.

ГЕРОДОТ «ИСТОРИЯ В ДЕВЯТИ КНИГАХ»

Пространство измеряется временем. Прежний мир был шире нынешнего, и тем не менее Геродот отправился в путь за пять веков до рождения Христа. Дорога привела его в Фессалию и бескрайние степи скифов. Он проплыл вдоль черноморских берегов до устья Днепра. Прodelал трудный и опасный путь из Сард в Сузы, столицу Персии. Посетил Вавилон и Колхиду, к которой стремился Язон. Был в Гресе. Остров за островом обследовал греческий архипелаг. В Египте он беседовал с жрецами храма Гефеста. Боги были для Геродота всюду теми же, лишь имена от языка к языку менялись. Проплыл по священным водам Нила, вероятно, до первых порогов. Забавно, что Дунай показался ему репликой Нила, его перевернутым отражением. Он видел на полях сражения головы персов, отрубленные Инаром. Видел сфинксов, тогда еще юных. Грек, он исповедовал любовь к Египту, «чудеснейшему из краев земли». В этом краю ему открылся древний, неспешный ход времени; он перечисляет триста сорок одно поколение людей, их царей и священников. Он приписал египтянам деление года на двенадцать месяцев, каждым из которых правит свой бог.

Ему выпало жить в век Перикла, который позднее увековечил Вольтер.

Он дружил с Софоклом и Горгием.

Цицерон, помнивший, что греческое слово «история» отсылает к исследованию и проверке, назвал Геродота Отцом Истории. В самом удачном из своих эссе, увидевшем свет в начале 1842 года, Де Куинси славит его с жаром и искренностью, которые сегодня принято обращать к современным, но уж никак не к древним авторам. Де Куинси видит в нем

первого энциклопедиста, первого этнолога и географа. Он присваивает ему имя Отца Прозы, а она, по мнению Колриджа, должна была поражать людей куда больше, чем поэзия, которая ей во всех литературах предшествовала.

В этом эссе Де Куинси называет девять книг «Истории» *Thesaurus fabularum*¹.

¹ Сокровищница сказаний (*лат.*).

ХУАН РУЛЬФО
«ПЕДРО ПАРАМО»

Эмили Дикинсон считала, что публикация — не главное в писательской судьбе. Видимо, того же мнения держался и Хуан Рульфо. Преданный чтению, одиночеству и рукописям, которые без конца пересматривал, правил и уничтожал, он выпустил свою первую книгу — «Равнина в огне» (1953), — почти достигнув сорокалетия. И то настойчивому другу Эфрену Эрнандесу пришлось силой отобрать у него написанное, чтобы отдать наборщику. Этот цикл из девятнадцати рассказов как бы предваряет лежащий сейчас перед читателем роман, прославивший его потом в стольких странах и на стольких языках. Стоит рассказчику в поисках Педро Парамо, своего отца, столкнуться с незнакомцем, объявляющим, будто он — брат героя и у них в деревне все носят имя Парамо, как читатель понимает: он — внутри фантастического текста, чьи развилки невозможно предугадать, но чьему притяжению нет сил противиться. Критики прочитали роман по-разному. Может быть, яснее и тоньше других был Эмир Родригес Монегаль. К истории, географии, политике, технике Фолкнера, а также некоторых русских и скандинавских писателей, социологии и символизму обращались многие исследователи этой книги, но никому и по сей день не удалось, воспользуясь редкой метафорой Джона Китса, раззять радугу.

«Педро Парамо» — один из лучших романов в испаноязычных литературах и в литературе как таковой.

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ «РАССКАЗЫ»

Среди новелл этой книги нет, по-моему, ни одной, которая не была бы маленьким и абсолютным шедевром. Ранние на вид бесхитростны, поздние явно сложны и многозначны. Ни те ни другие не лучше, они разные. «Ворота Ста Печалей», относящиеся к юности Киплинга, ничем не уступают поразительной истории о римском солдате, который, сам того не ведая и не желая, превращается в Христа. В любой из них автор с изощренным простодушием рассказывает сюжет, как будто совершенно его не понимая, и прибавляет расхожие соображения, вызывающие несогласие читателя.

Истинный масштаб Киплинга заслонили неблагоприятные обстоятельства. Он открыл Британскую Империю непохожей на нее, а отчасти и враждебной ей стране — Англии. Социалисты Уэллс и Шоу в некотором ошеломлении поглядывали на неизвестно откуда взявшегося юнца, который навязывал им непонятный Индостан и проповедовал, будто Империя есть долг и бремя белого человека. К несчастью, даже они впали в ошибку, судя этого одареннейшего человека по его политическим высказываниям. Их дурной пример породил множество последователей; понятие ангажированной литературы стало расхожим.

Редьярд Киплинг родился в Бомбее, которому с изяществом посвятил свою первую книгу стихов «The Seven Seas»¹. Хинди он узнал раньше, чем английский, и до последнего дня сохранил способность думать на двух языках. Один сикх говорил мне, что рассказ «Война сахибов» явно написан на местном наречии, а потом переведен на английский. Киплинг всегда исповедовал культ Франции, которая

¹ «Семь морей» (англ.).

и вспоминает его сегодня с куда большей привязанностью, чем родная Англия. В школе его заставили учить латынь. Сначала он возненавидел Горация, которого должен был зубрить наизусть; через много лет Гораций помог ему переносить долгие бессонные ночи. Окруженный славой, Киплинг оставался человеком закрытым и одиноким. Его автобиография «Something of Myself»¹ точно соответствует своему заглавию: нам и впрямь рассказывают лишь кое-что, в общем немного. Мы не найдем у него признаний, которые так зачаровывают психоаналитиков; эта сдержанность уклончивого человека делает его намного понятней. Старший сын Киплинга погиб в Первую мировую. Он был одним из ста тысяч добровольцев, отправленных Англией во Францию. Киплинг оплакал его смерть в тексте, действие которого перенесено в Древний Рим. Столь обширное наследие, как киплинговское, предполагает множество радостей и бед, о которых мы никогда не узнаем и не должны знать.

Киплинг, как и Гюго, прекрасно рисовал; среди доказательств этого — иллюстрации китайской тушью к «Just so stories»².

Джордж Мур сказал, что Киплинг — единственный из английских авторов после Шекспира, который использовал весь словарь целиком. Этим словесным богатством он сумел распорядиться без педантизма. Каждая его строка взвешена и отделана с неторопливой тщательностью. Вначале его темами были море, звери, авантюристы и солдаты; в конце — болезни и возмездие.

Киплинг умер в 1936 году после повторной операции раковой опухоли. Одним из его последних стихотворений стал «Гимн физической боли», «дающей душе забыть обо всех других преисподних».

За долгие годы моей долгой жизни я, наверное, сотни раз читал и перечитывал рассказы, составившие эту книгу.

¹ «Кое-что о себе» (англ.).

² «Настоящие истории» (англ.).

ДАНИЕЛЬ ДЕФО
«РАДОСТИ И ГОРЕСТИ
ЗНАМЕНИТОЙ МОЛЛЬ ФЛЕНДЕРС»

Если не ошибаюсь, главной находкой Даниеля Дефо (1660–1731) было изобретение деталей обстановки, о которых практически не ведала прежняя литература. Запоздалость этого открытия нельзя не отметить: насколько помню, во всем «Дон Кихоте» ни разу не идет дождь. Кроме этой искусности, как сказал бы Унамуно, труды Дефо отличаются постоянным вниманием к привлекательным и отнюдь не безгрешным героям, а также редкой благожелательностью стиля, лишенного самомаleastейшей спеси. По мнению Сентсбери, творчество Дефо — переходный этап между приключенческим и так называемым психологическим романом; в нем и вправду смешаны тот и другой. «Дон Кихот» — это не только характер главного героя, но и испытания, которые он переносит; «Робинзон Крузо» (1719) — не только простой моряк немецкого происхождения, строящий себе дом на необитаемом острове, но и цепенящий холод при виде отпечатка босой ступни на прибрежном песке. Кстати говоря, в бристольском порту у Дефо был долгий разговор с Александром Селкирком, который четыре года и четыре месяца прожил на острове Хуан Фернандес, к западу от Чили, и стал прототипом Крузо. Еще он беседовал на ступенях виселицы с дорожным разбойником Джеком Шеппардом, повешенным в возрасте двадцати двух лет, и написал его биографию.

Племянник помещика и сын мясника, Даниель Дефо родился в Лондоне. Его отец подписывался просто Фо; Даниель предусмотрительно добавил себе аристократическую частицу. Он получил безупречное воспитание в диссидентском колледже. По торговым делам посетил Португалию, Испанию, Францию, Германию и Италию. Ему приписывали памфлет против турок. Он основал галантерейную лавку.

Узнал разорение, тюрьму и позорный столб, которому посвятил гимн. Не чурался шпионажа, работая на объединение королевств Англии и Шотландии. Защищал идею регулярной армии. Не подчиняясь никакой партийной дисциплине, не ладил ни с консерваторами, ни с либералами. На трон взошел Вильгельм Оранский; его обвиняли в том, что он не чистокровный англичанин. В написанной энергичным десятисложником листовке Дефо выдвинул довод, что разговоры о чистокровных англичанах — чистейшее *contradictio in adjecto*, поскольку в Англии, сточной канаве Европы, перемешаны все народы континента. В этом любопытном стихотворении есть строки:

The roving Scot and bucaneeing Dane,
whose red hair offspring verywher remain.
(Мародер-шотландец и пират-датчанин,
чье рыжеволосое потомство рассеяно по всему миру.)

Выходка стоила ему пенсии. В 1706 году он опубликовал памфлет под титулом «Подлинная картина явления Телячьей богоматери».

Африканские «Приключения капитана Сингльтона» при всех различиях в стиле предвосхищают будущие романы Райдера Хаггарда.

Среди занятий Дефо была и демонология; его «Политическая история дьявола» вышла в свет в 1726 году.

Нас не может не поразить, что осторожничающий испанский плутовской роман, избегавший всего телесного, оказался среди далеких предков «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс» (1721) с ее пятью мужьями, кровосмесительством и многими годами тюремного заключения.

На французский эту книгу перевел Марсель Швоб; ее хвалил и анализировал Форстер.

ТОМАС ДЕ КУИНСИ
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИММАНУИЛА КАНТА
И ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ»

Де Куинси — ни одному писателю на свете я не обязан столькими часами счастья. Я прочел его в Лугано; помню, как расхаживал по берегам ясного и широкого средиземноморского залива, во весь голос скандируя слова «The Central darkness of a London brothel»¹, подавлявшие красотой.

Я прочел Де Куинси в 1918 году, в конце войны. Доходившие до нас тогда страшные известия казались мне куда менее реальными, чем трагическое разрешение загадки фиванского сфинкса или бессмысленные поиски Анны на Оксфорд-стрит, в гуще толпы, чьи лица наполнили потом сны Де Куинси, или его исследование преимуществ и неудобств умереть летом. В тринадцать лет он бегло и выразительно говорил по-гречески. Был одним из первых читателей Вордсворта. Одним из первых в Англии освоил неистощимый немецкий язык, в те времена — едва ли не тайный. Как и Новалис, он мало ценил Гёте. Зато исповедовал — может быть, слишком горячо — настоящий культ Жан-Поля. Признавался, что не может жить без тайны; найти загадку было для него не менее важно, чем отыскать решение. Он глубоко чувствовал музыку, особенно итальянскую. Современники вспоминали его как обходительнейшего из людей; кажется, он был готов, *more socratico*², беседовать с каждым. Был очень застенчив.

В сорока томах его сочинений нет ни единой строки, которая не повиновалась бы автору, как верный инструмент. От иных слов — например, *consul romanus*³ — он загорался.

Если исключить повесть «Клостерхейм» и известный диалог о политической экономии, дисциплине, которая мне не

¹ Средоточье мрака лондонских лупанариев (англ.).

² По образцу Сократа (лат.).

³ Римский консул (лат.).

по силам, все страстное и гигантское наследие Де Куинси составляет эссеистика. Эссе было в ту пору сжатой и увлекательной разновидностью ученой монографии. Изю всего множества страниц «Тысячи и одной ночи» Де Куинси через многие годы вспомнил ту, где чародей, припав ухом к земле, слышит бесчисленный гул топчущих ее ступней и безошибочно узнает шаги одного-единственного человека, китайского мальчика, которому предназначено найти чудесную лампу. Я напрасно искал этот эпизод в переводах Галлана, Лейна и Бертонна и пришел к выводу, что передо мной — невольный подарок Де Куинси, чья деятельная память обогатила и приумножила прошлое.

Интеллектуальное наслаждение и наслаждение эстетическое идут в его прозе рука об руку.

**РАМОН ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА
«ПРЕДИСЛОВИЕ К СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЙ
СИЛЬВЕРИО ЛАНСЫ»**

Как всем известно, Гомес де ла Серна не раз держал речь, вскарабкавшись на спину слона или на трапецию под куполом цирка. (Слова, которые с трапеции произносились, могли быть незабываемыми, но в любом случае уступали тому продуманно единственному в своем роде факту, что к нам обращаются с трапеции.) Он имел обыкновение пользоваться красными чернилами, а данное ему при крещении имя Рамон выводил заглавными буквами на манер колдовской тайнописи. Он был, несомненно, человеком одареннейшим и, казалось, мог обойтись без этих пустяков. Но почему бы не видеть в них игру — великодушную игру, вплетенную в совсем другую игру нашей жизни и смерти?

Дон Рамон родился в Мадриде в 1888 году. Гражданская война забросила его в Буэнос-Айрес, где он в 1963 году и умер. Подозреваю, что Буэнос-Айреса он даже не видел, всегда и всюду нося с собою свой Мадрид, как Джойс — свой Дублин.

«La note me suffit» (с меня достаточно заметки), — писал Жюль Ренар, чьи «Regards»¹, может быть, внушили нашему автору его многоцветные грегории, которые Фернандес Морено сравнивал с пузырьками игристых вин. Каждая из них — мгновенное озарение. Гомес де ла Серна придумывал их без малейшего труда.

Первой из его книг я прочел ту, которая лежит сейчас перед читателем. Автор в ней не говорит, что пепельница заполнена пеплом сигар, которые двое друзей выкурили

¹ «Картины» (франц.).

на закате; он говорит, что она полна пеплом нашей ежевечерней смерти.

Дон Рамон оставил нам добрую сотню томов. Вспоминаю его автобиографию 1948 года под занятным титулом «Авто-смертография». Его жизнеописания знаменитых испанских художников. По-моему, он первым отметил фантастический характер сцен тавромахии у Гойи.

РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН
«НОВЫЕ СКАЗКИ ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ.
МАРКХЕЙМ»

Как-то вечером на улице Майпу меня остановил незнакомец.

— Борхес, хочу поблагодарить вас за одну вещь, — сказал он. Я спросил какую.

— Вы открыли мне Стивенсона.

Я почувствовал себя обеленным и счастливым. Уверен, читатель этой книги разделит мое удовольствие. Открытие Стивенсона — как Монтеня, как сэра Томаса Брауна — одна из неиссякаемых радостей, которые способна подарить литература.

Роберт Луис Стивенсон родился в Эдинбурге в начале 1850 года. Его предки-инженеры строили маяки; известная строка увековечивает возведенные ими башни и зажженные ими огни. Его жизнь была трудной и мужественной. Как написал один из его друзей, он до конца сохранил волю к улыбке. Туберкулез гнал его из Англии на берега Средиземного моря, из Средиземноморья в Калифорнию и, наконец, из Калифорнии — в другое полушарие, на Самоа. Аборигены звали его Тузитала, сказитель; Стивенсон писал во всех жанрах, включая молитву, сказку и лирику, но потомки предпочли запомнить его рассказчиком. Он ушел от кальвинизма, но вслед за индусами верил в то, что миром правит единый нравственный закон и что любой подлец, тигр и муравей знают пределы, которые не должны переступить.

В 1891 году Эндрю Лэнг прославил «приключения принца Флористана в Лондоне, городе из волшебной сказки». Этот фантастический Лондон двух первых новелл нашей книги пригрезился Стивенсону в 1882 году. В первое десятилетие следующего века его разведку, к счастью для нас, продолжил отец Браун. Стиль Честертона — воплощенное барокко, у Стивенсона он классичен и смягчен иронией.

Двойник, чей образ дарила бесчисленным поколениям живущих гладь стекла и воды, всегда занимал Стивенсона. У него есть четыре вариации на эту тему. Первая — забытая теперь комедия «Deacon Brodie»¹, написанная в соавторстве с У. Э. Хенли, герой которой — краснодеревщик и вместе с тем вор. Вторая — аллегорическая повесть с непредвиденным и роковым концом «Маркхейм». Третья — «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», сюжет которой явился ему в страшном сне. Эту историю многократно экранизировали; режиссеры всякий раз отдадут обе роли одному актеру, что разрушает неожиданность финала. Четвертая — баллада «Тикондерога», где двойник, fetch, ищет своего хозяина, highlander'a, чтобы довести его до гибели.

Роберт Луис Стивенсон — один из самых честных, самых изобретательных и самых страстных писателей в мировой литературе. Андре Жид написал о Стивенсоне: «Если жизнь опьяняла его, то как легкое шампанское».

¹ «Дьякон Броуди» (англ.).

«БХАГАВАДГИТА. СКАЗАНИЕ О ГИЛЬГАМЕШЕ»

Перед нами две прославленные поэмы азиатских литератур. Одна — «Бхагавадгита», ее название можно перевести как «Песнь Бога» или «Песнь Благословенного». Она создана во втором или третьем веке до нашей эры. Имя автора неизвестно; индусы обычно приписывают произведения своей словесности богам, сектам, героям сказаний или попросту Времени — гипотеза, достойная внимания, но пугающая эрудитов. Поэма насчитывает семьсот строк и входит в «Махабхарату», насчитывающую двести двенадцать тысяч. В ней сражаются две армии; герой Арджуна колеблется, вступить ли ему в бой, поскольку боится принести смерть своим родителям, друзьям и наставникам, которые выступают за армию противника. Возничий побуждает его следовать долгу, предписанному кастой. Заявляет, что мироздание призрачно, а значит, призрачна и война. Душа бессмертна, со смертью плоти она переселится в другие существа. Ни крах, ни триумф значения не имеют; главное — исполнить долг и достигнуть нирваны. Потом раскрывается, что в его облике был Кришна, чье имя — одно из тысячи имен бога Вишну. Одному из пассажей, где утверждается единство противоположностей, поздней подражали Эмерсон и Шарль Бодлер. Забавно, что хвала войне доходит до нас из Индии. В «Бхагавадгите» сталкиваются шесть школ индуистской философии.

Вторая включенная в этот том поэма — эпоея о Гильгамеше. Перед нами — первая из эпоей мира, и, может быть, не только в хронологическом смысле. Она была создана или составлена четыре тысячи лет назад. Ее текст записан на двенадцати табличках, сохранившихся в прославленной библиотеке царя Ашшурбанипала. Число табличек не случайно, а соответствует астрологическому порядку повествования.

Героев поэмы — двое: царь Гильгамеш и дикий, невинный человек по имени Энкиду, вместе с газелями бродящий по лугу. Он был создан богиней Аруру для того, чтобы убить Гильгамеша, но они стали друзьями и пережили приключения, напоминающие двенадцать подвигов Геракла. Кроме того, в поэме предвосхищается спуск в подземную обитель Аида из будущей «Одиссеи», спуск Энея и Сивиллы и даже «Комедия» Данте. Гибель великана Хумбабы, который сторожит кедровый лес и чье тело покрыто шершавыми листьями бронзы, — одно из множества чудес в этой многоликой поэме. Ее главные темы — печальная участь ушедших и поиски личного бессмертия. Я бы сказал, что в этой вавилонской книге есть уже все. Ее страницы внушают ужас перед тем, что древнее всего на свете, и дают почувствовать неуследимый бег Времени.

ХУАН ХОСЕ АРРЕОЛА «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»

Казалось бы, я не верю в свободу воли. И тем не менее, если бы мне пришлось определять Хуана Хосе Арреолу каким-то словом, кроме его собственного имени (а к этой условности нас, в конце концов, никто не приговаривал), я бы не обинуясь выбрал слово «свобода». Свобода неограниченного воображения, которым правит только одно: ясный ум. Его книга, вошедшая в себя вещи 1941, 1947 и 1953 годов, называется «Выдумки на любой вкус», и это заглавие можно отнести ко всему им написанному.

В эпоху самого недоверчивого и самого меднолобого национализма Хуан Хосе Арреола, пренебрегая обстоятельствами истории, географии и политики, не устает всматриваться в мир и его фантастические возможности. Из рассказов, вошедших в этот том, меня особенно поразил «Зачарованный миллиграм», который наверняка заслужил бы благосклонность Свифта. Как всякая хорошая новелла, она доступна множеству разных и даже взаимоисключающих толкований; что здесь бесспорно, это сила ее воздействия. Гигантская тень Кафки падает на самый известный рассказ Арреолы, «Стрелочник», но у Арреолы есть детскость и веселость, несвойственные его наставнику, в котором чувствуется иногда что-то механическое.

Насколько мне известно, Хуан Хосе Арреола не служит ни одному из направлений и не принадлежит ни к одному из микроскопических кружков, так завораживающих кафедры и историков литературы. Он отдается на волю своего воображения ради собственного удовольствия и удовольствия всех нас.

Арреола родился в Мексике в 1918 году. Но мог бы родиться в любом другом месте и веке. Я несколько раз встречался с ним; помню, однажды вечером мы обсуждали последние приключения Артура Гордона Пима.

ДЕЙВИД ГАРНЕТТ
«ЖЕНЩИНА-ЛИСИЦА. ЧЕЛОВЕК В ЗООПАРКЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МОРЯКА»

Я не буду предаваться бесполезному исследованию трех повестей, составивших эту книгу, не стану даже силиться, говоря словами Китса, «разъять радугу». Пусть их сила коснется читателя помимо пересказа — таинственно и напрямую. В случае с Гарнеттом, как и во всех других случаях, сюжет значит ничтожно мало. Что в самом деле важно, это способ повествования, передающие его слова и ритмы. Изложи мы в нескольких словах самую знаменитую из новелл Кафки, получилось бы что-то вроде «Lady into Fox»¹. Тем не менее это два совершенно разных текста. Кафка безнадежен и мрачен; Гарнетт ведет рассказ с мягкой иронией и точностью прозаиков восемнадцатого века. Тигр — символ пугающего изящества, пишет Честертон. Эта эпиграмма, позднее вполне применимая к Бернарду Шоу, замечательно подошла бы Гарнетту.

Дейвид Гарнетт был наследником давней литературной традиции. Его отец, хранитель Британского музея Ричард Гарнетт, оставил короткие и тщательные биографии Милтона, Колриджа и Карлейля, а также историю итальянской литературы. Мать, Констанс Гарнетт, перевела на английский сочинения Гоголя, Достоевского и Толстого.

Его последние книги, среди которых многочисленные романы и объемистая автобиография с ироническим названием «The Golden Echo»², не превосходят первых, которым он и обязан своей известностью.

¹ «Превращенная в лисицу» (англ).

² «Золотое эхо» (англ).

Две первые повести в этом томе — фантастические. Все в них описанное происходит и навсегда остается исключительно в воображении. Последняя, «The Sailor's Return»¹, — реалистическая. Остается лишь надеяться, что ничего из рассказанного в ней никогда не происходило, настолько оно правдоподобно и мучительно.

Эти истории принадлежат к самому древнему из литературных жанров — кошмару.

¹ «Возвращение моряка» (англ.).

ПОЛЬ ГРУССАК «ЭССЕ О ЛИТЕРАТУРЕ»

Поль Грассак родился в 1848 год в Тулузе, на родине известного правоведа Жака Кюжá. Причины, подвигнувшие его перебраться в Южную Америку, неизвестны. Он приплыл в Буэнос-Айрес восемнадцатилетним. За свою жизнь он перебивал пастухом, учителем, инспектором министерства образования, директором педагогического училища в Тукумане и всегда оставался неутолимым, любознательным читателем. В 1885 году его назначили директором Национальной библиотеки — пост, который он сохранил вплоть до смерти, последовавшей в 1929 году. Самыми близкими его друзьями были Сантьяго де Эстрада, Карлос Пельегрини и Альфонс Доде. Для Клемансо он перевел киплингское «If»¹.

В наследии Грассака преобладает полемика — литературный жанр, который он употреблял с надлежащей строгостью. Приведу начальный абзац одной из его статей: «Видимо, каждый чувствует, что, поступи реестр заслуг доктора NN в продажу, это нанесло бы непоправимый удар его популярности». Он написал, что Хуану Крисостомо Лафинуру пришлось оставить кафедру философии, когда тот чуть было не начал разбираться в материях, которые преподавал. Читатель этого тома найдет на его страницах немало подобных шпилек. Собственная судьба Грассака, как и любого из нас, оказалась достаточно странной. Он хотел быть известным у себя на родине и благодаря своему природному языку, а стал им благодаря языку, которым овладел, но никогда не был удовлетворен, и в отдаленных краях, навсегда оставшихся для него местом ссылки. Подлинной задачей его ста-

¹ «Если» (англ.).

ло обучить континент, только начавший расцветать, французской точности и иронии. «В Латинской Америке знаменитый человек вовсе не становится известным», — с горечью написал он.

Он исповедовал культ Гюго и Шекспира, Флобера и латинских классиков. Рабле его никогда не привлекал. Он увлекался психологией; в одной из статей «Мысленного путешествия» Груссак замечает, как это странно, что каждый день наша мысль снова выплывает из безумного мира снов и ухитряется вернуть себе относительную здравость.

Вероятно, самая волнующая среди биографий, вышедших из-под его пера, — биография Линьерса, датированная 1907 годом.

Он был критиком, историком, но прежде всего — мастером стиля.

МАНУЭЛЬ МУХИКА ЛАЙНЕС «КУМИРЫ»

Скептик почти во всем, Мухика Лайнес неизменно делал исключение для красоты и — почему бы не признать эту чисто местную черту? — для славного дела унитариев. Он написал биографии Иларио Аскасуби и Эстанислао дель Кампо, но отказался писать биографию Эрнандеса, богом которого был Росас.

Трудно представить себе двух до такой степени разных людей, и все же мы с ним были близкими друзьями. У нас даже обнаружился общий предок, дон Хуан де Гарай, который на самом деле был, думаю, просто Хуаном де Гараем. Наша дружба обходилась без непрошенных вторжений и разговоров по душам. Я слепой и отчасти был таким всегда; для Мухики Лайнеса, как и для Теофиля Готье, существовал видимый мир. Равно как театр и опера, для меня во многом заказанные. Он — может быть, даже слишком трагично — переживал пустоту публичных церемоний, собраний, ученых обществ, юбилеев и ритуалов, но вместе с тем эти маски его развлекали. Он умел примириться и посмеяться. Но прежде всего он был человеком сильным. И не склонялся ни перед какой демагогией.

Во всяком обширном наследии есть свои тайники. Я выбрал «Кумиров». В других своих по справедливости прославленных книгах Мухика Лайнес охотно бывал *the man of the crowd*, человеком с улицы. Герои этой, менее многолюдной, сюжет которой начинается на берегах Эйвона, — в некотором смысле призраки Шекспира и Мильтона. Любой писатель находит весь ужас и всю красоту мира в какой-то одной из его граней. Мануэль Мухика Лайнес с редкой последовательностью находил их в упадке знатных, некогда могущественных родов.

ХУАН РУИС «КНИГА О БЛАГОЙ ЛЮБВИ»

В одном из первых своих романов молодой Пио Бароха приговорил к смерти всю испанскую литературу за исключением «Дон Кихота» и «Книги о Благой Любви». Не соглашаясь с приговором, одобрим выбор. О жизни автора известно мало. Его звали Хуан Руис; родом из Алькалá в провинции Энарес, он тринадцать лет неизвестно за что провел в тюрьме и в январе 1351 года уже не был протопресвитером. Вся его жизнь теперь — в его книге. Он был современником Чосера и Боккаччо. Беспристрастное сравнение «сходств и отличий» трех этих поэтов, думаю, сулит читателю немало интересного.

Народам, как и людям, выпадает судьба, о которой они не подозревали. Среди прочего, судьба Испании заключалась в том, чтобы стать мостками между ненавистным ей миром ислама и Европой. В разноголосице «Книги о Благой Любви» провансальская лирика переплетается с заджалем андалусских арабов. Проникнутые верой гимны Богородице соседствуют с достаточно откровенными обращениями к горянкам; битва дона Мясоеда с доньей Постницей, в которую вмешивается дон Пузан, сталкивается со слезными воспоминаниями о крестной муке. Одна из героинь поэмы — Сводня, пособница мусульманок и монашек, которую потом назовут Селестиной. По ходу сюжета Сводня умирает, и протопресвитер складывает ей эпитафию: «Лежу под этим камнем я, Уррака...». В книге много басен и сказок, ее источники — арабы и Овидий.

Мы сегодня привыкли видеть в заглавии книги Хуана Руиса абстракцию; это не так. Благая Любовь — один из персонажей поэмы. Это любовь добропорядочная, достигающая цели с помощью разума, любовь, «что веселит тела

и радует сердца». Ей противостоит Злая Любовь. Это воплощенная похоть, которая следует «за тобой повсюду» и заставляет мир смеяться, а людей — плакать. Можно предположить, что Злая Любовь — это утрированное и даже клеветническое изображение поэта. Со временем она станет сказительницей и героиней сказок.

По направленности книга аскетична, однако ее язык, зачастую весьма тонкий, может быть и грубым. Оскар Уайльд сказал однажды о «победном блеске простонародного» — слова, вполне применимые к этим занятым страницам. Перед нами — острая сатира на то, что теперь называется Средневековьем; она не обращена против христианства — она с него начинается.

ХЬЮ УОЛПОЛ «НА ТЕМНОЙ ПЛОЩАДИ»

Хью Уолпол родился в Новой Зеландии в 1884 году. Его отец был каноником в кафедральном соборе Окленда. Хью получил образование в Англии, закончил Кембриджский университет. В 1910 году он опубликовал роман «*Maradick at Fortu*»¹. Во время Первой мировой войны был в России. Человек душевный и миролюбивый, он служил в Красном Кресте, много раз едва не умер, но ни разу не убивал. Был награжден за геройство. Вернувшись домой, выпустил в свет «*The Dark Forest*»² — плод своего милосердного опыта в беспощадные годы войны. Сюжет, завязавшийся в этой книге, продолжен в «*The Secret City*»³, который вышел в 1919 году. «*Maradick at Fortu*» стал первым из его четырех «готических» романов. Автор написал его на оберточной бумаге. Фантастический характер второго — «*The Prelude to Adventure*»⁴ — встревожил друзей писателя. В ту пору, в 1912 году, нормой был реализм. Третий, с привлекающим внимание заглавием «*A Portrait of a Man with Red Hair*»⁵, заинтересовал Голливуд и стал основой фильма, в котором блеснул Чарлз Лафтон. Его начало великолепно, но конец недостойн начала. Четвертый роман, «*Above the Dark Circus*»⁶, отвергли уже читатели. Сам Уолпол считал его своей лучшей вещью и говорил, будто испытывает к нему то же чувство, что мать к самой некрасивой из своих дочерей.

¹ «Мэредик в сорокалетнем возрасте» (англ.).

² «Сумрачный лес» (англ.).

³ «Потаенный город» (англ.).

⁴ «В преддверии приключений» (англ.).

⁵ «Портрет рыжеволосого человека» (англ.).

⁶ «На темной площади» (англ.).

Лессинг учил, что события в повествовании должны следовать одно за другим, описывать и мешкать в них недопустимо. Хью Уолпол всегда умел рассказать историю. Вслед за авторами саг он не вдаётся в анализ своих героев, мы видим их в действии. Миром в его романе правит изначальный маздеизм: персонажи делятся на хороших и плохих, мужланов и героев. Когда он говорит, что тот или иной из них — самый коварный человек в мире, ему, как ни странно, веришь. Действие может уместиться в пределах всего лишь ночи, но она одна многочелюдна, как арабские «Тысяча и одна ночь». Во всех головокружительных переменах и приключениях этой напряжённой, полной ужаса книги героя хранит талисман — экземпляр «Дон Кихота».

Хорас Уолпол создал в восемнадцатом веке «готический» роман и обошелся со своим изобретением так, что сегодня это вызывает только смех. Понапрасну он прибегал к своим замкам и привидениям. Хью Уолпол в нашем столетии достиг вершин жанра, не обращаясь к загробным силам. Он умер в Кезвике в 1941 году.

ПУБЛИЙ ВЕРГИЛИЙ МАРОН «ЭНЕИДА»

В притче Лейбница предлагаются на выбор две библиотеки: одна — из ста разных книг разного достоинства, другая — из ста одинаково безупречных книг. Замечательно, что вторая состоит из ста «Энеид». Если Вергилий — детище Гомера, пишет Вольтер, то это лучшее из его детищ. Первенство Вергилия признавалось в Европе на протяжении семнадцати веков; лишь романтики поставили его величие под вопрос и почти что свели на нет. Сегодня его противник — наш обычай видеть в книгах воплощение истории, а не искусства.

«Энеида» — высочайший образец того, что не без некоторого презрения принято именовать авторским эпосом, иначе говоря — чем-то, что по собственной воле предпринимает один человек, а не возводят, сами того не ведая, бесчисленные поколения людей. Вергилий думал создать шедевр; как ни странно, ему это удалось.

Я написал «как ни странно», поскольку обычно шедевры — дело случая или недосмотра.

Огромная поэма отделана, как эпиграмма, стих за стихом: на каждом из них — след той филигранной удачи, которую Петроний (я никогда не понимал почему) видел в сочинениях Горация. Возьмем почти наугад несколько примеров.

Вергилий не говорит, что ахейцы пробрались в Трою, пользуясь минутами ночного мрака; он говорит о заговорщицком молчании луны. Не пишет, что Троя разрушена, а пишет: «Троя пала». Не судьба была неблагоприятна, а «Боги судили иначе». Чтобы выразить то, что теперь зовут пантеизмом, он прибегает к словам: «Все полно Юпитером». Вергилий не осуждает безумие битвы, а говорит о «любви к мечу». Не рассказывает, как Эней и Сибилла одиноко шли ночью среди теней, а пишет:

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram.

Дело здесь не просто в риторической фигуре; «одинокие» и «темная» не поменялись в этой фразе местами: оба варианта, и обычный, и Вергилиев, абсолютно точно соответствуют той сцене, которую описывают.

Отбор каждого слова и оборота делают Вергилия, классика из классиков, еще и поэтом барокко, не лишая при этом ясности. Заботы пера нисколько не мешают связному течению рассказа о трудах и удачах Энея. В нем есть эпизоды чудесные: изгнанный из Трои Эней приплывает в Карфаген и видит на стенах храма картины Троянской войны, изображения Приама, Ахилла, Гектора и себя между ними. Есть — трагические: карфагенская царица, которая смотрит на уходящие греческие суда и понимает, что возлюбленный ее покинул. Но, как легко предположить, преобладает героика; она, например, в этих словах воина: «Сын мой, учись у меня доблести и мужеству; счастьем учись у других».

Вергилий. Ни одного из поэтов земли не слушали с такой любовью. После Августа, после Рима и той империи, которая прошла через столько народов и языков, он сам — целая Империя. Вергилий — наш друг. Сделав Вергилия своим проводником и самым запоминающимся героем «Комедии», Данте Алигьери придал художественную форму благодарному чувству всех людей земли.

ВОЛЬТЕР «ФИЛОСОФСКИЕ ПОВЕСТИ»

Не проходит и дня, чтобы мы не произнесли слово «оптимизм», отчеканенное Вольтером в борьбе против Лейбница, который (вопреки Екклесиасту и с одобрения Церкви) утверждал, будто мы живем в лучшем из миров. Вольтер вполне резонно опроверг это слишком лестное умозаключение (для чего хватило бы и одного ночного кошмара или раковой опухоли.) Лейбниц, правда, мог бы возразить, что мир, подаривший Вольтера, все же имеет некоторое право именоваться лучшим.

Сын скромного парижского нотариуса Франсуа Мари Аруэ де Вольтер (1694–1778) изведал в своей жизни опеку иезуитов, занятия театром, груз разнообразных познаний, беглое изучение права, деизм, любовь множества женщин, опасности сочинения памфлетов, тюрьму, ссылку, писание трагедий, непостоянство покровителей, фехтовальное искусство непрерывной полемики, удачу, гнет известности и, наконец, славу. Его прозвали «король Вольтер». Он был одним из первых французов, посетивших Англию. Написал панегирик этому острову, ставший к тому же сатирой на Францию. Открыл и отверг Шекспира. Почувствовал беспредельность империй Востока и просторов мироздания. Сотрудничал в энциклопедии Дидро. Написал, что о ловкости итальянцев достаточно свидетельствует единственный факт: самая малая из территорий Европы, Ватикан, обладает самым большим могуществом. Среди прочего оставил нам «Историю Карла XII», своеобразную эпопею. Счастье письма не оставляло его нигде; собрание увлекательнейших вольтеровских сочинений насчитывает девяносто семь томов. Кеведо насмеялся над безобидной мифологией греков, Вольтер — над мифами своих современников-христиан. Заметив, сколько храмов воз-

двигнуто в честь богородиц и святых, он построил часовню в честь Бога, может быть, единственную во всем мире. На ее фронте можно прочесть двусмысленные слова: «Deo egexit Voltaire»¹. Она находится в нескольких лигах от Женевы, в Ферне. Не предполагая того, Вольтер подготовил Французскую революцию, которую, будь он жив, осыпал бы проклятиями.

Одна из химер, которым подвержены и толпа, и Академия, — обременительное владение богатым словарем. В XVI веке Рабле чуть было не навязал литературе эту статистическую aberrацию; французское чувство меры ее отвергло и предпочло словесному изобилию неукоснительную точность. Стиль Вольтера — сама высота и ясность французского наречия; простые слова стоят у него на своих местах.

Проза, вошедшая в этот том, навеяна двумя книгами, совершенно не похожими друг на друга. Одна — «Сказки тысячи и одной ночи», открытые Западу ориенталистом Галланом; другая — «Путешествия Гулливера» несчастного Свифта. Еще поразительнее то, что следующие ниже рассказы и повести не напоминают ни один из указанных источников.

¹ Богу воздвиг Вольтер (*лат.*).

ДЖ. У. ДАНН
«ОПЫТ НАД ВРЕМЕНЕМ»

Когда-нибудь историк литературы напишет историю одного из сравнительно молодых литературных жанров — заголовка. Ничего лучше заглавия этого тома я не знаю. Оно — не простая завитушка; оно подталкивает прочесть книгу, и книга, надо сказать, не разочаровывает. Она захватывает мысль и открывает перед нашим пониманием времени редкие возможности.

Дж. У. Данн был не писателем, а инженером. Аэронавтика обязана ему изобретением, успешно опробованным на фронтах Первой мировой. Его математический, логический ум чуждался любой мистики. К своей поразительной теории он пришел, занимаясь обсчетами собственных еженощных сновидений. Изложением и защитой ее стали три тома, вызвавшие разноречивую полемику. Уэллс укорял Данна за то, что он буквально воспринял первую главу его опубликованной в 1895 году «The Time Machine»¹; Данн ответил на этот выпад во втором издании своей книги, которое мы здесь и воспроизводим. В свою очередь Малькольм Грант обрушился на эти доводы в своем «A New Argument for God and Survival»² (1934).

Из трех томов данновского сочинения собственно техническими деталями наиболее богат «The Serial Universe»³. Последний, «Nothing Dies»⁴ (1940), — лишь популярное изложение для радиослушателей.

¹ «Машина времени» (англ.).

² «Еще один довод в пользу Бога и бессмертия» (англ.).

³ «Серийный мир» (англ.).

⁴ «Все сущее вечно» (англ.).

Данн раскрывает перед нами бесконечный ряд времен, перетекающих друг в друга. Убеждает, что после смерти мы обретем счастливую способность жить вечно. Вернем себе все минуты нашей жизни и научимся сочетать их по собственному желанию. Бог, друзья и Шекспир будут всегда с нами.

АТТИЛИО МОМИЛЬЯНО «О „НЕИСТОВОМ РОЛАНДЕ“»

Наследник лучших традиций Кроче и Де Санктиса, Аттілио Момильяно посвятил жизнь многолетнему исследованию и бесконечной любви к итальянской словесности, которую преподавал в университетах Катании, Флоренции и Пизы. Его первая работа, посвященная Мандзони, появилась в 1915 году. Вероятно, главный его труд — «История итальянской литературы» (1933–1935). Там сказано, что любая страница Д’Аннунцио метит в антологию, и это не похвала, а упрек. У меня в руках перебивало множество изданий «Божественной комедии»; лучшее, убежден, подготовлено Момильяно и вышло в свет в 1945 году. Как известно, самые старые комментарии к «Комедии» носили богословский характер. Девятнадцатый век прослеживал биографические обстоятельства автора, а также отзвуки Вергилия и Библии в его тексте. Момильяно, как и Карло Грабер, создал новый тип комментария — эстетический. Это естественный подход: мы судим о книгах по чувствам, которые они вызывают, а не по соображениям доктринального или политического свойства. При муссолиниевской диктатуре Момильяно воспользовался годом, проведенным в тюрьме, чтобы подготовить великолепное издание «Gerusalemme». По происхождению еврей, Момильяно родился в Кунео в 1883 году и скончался во Флоренции в пятьдесят втором.

В шестой главе «Дон Кихота» Сервантес говорит о Лудовико Ариосто как поэте, проникнутом христианскими чувствами; оба они наслаждались «Matière de France» и «Matière de Bretagne», и оба почитали их выдумками. Сервантес противопоставлял им сумрачную реальность Кастилии, Ариосто относился к ним с иронией. Он был убежден, что в мире царит безумие и что единственная дарованная

человеку свобода — это свобода неисчерпаемого воображения. Из этой веры и возник «Orlando Furioso»¹. Момильяно считает эту вещь прозрачной и запутанной одновременно; нынешний читатель, как и Эдгар По, потерял привычку к чтению поэм и легко может заблудиться в гигантском хрустальном лабиринте, открывающемся за обложкой книги. Позже Момильяно отмечает, что отдаленный духовный источник всей поэмы — луна (где хранится утраченное время).

Ариосто внушает симпатию, а не преклонение, написал однажды Момильяно. Очевидно, в тот момент он думал о Данте. Не думаю, что кому-нибудь понравился бы разговор с Алигьери, а вот поговорить с Ариосто для каждого было бы большой радостью. Аттілио Момильяно скончался во Флоренции в 1952 году.

¹ «Неистовый Роланд» (итал.).

УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС
«МНОГООБРАЗИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА.
О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА»

Как в Дейвиде Юме, как в Шопенгауэре, в Уильяме Джеймсе соединились мыслитель и писатель. Он писал ясным слогом, которого ждут от хорошо образованного человека, и не изобретал неповоротливых диалектов в духе Спинозы, Канта или средневековой схоластики.

Он родился в Нью-Йорке в 1842 году. Отец нашего героя, богослов Генри Джеймс, не хотел, чтобы его сыновья остались простыми американскими провинциалами. Братья Уильям и Генри учились в Англии, Франции и Италии. Уильям брал уроки живописи. Вернувшись в Соединенные Штаты, он сопровождал швейцарского натуралиста Агассиса в экспедиции по Амазонке. От медицины перешел к физиологии, от нее — к психологии, а от нее — к метафизике. В 1876 году создал психологическую лабораторию. Здоровьем Джеймс не отличался. Его не раз тянуло к самоубийству; не раз, как все юноши на свете, он повторял про себя гамлетовский монолог. В этих потемках его спасла вера. «Первым актом моей свободной воли, — писал он, — стала вера в свободу воли». Так он освободился от мрачной веры своих отцов — кальвинизма.

Развитием этой веры стала философия прагматизма, начало которой он дал вместе с Чарлзом Сандерсом Пирсом. Доктрина, обозначенная этим словом, сделала Джеймса знаменитым. Она учит оценивать любую теорию по ее практическим следствиям. В дальнейшем эти идеи развивали Папини, Файхингер и Унамуно. Их можно подытожить словами, вынесенными Джеймсом на обложку одной из книг: «Воля к созиданию» (1897).

Первичную субстанцию всего, что мы называем миром, составляет опыт, учил Джеймс; опыт предшествует разделению на субъект и объект, познающего и познаваемое, дух

и материю. Это занятное решение проблемы бытия, конечно же, ближе к идеализму, чем к материализму, — к божеству Беркли, чем к атомам Лукреция.

Джеймс был противником войн. Он предлагал заменить воинскую повинность — трудовой: ручной труд приучит мужчин к дисциплине и освободит их от воинственных инстинктов.

В томе, который лежит перед читателем, Джеймс признает разнообразие религий и считает естественным для каждого человека верить соответственно своей традиции. Джеймс считает, что все они несут благо, надо только, чтобы в истоке их лежало собственное убеждение, а не внешний авторитет. Считает, что видимый мир — часть более широкого и многоликого духовного мира, который открывается нам через чувства. Джеймс исследует различные случаи религиозного обращения, границы душевного здоровья и разновидности мистического опыта. Говорит о результативности молитв без адреса.

1910 год отмечен смертью двух замечательных людей, Уильяма Джеймса и Марка Твена, а также появлением кометы, которую ждем сегодня и мы.

СНОРРИ СТУРЛУСОН «САГА ОБ ЭГИЛЕ»

Эта книга несет на себе бремя великого духа, простого, как огонь, и безжалостного, как огонь. Эгиль Скаллагримсон был воином, поэтом, заговорщиком, вождем, пиратом и чародеем. Его жизнь вобрала в себя весь север Европы: Исландию, где он в начале десятого века родился, Норвегию, Англию, Балтийское море и Атлантический океан. Он был искусен во владении мечом, которым убил множество людей, а также во владении стихотворным размером и запутанной метафорой. В семилетнем возрасте он сочинил свое первое стихотворение, где просит мать подарить ему большой корабль и красивые весла, чтобы он мог бороздить море, не давая покоя берегам и нести смерть каждому, кто встанет у него на дороге. В антологии обычно включают его «Выкуп головы», спасший ему жизнь в Йорке, и оду в честь победы саксов под Бруннанбургом, в которую он вплел элегию, оплакивая смерть своего брата Торольва, который пал в бою и которого он предал земле. Изгнанный из Норвегии, он вырезал на конском черепе проклятье из двух строф в семьдесят две руны каждая, вложив в эту тайнопись всю свою чудодейственную мощь, так что проклятье немедленно исполнилось. Он был вспыльчивым, подобно Ахиллу, и неутолимым. Воспел хвалу своему верному другу Аринбьёрну. Родил сыновей, омрачивших и обездоливших его старость. Все эти события вошли в следующую ниже книгу, которая рассказывает о них с беспристрастностью судьбы, не обличая и не возвеличивая.

Ее относят к тринадцатому веку. Имя ее автора неизвестно, но ряд германистов приписывают ее выдающемуся исто-

рику и ритору Снорри Стурлусону. По жанру это сага. Иначе говоря, прежде чем оказаться записанной, она исполнялась устно. Ее наследовали, повторяли и отделявали многие поколения сказителей. Несомненно, события не происходили точно так, как они здесь описаны; столь же несомненно, что — за вычетом некоторого драматизма и поучительности — они, по сути, происходили именно так.

Эта средневековая хроника читается как роман.

ПАМЯТЬ ШЕКСПИРА

Кто-то поклоняется Гёте, «Эддам» или запоздалой «Песни о Нибелунгах»; моей судьбой был Шекспир. Был и остается, но в совсем особом смысле: о нем до этой минуты не подозревал никто, кроме единственного человека — Дэниэла Торпа, только что скончавшегося в Претории. Есть еще один, но я никогда не видел его в лицо.

Меня зовут Герман Зёргель. Любознательный читатель мог перелистывать мою «Хронологию Шекспира», которая в свое время считалась обязательным пособием для углубления в шекспировские тексты и была переведена на несколько языков, включая испанский. Возможно, припомнит он и длительную полемику вокруг некоей поправки, внесенной Теобальдом в подготовленное им критическое издание 1734 года и с тех пор неоспоримо входившей в канон. Сегодня я поражаюсь невежливому тону тогдашних своих теперь уже почти не принадлежащих мне страниц. Году в 1914-м я подготовил (но не отдал в печать) исследование сложных слов, изобретенных Джорджем Чапменом для переводов Гомера и повернувших английский язык — чего этот эллинист и драматург, понятно, не предполагал — к его англосаксонскому истоку (Ursprung). Никогда не думал, что чапменовский голос, который я сегодня не могу вспомнить, будет для меня таким привычным... Отдельный оттиск некоей подписанной инициалами статьи, кажется, завершает мою библиографию. Не знаю, вправе ли я добавить сюда неопубликованный перевод «Макбета», за который взялся, чтобы не думать о смерти брата, Отто Юлиуса, погибшего на Западном фронте в 1917 году. Он не закончен; я понял, что английский язык располагает двумя регистрами — германским и латинским, тогда как наш немецкий, более музыкальный, все-таки вынужден обходиться одним.

Я упомянул о Дэниэле Торпе. Нас познакомил майор Баркли на одной шекспировской конференции. Не буду называть ее места и времени, понимая всю приблизительность подобной точности.

Важней, чем лицо Торпа, — слабое зрение помогло мне тут же стереть его черты — был явно несчастный вид этого человека. С годами научаешься изображать многое, только не радость. Дэниэл Торп физически излучал тоску.

После долгого дня заседаний ночь застала нас в кабачке. Чтобы почувствовать себя в Англии (где все и происходило), мы потягивали из ритуальных оловянных кружек тепловатое темное пиво.

— Как-то раз в Пенджабе, — рассказывал майор, — мне показали одного попрошайку. По исламскому преданию, у царя Соломона был перстень, который помогал ему понимать язык птиц. Говорили, что потом перстень достался этому нищему. Сокровище было бесценным, так что владелец не мог его продать. Попрошайка умер во дворике мечети Вазил-хана в Лахоре.

Я подумал, что у Чосера тоже есть история о чудесном перстне, но не хотел портить Баркли его рассказ.

— А перстень? — вместо этого спросил я.

— Как всякий волшебный предмет, его не нашли. Может быть, он теперь в каком-нибудь тайнике, там же в мечети, или на пальце у человека, живущего в краях, где нет птиц.

— Или их там столько, — вставил я, — что не поймешь, где чей голос. Ваша история, Баркли, похожа на притчу.

Тут и заговорил Дэниэл Торп. Казалось, он ни к кому не обращается, на нас он не смотрел. Было в его английском что-то особенное, я приписал это долгому пребыванию на Востоке.

— Это не притча, — сказал он, — а если притча, то она говорит правду. Есть бесценные вещи, которые невозможно продать.

Слова, которые я пытаюсь сейчас воссоздать, повлияли на меня куда меньше, чем убежденность произнесшего их Торпа. Казалось, он хотел сказать еще очень много, но оборвал себя, пожалев о начатом. Баркли откланялся. Мы вернулись в гостиницу вдвоем. Час был поздний, но Дэниэл Торп предложил зайти к нему договорить. После нескольких избитых фраз он произнес:

— Я предлагаю Соломонов перстень вам. Конечно, это метафора, но то, что она подразумевает, — не меньшее чудо, чем царский перстень. Я предлагаю вам память Шекспира, всю — от первых детских лет до начала апреля 1616 года.

Я ничего не ответил. Представьте, что вам предлагают море.

Торп продолжал:

— Я не обманщик, не сумасшедший. Прошу, выслушайте меня, прежде чем принять решение. Майор рассказал бы вам, что по роду занятий я — военный врач, верней, был врачом. Сама история уместится в несколько слов. Все началось на Востоке, в лазарете, поутру. Когда — неважно. Рядовой Адам Клэй, в котором сидели две пули, перед смертью чуть слышным голосом предложил мне эту бесценную память. Агония и горячка убеждают; я, хоть и без особой уверенности, принял предложение. Если сравнивать с войной, уже ничему не удивляешься. Клэй едва успел объяснить условия дара: даритель должен его вслух предложить, получатель — тоже вслух — принять. Первый навсегда теряет отданное.

Имя солдата и патетическая сцена передачи показались мне, в дурном смысле слова, литературой.

С некоторым страхом я спросил:

— Так что, вы владеете сейчас памятью Шекспира?

Торп ответил:

— Я владею двойной памятью. Одна — моя собственная, другая — Шекспира, которого я отчасти в себе несу. Но лучше сказать, эта двойная память владеет мной. Есть такая область, где они совпадают. Есть одно женское лицо, о котором я не знаю, к какому веку его отнести.

Тогда я спросил:

— А как вы распорядились памятью Шекспира?

Он помолчал. Потом ответил:

— Написал романизированную биографию, отмеченную единодушным презрением критиков и некоторым коммерческим успехом в Соединенных Штатах и в колониях. Кажется, все. Предупреждаю вас: мой подарок — не синекура. Теперь я жду вашего ответа.

Я задумался. Разве я не посвятил всю свою серую, чужую мне жизнь поискам Шекспира? И разве не будет справедливо, если я найду его в конце пути?

Отчетливо выговаривая каждое слово, я произнес:

— Я принимаю память Шекспира.

В эту минуту что-то явно произошло, но я ничего не почувствовал

Может быть, легкую усталость, скорей всего — придуманную.

Ясно помню, как Торп сказал:

— Память уже вошла в ваше сознание, но ей нужно время проявиться. Это произойдет — во сне, наяву, над страницами книги, на повороте за угол. Не подгоняйте себя, не выдумывайте воспоминаний. Случай вам поможет — или помешает, такова уж его таинственная природа. Чем больше я буду забывать, тем больше будете вспоминать вы. Точнее сказать не могу.

Остаток ночи мы посвятили спорам о характере Шейлока. Я удерживался от вопроса, знал ли Шекспир евреев в жизни. Не хотелось, чтобы Торп подумал, будто я требую у него доказательств. То ли с облегчением, то ли с беспокойством я отметил, что он пользуется такими же условными, чисто академическими доводами, что и я.

Следующую ночь я тоже почти не спал. Уже в который раз я убедился в своем малодушии. Из боязни быть обманутым я не решался поверить щедрым обещаниям надежды. Говорил себе, что появление Торпа — галлюцинация. Но неотразимая надежда брала верх. Шекспир станет моим, каким — ни в любви, ни в дружбе и даже в ненависти — он не стал ни для кого другого. До какой-то степени я сам стану Шекспиром. Нет, я не буду писать трагедий и запутанных сонетов, но я сумею вспомнить ту минуту, когда мне привиделись ведьмы, они же — богини судьбы, и другую, подарившую мне неисчерпаемые строки:

And shake the yoke of inauspicious stars
From this worldweary flesh¹.

Я буду вспоминать Энн Хэтуэй, как теперь вспоминаю ту женщину, уже в годах, которая много лет назад впервые познакомила меня с любовью в одной из любекских мебелирашек. (Пытаюсь вспомнить ее лицо, но вижу только пожелтевшие обои и сочащийся в окно свет. Думаю, тот первый провал предопределил потом все остальные.)

Я думал, образы моей необыкновенной памяти будут прежде всего зрительными. И не угадал. Несколько дней спустя, бреясь перед зеркалом, я вдруг произнес несколько слов, которым сам удивился и которые, как подсказал мне коллега, были из чосеровской «Азбуки». Однажды вечером, выходя из

¹ Страхну я иго несчастливых звезд
С моей усталой плоти (англ.). — «Ромео и Джульетта», V, 3;
перевод Г. Щепкиной-Куперник.

Британского музея, я поймал себя на том, что насвистываю какой-то нехитрый мотив, которого никогда не слышал.

Думаю, читатель уже по этим первым откровениям памяти уловил ее главную черту: при всем блеске отдельных метафор, она была скорее слуховой, чем зрительной.

Де Куинси утверждает, что человеческий ум устроен как палимпсест. Каждая новая запись скрывает предыдущую, чтобы самой скрыться под последующей, но всемогущая память в силах извлечь из глубин любое даже самое беглое впечатление, если дать ему необходимый стимул. Судя по шекспировскому завещанию, у него в доме не было книг, даже Библии, но ведь хорошо известно, какие книги он читал. Чосер, Гауэр, Спенсер, Кристофер Марло. «Хроника» Холиншеда, Монтень в переводе Флорио, Плутарх в переводе Норта. Я владел, пусть еще скрытой, памятью Шекспира. Чтение, верней, перечитывание этих старинных томов — вот что послужит мне нужным стимулом. Кроме того, я перечитал сонеты — самое непосредственное в его поэзии. Несколько раз обратился к комментарию или к разным комментариям. Хорошие стихи надо читать вслух; за несколько дней я овладел жестким «р» и открытыми гласными шестнадцатого века.

В «*Zeitschrift für germanische Philologie*»¹ я написал, что 127-й сонет отсылает к памяtnому разгрому Непобедимой Армады. Я забыл, что этот тезис еще в 1899 году выдвинул Сэмюэл Батлер.

Поездка в Стретфорд-на-Эйвоне оказалась, как и следовало ожидать, совершенно бесплодной.

Потом сны начали постепенно меняться. Меня не посещали ни великолепные кошмары, в отличие от Де Куинси, ни благочестивые аллегорические картины, в отличие от его наставника Жан-Поля. В мои ночи вошли незнакомые лица и дома. Первое узнанное мной лицо принадлежало Чапмену; потом появился Бен Джонсон и сосед поэта, который не фигурирует в биографиях, но которого Шекспир, скорей всего, видел каждый день.

Владея энциклопедией, вовсе не владеешь каждой ее строкой, каждым разделом, каждой страницей, каждым рисунком; просто владеешь возможностью все это при необходимости узнать. И если это верно для такой конкретной

¹ «Журнал германской филологии» (нем.).

и сравнительно простой материи, к тому же расположенной в алфавитном порядке статей, то как может быть иначе с материей настолько абстрактной и неуловимой, *ondoyant et divers*¹, как чудесная память давно ушедшего человека?

Никому не под силу вместить в один миг всю полноту прошлого. Подобным даром не наделен, насколько знаю, ни Шекспир, ни я, его скромный наследник. Человеческая память — не сумма пережитого, а хаос неведомых возможностей. Если не ошибаюсь, Августин говорит о чертогах и подземельях памяти. Вторая метафора абсолютно точна. В эти подземелья я и спустился.

В памяти Шекспира, как любого из нас, есть темные области, обширные области намеренно забытого. Не без некоторого потрясения я вспомнил, как Бен Джонсон декламировал латинские и греческие гекзаметры, а слух, несравненный шекспировский слух, то и дело путал длинные и краткие слоги на потеху коллегам.

Я узнал радость и тоску, от которых зависит каждый. Долгое и усидчивое одиночество исподволь учило меня тем острее воспринимать чудо.

Через месяц память умершего меня уже окрыляла. Неделю мне было даровано неслыханное счастье: я считал себя почти Шекспиром. Его строки повернулись новой, неожиданной стороной. Я понял, что луна для Шекспира — не столько луна, сколько богиня Диана, и не столько Диана, сколько это темное, никак не приходящее в голову слово «moon». И еще одно открытие ждало меня. Явные упущения Шекспира, те случаи «*absence dans l'infini*»², которыми восторгался Гюго, были неслучайными. Шекспир не исправлял и даже вставлял их, чтобы речь, предназначенная для сцены, звучала непринужденно и не казалась слишком отшлифованной, искусственной (*nicht allzu glatt und gekünstelt*). Поэтому же он наславивал метафоры одну на другую:

My way of life
Is fall'n into the sear, the yellow leaf³.

¹ Переменчивой и многообразной (*франц.*).

² Опьянение бесконечностью (*франц.*).

³ Уже усеян

Земной мой путь листвою сухой и желтой (*англ.*). — Перевод Ю. Корнеева.

Однажды я почувствовал какую-то затаенную в памяти вину. Я не стал ее определять; это раз и навсегда сделал Шекспир. Скажу только, что та вина не имела ничего общего с извращением.

Я понял, что разграничение трех способностей человеческой души — памяти, разума и воли — не выдумка схоластиков. Память Шекспира могла только одно: раскрыть мне обстоятельства его жизни. А неповторимым поэта делали, конечно, не они; главным было то, во что он сумел превратить этот хрупкий материал, — стихи.

Вслед за Торпом я в простоте душевной принялся сочинять биографию. Но скоро убедился, что этот литературный жанр требует писательских умений, которых у меня нет. Я не умел рассказывать. Я не мог рассказать даже собственную историю, а уж она была куда необычней шекспировской. Кроме того, подобная книга оказалась бы ни к чему. Случай или судьба отмерили Шекспиру столько же расхожего и чудовищного, сколько каждому. Но он сумел создать из этого сюжеты, героев, в которых было куда больше жизни, чем в придумавшем их седовласом человечке, стихи, оставшиеся в памяти поколений, музыку слова. Так зачем распутывать эту сеть, зачем вести под башню подкоп, зачем сводить к скромным масштабам документированной биографии или реалистического романа макбетовские шум и ярость?

Как известно, Гёте у нас в Германии — предмет официального культа; куда задушевней культ Шекспира, к которому мы примешиваем толику ностальгии. (В Англии предмет официального культа — Шекспир, бесконечно далекий от англичан; главная книга Англии — конечно, Библия.)

На первом этапе судьба Шекспира была для меня бесконечным счастьем, потом — воплощенным гнетом и ужасом. Вначале память каждого текла по своему руслу. Со временем могучая шекспировская стремнина нагнала и почти захлестнула мой скромный ручеек. Я с ужасом понял, что забываю родной язык. Память — основа личности; я стал опасаться за свой разум.

Друзья заходили по-прежнему; я поражался, как это ни один из них не видит, что я в аду.

Понемногу я переставал понимать окружающий обиход (die alltägliche Umwelt). Как-то утром я растерялся перед странными громадами из железа, дерева и стекла. Меня оглушили свистки, крики. Прошла секунда — мне она показалась бесконечной, — прежде чем я узнал паровоз и вагоны Бременского вокзала.

С годами каждому из нас приходится нести на себе растущий груз своей памяти. А у меня их было две (порою они срастались в одну): моя собственная память и память недоступного мне другого.

Каждая вещь на свете хочет оставаться собой, написал Спиноза. Камень хочет быть камнем, тигр — тигром. Я хотел снова стать Германом Зёргелем.

Не помню точно, когда я задумал вернуть себе свободу. Способ я выбрал самый простой. Позвонил по нескольким случайным номерам. Трубку снимали дети, женщины. Их я решил не беспокоить. Наконец послышался голос человека с образованием, мужчины. Я сказал:

— Хотите владеть памятью Шекспира? Говорю совершенно серьезно. Подумайте.

Голос с сомнением ответил:

— Что ж, я готов рискнуть. Принимаю память Шекспира. Я рассказал условия. Как ни странно, я чувствовал тоску по книге, которую должен был, но не дал себе написать, и вместе с тем страх, что призрак не покинет меня никогда.

Потом повесил трубку и с надеждой повторил смиренные слова:

Simply the thing I am shall make me live¹.

Когда-то я изобретал способы оживить в себе прежнюю память, теперь я искал способов ее стереть. Одним из них стало исследование мифологии Уильяма Блейка, взбунтовавшегося ученика Сведенборга. Я убедился, что она не столько сложна, сколько усложнена.

Этот и другие пути ни к чему не привели; все возвращало меня к Шекспиру.

Единственное, что еще внушает надежду, это строгая и неисчерпаемая музыка. Иначе говоря, Бах.

Постскриптум 1924 года. Я — самый обычный человек. Днем я — профессор в отставке Герман Зёргель, который ведет свою картотеку и пишет избитые вещи, сдобренные эрудицией. Но иногда по утрам я понимаю, что sny минуту назад видел кто-то другой. Из вечера в вечер меня преследуют беглые проблески памяти. Кажется, не придуманные.

¹ Я и такой, как есть, не пропаду (англ.). — Перевод Мих. Донского.

ИЗ БЕСЕД

С ВИКТОРИЕЙ ОКАМПО

Виктория Окампо. Прежде чем вы приступите к рассказу об этой фотографии ваших предков, скажите, какое ваше первое детское воспоминание?

Хорхе Луис Борхес. Я не могу точно определить мое первое воспоминание. Не знаю, связано ли оно с этим берегом реки или с другим, относится ли к району Палермо в Буэнос-Айресе или к вилле в Пасо-дель-Молино в Монтевидео. Мне видится клумба и радуга.

В. О. Поговорим о вашей семье. Вы о ней упоминаете в своих стихах. В альбоме, который вы мне показали, на первой странице фотографии трех женщин. Кто была Джейн Арнетт Хейзлем со стрижкой каре и в нарядном платье?

Х. Л. Б. Эта девушка — одна из моих прабабок. Она родилась в графстве Стаффордшир. Мне чудятся в ее лице черты моей сестры Норы. Она была из семьи квакеров.

В. О. Кто была Каролина Хейзлем Суарес, глядящаяся в зеркало, — зеркала всегда тревожили вас и фигурируют в ваших стихах.

Х. Л. Б. Это моя двоюродная бабушка со стороны отца. Она потеряла свое состояние и занялась преподаванием английского языка. Была очень хороша собой. Одной из ее учениц была Мариета Айерса, часто вспоминающая миссис Суарес. На меня она, сам не знаю почему, производила большое впечатление.

В. О. Мне незачем спрашивать, была ли Фанни Хейзлем Борхес вашей бабушкой-англичанкой. В какой мере ее можно считать англичанкой?

Х. Л. Б. Это для нее было свято. Как-то раз я, будучи еще мальчиком, под влиянием произведений сэра Вальтера Скотта спросил у нее, нет ли в ней шотландской крови. «Слава богу

(thank goodness!), во мне нет ни капли ни шотландской, ни ирландской, ни уэльсской крови», — ответила она. Когда она умирала, мы все стояли вокруг нее, и она сказала: «Я всего лишь старая женщина, которая очень-очень медленно умирает. В этом нет ничего примечательного или интересного». Она оправдывалась перед нами, что так долго умирает. Она читала и перечитывала Диккенса, но также Уэллса и Арнолда Беннетта. Сдержанность и деликатность Норы — от Фрэнсис Хейзлем.

В. О. Рядом с нею мы видим полковника Франсиско Борхеса Лафинура, ее мужа. Что вы знаете об этом военном и в каком родстве он находился с Хуаном Крисостомо Лафинуром?

Х. Л. Б. Он был сыном Кармен Лафинур, сестры Хуана Крисостомо, нашего, пожалуй, первого поэта-романтика. Родился он в осажденной крепости Монтевидео во время Великой войны, как называют ее жители Восточного берега¹. В пятнадцать лет он в этой крепости воевал против «бланкос»; потом в Касересе воевал под началом Уркисы; потом в Парагвае, в Энтре-Риос, на границах южной и западной. Митре тайно готовил переворот; бывший тогда президентом Сармьенто спросил у моего деда, можно ли рассчитывать на военные отряды, находившиеся под его командованием в Хунине. «Пока вы у власти, — ответил Борхес, — можете на них рассчитывать». Революция ширилась, Борхес, который был приверженцем Митре, сдал командование своими отрядами и один явился в революционный лагерь в Туью. Кто-то усматривал в этом акте верности неверность. В 1874 году произошло сражение при Ла-Верде, сторонники Митре были разбиты; после их поражения Борхес на сером коне, в белом пончо, скрестив руки на груди, в сопровождении десяти-двенадцати солдат медленно направился к вражеским окопам. Он шел на верную смерть. <...>

В. О. Скажите, Борхес, кто были Ленор Суарес Аэдо и Исидоро Асеведо Лаприда?

Х. Л. Б. Вы назвали, Виктория, моих деда и бабушку. Ленор Суарес была дочерью полковника Исидоро Суареса, который в двадцать четыре года командовал колумбийской и перуанской кавалерией в атаке, принесшей победу при Хунине.

¹ То есть уругвайцы.

Он приходился троюродным братом Росасу, но был унитарием по убеждениям и предпочел с честью умереть в изгнании, в Монтевидео. Мой дед Асеведо был родом из Сан-Николаса. Он любил говорить: «Я родился на хорошем берегу Арройо-дель-Медио». Он сражался на Павоне, в Сепеде и в Пуэнтель-Альсина; в те времена штатские были более опытны в военном деле, чем нынешние военные.

В девять или десять лет он как-то проходил мимо рынка «Меркадо-де-Плата». Было это во времена Росаса. Два человека в чирипа зазывали с повозок купить белые и желтые персики. Мальчик приподнял накрывавший их холст — то были отрубленные головы унитариев с окровавленными бородами и открытыми глазами. Он убежал домой, забрался на лиану, росшую в последнем патио, и только вечером сумел рассказать о том, что видел утром. Потом, во время гражданских войн, ему довелось многое повидать, однако то первое впечатление оказалось самым глубоким.

В. О. Я вижу, что в вашем роду, Борхес, было много воинов. Вам не кажется, что это — в какой-то иной форме — отразилось в вашей литературе, в вашей жизни?

Х. Л. Б. В моей жизни вряд ли. В литературе — да. Меня никогда не покидала ностальгия по эпической судьбе, в которой боги мне отказали, и, без сомнения, весьма мудро.

В. О. Что находите вы достойным восхищения в воине или какого рода воином восхищаетесь более всего? Что особенно восхищает вас, например, в человеке вроде Сан-Мартина — его физическая отвага или его бескорыстие, его талант тактика или его щедрость?

Х. Л. Б. Статуи Сан-Мартина, изображения статуй Сан-Мартина, годовщины, возложения цветов и — чего уж таить? — стиль панегиристов немного отдалили от меня этого деятеля. Сармьенто видел в нем военного в европейском духе, запутавшегося в войнах нашего континента, который он, бесспорно, любил, но так и не сумел понять.

В солдате я восхищаюсь духом человека, отказавшегося или старающегося отказаться от своей личной судьбы.

В. О. Не думаете ли вы, в соответствии с семейными традициями, что, как говорил маркиз де Сантьяна, «перо не притупляет острие копья»?

Х. Л. Б. Поэзия начинается с эпоса, ее первой темой была война. <...>

В. О. Что привлекает вас в фигурах поножовщика и куманька, которые через много лет появятся в борхесовских рассказах.

Х. Л. Б. Меня привлекает то, что Эваристо Каррьега называл «культом храбрости». Думаю, что эти поножовщики были убогими людьми, которые, чтобы оправдать свое существование, создали то, что я однажды назвал «сектой ножа и удали». Разумеется, удали бескорыстной.

В. О. А что вам больше всего нравится в танго — музыка, текст, танец или все вместе?

Х. Л. Б. Больше всего мне нравится музыка. Милонга мне нравится больше, чем танго, а танго-милонга больше, чем танго-песня, которое мне кажется однодневкой. <...>

В. О. Вот здесь ваши отец и мать. Как вы думаете, какие черты вы унаследовали от этой молодой счастливой пары?

Х. Л. Б. Я был бы рад унаследовать хоть одну черту.

В. О. Не мучает ли вас мысль, что вы когда-либо причинили им страдания?

Х. Л. Б. Надеюсь, я не слишком их разочаровал, однако меня, как всех детей, совесть укоряет за многое. Особенно за то, что многие годы моей жизни я был глубоко несчастлив и этим сильно их огорчал.

В. О. В какие игры вы играли в том возрасте, когда вы сняты с книгой в руке? Что это за книга?

Х. Л. Б. Что до книги, мне ее сунул в руку фотограф. А что касается игр, в них заводилой была Нора. Она заставляла меня залезать на головокружительно высокий ветряк для накачивания воды в нашем саду в Палермо и ходить по очень высоким и узким оградкам. Я следовал за ней, потому что не хватало смелости сказать, что я боюсь.

В. О. Стало быть, Нора была вашей подружкой в играх, в шалостях и, как вы говорите, заводилой?

Х. Л. Б. Именно так. Теперь она стала совсем другой. Однако твердость у нее прежняя, и она это доказала, когда сидела, как и вы, Виктория, в тюрьме. Те, кто ее теперь знает, не поверят, что ей очень нравились игры, которые англича-

не называют practical jokes¹. Она отказалась от проказ и шалостей и вступила в блаженную секту ангелов.

В. О. А у вас были честолюбивые мечты? Пробудилось ли вполне уже в юности ваше призвание писателя, поэта?

Х. Л. Б. Да, я почему-то всегда знал, что буду писателем. Что ж до моих честолюбивых мечтаний, не знаю, Виктория, говорил ли я вам, что в детстве я часто слышал разговоры о *rates* — употребляли не испанское слово *fracasados*, неудачники, а французское *rates*. Я слышал эти разговоры о *rates* и с тревогой говорил себе: «Только бы мне не стать gate!» Дальше этого мое честолюбие не заходило.

В. О. Да, в качестве gate вы потерпели неудачу. Какое у вас было в юности самое большое желание — быть любимым или быть знаменитым?

Х. Л. Б. Я никогда не мечтал быть знаменитым и, пожалуй, не надеялся быть любимым. Мне казалось, что я не заслуживаю быть любимым, что это было бы несправедливо: я полагал, что недостойн никакой особой любви, и, помню, в дни моего рожденья мне бывало стыдно из-за того, что меня осыпали подарками, а я думал, что ничего не сделал, чтобы это заслужить, — что я просто обманщик.

В. О. Почему вы почувствовали потребность писать? Что особенно привлекало вас в литературе в те годы?

Х. Л. Б. На первый вопрос ответить трудно или вовсе невозможно. Что касается второго, меня привлекали поочередно греческая мифология, скандинавская мифология, «Пророк под Покрывалом» из Хорасана, «Железная Маска», романы Эдуардо Гутьерреса, «Факундо», чудесные кошмары Уэллса и «Тысячи и одной ночи» в переводе Эдуарда Уильяма Лейна. За порядок перечисления этих увлечений не ручаюсь. Два друга тех лет сопровождают меня и поныне — это «Гекльберри Финн» и «Дон Кихот».

В. О. Можно ли считать, что вы, как сказал бы Сент-Экзюпери, родом «du pays de votre enfance»?² Чувствуете ли вы влияние своего детства, как в той или иной мере чувствуем все мы, с той лишь разницей, что одни сознают это больше, чем другие?

¹ Грубые шутки, сыгранные с кем-то (англ.).

² «Из страны вашего детства» (франц.).

Х. Л. Б. В душе я остался тем же, что в детстве. Разве что приобрел кое-какой опыт.

В. О. Давайте теперь войдем в то, что вы называете «изначальным домом детства». Какой он был?

Х. Л. Б. Хронологически первым был невысокий старинный дом на улице Тукуман, между улицами Суипача и Эсмеральда. В нем, как во всех домах, были два окна с железными решетками, передняя дверь с тамбуром и два патио. В первом, вымощенном черными и белыми мраморными плитками, был бассейн с черепахой на дне, чтобы очищать воду. В Монтевидео, говорят, роль фильтра играла жаба. Люди не задумывались над тем, что черепаха не только очищает воду, но также загрязняет.

Более отчетливо я помню дом в Палермо на улице Серрано. Это был один из немногих на нашей улице двухэтажных домов. Остальные дома были одноэтажные, и вокруг лежали пустыри.

В. О. Дом в Парана, где родился ваш отец, вы видели во сне или наяву?

Х. Л. Б. И во сне и наяву, но, поскольку я его много раз видел на фотоснимке, думаю, что образ его в моем сознании — это образ фотоснимка, а не самого дома, который я видел, когда приезжал в Энтре-Риос. Тут, как и со многими моими друзьями, я с грустью спрашиваю себя, действительно ли мое воспоминание о Гуиральдесе это воспоминание о Гуиральдесе, или я его подменил воспоминанием о его фотографии. Фотография легче запечатлевается в памяти, потому что она неподвижна, когда же видишь человека, он ведь непрестанно меняется.

В. О. Какие краски, какие звуки, какие голоса помните вы в этом саду на улице Анчорена 1626, изображенном на снимке? Ваша сестра Нора мыслит в красках и в формах. Когда она была еще совсем молодая, она меня однажды спросила: «Что тебе больше нравится, роза или лимон?» Вы в этом похожи на нее?

Х. Л. Б. Нет,нисколько. Я не могу сказать, как Теофиль Готье: «Je suis quelqu'un pour qui le monde visible existe»¹.

¹ Я человек, для которого видимый мир существует (франц.).

Я мыслю скорее отвлеченно или эмоционально, а не в формах и красках, как моя сестра. Я не всегда уверен, брюнеты или блондины люди, с которыми я общаюсь; наверно, моя прогрессирующая слепота способствовала становлению абстрактного мира, в котором я живу. <...>

В. О. Вспоминали ли вы с любовью свой Буэнос-Айрес, когда были учеником колледжа в Женеве, который Нора изобразила с красной крышей?

Х. Л. Б. Да, я всегда думал о Буэнос-Айресе. У нас дома было несколько аргентинских книг: «Факундо», три тома Аскасуби, «Мартин Фьерро», «Военные силуэты» Эдуардо Гутьерреса и «Хуан Морейра». Я очень гордился, что в романе «Военные силуэты» речь идет о моем дедушке Борхесе, хотя, естественно, я бы предпочел быть внуком Морейры, а не Борхеса. Была также книга «Еретические мессы», которую Эваристо Каррьега посвятил моему отцу. Не могу также не упомянуть «Календарь души» Лугонеса и «Золотые горы». Я читал и перечитывал эти книги, чувствуя, что они связывают меня с родиной. Однако из этой моей ностальгии не следует делать вывод, что я не чувствовал глубокой любви к городу Женеве, какую чувствую и поныне. <...>

В. О. Расскажите о вашем отце. Хотелось бы знать, какая литература ему нравилась и каким был этот человек, которого вы видели и знали.

Х. Л. Б. Он был человек очень умный и, как все умные люди, очень мягкий. Был последователем Спенсера. Однажды он мне сказал, чтобы я хорошенько запомнил отряды солдат, их военную форму, казармы, флаги, священников и лавки мясников, потому что все это скоро исчезнет, а я смогу рассказать своим детям, что был очевидцем всего этого. Его пророчество еще не исполнилось. Он был настолько скромнен, что предпочел бы быть невидимкой. Очень гордился своим англосаксонским происхождением, но любил и пошутить по этому поводу. С притворным недоумением он говаривал: «Не понимаю, почему так восхваляют англичан. Что они такое, в конце-то концов? Просто орава сельских батраков в Германии». Его кумирами были Шелли, Китс, Вордсворт и Суинберн. Реальность поэзии, тот факт, что слова могут быть не только игрой символов, но также магией и музыкой, — все это

было мне открыто моим отцом. Теперь, когда читаю вслух какие-нибудь стихи, я невольно подражаю голосу отца. Он часто повторял, что в нашей стране катехизис заменила история Аргентины. Он относился подозрительно к разговорной речи, полагая, что многие слова таят в себе ложный смысл. Больные, которых отправляют в санаторий, думают, говорил он нам, будто их там сделают здоровыми, потому что корень этого слова латинское «sanus» — «здоровый».

В журнале «Носотрос» вы можете найти несколько его замечательных сонетов — отчасти в манере Энрике Банчса. Он оставил один исторический роман «Каудильо». Написал и уничтожил несколько книг. Читал по-английски на кафедре психологии в Центре изучения живых языков, что на улице Эсмеральда.

В. О. В каком из ваших стихотворений и рассказов вы мечтали снова выйти на вот этот балкон?

Х. Л. Б. Не знаю. Если говорить о балконе нашего первого дома на авениде Кинтана, он, наверно, упомянут в каком-нибудь стихотворении. Дело в том, что, хотя мне очень нравились рассказы, я тогда думал, что недостойн сочинять рассказы, что это для меня слишком трудная задача. Но если речь идет о нашем доме на улице Анчорена, я в то время, вероятно, обдумывал рассказ «В кругу развалин». Писал я его неделю. Всю ту неделю я ходил на работу в библиотеку Альмагро, несколько раз был в кино, встречался с друзьями, однако это происходило будто во сне, потому что «В кругу развалин» я переживал, как ни одно из моих литературных произведений ни до него, ни после.

В. О. Верите ли вы, что от людей, долго обитавших в каком-нибудь доме, там что-то сохраняется, что-то как бы витает и все дома — в большей или меньшей степени «haunted», «hantées»?¹ И почему в испанском нет слова «haunted»? Возможно, ни у одного испанца или латиноамериканца не было потребности его изобрести?

Х. Л. Б. Совершенно с вами согласен. Думаю, что слов вроде «haunted», «uncanny», «eerie»² нет в других языках по-

¹ Посещаемый призраками (англ., франц.).

² Жуткий, сверхъестественный, страшный (англ.).

тому, что люди, на них говорящие, как вы сказали, не чувствовали потребности их изобрести. Зато в английском или в шотландском есть слово «упсаппу» и в немецком аналогичное «unheimlich», потому что этим людям слова были необходимы, потому что эти люди чувствовали присутствие чего-то сверхъестественного и вместе с тем злокозненного. Думаю, что языки соответствуют потребностям тех, кто на них говорит, и, если в каком-либо языке отсутствует некое слово, причина в том, что нет такого понятия или, вернее, чувства. <...>

В. О. Вы поместили действие рассказа «Мертвый» на берег этой уругвайской реки, где вы сняты?

Х. Л. Б. Да. Я думал именно о том месте, но историю эту можно было бы перенести к любой границе, вовсе не обязательно, чтобы она происходила на берегу реки Арапей.

В. О. Как вы себе представляете фильм на основе этого вашего рассказа, который вдохновил одного североамериканского режиссера? Я слышала, что по рассказу «Мертвый» собираются снять фильм.

Х. Л. Б. Без лишнего тщеславия могу сказать, что из этого рассказа можно сделать хороший вестерн. В слова «хороший вестерн» я не вкладываю ни малейшего пренебрежительного оттенка. Полагаю, что в наше время, когда писатели забыли, что одна из их обязанностей или одно из их призваний — это создание эпоса, вестерн сохранил для мира эпический дух. То есть на всех широтах вестерн сумел удовлетворить потребность в эпопее, являющуюся одной из благороднейших черт человеческой души. <...>

В. О. Нора, которая на этой фотографии чем-то похожа на Офелию, жила и росла вместе с вами. Не думаете ли вы, что в ее живописи отражаются какие-то черты предков из этого альбома, или же воины у нее преобразились в ангелов? Могла бы Нора рисовать воинов, а вы описывать ангелов?

Х. Л. Б. Думаю, что нет. Если бы Нора взялась рисовать воинов, они были бы кротчайшими и добрейшими существами. Что ж до меня, я считаю себя недостойным заниматься ангелами. Но что касается предков, думаю, в Норе скорее есть что-то от протестантских пасторов английской ветви нашей семьи, чем от аргентинских или уругвайских воинов.

В. О. А вот здесь я вижу моего зятя Адольфо Бьоя Касареса. Расскажу вам один факт, возможно вам не известный. Когда Адольфито был еще подростком, его мать Марта, озабоченная пробуждавшейся в сыне склонностью к писательству, спросила меня, с кем я могу его познакомить, кто мог бы стать его руководителем, его другом. Я ответила: с Борхесом. Как вижу, я не ошиблась. В ту пору моя сестра Сильвина занималась живописью. Она и Нора были подругами задолго до замужества, потом Сильвина вышла за Адольфито, а Нора за Гильермо. С каких пор началась ваша дружба с семейством Бьоя?

Х. Л. Б. Вы задали мне очень трудный вопрос — с датами я не в ладу. Помню, что мы с Адольфито подружились в какой-то день, когда он повел меня к себе из этого дома, где мы теперь с вами беседуем. Думаю, мы оба как-то влияли друг на друга. Всегда считают, что старший больше влияет на младшего, однако я думаю, что если я чему-то научил Адольфито, то он научил меня гораздо большему. Адольфито косвенно, ненавязчиво вел меня к большей простоте, к отходу от барочного стиля; в общем, юный Адольфо Бьой Касарес был учителем, наставником старого уже Хорхе Луиса Борхеса.

В. О. Как вам двоим пришло в голову сотворить Бустоса Домека?

Х. Л. Б. Я не хотел писать вместе с Бьоем, мне казалось, что соавторство невозможно, но однажды утром он мне предложил попробовать: я собирался к ним на ланч, оставалось два свободных часа, и у нас уже был сюжет. Мы начали писать, и — случилось чудо. Начали мы писать в стиле, не похожем ни на мой, ни на его. Вместе мы каким-то образом создали третьего персонажа, Бустоса Домека, — Домек это фамилия одного из прадедов Бьоя, Бустосом звали моего прадеда из Кордовы, — и в результате оказалось, что произведения Бустоса Домека не похожи ни на то, что Бьой пишет самостоятельно, ни на то, что я пишу самостоятельно. Каким-то образом этот персонаж существует. Но существует только тогда, когда мы беседуем вдвоем. <...>

В. О. Перебирая бумаги, я нашла еще снимок, вам не известный. Хочу включить его в книгу. Этот снимок сделан

в Вилья-Окампо, в холле, когда в Буэнос-Айрес приехал сэр Джулиан Хаксли, генеральный директор ЮНЕСКО. Было это при диктаторе. Я получила от Хаксли письмо, в котором он просил меня пригласить моих друзей — писателей, преподавателей, ученых, чтобы он мог с ними познакомиться. Что я и сделала. Среди них был профессор Уссе. Накануне этой встречи наш дом чуть не сгорел. Две комнаты на втором этаже были совершенно испорчены огнем. В том числе библиотека, где находились книги моего отца. Пришлось нам собраться в холле, и вот здесь сняты вы с нашими друзьями, среди них Рафаэль Альберти. На заднем плане виден портрет моего прадеда Мануэля Окампо, друга Сармьенто, написанный Прилидиано Пуэррейдоном. Думаю, вы были согласны с тем, что говорилось в тот вечер. Не знаю, помните ли вы, что из-за этого посещения моего дома Джулиан Хаксли не был принят диктатором...

Х. Л. Б. Пожалуй, было бы правильной сказать, что это посещение избавило Джулиана Хаксли от свидания с диктатором.

В. О. У меня есть еще одно фото, сделанное здесь, в Вилья-Окампо, когда вы и Мальеа пришли к нам на ленч с великой актрисой Элен Хейз. Что вам больше всего нравится в театре?

Х. Л. Б. Я больше люблю читать пьесы, чем смотреть на сцене, кроме пьес О'Нила. О'Нил при чтении кажется мне поверхностным, но на сцене он меня потрясает, глубоко волнует. Когда я думаю о театре, в памяти мгновенно возникают два имени: имя Ибсена, которого я надеюсь когда-нибудь прочесть в оригинале, и имя Бернарда Шоу. *The rest is silence*¹.

В. О. Раз уж мы заговорили о театре, расскажите немного о том, что для вас значил кинематограф, если он действительно вам нравится и вы часто ходите в кино.

Х. Л. Б. Раньше я был кинозрителем. Теперь я скорее слушатель. Мне было бы приятно снова увидеть фильмы о гангстерах Джозефа фон Штернберга, те, в которых Бэнкрофт и Фред Кольер без конца убивают друг друга. Я также

¹ Дальнейшее — молчание (англ.).

не раз смотрел фильмы «Призрак розы», «Большая игра», «Вечер в опере», «Безумие», «Головокружение», «Ниночка», «Любовь без преград», «Коллекционер», «В назначенный час», «Хартум»... Знаю, в перечнях больше всего привлекает внимание то, что пропущено. Как правило, я предпочитаю фильмы американские или английские.

В. О. Если бы вы могли увидеть во сне свою жизнь — ведь мы не только проживаем жизнь, но и видим ее в снах, — на каком периоде вам хотелось бы подольше задержаться — на детстве, отрочестве или на зрелости?

Х. Л. Б. Мне хотелось бы подольше задержаться на этом дне 1967 года.

СО СЬЮЗЕН ЗОНТАГ

Сьюзен Зонтаг. Хотелось бы, чтобы Борхес объяснил, что значит для него самого влияние, которое он оказал на стольких писателей, хотя я не знаю, представляет ли он себе реально это влияние. Ведь Борхес всегда с такой скромностью отзывается о собственных произведениях...

Хорхе Луис Борхес. Это не скромность, просто я мыслю здраво. Меня удивляет, что я известен. Никогда ни о чем подобном я не думал. Это пришло ко мне, когда мне было далеко за пятьдесят. Меня вдруг увидели, и я перестал быть тем незаметным человеком, каким был до того. Теперь я привыкаю к известности, и это требует от меня ужасных усилий. Меня очень удивляет всеобщее великодушие; порой мне кажется, что я олицетворяю собой разновидность некоего довольно распространенного сейчас суеверия. И в любой момент может обнаружиться, что я самозванец. Но как бы то ни было, самозванец я — невольный.

С. З. Вы часто с восхищением говорите о других писателях, особенно о писателях прошлого...

Х. Л. Б. И особенно американского прошлого, которому я стольким обязан. Когда я думаю о Новой Англии и о том количестве замечательных людей, которых Новая Англия дала миру (вероятно, это могут как-то объяснить астрологи), я начинаю их вспоминать: Эмерсон, Мелвилл, Торо, Генри Джеймс, Эмили Дикинсон и многие другие... Если бы их не было, не было бы и нас. Ведь мы в какой-то мере — отражение этого созвездия Новой Англии.

С. З. Но сначала вы больше интересовались английской литературой?

Х. Л. Б. Да, но первым в моей жизни романом был «Гекльберри Финн» Марка Твена, а потом я прочитал «Завоевание

Мексики и Перу» Прескотта. И я до сих пор благодарен им... Мне кажется, что на писателей влияет все прошлое человечества в целом. Не только культура одной страны, не только какой-то язык, но даже авторы, которых он не читал и которые приходят к нему через язык, так как язык есть факт эстетический и он есть произведение тысяч людей.

С. З. Какая литература, кроме английской и американской, вас интересует?

Х. Л. Б. Ну, прежде всего скандинавская литература, саги, исландская старина... Знаете, вся литература прекрасна. Представить себе мир, например, без Верлена, без Гюго было бы очень печально. Впрочем, зачем лишать себя чего-то? Для чего становиться библиотечным аскетом? Библиотеки дают нам постоянное счастье, доступное счастье. Вот если бы я был Робинзоном Крузо, то книгой, которую я взял бы с собой на остров, была бы «История западной философии» Бертрана Рассела, и, наверное, этого мне было бы достаточно. Хотя было бы намного лучше, если бы мне позволили взять какую-нибудь энциклопедию. Ведь для такого праздного и любопытного человека, как я, лучшее чтение — энциклопедия. Будь то самая древняя — Плиния или одна из новых — Британская или Европейская, все они бесценны.

С. З. Каким литературным жанром вам хотелось бы сейчас заняться?

Х. Л. Б. Тем, в котором я работаю. Я пишу короткие стихотворения и рассказы. Они мне нравятся, но я чувствую внутреннюю потребность посвятить себя именно этому, иначе они начнут меня преследовать. И только завершив работу, я могу перейти к чему-нибудь другому. Скоро опубликую книгу под названием «Порука», куда войдет тридцать-сорок коротких вещей. Не знаю, будут ли они хороши, не покажутся ли претенциозными.

С. З. Вам всегда больше нравились малые формы...

Х. Л. Б. Эдгар По как-то сказал, что длинного стихотворения вообще не существует в природе.

С. З. Но ведь есть что-то вроде длинной истории. То, что мы называем романом.

Х. Л. Б. Как правило, я не выдерживал схватки с этим жанром. Исключение для меня — только «Дон Кихот», Кон-

рад и Диккенс. А так, даже самые знаменитые романы, как романы Теккерея или Флобера, выдержать я не мог. А жаль...

С. З. Один из удивительных феноменов нашего времени — всеобщий интерес к японской литературе.

Х. Л. Б. Да, я сейчас пытаюсь выучить японский язык, но он настолько сложен... Наши западные языки отстают от него так же далеко, как испанский — от гуарани. Японский язык очень богат оттенками, поэтому можно прочитать несколько переводов одного хокку, и они окажутся одновременно совершенно разными и верными. Это потому, что оригинал мудро неоднозначен (как и проза Генри Джеймса).

С. З. Самым интересным в японской литературе мне кажется стремление к миниатюризации.

Х. Л. Б. И понимание ценности мгновения — это бросается в глаза в хокку. Будто цель их — остановить мгновение. И еще, я обратил внимание на отсутствие метафор. Создается впечатление, что для японцев каждое явление, предмет — уникальны; ничто и ни с чем нельзя сравнивать. А вот контраст — пожалуйста.

С. З. Вы хотите сказать, что функция метафоры — продлить миг?

Х. Л. Б. Конечно. И это, думается, идет вразрез со стремлением японской литературы остановить мгновение.

С. З. Большинство писателей постоянно жалуются на то, как им трудно пишется.

Х. Л. Б. Ну нет. Вот не писать — было бы ужасно. Для меня это было бы почти невозможно.

С. З. Несомненно, Борхес — исключение. Я часто думаю: быть писателем — очень редкое призвание и очень странное. Почти все писатели, о которых я что-нибудь знаю (включая меня саму), с раннего детства знали, кем хотят стать.

Х. Л. Б. Ну, по крайней мере Конрад и Де Куинси знали это; и я (не в смысле сравнения) всегда знал, что моей судьбой будет литература. Я знал, что буду связан с литературой: то ли как писатель, то ли как читатель.

С. З. А думали вы когда-нибудь о книгах, которые вам предстояло опубликовать?

Х. Л. Б. Нет, никогда об этом не думал. Я думал о наслаждении читать и о наслаждении писать, но — публиковать?.. Нет, никогда.

С. З. Вы думаете, что могли бы стать таким писателем, как Эмили Дикинсон, ничего не опубликовавшая при жизни?

Х. Л. Б. Да, но неблагоразумный шаг уже сделан. Как-то я спросил Альфонсо Рейеса, зачем мы печатаемся, и Рейес мне ответил: «Мы публикуем свои произведения, чтобы не тратить жизнь на бесконечное переделывание черновиков». Думаю, он был прав. Каждый раз, как выходит в свет моя книга, я не пытаюсь узнать, что там с ней происходит, не читаю абсолютно ничего из того, что о ней пишется, не знаю, пользуется она спросом или нет. Я стараюсь просто мечтать о другом и написать новую книгу, совсем другую. Но, как правило, каждая следующая книга выходит очень похожей на предыдущую.

С. З. Однажды Валери спросили, как он узнает, что стихотворение завершено, и он ответил: «Да когда приходит издатель и его уносит».

Х. Л. Б. Меня всегда очень удивляет, когда речь заходит об окончательной редакции. Разве можно предположить, что автор когда-нибудь не посчитает неуместной какую-нибудь точку, эпитет? Это абсурд.

С. З. Я тоже чувствую, что мне хотелось бы снова написать почти все, что уже написано.

Х. Л. Б. А я хотел бы уничтожить все, что написал. Пожалуй, мне было бы приятно спасти только одну книгу — «Книгу Песка» и еще, возможно, «Тайнопись». А все остальное может и должно быть забыто.

С. З. Что думает Борхес о различии между прозой и поэзией?

Х. Л. Б. Я думаю, что главное в этом различии идет от читателя, а не от текста. От страницы прозы читатель ждет новостей, информации, суждений; читающий стихи, в свою очередь, знает, что они должны воздействовать на его чувства. В самом тексте нет никаких различий, они в читателе, в разной читательской установке. Я думаю, что и классика — это не книга, как-то по-особому написанная, но книга особым образом прочитанная.

С. З. То есть вы действительно верите, что есть разные типы читателей?

Х. Л. Б. Читательских типов столько же, сколько вообще на свете читателей. Точно так же я верю, что каждая страница поэзии или прозы — неповторима.

С. З. Тогда давайте содействовать расширению читательского сообщества.

Х. Л. Б. Да, потому что этому разряду людей угрожает исчезновение. Вот писателей сейчас много, а читателей — почти ни единого. Давайте утвердим Секту читателей или Тайное общество читателей...

С ЖАНОМ ДЕ МИЙЕРЕ

Жан де Мийере. Вспомните, кто из мыслителей привел вас к той метафизике, которая выразилась в ваших стихотворениях?

Хорхе Луис Борхес. Мне думается, это были Шопенгауэр и Беркли. Позже, может быть, Спиноза. Потом я много читал о гностиках и катарах, ну и Сведенборга, конечно.

Ж. М. Отголоски такой философии — позднее она будет питать все основные темы вашего творчества — слышны уже в ранних стихах, скажем, тема времени, мелькнувшая в «Труко»:

Колода перекраивала жизнь...
В границах столика
Текло иное время. <...>

Х. Л. Б. По-моему, в примечаниях к «Истории вечности», в конце, я отметил, что уже в «Труко» есть мысль — задолго до того, как я написал об этом, ее опроверг Бергсон, — что в каждый миг своей жизни мы — это наше прошлое. В свою очередь, Оскар Уайльд писал — весьма, на мой взгляд, парадоксально, — что каждое мгновение соединяет в себе и то, чем мы были, и то, чем станем; потом он добавил, что мы — это наше прошлое и будущее одновременно.

Ж. М. Поэзия скорее подразумевает, нежели говорит о чем-то прямо. Именно это больше всего характерно для ваших стихов, написанных после долгого молчания с Рождества 1938 года.

Х. Л. Б. В моем тогдашнем молчании нет ничего таинственного, просто я больше писал новеллы.

Ж. М. Понимаю, никакой тайны тут и нет, мне только кажется, что тот внутренний кризис с его лихорадкой, бессонницей и мучениями как бы ускорил для вас течение времени и из тех испытаний вы вышли куда более зрелым. Это выразилось в новом настрое стихов — более плотных, насыщенных смыслом. Это эпоха «Воображаемых стихов», одного из наиболее удачных ваших стихотворений.

Х. Л. Б. Мне казалось, что «Воображаемые стихи» — не просто удачное стихотворение, оно, может быть, одно из лучших, не так ли?

Ж. М. Да, верно. Кстати, оглядываясь сейчас назад, какие пять-шесть стихотворений вы могли бы выделить?

Х. Л. Б. Так, придется взывать к памяти, а она, как вы понимаете, у меня больше напоминает бездну забвения. Что ж, я думаю, это все те же «Воображаемые стихи», затем «О дарах», неплох также сонет о Спинозе и потом стихотворение памяти моего прадеда, полковника Суареса, где речь идет о битве за Хунин. Или вы бы назвали какие-то еще?

Ж. М. Да, конечно: «Поэтическое искусство» и «Голем».

Х. Л. Б. Да-да, и «Поэтическое искусство» тоже. А «Голема» я вообще считаю лучшим своим стихотворением.

Ж. М. И еще оба «Предела», они превосходны.

Х. Л. Б. Насчет второго я, пожалуй, согласен, но только не первый, это же набросок, черновик. В нем можно что-то найти, только лишь прочтя сначала вторую вещь, более длинную. Меньшую саму по себе просто не заметишь. Вы воспринимаете одно стихотворение сквозь призму другого — вот ведь что происходит! Нет, я все-таки считаю, что лучшие мои стихи — это «Голем». И потом, в «Големе» есть юмор, которого в других стихах не найдешь — они слишком величественные.

Ж. М. Да, они величественны и приподняты, но так-то вы уж их темы, я считаю, что лирика и юмор несовместимы. <...>

Х. Л. Б. Так вот, если бы потребовалось выбрать что-то одно, я назвал бы «Голем».

Ж. М. А я «О дарах». Я предпочитаю его «Голему» и даже «Воображаемым стихам» — они немного приподняты, но этого требует сюжет. А «Голем» гораздо человечнее,

глубже, в нем есть что-то личное, есть юмор, но ему не хватает глубины «Даров», их человечности, он — плод рассудка, игра ума.

Х. Л. Б. Вы в самом деле так считаете? Должно быть, вас, скажем так, смущает его алгебраичность. Ведь Голем для раввина (то есть для человека) здесь то же самое, что раввин, человек — для Бога, а стихотворение — для его творца. Это можно воспринимать и с точки зрения эстетики, и с точки зрения теологии. Но возвращаясь к теме нашей беседы, если бы я выбирал три стихотворения, то это было бы «О дарах», первое, о Груссаке, затем «Воображаемые стихи» и, наконец, один из «еврейских» сюжетов — «Голем» или «Спиноза».

Ж. М. Что вы думаете сегодня о вашем поэтическом будущем? Есть ли у вас ясное представление о том, куда вы пойдете: будете развивать идеи, которыми руководствовались при составлении своей последней поэтической антологии «Стихи 1923–1966 годов», или же есть какие-то темы, которые вы обдумываете, чтобы затем воплотить в стихах?

Х. Л. Б. Скорее всего, я отойду от регулярных размеров — я все время возвращаюсь к одним и тем же рифмам. Сонет очень ограничивает, я чувствую это сейчас, как никогда. Может быть, вернусь к верлибру, но верлибру новому, более плавному, непохожему на уитменовский — у него он слишком резок и звучен. Мне сегодня ближе другое: «бледная манера», если можно это так назвать, — думаю, в поэзии я буду заниматься именно этим. <...>

Ж. М. Если брать ваше творчество в целом, в нем на сегодняшний день стоит различать сторону литературную и сторону философскую, несмотря на то что ваша цель в том и состоит, чтобы слить их воедино. Насколько мне известно, вы не любите, когда заговаривают о вашей философии, вы чуть ли не стесняетесь ее, что, в общем, понятно — вы ведь писали, вовсе не задаваясь целью проповедовать, обращать в свою веру или наставлять на путь истинный.

Х. Л. Б. Нет-нет, никогда в жизни. Мы, кажется, уже говорили об этом — я просто опробовал литературные возможности такой философской системы, как идеализм, или идей Пифагора о вечном возвращении и так далее.

Ж. М. Но вы ведь никогда полностью не принимали их для себя...

Х. Л. Б. Нет; вы, я думаю, признаете, что мои произведения не содержат никаких нравоучений, я не апостол.

Ж. М. Да, и, например, книгу «Борхес-апостол» нельзя себе и представить.

Х. Л. Б. Надеюсь, что нет.

Ж. М. И все-таки из ваших текстов можно извлечь некое подобие связанной философской системы, и не какой-то там абстрактной системы, а именно метафизики, источники которой легко видны.

Х. Л. Б. Конечно, но я их никогда и не скрывал. Прежде всего, на мой взгляд, это сама философия идеализма; говоря «идеализм», я имею в виду Беркли, Юма и Шопенгауэра скорее, чем вечные архетипы Платона.

Ж. М. Прибавьте к этому также каббалу и Библию.

Х. Л. Б. Каббалу, Библию, гностиков.

Ж. М. Видимо, вам пришлось прочесть для этого немало книг, и прочесть прилежно.

Х. Л. Б. Да, было даже время, когда я погрузился в буддизм. Мы с Алисией Хурадо начали писать о нем книгу, но к согласию, увы, не пришли. Она хотела написать так, чтобы обратить людей в буддистскую веру; когда я находил в буддизме какую-то живописную и необычную деталь, она говорила, что это только отдалит людей. Она вообще хотела опустить все фантастическое и невероятное на взгляд европейца, стремясь, по сути, составить некий катехизис буддизма. Я же, напротив, хотел показать его причудливый мир. Написав несколько страниц, мы поняли, что думаем о двух абсолютно разных книгах, и отказались от этого замысла.

Ж. М. То-то я ничего не понял, когда она года три-четыре назад сказала мне: «Борхес почему-то не хочет больше заниматься буддизмом». Она действительно не понимала, что вы расходитесь в главном, или просто не хотела об этом говорить?

Х. Л. Б. Нет, просто каждый хотел написать свою книгу. Я думал о чем-то вроде обзора, причем занимательного для читателя; в буддизме есть вещи, притягивающие меня своей

странностью: сама легенда о Будде, астрономия и космология; Алисия же смотрела на все это с точки зрения этики. Она считала себя буддисткой и хотела обратить в эту веру как можно больше людей; понятно, что в ее книге как раз странному и поразительному-то и не было места. Книга не была написана именно поэтому: все остальное — манера, язык, даже пунктуация — не вызывало ни малейших разногласий.

Ж. М. Раз уж мы об этом заговорили, я, если позволите, подчеркну один момент, чрезвычайно, по-моему, важный для ваших толкователей: непосредственность и широту ваших знаний. Ведь большинство ваших недоброжелателей упорно твердят, что сведения ваши поверхностны, что читали вы мало и на скорую руку.

Х. Л. Б. Что ж, если подумать о том, сколько еще осталось прочитать, изучить, то они, пожалуй, правы. Да ведь любое знание поверхностно. Но, как бы там ни было, десятка три-четыре книг по буддизму — на английском, французском, немецком — у меня здесь найдется. Есть дюжина и по каббале; все это я прочел и законспектировал, связав с другими прочитанными книгами и своими мыслями о них.

Я ведь интересовался и каббалой, и буддизмом куда раньше, чем принялся о них писать, то есть я читал все эти книги совершенно не для того, чтобы набрать цитат или сочинить статейку. Наоборот, начинал я с любопытства, с увлеченности, и только потом мне пришла в голову мысль использовать эти сведения в литературных и философских целях. А почему бы и нет?

Ж. М. Я знаю все это от Алисии Хурадо, но и ее, и мои слова подтверждаются мнением двух «светил» — Роже Каюа и Жана Валя, мастеров своего дела, я их сейчас процитирую, чтобы подкрепить наши слабые авторитеты. В своей статье под названием «Главные темы Борхеса» Каюа перечисляет редкие, но правдоподобные истоки «метафизического фона вселенной Хорхе Луиса Борхеса», а вряд ли кто усомнится в том, что он понимает, о чем говорит.

Со своей стороны, Жан Валь в статье «Личности героев и стихия безличного» пишет (цитирую дословно): «Чтобы проникнуть в смысл борхесовского творчества, необходимо

знать всю литературу и всю философию». Согласитесь, это более чем веские суждения.

Х. Л. Б. В таком случае я сам никогда не пойму своих произведений, поскольку не знаю ни всей литературы, ни всей философии. Это доступно разве что энциклопедиям, а они — создания коллективные и потому — безличные. <...>

Ж. М. Среди ваших тем (а их я, конечно, отличаю от символов) я бы в первую очередь выделил тему времени — или, точнее, его опровержения.

Х. Л. Б. Для меня время — ключевая тема. Меня слегка задевает, когда отдельно говорят о времени и отдельно — о пространстве, ведь мы же не воспринимаем пространство вне временной протяженности. А вот время, по-моему, можно воспринимать и вне пространства — время может существовать само по себе, сами по себе могут существовать мысль, музыка, поэзия, — пространство же в отрыве от времени невозможно, не так ли?

Ж. М. Вторая ваша главная тема — это, как мне кажется, Бог, но Бог, не связанный с религией. Очевидно, вы не атеист, назвать вас скептиком тоже вряд ли можно; вероятно, точнее всего здесь было бы слово «агностик» — в том смысле, что для вас неприемлема никакая теология.

Х. Л. Б. Да, именно агностик. Для меня теология как философская система — даже в изложении моих любимых авторов — разновидность фантастической литературы.

Ж. М. Почему?

Х. Л. Б. Да хотя бы потому, что идея всемогущего и всеведущего существа гораздо поразительней любых фантастических выдумок. По-моему, в этом смысле «Этика» Спинозы куда фантастичнее книг По или Уэллса.

Ж. М. Да, если говорить о масштабах ее предмета.

Х. Л. Б. О масштабах, но особенно — о его странности, а это уже, по-видимому, близко к скептицизму...

Ж. М. Таким образом, Бог — это в первую очередь предположение. Насколько я понимаю, для вас дело обстоит именно так?

Х. Л. Б. Да, Бог для меня — предположение, предположение фантастическое, может быть, непостижимое даже для теологов.

Ж. М. Поэтому для вас неприемлемо какое бы то ни было обращение к сверхъестественному. Вы отвергаете, похоже, саму возможность просить о чем-либо Бога или его святых — своего рода посредников, — просить о помощи, заслужена ли она трудами, упорной молитвой или милостиво дарована Всемогущим.

Х. Л. Б. Да, по-моему, это даже аморально. Подобная мысль сама по себе безбожна: как же плоско надо представлять Бога, если надеешься заинтересовать его своими частными и мелкими заботами. А все эти мольбы к бесчисленным девам под разными именами, не имеющими ничего общего с единственной матерью Христа Марией — что это такое? А молитвы святому Антонию Падуанскому, чтобы он помог найти потерянные вещи? Может быть, здесь во мне говорят мои предки-протестанты, но, по-моему, все это — магия и суеверия и в конечном итоге возврат к идолопоклонничеству.

Ж. М. К этой второй теме я бы добавил третью, крайне важную для вашей философии: бренность человеческого существования. Человек затерян в мире, где все для него — иллюзия, и в первую очередь — он сам.

Х. Л. Б. Да, я остро ощущаю это, и подобное чувство охватывало меня не раз — особенно в минуты радости или печали. Скажем, я радовался или грустил и вдруг на какое-то мгновение — всего лишь на один миг — задавался вопросом: а что мне во всем этом? Потом я возвращался к привычному обиходу, но на какой-то миг чувствовал себя не здесь — всего лишь на миг, и вот его уже нет. Так стоит ли радоваться по одному поводу или печалиться по другому? Я вдруг ощутил в себе нечто вечное и вместе с тем мимолетное, почувствовал себя скорее зрителем, нежели героем или жертвой на сцене.

Ж. М. Вот почему вы особенно в эссе, но также и в рассказах так подчеркиваете, что судьба человека, его предназначение, рок, смерть, тождество с собой или собственным прошлым — это лишь разные формы иллюзии вечности, которая всегда присуща человеку.

Х. Л. Б. Да-да, именно так. <...>

Ж. М. Позволю себе еще раз процитировать уже упоминавшуюся статью Жана Валя, где он очень внятно подыто-

живает, что же нынешний человек может подумать, прочитав ваши произведения: «Борхес предлагает нам больше чем науку — непрерывное вопрошание самых глубин неведения», — говорит он прежде всего, цитируя пассаж из «Новых исследований». Вторая его мысль: «Чтобы еще углубить наше неведение, он излагает допущения разных философских школ, которые зачастую сам и выдумывает», здесь Валь приводит цитату из «Вымышленных историй». И заканчивает следующими словами: «Вот что он предлагает нам прочесть „ночами или в томлении сумерек“». Он прекрасно знает, что «всякая мелочь дает начало бесконечной цепи размышлений, тем более произведения Борхеса, эти сны о других мыслях или снах». По-моему, просто невозможно подыскать нашей теме лучшее завершение, а вашему творчеству — более удачную формулу.

Х. Л. Б. По крайней мере, более красноречивую. <...>

Ж. М. По-вашему, искусство — это единственная (и почти что последняя) форма метафизики, доступная нынешнему человеку?

Х. Л. Б. Современному человеку вообще — не знаю, а мне — да. Судить о других не возьмусь, если же говорить обо мне и о моей жизни, то я согласен с этими словами.

Ж. М. А по-моему, они применимы и к человечеству вообще. Не зря серьезнейшие исследователи нашли преемственность, точнее — сходство вашего понятия о точечном времени с Полем Валери. Или с сюрреализмом Андре Бретона, так что вот эти строки из «Второго манифеста», кажется, написаны вами: «Рано или поздно убеждаешься: есть состояние ума, когда жизнь и смерть, явь и вымысел, прошлое и будущее, доступное и невыразимое, верх и низ перестают восприниматься как противоположности». И хотя сюрреализм идет от интуиции, а вы — от разума, вряд ли можно отрицать ваше влияние на современную мысль.

Х. Л. Б. Не знаю, может быть; мы всегда чьи-нибудь современники. Тут ничего не поделаешь, из своей эпохи не выпрыгнуть, даже если очень захочешь. Отметина времени — на каждом из нас, и особенно остро это чувствуют потомки.

Ж. М. Да, но эти потомки появляются у вас уже при жизни. По мере того как вы пишете, возникают читатели, размышляющие над написанным. Их жизнь параллельна вашей, их время синхронно с вашим временем — значит, будущее для вас наступает уже сегодня!

Х. Л. Б. Помню, разговаривая однажды с Ибаррой и Бьоме Касаресом, я сказал, что не стоит так уж заниматься поисками отличий от своих современников; столетия через три будет видно только одно: что мы — писатели XX века, а чем мы отличаемся друг от друга, образом мысли или языком — никто, право, и не заметит.

С ФЕРНАНДО СОРРЕНТИНО

Фернандо Соррентино. И в результате этого в России произошла коммунистическая революция.

Хорхе Луис Борхес. Ну да, и я писал стихи, посвященные русской революции, которая, кстати сказать, не имеет ничего общего с сегодняшним советским империализмом. Нам виделось в русской революции начало мира между людьми. Мой отец был анархистом, приверженцем Спенсера, читателем «Индивида против государства», и я помню, как однажды во время долгих летних каникул в Монтевидео отец советовал мне запомнить множество вещей, поскольку они вот-вот исчезнут, а мне нужно будет рассказать своим детям и внукам — а у меня не оказалось ни детей, ни внуков, — что мне удалось застать их. Он обращал мое внимание на казармы, знамена, пестрые карты, на которых для каждого государства был свой цвет, на скотобойни, церкви, священников, дома терпимости, поскольку все это исчезнет, когда мир станет единым и различия сотрутся. До сих пор пророчество не сбылось, но я жду, что скоро сбудется. Но, повторяю, в русской революции я видел начало мира для всех, событие, ничего общего не имеющее с советским империализмом нашего времени.

Ф. С. Насколько я знаю, эти стихи не попали в книгу.

Х. Л. Б. Эти стихи я уничтожил, потому что они никуда не годились.

Ф. С. А вам было восемнадцать или девятнадцать лет.

Х. Л. Б. Да, и я пробовал идти в ногу со временем и собирался стать поэтом-экспрессионистом. Сейчас я перестал верить в литературные школы и верю в отдельных людей.

Ф. С. Не кажется ли вам парадоксальным, что один и тот же народ дал миру Шопенгауэра и Гитлера?

Х. Л. Б. Пожалуй, немецкий народ, наряду с английским, — один из самых удивительных в мире. Например, как вы заметили, он дал Шопенгауэра, создал немецкую музыку; и в то же время покорился такому человеку, как Гитлер. Уэллс считал, что спасение человечества — в образовании. Эту мысль можно было бы спародировать, приведя строки из стихотворения Элиота, которые звучат примерно так:

Где мудрость, утраченная нами ради знания?
Где знание, утраченное нами ради сведений?

Конечно, я не вижу иного пути, ведущего нас к мудрости, кроме как через знание и через сведения. Однако если имеется страна, обладающая сведениями и обладающая знаниями, то это именно Германия. И все же такую страну удалось сбить с толку, я не могу постичь этого противоречия. Но оно существует. Что заметно в немцах — и что, бесспорно, отсутствует у Шопенгауэра — это почитание авторитетов, напоминающее уважение китайцев к иерархии, огромную важность для них титулов и чинов. Думаю, что в этом отношении мы гораздо скептичнее немцев: мы сознаем, что иерархия зависит от обстоятельств, а они, в свою очередь, от случая. Напротив, в Германии, давшей миру философов-скептиков, народ скептицизмом не отличается. Немцы чтут авторитеты, и шиллеровская фраза: «Weltgeschichte ist das Weltgericht» (то есть «История есть высший суд») — отражает преклонение перед успехом, что кажется мне типично немецкой чертой. Противоположностью этой фразе может служить высказывание одного английского мыслителя: «Нет большего краха, чем успех». Вы видите, что немецкие солдаты великолепны, но похоже, что они не способны сражаться за обреченное дело. Испанская эскадра после поражения на Кубе вышла в море и была потоплена. А немецкая эскадра в 1918 году, как вы помните, поняв, что сопротивление бесполезно, сдалась английскому флоту.

Х. Л. Б. Помнится, я говорил, что Кальдерон де ла Барка — создание немцев и что название «Жизнь есть сон» заставляет нас воспринимать Кальдерона как поэта-метафизика. Подобный подход мы встречаем в шопенгауэровском «Мире как воле и представлении», и Шопенгауэр говорит

о сновидческой сущности жизни; мне кажется, это звучит примерно так: «Das traumhafte Wesen des Lebens», — но не поручусь за точность цитаты. Итак, я думаю, что эту фразу можно толковать двояко. Когда, скажем, Шекспир сравнивает жизнь со сном, он подчеркивает нереальность жизни, невозможность провести грань между тем, что мы видим во сне, и жизнью наяву. Напротив, в случае Кальдерона, мне кажется, фраза содержит теологический смысл: *жизнь есть сон* в том отношении, что наша явь соответствует не действительности целиком, а лишь небольшой ее части, в том отношении, что истинное — это небо и ад.

Ф. С. Я думаю, эта мысль скорее принадлежит Манрике.

Х. Л. Б. Мне кажется тоже. Думаю, что эта мысль Кальдерона — религиозная мысль, или, вернее, христианская. Думаю, что Кальдерон придал пафос идее недолговечности жизни, сравнив ее с недолговечностью сна. Что же касается стихосложения Кальдерона, оно кажется мне необычайно бедным; возможно, я недостаточно внимательно читал его, но мне трудно отличить один персонаж от другого, а механика его пьес слишком заметна. То же самое можно сказать обо всем испанском классическом театре. Я понимаю, что веду еретические речи, но мне скоро семьдесят два года; наверное, я могу себе позволить быть в какой-то мере еретиком.

Ф. С. Какое впечатление создалось у вас от первого прочтения «Божественной комедии»?

Х. Л. Б. Впервые я прочел ее в не совсем обычных условиях. Я работал тогда в ничем не примечательной библиотеке в квартале Альмагро Сур. А жил в квартале Реколета. Чтобы добраться до работы, приходилось совершать долгие поездки на трамвае — думается, это был 76-й, точно не помню, — и мне попалось издание «Божественной комедии» на итальянском и английском языках, с переводом Карлейля, не известного писателя Томаса Карлейля, а его брата. Двухязычное издание. Я читал в трамвае: сначала страницу по-английски; пытался удержать ее в памяти; затем ту же страницу по-итальянски. Кроме того, я знал, что человек, владеющий испанским языком, в какой-то мере владеет португальским и, хотя и в меньшей степени, итальянским. Я был ослеплен этой книгой настолько, что вся остальная

литература показалась мне случайной, случайным даром, если сравнивать с «Божественной комедией», в которой все представляется — и, без сомнения, так и есть — продуманным автором. Затем я приобрел итальянские экземпляры «Комедии». Я помню издание Скартаццини, помню — его я прочитал позднее — издание, подготовленное еврейским итальянским ученым Момильяно, помню издание Грабера, Торраки, Штайнера... и я убедился, что «Божественная комедия» настолько хорошо откомментирована, что ее можно читать, почти не владея итальянским. Данте в письме к Кангранде делла Скала писал, что «Божественная комедия» может быть прочитана четырьмя разными способами. Это напоминает слова Скота Эриугены, который говорил, что Священное Писание напоминает оперение павлина, переливающееся бесчисленным множеством красок. Впоследствии я обнаружил, что, по мнению некоторых иудейских теологов, Священное Писание адресовано каждому из читателей; и книга, и читатель предвидены Богом. Это дает бесконечное число возможных прочтений. С другой стороны, мне кажется, что испанские переводы «Божественной комедии» отражают заблуждение, которое мы совершаем, полагая, что итальянский язык сильно отличается от испанского. Думаю, что любой аргентинец, любой испанец должен прочесть «Божественную комедию». Правда, поначалу придется преодолевать некоторые затруднения; но правда и то, что эти усилия в полной мере оправдывают себя. Есть люди, которые инстинктивно медлят начать чтение «Божественной комедии», усматривая в ней нечто в высшей мере фальшивое. Большой французский поэт Поль Клодель говорит, что зрелища, которые ожидают нас за порогом смерти, не должны походять на ад, чистилище и рай, воспетые Данте. Что представление Данте об аде скорее напоминает подобие некоего Луна-парка, вызывающего дурноту. По-моему, это неверное замечание. Не думаю, что Данте представлял ад состоящим из девяти кругов, чистилище — чем-то наподобие рукотворной ступенчатой горы и небо — как исполненный света простор, где беседуешь со святыми. Нет, сам Данте по ходу поэмы утверждает, что никто не может предвидеть суда Божьего, что никто не может заранее сказать, что А будет

осужден, а Б — спасен. И однако на протяжении всей «Божественной комедии» мы видим осужденных на вечные муки, кающихся и достигших благодати людей, чьи точные имена названы нам. Как это объяснить? Мне кажется, что Данте создал эту структуру, эту топографию — или, лучше сказать, географию — трех царств в чисто литературных целях. В пользу этой моей мысли служит тот факт, что по мере чтения человек убеждается, что мир иной населен только библейскими персонажами, героями античности и, кроме того, итальянцами. Данте не мог бы не ощутить, что это неверно. В поэме найдены для каждого греха, для образца добродетели или разной тяжести наказания типичные персонажи, которые уже известны читателю, персонажи, без труда воспринимаемые его воображением. Один из комментаторов Данте — по-моему, его собственный сын — считает, что Данте хотел изобразить натуру праведников с помощью метафоры рая, натуру кающихся с помощью метафоры ада. Стало быть, именно живость, именно ни с чем не сравнимая жизненность «Божественной комедии» заставляет нас читать ее как вымышленное географическое описание. И эта особенность, поначалу составлявшая достоинство книги, сейчас оборачивается против нее. Но я думаю, что достаточно проникнуться простой мыслью, что Данте не считал возможным оказаться после смерти ни в одном из трех царств, созданных его воображением, — достаточно проникнуться ею, и мы сможем наслаждаться «Божественной комедией»; я могу поручиться, что «Божественная комедия» — одно из живейших литературных впечатлений за всю мою жизнь, литературе отданную.

Ф. С. Важна ли для вас религиозная ценность «Божественной комедии», или вы принимаете во внимание только ее литературные достоинства?

Х. Л. Б. Меня меньше всего интересует религиозная ценность «Божественной комедии». Я хочу сказать, что мне интересны герои поэмы, их судьбы, но всю религиозную концепцию, мысль о награде и каре, эту мысль я никогда не воспринимал. Думать, что наше поведение может привлечь внимание Бога, думать, что мое собственное поведение — я однажды говорил об этом — может привести к вечным

мукам или вечному блаженству, кажется мне абсурдным. Этическая сторона «Божественной комедии» — это именно то, что никогда не вызывало у меня интереса.

Ф. С. Какой оценки заслуживает Библия в чисто литературном отношении?

Х. Л. Б. Здесь должно быть много различных оценок, ведь речь идет — как показывает множественное число существительного — о множестве различных книг. Из них наибольшее впечатление на меня производит Книга Иова и Екклесиаст и, разумеется, Евангелия. Редкостная идея — придать священный характер лучшим произведениям одной из литератур — мне кажется, еще не изучена так пристально, как того заслуживает. Я не знаю другого народа, поступившего подобным образом. Результатом явилось одно из богатейших произведений, которыми располагает человечество.

Ф. С. Есть один вопрос, быть может, не очень умный, который принято задавать писателям. Говорят, когда Честертон спросили, какую книгу он взял бы с собой на необитаемый остров, он ответил: «Искусство шить башмаки». Но если оставить шутки, как бы вы ответили?

Х. Л. Б. Сначала я попробовал бы сплутовать и назвал бы Британскую энциклопедию. Потом, если бы спрашивающий вынудил меня ограничиться одним томом, я бы выбрал «Историю западной философии» Бертрана Рассела.

С МАРИЕЙ ЭСТЕР ВАСКЕС

Мария Эстер Васкес. Когда, где и как для тебя началась тема лабиринта?

Хорхе Луис Борхес. Помню, в какой-то книге была гравюра, семь чудес света и среди них — критский лабиринт. Строение походило на арену для боя быков, только с окошками, но крохотными, как скважины. Ребенком я думал, что если смотреть внимательно, вооружась лупой, то сумеешь разглядеть Минотавра. Кроме того, лабиринт — явный символ замешательства, а замешательство — или удивление, из которого, по Аристотелю, родилась метафизика, — чувство для меня самое привычное, как для Честертона, который говорил: «Все проходит, кроме удивления, особенно перед буднями». Чтобы выразить это замешательство, которое сопровождает меня всю жизнь, так что я не всегда понимаю даже собственные поступки, я и выбрал символ лабиринта, вернее, мне понадобился лабиринт. Строение, возведенное, чтобы в нем затеряться, — разве это не символ замешательства? Я по-разному подходил к этой теме, отсюда — образ Минотавра и такой рассказ, как «Дом Астерия». Астерий — одно из имен Минотавра. Тема лабиринта есть, конечно, в «Смерти и буссоли», в некоторых стихах из последних книг; в новой, которая скоро выйдет, тоже будет стихотворение про Минотавра.

М. Э. В. А зеркала?

Х. Л. Б. Зеркала связаны с трехстворчатым шкафом в гамбургском стиле. Он стоял у нас дома, но вообще такие громадины красного дерева были тогда во всех старых аргентинских семьях... Я ложился спать, видел себя утроенным в зеркалах, и мне становилось страшно: каждое зеркало отражало свое, вдруг в одном из них я натолкнулся на кого-то

совсем другого? Прибавь к этому прочитанную поэму о хорасанском Пророке под Покрывалом (он прятал лицо, изуродованное проказой) и Железную Маску из романа Дюма. Два страха — отразиться другим и увидеть себя чудовищем — сошлись в одно. Кроме того, зеркало было, конечно, связано с образом шотландского привидения, fetch (оно приходит за живыми, чтобы забрать их в иной мир), и немецкого Doppelgänger, повсюду сопровождающего нас двойника, — об этом есть в рассказе о Джекиле и Хайде и множестве других. Короче, я боялся зеркал. У меня даже есть стихотворение об этом страхе, отсылающее, кроме того, к фразе Пифагора о друге как втором «я». Мне всегда казалось, что мысль о втором «я» пришла ему в голову перед отражением в зеркале или в воде. Ребенком я так и не решился сказать родителям, чтобы они положили меня спать в совершенно темной комнате, а то мне страшно. Никак не засыпая, я снова и снова открывал глаза — посмотреть, остались ли отражения в зеркалах похожими на то, что я считал своим лицом, или начали неудержимо и жутко меняться. Вдобавок к этому присоединилась мысль о множественности «я» — изменчивом «я», всегда ином и прежнем; она много раз приходила мне на ум. У меня есть рассказ «Другой», вариация на эту тему, которую уже развивали среди прочих По и Достоевский, Гофман и Стивенсон.

М. Э. В. А откуда идея повторяющегося круга, мира, который всякий раз возвращается к одному и тому же?

Х. Л. Б. В первую очередь от отца. А у него, по-моему, из «Диалогов о естественной религии» шотландского философа XVIII века Юма. Идея вот в чем: поскольку число элементов, из которых состоит мир, ограничено, а время бесконечно и каждый миг неразрывен с предыдущим, то достаточно одному мгновению этого космического процесса повториться, чтобы все последующие тоже повторились, а мировая история, как и думали пифагорейцы и стоики, замкнулась в круг. Обычно эту мысль связывают с Индией, но в индийских космогониях, скажем в буддизме, круги сменяют друг друга, но не повторяются. К примеру, человек не проживает одну жизнь множество или бесконечное число раз, но каждый круг существования влияет на последующий.

Поэтому можно выродиться в животное, растение, демона, тень, можно снова стать человеком или потерять себя. Это и есть нирвана, высшее блаженство — попасть в колесо перерождений и освободиться от него. Эта мысль очень волновала меня, я к ней не раз подступался. Но потом разуверился. И не просто разуверился: даже если эта наша беседа, как сказано в моем эссе «Учение о циклах», повторяется уже в тысячный раз, она все равно первая, ведь предыдущих мы не помним. Смысл идеи повторения, об этом есть дивные стихи Россетти:

I have been here before;
When, where or how I cannot tell.
I knew the grass beyond the door,
The keen sweet smell,
The sighing sound, the lights around the shore.
You have been mine before...¹

Так вот, смысл ее как раз в том, что чувство нахлынувшего прошлого подразумевает необратимую перемену. Скажем, я допускаю, что этот наш разговор уже был, и думаю: «Я ведь уже говорил об этом с Марией Эстер Васкес и рассказывал ей ровно то же самое в этой зале этой же Национальной библиотеки». А значит, все это происходит не впервые, и круги тем самым не повторяются. Возможность вспомнить о предыдущем круге перерождений на самом деле опровергает учение о циклах. И еще одно. Если нам суждено прожить свою жизнь множество или даже бесчисленное количество раз, то пережитое будет с каждым разом вспоминаться все точнее, а это, может быть, отчасти изменит прошлое, и теория опять-таки терпит крах.

М. Э. В. Хорошо, поговорим о тиграх.

Х. Л. Б. Я писал об этом в стихотворении «Золото тигров». Мы жили рядом с зоопарком. Я бывал там чуть не каждый день, но больше всего — кроме бизонов — меня притягивали

¹ Мне этот край — родной.
Все это было (век назад?):
Трава под каменной стеной
И острый аромат,
Вдыхавший вал, маяк ночной.
И ты была со мной... (англ.)

тигры. Особенно королевский бенгальский тигр. Я смотрел на него часами. На золотую шкуру и, конечно, на узор полос. Еще я всегда любовался леопардами, ягуарами, пантерами и другими хищниками из этого семейства. В том стихотворении у меня говорится, что первый цвет, который я увидел в жизни (увидел не глазами, а всеми чувствами), был желтый цвет тигриной шкуры, и теперь, ослепнув, я изо всех цветов безошибочно вижу один желтый. Так вышло, что он сопровождает меня от начала до конца. Поэтому, а не из модернистских пристрастий к декоративности я назвал книгу стихов «Золото тигров». Ну и потом, тигр воплощает мощь и красоту. Помню, моя сестра обронила однажды любопытную фразу: «Тигр создан для любви». Это напоминает строчку Кансиноса-Ассенса, где он говорит женщине: «Я буду нежнее тигра». Что-то похожее есть у Честертона, о тигре из блейковских стихов об истоках зла (зачем Господь, сотворивший агнца, создал тигра, который его пожрет?); он там говорит: «Тигр — символ леденящего изящества». Тут соединяются красота и кровожадность, которые приписывают тиграм. Хотя вряд ли они кровожадней других. Просто лисице приписывается хитроумие, льву — царственность: все это условности басенного жанра, скорей всего восходящие к Эзопу.

М. Э. В. А «союз отчаянности и навахи» — что за этим?

Х. Л. Б. Тут два источника. Во-первых — то, что мои предки были по большей части солдатами, многие погибли в бою, а мне в этой судьбе отказано. Во-вторых — то, что я еще застал эту отчаянность среди голытьбы, всех этих куманьков с побережья, чью веру можно выразить одной фразой: или ты мужчина, или слабак. И отвага у куманьков была совершенно бескорыстной, не то что у гангстеров и других нарушителей закона; теми могла двигать жадность или политические резоны. Позже я нашел в одной скандинавской саге подходящие слова. Викинги встречают других и спрашивают незнакомец, в кого они верят — в Одина или белолицего Христа. Те отвечают: «В собственную отвагу». Похоже на кодекс наших поножовщиков.

М. Э. В. Еще одна важная для тебя тема — Буэнос-Айрес.

Х. Л. Б. Да, но только не нынешняя столица, а город моего детства и еще более давних лет. Я родился в девяносто девят-

том, и мой Буэнос-Айрес остался в туманном прошлом, годах в девяностых. Так получилось по двум причинам. Во-первых, раньше, как известно, «все было лучше». А потом — ограничивать литературу злобой дня, по-моему, неправильно. По крайней мере, традиция учит другому. Я не знаю, сколько в точности, но должны были пройти века после Троянской войны, прежде чем Гомер принялся за свою эпопею. Есть тут и одно вполне практическое соображение. Пища о современности, ты заставляешь читателя шпионить и ловить тебя на ошибках. А если действие происходит в Турдере или в прибрежных районах Палермо девяностых годов, то никто уже не помнит, как жили и как выражались в тех предместьях, отсюда — бóльшая свобода и безнаказанность автора. Поскольку память (сошлюсь на Бергсона) избирательна, то вернее опираться на воспоминания, а не на сырую реальность, которая подавляет и огорошивает. Кроме того, пишущего на злобу дня всегда подстерегает опасность оказаться не столько писателем, сколько репортером.

М. Э. В. И последняя тема — клинок.

Х. Л. Б. Она связана с темой отваги, а начинается с двух сабель, висевших в доме у моего деда Борхеса. Одна принадлежала генералу Мансилье. Они с дедом были друзьями и однажды во время парагвайской кампании, поддавшись романтическому жесту из какого-то французского романа, перед боем обменялись саблями. Вторая теперь в историческом музее, в парке Лесамы. Потом от сабли солдата я перешел к ножу поножовщика (прямо по Лугонесу: «С геройской саблей, павшей до ножа...»). Клинок — символ отваги, не в пример остальному оружию. Скажем, огнестрельное требует не храбрости, а всего лишь меткости. Не случайно Мильтон в «Потерянном рае» приписывает изобретение пушки дьяволу.

С АНТОНИО КАРРИСО

Антонио Каррисо. Борхес, говоря о приемах, о построении стихов Уитмена, можно ли отнести его к людям, читающим Библию?

Хорхе Луис Борхес. Да, думаю, что да; для меня это несомненно. Но стихи Уитмена сложнее псалмов — или тех переводов псалмов, что мне довелось читать. Но исходным пунктом были, конечно, именно псалмы. Кроме того, Библия... Я ведь говорил, что Библия — настольная книга Англии и народов английского происхождения. Не меньше, чем Шекспир. И разумеется, Уитмен обязан Библии своей интонацией, своим голосом. Это особенность английского языка. В английском существует обыкновение употреблять библейские фразы, не заключая их в кавычки; фразы эти выглядят совершенно естественно.

Рой Бартоломью. К тому же англичане, наверное, чаще других народов употребляют фразы из Библии.

Х. Л. Б. Думаю, что так. Библейские фразы вошли в плоть английской речи. Мне говорили, что в Германии нет ничего похожего. В Германии фраза из Библии воспринимается как цитата. <...> В английском же такая фраза звучит как поговорка. Имеет значение и литературное совершенство английской Библии, которое во многом обусловлено сохранением ориентализмов — как и в испанском переводе. Например, по-испански название «El cantar de los cantares», «El cantar de cantares» («Песнь Песней») выражено через превосходную степень. В английском — «The Song of Songs». А в немецком: «Das Hohe Lied», «Высокая песнь», здесь уже не осталось восточного аромата, правда? Или, например, по-английски говорится «A tower of strength» — «Башня силы», «Башня крепости» — в восточном стиле. В немецком варианте наобо-

рот: «Eine feste Burg», «Крепкая цитадель», — вся восточность исчезает. Лютерова Библия, созданная группой епископов, несмотря на необычную важность для развития немецкого языка, в литературном отношении хуже английской.

А. К. Наследником каких культур вы ощущаете себя, Борхес?

Х. Л. Б. Я? Всех. Да, да. Насколько хватает моих знаний. Но, думаю, прежде всего двух. Это Греция и Израиль. Но... Зачем отвергать другие страны? Зачем отказываться от Китая, Японии? Как и от ислама. К тому же ислам своим происхождением обязан Израилю.

А. К. Но почему вы не упомянули Рим?

Х. Л. Б. Потому что без Греции не существовало бы Рима. Говорится: «Civis romanus sum»¹, но, в конце концов, что такое Рим как не продолжение Греции? Невозможно представить себе, скажем, Лукреция без греческих философов; «Энеиду» — без «Илиады» и «Одиссеи». Мне уже случалось говорить, что все западные люди, в сущности, евреи и греки. Поскольку без Библии нас не было бы, равно как и без Платона и досократиков. Остальные народы можно не принимать во внимание. Во мне, например, течет баскская кровь. Но чем замечательны баски? Они доят коров, варят сыр... обладают дурным нравом — как в случае Унамуно — и все. А Греция, Израиль — что бы мы без них? Тот же Киплинг считал Британскую империю продолжением империи Римской. И он прав. Это та же самая империя... Или до недавнего времени была ею. <...> А мы говорим на одном из латинских диалектов. Латынь же, латинская литература непредставима без греческой.

А. К. Конечно, если для вас существует всего несколько классических книг: Библия и две-три греческие.

Х. Л. Б. Да. Но в то же время я думаю о «Тысяче и одной ночи». Конечно, «Тысяча и одна ночь» принадлежит миру ислама, а ислам ведет начало от Израиля. Стало быть, «Тысяча и одна ночь» каким-то образом продолжает Библию. Возможно, Библия сейчас более поразительна для нас, чем «Тысяча и одна ночь».

Бартоломью. А Индия, Персия, Китай?

¹ Я — римский гражданин (лат.).

Х. Л. Б. Возможно, они также. Ведь Персия тоже исламская страна, правда?

Бартоломью. Я думаю, что самый удивительный вклад в историю человеческой культуры, культуры исламских народов, — это «Тысяча и одна ночь».

Х. Л. Б. Да, поскольку Коран не идет с нею в сравнение. Ведь так?.. Аллах не отличается вдохновением Шахразады, верно? (*Смеется.*) И у него не было таких приключений, как у Шахразады.

Бартоломью. Или как у каирских торговцев десятого века.

Х. Л. Б. ...Не знаю точно, есть ли во мне еврейская кровь. Скорее всего, есть, поскольку фамилия моей матери Асеведо, а одного из предков — Пинедо: это еврейско-португальские фамилии. Перечисление еврейско-португальских родов помещено в книге Рамоса Мехии. Это старинные фамилии Буэнос-Айреса. Прежде всего, это Окампо, в них много еврейской крови, затем Саэнс Вальенте; затем фамилия автора книги, Рамоса Мехии, затем Пинедо, Перейра и Асеведо.

А. К. И все это фамилии вашего рода, Борхес?

Х. Л. Б. Нет. К моему роду принадлежат Асеведо и Пинедо. У меня нет кровных связей ни с Окампо, ни с Перейра.

А. К. Какие еще фамилии и какая кровь имеет к вам отношение?

Х. Л. Б. Прежде всего... баскская. Черт, что поделаешь! Дон Хуан Гарай-и-Ирала. (*Улыбается.*) Затем андалусская: Кабрера, основатель города Кордовы, родом из Севильи. Потом английская кровь, которой я горжусь. Но что значит «английская кровь»? Теннисон сказал: «Saxon and Celt, and Dane are we» — «Мы, англичане, — саксонцы, кельты и датчане». Стало быть, любой англичанин — это кельт, германец и скандинав. <...> Во мне, прежде всего, смешаны три крови: испанская, португальская и английская. И кроме того, у меня есть, хотя и далекий, норманнский предок. Весьма отдаленный.

Бартоломью. Значит, в ваших жилах течет кровь трех сменивших друг друга — после Римской — империй.

Х. Л. Б. Верно. Мне не приходило это в голову.

Бартоломью. Вы отправились с португальцами в Индию, обогнули юг Африки...

Х. Л. Б. Верно. Открыл Магелланов пролив.

А. К. Прибыли к берегам Америки...

Бартоломью. Закладывали города...

Х. Л. Б. Вероятно, да. Но это можно сказать о любом.

А. К. Сражались с испанцами.

Х. Л. Б. Да, сражался с испанцами. Моя бабушка называла их «готами».

А. К. Что дала Борхесу каждая кровь из трех? Давайте посмотрим. Что в нем английское, что португальское и что от испанца?

Х. Л. Б. Думаю, английское — самое главное, потому что почти все мною прочитанное было написано по-английски. А это очень важно. В то же время... это касается Испании, не знаю, близка она мне или далека. Возможно, и то и другое.

А. К. Мы объясняем между собой на испанском.

Х. Л. Б. Верно. И следовательно, объясняем по-латыни, правда? *(Улыбается.)*

А. К. И хорошо понимаем друг друга.

Х. Л. Б. Да. Я часто думал: на каком языке я стану умирать? Наверное, на испанском. Хотя кто знает? Я могу цитировать какие-нибудь немецкие или латинские стихи, и вдруг в один момент все, что думаешь, полетит к черту. Очень важно, на каком языке умираешь. Моя бабушка-англичанка совсем забыла испанский, которым никогда как следует не владела. Потому что она приехала сюда... в 1870 году. И так и не выучилась испанскому. Она говорила с заметным английским акцентом. Очень неправильно.

Бартоломью. Человек умирает с языком, но не рождается с ним.

Х. Л. Б. Умирает на языке, верно. Но мне кажется... Ведь существует некое подобие смерти, это сны. Я очень редко вижу сны на английском. Как правило, мне снятся сны на испанском. Сестре моей удавалось видеть сны на французском. Это означает, что она довольно хорошо или очень хорошо знает французский. Мне никогда не доводилось видеть сны на французском. Тем более — на немецком. И на итальянском — разве что читая во сне что-нибудь Ариосто или из «Божественной комедии» — тоже не приходилось... *(Смеется.)*

Бартоломео. Ну а сны на испанском — это настоящий испанский... или то, что мы называем «универсальным языком снов»? Когда встречаешь китайца и вступаешь с ним в беседу... Мы говорим по-испански, как нам кажется, но действительно ли это испанский? Можно ли различить в нем слова или только смысл сказанного?

Х. Л. Б. Да, я различаю... фразы. Например...

Бартоломео. Например, они сняты вам, а утром следующего дня вы записываете их.

Х. Л. Б. Например, я закончил на днях рассказ под названием «Память Шекспира». <...> Закончил спустя два года после того, как мне привиделась во сне в Мичигане фраза: «Наделяю тебя памятью Шекспира». Из этого вышел рассказ. Мне пришлось много сделать, чтобы рассказ вышел, в нем все по-другому, а память Шекспира существует, и ее границы мне трудно определить. Но началось все с этой фразы. Я рассказал Марии Кодаме, что видел сон с фразой, из которой может получиться рассказ, и она посоветовала мне написать его. <...>

Бартоломео. Кто произносил фразу?

Х. Л. Б. Это не имело лица. Но фраза была сказана по-испански.

А. К. Борхес, в снах вы зрячи?

Х. Л. Б. О да! В снах я прекрасно вижу.

А. К. Это замечательно... и жестоко.

Х. Л. Б. Я столько раз обманывался. Во сне я читаю и думаю: «Черт возьми, ко мне вернулось зрение». А потом, не просыпаясь, понимаю: «Нет, на самом деле я вообразил текст, который сейчас читаю». *(Улыбается.)* Я придумываю текст. Но не узнаю его. И продолжаю спать, поскольку это ощущение так привычно...

А. К. Как вам кажется, быть ненормальным и аморальным — одно и то же?

Х. Л. Б. Не знаю, возможно ли быть аморальным. Думаю, что нет. <...> Не знаю, известно ли вам и помните ли вы, что у Мильтона была школа. В этой школе он, разумеется, преподавал — речь идет о семнадцатом веке — грамматику, латынь, а также естественные науки, преподавал астрономию. А доктор Джонсон в своей превосходной биографии Миль-

тона в книге «Жизнь поэтов» утверждает, что Мильтон заблуждался. Потому что человек, говорит он, считанные разы бывает должен проявить себя как ботаник или астроном, а моралистом ему приходится быть всегда, в любой момент. То есть человек постоянно находится в ситуации, которую надо разрешить тем или иным образом. Так он оказывается моралистом. В то же время, пишет Джонсон, задача человека на земле отнюдь не в том, чтобы наблюдать за развитием растений или за движением светил, это ему приходится совершать время от времени, если вообще приходится.

А. К. Имеет ли с этим что-либо общее ваша строчка: «...Пифагор и его трудные ученики»?

Х. Л. Б. Конечно. Здесь удачно поставлено слово «трудный», верно?.. Ведь труден изучаемый предмет, а не ученики. «Об этом знали трудные ученики Пифагора: светила и люди возвращаются, завершив круг». <...> Стихотворение посвящено древней идее циклического времени. Существует опровержение этой теории вечного возвращения, как назвал ее более современный сочинитель Ницше, один из самых современных сочинителей, — прекрасное опровержение — в сочинении Августина Блаженного «О граде Божиим». С красивой метафорой: «Крест Христов спасает нас от кругового лабиринта стойков». Это легко увидеть, правда? <...> Крест, вписанный в круг. Хорошо, что Августин Блаженный увидел это. Хорошо, что ему было многое открыто. Это великий писатель. Вызывающий волнение. Писатель-романтик.

А. К. Поговорим немного о теологах и религиозных философах. Вы читали их?

Х. Л. Б. Да.

А. К. Кто-нибудь из них привлек вас? Скажем, Фома Аквинский, Августин Блаженный, отцы Церкви?

Х. Л. Б. Августин Блаженный. Фому Аквинского я пытался читать без большого успеха. Но читал и перечитывал... Во времена, когда у меня почти не было денег, я купил за полтора франка три томика «Догматики» Роте, лютеранского теолога, на немецком. Эти книги я перечитывал много раз. То есть я, неверующий, читал их как фантастические произведения. Доказательства существования Бога, доказательства человеческого бессмертия и тому подобное. <...>

Книги сохранились до сих пор, испещренные заметками. <...> Шел 1917 год, я тогда знал немецкий достаточно, чтобы прочесть теологическую книгу. Да, я читал эти книги в 1917 году и потом на протяжении жизни не раз возвращался к ним.

А. К. Как вы думаете, почему, когда речь шла о кресте и круге, мне вспомнился Спиноза?

Х. Л. Б. Да, это возможно. Я читал его книги. Я много занимался им и написал о нем два сонета. Ведь Спиноза — одна из самых благородных фигур в истории философии или просто в истории. Когда я был в Соединенных Штатах, мне показали книгу под названием «On God» («О Боге»), и эта книга оказалась трудом Спинозы, подвергнувшимся цензуре. В ней опущен весь геометрический аппарат, а то, что осталось, представляет собой легкое и увлекательное чтение. Изъяты аксиомы, пропорции, выводы, определения; короче, изъято все, что выходит за рамки... подмостков, что ли... строительных лесов геометрии. <...> Не знаю, зачем они были ему нужны. Возможно, под влиянием Декарта. Поскольку мысль исходит от Декарта. Мысль о том, что <...> геометрия, доказываемая при помощи дефиниций, аксиом, аргументов, неопровержима. Да, сейчас ее не считают неопровержимой, а кроме того, известно, что она не может быть непогрешимой из-за своей механики. Но Спиноза верил в нее. Он думал: я стану доказывать свою философию *ordine geometrico*, *more geometrico*: геометрическим методом. И он писал книги, которые невозможно читать.

А. К. Я читал ваши стихи о Спинозе...

Х. Л. Б. Их два.

А. К. ...и мне показалось любопытным, что этот португальский, испанский, голландский еврей...

Х. Л. Б. Я-то не считаю его португальцем. Скорее испанцем. Это доказывается тем, что в различных биографиях Спинозы говорится, что он владел голландским как родным или по крайней мере как языком своего окружения... голландским, французским, латынью, думаю, что греческим и испанским. Но не португальским.

А. К. Исааксон, написавший книгу о Спинозе, утверждает, что его семья была родом из Эспиносы де лос Монтерос

в Старой Кастилии. Из этого же селения происходят мои предки, чем я счастлив.

Х. Л. Б. Стало быть, вы в родстве со Спинозой. Вас можно поздравить.

А. К. Считаете ли вы, что существуют книги с секретом, в которых в действительности сказано не то, что мы читаем, а нечто другое?

Х. Л. Б. Думаю, каждая книга говорит другое. Ведь каждая отражает опыт человека, написавшего ее.

А. К. Станет ли когда-нибудь для нас доступным это другое?

Х. Л. Б. Нет, думаю, что нет. То есть я не убежден, что нам слишком многое откроется. Возможно, нам уже сейчас открыто слишком многое.

А. К. Существует ли книга, написанная Борхесом, которая в действительности — совсем другая?

Х. Л. Б. Если о моих книгах стоит говорить, то каждая. То, что человек пишет, должно выходить за рамки его намерений. Именно в этом таинственность литературы. Поэтому было бы неверно говорить о неудачных произведениях. Ведь автор не знает, что пишет. Если его руку направляет Святой Дух, он просто писец. В Евангелии от Иоанна читаем: «Дух дышит где хочет».

А. К. ...Вы говорили в другом месте, что «музыка — одна из форм времени».

Х. Л. Б. Верно. Я часто повторяю эту мысль.

А. К. Нет, здесь иначе. Здесь она названа «таинственной формой времени».

Х. Л. Б. Она и вправду таинственна. Кроме того, существует еще одно. Шопенгауэр сказал: музыка способна обходиться без пространства, музыка — это время. И я подумал, продолжая эту мысль, что Бог не создавал пространства, он создал время. Можно сказать, создал последовательность. Стало быть, может существовать мир сознаний, общающихся с помощью слов, звуков музыки; сознаний, которые не нуждаются в пространстве. Они вне пространства, если не считать, что само определение представляет собой пространственный образ. Легко вообразить чисто временной мир и невозможно — чисто пространственный.

А. К. Итак, Борхес, стихотворение, которое мы прочитали, напоминает молитву.

Х. Л. Б. Это стихотворение — действительно молитва, но там отсутствует нечто, чему я тоже должен бы радоваться: несчастья. Но они уже воспеты одним великим поэтом. Я вспомнил об этом и не стал писать о несчастьях. Речь идет о «Гимне физической боли». «Гимн физической боли» Киплинга. В этом гимне он возносит благодарность Богу. Он благодарит Бога за физическую боль, которая, по его словам, «заставляет душу забыть об иной адской муке». И это верно. Сильная физическая боль заставляет человека забыть обо всем. <...> У стихотворения необыкновенно красивое название: «Hymn to Physical Pain» — «Гимн физической боли». Так еще никто не называл стихов.

А. К. Мы находим в книге рассказ «В кругу развалин».

Х. Л. Б. Пожалуй, многие считают его моим лучшим рассказом. Сейчас я бы не стал писать в этой барочной манере. Но Мария Кодама говорила мне, что рассказу идет барочный стиль. Что я с полным правом могу написать: «Никто не знал, как он причалил к берегу беззвездной ночью». Стиль подходит рассказу, это правда. Думаю, если бы рассказ был написан просто, как я пишу сейчас, возможно, он был бы погублен. Как можно понять, действие происходит в древней неопределенно-восточной стране, поэтому и подходит этот стиль, туманно-пышный. И — почему не сказать? — высокопарный.

А. К. Не знаю, но если бы мне пришлось выбирать рассказ из этих начальных, из первой части книги...

Х. Л. Б. Вы выбрали бы его?

А. К. Да, «В кругу...» Он производит впечатление, он очень красив.

Х. Л. Б. В нем красиво доказательство. Понятно, что это всего лишь древняя идеалистическая гипотеза относительно того, что реальность — это сон, что кто-то видит нас во сне, — не более того. Но то, что уже стало привычным в философии, может оказаться новым в беллетристике. Разумеется, рассказ не был бы откровением ни для Беркли, ни, скажем, для философов Индии. Но для аргентинских читателей... (Улыбается.) Да, их он удивил.

А. К. На протяжении жизни ощущали ли вы, Борхес, любовь ваших друзей?

Х. Л. Б. Ощущал. Загадочную, необъяснимую для меня, незаслуженную любовь. Люди прекрасно относились ко мне; не знаю, заслужил ли я такую доброту. Конечно, я знаком с очень немногими людьми. Я старался следовать совету Сенеки: «Fuge multitudinem, fuge paucitatem, fuge unum» — «Скрываюсь от многих, скрываюсь от некоторых, скрываюсь от одного», — как перевел Кеведо. От некоторых мне убежать не удавалось, но от многих — всегда.

А. К. В этом вашем томе около двух тысяч страниц.

Х. Л. Б. Действительно. Какой ужас! Но если из этих двух тысяч уцелеют две-три страницы, я буду считать, что работал не зря.

А. К. Ведь тот, кто открывает книгу, выпускает на волю множество образов, мыслей, слов... Это удивительно, правда?

Х. Л. Б. Да. Это необыкновенно.

А. К. Никогда нельзя дважды прочесть одну и ту же книгу, как нельзя...

Х. Л. Б. ...дважды войти в одну и ту же реку. Да, это верно. Как странно, что Гераклит пишет: «те же реки», это ослабляет фразу. Думаю, что эта цитата лучше звучит именно так, как ее обычно произносят: «В одну и ту же реку». Но мне кажется, он пишет «в одни и те же реки». И добавляет вовсе необязательное — «поскольку воды сменились». Сентенцию следует произносить как можно короче: «Никто не может дважды войти в одну и ту же реку». Все остальное как бы разбавляет фразу. Хотя Адольфито считает, что сентенцию следует разбавлять всегда. Чтобы читатель не ощущал ее категоричности, высокопарности. И если у него фраза выходит сентенциозной, он старается разбавить ее. И мне советовал поступать так же. Но я не могу.

А. К. Но тогда она перестает быть сентенцией. Сентенция требует строгой формы.

Х. Л. Б. Конечно, но этого он и добивается. Поэтому он не любит Сенеку, не любит Кеведо: они изобилуют сентенциями. Бьой считает сентенцию ошибкой. Причем ошибкой этической. Или ошибкой, совершенной с благими намерениями. Писатель не должен быть сентенциозным. Равно как

в разговоре не должно быть сентенциозного собеседника. Это бывает отвратительно.

А. К. Это все равно что давать советы. Ведь нехорошо надоедать советами?

Х. Л. Б. Разумеется. Думаю, Бьой прав. Но я так не могу. Я рассуждаю так: в конце концов, единственное, что я умею, — это создавать сентенции... Я буду стараться делать это как можно лучше, потому что в другом мне отказано. Бьой — другое дело, поскольку он пишет *ex abundantia*¹; он пишет с великолепной щедростью и может обойтись без сентенций, отказаться от них.

А. К. Борхес, вам нравится упрекать себя. Вам нравится обвинять себя, хотя невозможно понять, в чем именно.

Х. Л. Б. Во всем. Я чувствую себя виноватым во всем.

А. К. В «Эпilogue» к «Новым расследованиям», вышедшим в 1952 году <...> был один фрагмент, где вы говорили, что, просматривая материал, обнаружили две тенденции: «Первая — уважение эстетической ценности религиозных или философских идей...»

Х. Л. Б. Пожалуй, так. Мне случалось не раз перечитывать три тома «Догматики» Роте, хотя я не христианин. Но я читал ее с огромным интересом. Как читаешь фантастическую повесть. То есть именно из-за ее эстетической ценности.

А. К. «...или хотя бы того неповторимого и чудесного, что они таят в себе», — продолжаете вы.

Х. Л. Б. Верно. То есть я хочу сказать, что читал «Догматику» лютеранского теолога Роте, читал, мне кажется, ведомый тем же побуждением, что толкало меня читать и перечитывать «Тысячу и одну ночь» или «Неистового Роланда» Ариосто: желанием найти чудесное. Здесь следует добавить, что чудесное теологии гораздо более чудесно, чем чудесное литературы или поэзии.

А. К. «Возможно, это свидетельство глубинного скептицизма», — говорится далее.

Х. Л. Б. Может быть, так и есть. Во всяком случае, я предпочитаю не вступать в спор с тем другим Борхесом, ко-

¹ От избытка (*лат.*).

торый, несомненно, моложе и, пожалуй, умнее меня, человека на склоне лет.

А. К. В этом же тексте, написанном в 1952 году, вы даете определение еще одной тенденции книги: «Другая — предположение (и его проверка), что число сюжетов и метафор, порожденных человеческим воображением, ограничено, но эти вымышленные истории могут стать всем для всех, как Апостол».

Х. Л. Б. Это фраза святого Павла. Он говорит — я помню, как это звучит по-английски: «I have been all things to all men» — «Я сделался всем для всех». Чтобы обратить их. И существует стихотворение Киплинга, в котором святой Павел надеется стать *самим собой*, после того как был «всем для всех». Возможно, то же происходит с политиками.

Х. Л. Б. «Сфера Паскаля»... Тема «Сферы Паскаля» — бесконечное. Так как Паскаль воспользовался метафорой, обычно относимой к Богу, — кажется, она встречается уже у Парменида: сфера, у которой центр повсюду, а поверхность — нигде — по отношению к бесконечному пространству, — возможно, несколько снизив ее. <...> Но это не так интересно. Интереснее всего — применение этой метафоры к Богу. Как ее используют теологи. Но Паскаль относит ее к бесконечному пространству, «приземляет» ее. Поскольку бесконечное пространство — это новое открытие. В бесконечном пространстве чувствуешь себя затерянным.

А. К. Хотя вы уже упомянули, что Августин Блаженный придал кресту <...> значение маяка, некоего весьма определенного знака, верно?

Х. Л. Б. Да. Он говорит, что «крест Христов спасает нас от кругового лабиринта стойков». У одного из теперешних менторов, Ницше, эта идея носит название «Вечного Возвращения». Ее же предвидели стойки, пифагорейцы. И ее блестяще опроверг Августин Блаженный. Его доказательства таковы: если история циклически повторяется, должно циклически повторяться и распятие. Тогда Бог окажется фокусником, беспрестанно показывающим один и тот же номер. Именно это не нравилось Августину. Он не хотел, чтобы история была циклической. Чтобы Иисус оказался одной из фигур в этом круге и его самопожертвование, многократно повторенное, утратило

ценность. Эту же мысль обыгрывал Цицерон в книге «О природе богов». Только Цицерон представлял себе бесконечное число миров, существующих одновременно. Цицерон думал: «Пока я пишу это, Цицерон других миров пишет то же самое». И так до бесконечности. Можно сказать, что он относит к пространству идею, относимую стойками ко времени.

А. К. Похоже на бесконечную игру зеркал, правда?

Х. Л. Б. Да, похоже. Об этом написал Бланки, французский коммунист, в книге с прекрасным названием «L'éternité par les astres» («Вечность — по звездам»). Он полагал, что во Вселенной имеется бесконечное число звезд и на них представлены все возможные варианты жизни. Стало быть <...> подобных нам, говорящим, нет ни на одной планете. Или подобных размышляющему мне. Или вам, обдумывающему интервью. Он считал, что все возможные виды жизни должны исчерпать себя. Книга была опубликована в 1871–1872 годах.

Х. Л. Б. <...> В аргентинской поэзии можно обнаружить весь мир. <...> Важна сама поэзия, а не ее история. Кажется, в странах Востока полагают именно так. Думается, одно из самых серьезных затруднений, с которыми Дейссен и другие исследователи сталкивались при создании истории индийской философии, — то, что там историю не изучают. Мне рассказал Рой Бартоломью, что в Персии тоже не изучается история поэзии. Там не выясняют, влияет ли один автор на другого и кто чей последователь. Они существуют в каком-то подобии вечности, там все — современники. Мы же, наоборот, подвержены этому злу: история, даты. Все это мелочи. Мы издаем чью-нибудь биографию, подробнейшим образом отмечающую переезды из одного дома в другой. Просто нелепо. Существует и относительно новая идея. Бэкон примерно в начале XVII века писал: «Какая жалость, что написаны истории династий, войн, государств, но нет истории наук и искусств». А сейчас, пожалуй, наоборот: возможно, нет ни наук, ни искусств, зато существуют истории этих дисциплин. Мне кажется, это изучение по сути своей ошибочно. Потому что, если текст хорош, какая разница, написан ли он сегодня утром, или веков двадцать назад, или еще только будет написан.

Х. Л. Б. Задачи литературы покрыты тайной. Если это иначе, литература становится просто словесной игрой. А мы

превращаемся... ну, скажем, в Грасиана. Это плохо. Но если чувствуешь, что задачи литературы таинственны, что они зависят от тебя, что ты по временам записываешь за Святым Духом, ты можешь надеяться на многое такое, что не зависит от тебя. Ты просто пытаешься выполнять приказы — приказы, произнесенные Кем-то и Чем-то. Я говорю эти слова с большой буквы.

А. К. В этот том включен рассказ «Евангелие от Марка». Удивительный рассказ, правда?

Х. Л. Б. Пожалуй. Мне подсказал его один из друзей, Морони. Ему это приснилось, но немного иначе. Как мне помнится, он видел во сне человека, читающего Евангелие каким-то сельским жителям, землепашцам. Не знаю, много ли от сна уцелело. В то же время... Мне хотелось бы переписать рассказ, чтобы было совершенно ясно, — я не перечитывал его с тех пор и не помню, насколько из текста понятно, — что герой умирает добровольно. Что он сообщник тех, кто его распинает. Как и Христос был сообщником тех, кто распнул его. Его миссия состояла в том, чтобы быть распятым.

С РИТОЙ ГИБЕРТ

Рита Гиберт. Полагаете ли вы, что аргентинцу присущ особый характер, как, например, он присущ французу, мексиканцу или американцу?

Хорхе Луис Борхес. Люди нередко смешивают трудность дать определение с трудностью самих проблем. В данном смысле определить аргентинца было бы очень трудно, столь же трудно, как дать определение красному цвету, вкусу кофе или достоинствам эпической поэзии. И все же мы, аргентинцы, знаем или, скорее, чувствуем, что означает быть аргентинцем, — а это куда важнее любого определения. Не нуждаясь в определениях, мы чувствуем, что аргентинец отличается от испанца, от колумбийца или от чилийца и что он очень мало отличается от уругвайца. Думаю, этот ответ должен нас удовлетворить, ибо, как правило, человек руководствуется в своей жизни не столько определениями, сколько непосредственной интуицией. Хотя определить манеру речи аргентинца трудно, не успеет человек открыть рот, как мы уже знаем, аргентинец он или нет и из какой области он родом. Мне кажется, мы ощущаем аргентинский аромат не только в поэзии гаучо, в романах Гутьерреса или Гуиральдеса, которые сознательно стремились к этому, но также у поэтов, которые не старались быть аргентинцами, которые не во всем своем творчестве и не всегда являются аргентинцами. Каждый чувствует, что стихотворение Фернандеса Морено — это аргентинское стихотворение, и я надеюсь, что мои собственные стихи вызывают ощущение, что я аргентинец, особенно же страницы, лишенные местного колорита. Когда я пишу статью на какую-либо отвлеченную тему или обсуждаю какой-либо метафизический предмет, я делаю это не так, как делал бы испанец, мой син-

таксис отличается — можно даже сказать, что интонация у меня другая. Вот почему я считаю, что, хотя такое явление, как «быть аргентинцем», имеет место, нет смысла пытаться его определить. Если бы мы это сделали, то в дальнейшем были бы прищиплены к этому определению и больше уже не были бы спонтанно аргентинцами. То же и с языком. Когда я начинал писать, я хотел писать на классическом испанском семнадцатого века; потом я купил аргентинский фразеологический словарь и, усердно изучая его, стал аргентинцем. Позже я сочинил такой рассказ, как «Мужчина из Розового кафе», в котором я стремился к живописности и сгустил местный колорит. Теперь, думаю, я освоил аргентинский акцент — когда я пишу или говорю, мне не надо стараться его изобразить, я уже им обладаю.

Р. Г. Можете ли вы назвать себя типичным аргентинцем?

Х. Л. Б. Дело в том, что я не знаю, существует ли типичный аргентинец; не знаю, есть ли некий аргентинский архетип. Сказать, что я отождествляю себя с какой-либо страной, было бы обманом; в Буэнос-Айресе я отождествляю себя с шестью-семью друзьями, с которыми постоянно встречаюсь. Но более всего — с определенными привычками: утренние прогулки по Калье-Флорида, послеобеденные прогулки по Южному району, когда иду в Национальную библиотеку.

Р. Г. Думали вы когда-нибудь о том, чтобы уехать из Буэнос-Айреса?

Х. Л. Б. Я не мог бы жить нигде, кроме Буэнос-Айреса. Я привык к нему так же, как привык к своему голосу, к своему телу, к тому, что я Борхес, к этому набору привычек, которые именуются Борхесом, — и часть этих привычек есть Буэнос-Айрес. Моя реальная жизнь проходит в Буэнос-Айресе — мне, кстати, уже около семидесяти, — нелепо было бы для меня пытаться начинать новую жизнь где-то в другом месте. Да и нет для этого никакой причины. Моя мать живет в Буэнос-Айресе, моя сестра, мои поклонники, мои друзья — все они в Буэнос-Айресе, и моя жизнь сосредоточена здесь. Я директор Национальной библиотеки, я преподаю в университете на кафедре английской и американской литературы и также веду семинар по древнеанглийскому.

Доказательством, что в Аргентине еще осталось несколько человек с правильным умонастроением, может служить то, что этот семинар посещает небольшая группа, преимущественно девушки, причем некоторые из них работают в офисах. Они изучают нечто такое, что не будет для них иметь никакого практического применения.

Р. Г. Когда вы в двадцатые годы возвращались в Буэнос-Айрес, почему вас так привлекал образ *compadrito*¹, то есть хулигана?

Х. Л. Б. Ну, знаете, на самом деле это пришло несколько позже. Я почувствовал это влечение потому, что в старомодном образе хулигана было нечто, поразившее меня новизной, — идея бескорыстной храбрости как таковой. Он не защищал свое положение в обществе или, скажем, не рвался в драку ради денег — он дрался бескорыстно. Вспоминаю, как мой друг Эрнесто Понсио, автор одного из самых ранних и самых лучших танго «Дон Хуан», сказал мне: «Я сидел в тюрьме много раз, Борхес, но всегда за убийство». Хвалясь этим, он имел в виду, что он не был вором или сводником, но что он просто убил человека. Он снискал славу храбреца и должен был жить соответственно ей. Мне видится что-то трагическое в этих несчастных людях, в этих хулиганах — возницах или рабочих на бойнях, — жаждавших только одной радости: быть храбрым и готовым в любой момент убивать или быть убитым, возможно, кем-то совершенно незнакомым. Это я попытался передать в своем стихотворении «Танго».

Я со многими беседовал о начальной эпохе танго — и все говорили одно и то же: что танго не народного происхождения. Оно появилось в борделях около 1880 года — так рассказывал один из моих дядьев, который в молодости был повесой. По-моему, это доказывается тем, что, будь у танго народные истоки, его инструментом была бы гитара, как в милонге. Но танго исполняют на фортепиано, на флейте и на скрипке — все это инструменты, характерные для более высокого экономического уровня. Откуда могли люди, жившие в доходных домах, взять деньги на покупку фортепиано

¹ Куманек (*исп.*).

но? Это подтверждается свидетельствами современников, а также стихотворением Марсело дель Масо, описывающим танец начала века.

Р. Г. Существует ли в Аргентине культ гаучо и пампы?

Х. Л. Б. Культ гаучо куда более распространен в Уругвае, чем среди аргентинцев. Я знаю это из опыта моего дяди, уругвайского писателя Луиса Мельяна Лафинура, который доходил до того, что заявлял, будто у наших гаучо нет ничего особенного, кроме, разумеется, кровосмешения.

Что до культа пампы, здесь он, пожалуй, меньше бросается в глаза. Само слово у нас мало употребляется; оно в ходу в литературных кругах Буэнос-Айреса. Мне кажется, одна из фальшивых нот в «Доне Сегундо Сомбре» та, что персонажи там рассуждают о пампе. Они, например, говорят: «Мы были людьми пампы». Аскасуби и Эрнандес употребляли это слово, но в другом смысле, называя им территорию, занимаемую индейцами. Вот почему я изо всех сил старался избегать его. Зато слово «равнины», хотя у нас и не употребительно, но менее претенциозно. Бьой Касарес рассказывал мне, что в те годы, когда он был мальчиком, редко доводилось видеть настоящего гаучо в полном наряде — пончо, шаровары и одеяло; на одних было пончо, другие были в шароварах и с одеялом, но только в наши дни вы видите молодцов, экипированных с ног до головы как гаучо. Довольно странно, говорит он, что деревенский народ одевается уже не так, как жители провинции Буэнос-Айрес, но как гаучо из Сальты. Причина в том, что о них снято множество фильмов, а также в том, что гаучо покупают все, что находят в лавках. Он мне рассказывал, что в провинции Буэнос-Айрес можно увидеть гаучо в широкополых шляпах, — пятьдесят лет тому назад это поразило бы любого гаучо. Теперь в нашей стране полным-полно гаучо — чего не было прежде, когда страна была более креольской.

Р. Г. Вернемся к вашей работе: какие писатели вдохновляли вас?

Х. Л. Б. Вдохновляли меня все книги, какие я когда-либо читал, а также те, которых я не читал, — вся предшествующая литература. Я многим обязан людям, чьих имен я не знаю. Вы понимаете, я пишу на одном языке, на испанском,

и на меня влияет английская литература, это означает, что на меня влияют тысячи людей. Язык сам по себе — это литературная традиция.

Я, например, потратил много лет жизни на изучение китайской философии, особенно даосизма, который меня чрезвычайно интересует, но я также изучал буддизм и интересуюсь суфизмом. Таким образом, все это оказывало на меня влияние, но в какой степени, я не знаю. Не уверен, изучил ли я эти религии и восточные философии из-за воздействия на мои мысли и поступки или же как пищу для воображения, ради литературных целей. Но такое, думаю, может случиться с любой философией. Кроме Шопенгауэра и Беркли, ни один философ не вызывал у меня ощущения, что я читаю правдивое или хотя бы правдоподобное описание мира. Я смотрел на философию скорее как на ветвь фантастической литературы. К примеру, я не уверен в том, христианин ли я, но я прочитал много книг по богословию ради их богословских проблем — свободная воля, кара и вечное блаженство. Все эти проблемы интересовали меня как пища для воображения.

Конечно, если уж называть некоторые имена, мне будет приятно выразить признательность Уитмену, Честертону, Шоу и другим, к кому я часто возвращаюсь, вроде Эмерсона. Я бы включил еще несколько не слишком известных писателей. Например, из всех, с кем я был знаком, самое сильное впечатление как личность на меня произвел Маседонио Фернандес, аргентинский писатель, беседы которого далеко превосходили все, что он написал. Он был человеком, который не так уж много прочитал, но мыслил совершенно своеобразно. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне приходилось беседовать со многими знаменитостями разных стран, вроде Уолдо Фрэнка и Ортеги-и-Гасета, но я этих бесед почти не помню. Зато если бы мне сказали, что есть возможность поговорить с Маседонио Фернандесом, то — уж не думая о таком чуде, как беседа с покойником, — я уверен, меня бы настолько интересовали его речи, что я бы забыл, что беседую с призраком. Большое влияние оказал на меня также писатель Рафаэль Кансинос-Ассенс, андалусский еврей; он как бы принадлежит всем векам. С ним я

встретился в Испании. Из всех, кого я упомянул, кроме моего отца, о котором я не могу судить, так как был с ним слишком близок, больше всего повлияли на меня Маседонио Фернандес и Кансинос-Ассенс. Очень приятные воспоминания остались у меня о Лугонесе, но, вероятно, говорить о них не стоит. То, что Лугонес написал, более значительно, чем мои беседы с ним. Я считал бы несправедливым и нелогичным не упомянуть здесь человека, особенно мне близкого, одного из немногих, а именно — о моей матери, о моей матери, которая ныне живет в Буэнос-Айресе, которая в эпоху диктатуры Перона подверглась — к ее чести — тюремному заключению вместе с моей сестрой и одним из моих племянников, моей матери, которая, хотя недавно и отметила свой девяносто первый год рождения, гораздо моложе меня и большинства знакомых мне женщин. Я чувствовал, что она в каком-то смысле участвовала в том, что я написал. И повторяю, было бы абсурдным говорить о себе самом и не упомянуть Леонор Асеведо де Борхес.

Р. Г. Хотели бы вы сказать что-нибудь о творчестве писателей, которыми вы так восхищались: Уитмена, Честертона и Шоу?

Х. Л. Б. Уитмен — один из поэтов, более всего повлиявших на меня в течение всей моей жизни. Мне кажется, существует тенденция смешивать мистера Уолтера Уитмена, автора «Листьев травы», с Уолтом Уитменом, протагонистом «Листьев травы», и мнение, что Уолт Уитмен не являет собою образа, пусть даже увеличенного образа самого поэта. В «Листьях травы» Уолтер Уитмен создал некий вид эпоса, протагонистом которого был Уолт Уитмен, — не тот Уитмен, который писал, но человек, которым он хотел бы быть. Конечно, я говорю это не в виде критики Уитмена; его произведения не следует читать как исповедь человека девятнадцатого века, но скорее как эпос, трактующий о вымышленном образе, утопическом образе, каковой в известной мере есть увеличение и проекция писателя, равно как и читателя. Вы, верно, помните, что в «Листьях травы» автор часто смешивает себя с читателем, и в этом, конечно, выражается его теория демократии, его идея, что один-единственный протагонист способен представлять целую эпоху. Значение Уитмена

невозможно переоценить. Даже если принять во внимание стихи Библии или Блейка, о Уитмене можно сказать, что он был изобретателем свободного стиха. Его можно рассматривать в двух планах: один — это его гражданское лицо, тот факт, что писатель думает о толпах, о больших городах и об Америке, но есть также интимный элемент, хотя мы не можем быть уверены, вполне ли автор здесь искренен. Характер, созданный Уитменом, — один из самых достойных любви и памяти во всей литературе. Это характер, подобный Дон Кихоту или Гамлету, но не менее сложный и, возможно, более достойный любви, чем любой из них.

Автор, к которому я постоянно возвращаюсь, — это Бернард Шоу. На мой взгляд, он также писатель, которого нередко читают лишь частично. Обычно принимают во внимание преимущественно его раннее творчество, книги, в которых он боролся с современным социальным устройством. Но ведь кроме того, у Шоу есть эпический размах, и он единственный писатель нашего времени, который создал и представил своим читателям героев. Современные писатели, как правило, стремятся изобразить слабость человека и как бы наслаждаются его несчастьями; между тем у Шоу есть персонажи вроде майора Барбары или Цезаря, персонажи эпические, которые вызывают восхищение. Современная литература, начиная с Достоевского — и даже раньше, с Байрона, — словно наслаждается виновностью и слабостью человека. В произведениях Шоу превозносятся величайшие человеческие добродетели. Например, то, что человек может забыть о своей собственной судьбе, что человек может не дорожить своим собственным счастьем, что он может сказать подобно нашему Альмафуэрте: «Моя жизнь меня не интересует», ибо его интересует нечто, стоящее вне его личных обстоятельств. Если бы кому-нибудь захотелось отметить лучшую английскую прозу, ее следовало бы искать в предисловиях Шоу и во многих рассуждениях его героев. Шоу — один из самых моих любимых писателей.

Также я очень люблю Честертон. По характеру воображения Честертон отличается от Шоу, однако, думаю, Шоу будет жить дольше, чем Честертон. Произведения Честертон полны неожиданностей, а я пришел к выводу, что неужи-

данность — наиболее легко устаревающий элемент в книге. Вдохновение у Шоу классического склада, чего мы не находим у Честертона. Жаль, что блеск Честертон потускнеет, но я полагаю, что через сто или двести лет Честертон будет фигурировать только в историях литературы, а Шоу — в литературе как таковой.

Р. Г. Интересуют ли вас детективы?

Х. Л. Б. Да, интересуют. Бьей Касарес и я предложили одной аргентинской фирме опубликовать серию детективных историй. Сперва они сказали, что подобные романы годятся для Соединенных Штатов и Англии, но в Аргентинской Республике ни один человек не станет их покупать. В конце концов мы их убедили, но на это понадобился целый год, и теперь в серии под названием «El séptimo círculo» («Седьмой круг»), издаваемой Бьоем Касаресом и мной, вышло около двухсот названий, и некоторые выдержали три или четыре переиздания. Я также пытался убедить тех же издателей печатать серию научной фантастики, и они сказали, что никогда никто эти книги не будет покупать. Теперь их публикует другая фирма, и я уже дал одобрение первой книге серии, это «Марсианские хроники» Брэбери.

Р. Г. Что в вашей литературной карьере вы вспоминаете с наибольшим удовольствием?

Х. Л. Б. Люди были очень добры ко мне, и мое творчество получило признание скорее в результате усилий читателей, чем собственных моих заслуг. Странно то, что все это было весьма медленным процессом; многие годы я был самым незаметным писателем в Буэнос-Айресе. Я опубликовал книгу под названием «Historia de la eternidad» («История вечности») и через год обнаружил, с удивлением и благодарностью, что продано сорок семь экземпляров. Мне захотелось разыскать каждого из покупателей, и лично его отблагодарить, и попросить прощения за все ошибки этой книги. Между тем если продаешь 470 экземпляров или 4700 — количество слишком велико, чтобы вообразить своих покупателей, их лица, дома или родню.

Теперь, когда я вижу, что какую-то из моих книг издают несколько раз, я не удивляюсь: это для меня какой-то абстрактный процесс. У меня вдруг нашлись друзья во всем

мире, и мои книги были переведены на многие языки. Из всех премий, которыми меня награждали, самое большое удовольствие мне доставила Вторая муниципальная премия Буэнос-Айреса за весьма убогую книжицу «El idioma de los argentinos» («Язык аргентинцев»). Эта премия была мне приятней, чем премия Форmentor или та, которую мне присудило Общество аргентинских писателей. Из всего опубликованного ничто так не радовало меня, как ужасно дрянное стихотворение «Himno al mar» («Гимн морю»), появившееся в одном севильском журнале в 1918 или в 1919 году.

Р. Г. В рецензии на вашу «Личную антологию» «Тайммэ-гэзин» за 24 марта 1967 года писал, что Аргентина создала в Борхесе личность, но что у нее нет национальной литературы. Каково ваше мнение?

Х. Л. Б. Думаю, что не следовало бы делать столь огульные утверждения. Мне, вероятно, надо бы чувствовать себя польщенным, что аргентинская литература началась с меня, но, поскольку это явный абсурд, я не понимаю, почему я должен быть благодарен за столь неуместный и чрезмерный подарок — чудовищный подарок.

Р. Г. Тогда мы, вероятно, можем говорить о национальной литературе?

Х. Л. Б. Думаю, что да. Мы можем гордиться нашей литературой больше, чем некоторыми другими видами нашей деятельности. Например, в девятнадцатом веке мы дали «Факундо» и поэтов в стиле гаучо, а позже произошло великое возрождение литературы на испанском языке по сю сторону Атлантического океана. Появился модернизм, начавшийся с Дарио, Лугонеса и других. Думаю, кое-что мы свершили. Но когда я начал писать свои рассказы, я и думать не думал о какой-то аргентинской традиции, традиции, зачинателем которой был Лугонес.

Р. Г. Можете ли вы сказать, что в настоящее время возрос интерес к латиноамериканской литературе?

Х. Л. Б. Да. Например, такие писатели, как Эдуардо Малеа, Бьой Касарес, Мануэль Мухика Лайнес, Хулио Кортасар и я сам, довольно хорошо известны в Европе, а прежде такого не бывало. Когда в 1920 году я был в Испании и беседовал с испанскими писателями, мне случалось упоминать

имя Лугонеса, и я пришел к заключению, что оно мало что значит для них или же что они его считают лишь последователем Эрреры-и-Рейссига. Между тем когда я побывал в Испании года три тому назад и опять беседовал с испанскими писателями, они часто вставляли цитаты из Лугонеса в свои высказывания, причем не из снисхождения или вежливости, но вполне непосредственно. Тот факт, что столь значительный писатель, как Лугонес, был в Европе неизвестен, тогда как теперь там хорошо знают многих южноамериканских писателей, — свидетельство возросшего интереса.

Например, здесь, в Соединенных Штатах, были изданы пять книг моих рассказов и стихов в мягком переплете, и они хорошо продаются. С Лугонесом такого не бывало. Многие из моих книг переводились в европейских странах и издавались как в Лондоне, так и в Нью-Йорке. Тридцать лет тому назад такое для аргентинского писателя было немыслимо. Роман «Дон Сегундо Сомбра» был переведен на французский и, кажется, также на английский, но его в то время едва заметили. Теперь люди интересуются не только чтением книг с местным колоритом или социальной направленностью, они также хотят узнать, что думают латиноамериканцы и о чем они мечтают.

Р. Г. Хотите ли вы что-нибудь сказать о современной латиноамериканской литературе?

Х. Л. Б. Я не могу говорить о современной латиноамериканской литературе. Я, например, не знаю достаточно хорошо творчество Кортасара, но то немногое, что мне известно — несколько рассказов, — кажется мне превосходным. Я горжусь тем, что был первым, кто опубликовал его произведения. Когда я издавал журнал под названием «Los anales de Buenos Aires» («Летописи Буэнос-Айреса»), ко мне в редакцию, вспоминаю, явился рослый молодой человек и вручил мне рукопись. Я сказал, что прочитаю ее, и через неделю он пришел. Рассказ назывался «La casa tomada» («Захваченный дом»). Я сказал, что рассказ превосходный; моя сестра Нора сделала к нему иллюстрации. Когда я был в Париже, мы встречались раз или два, но более поздние произведения Кортасара я не читал.

Мне приходится говорить — в ответ на ваш вопрос — о писателях другого поколения. По моему мнению, лучшим прозаиком из пишущих на испанском языке по обе стороны

Атлантического океана все еще является мексиканец Альфонсо Рейес. У меня сохранились очень приятные воспоминания о дружбе с ним и о его добродушии, но я не уверен, что моя память так уж точна. Произведения Рейеса имеют большое значение как для Мексики, так и для Америки и должны бы иметь его также для Испании. Его проза изящна, экономна и в то же время полна остроты, иронии и чувства. В эмоциональном плане для Рейеса характерна некая сдержанность. Бывает, что читаешь страницу, которая кажется холодной, и вдруг осознаешь, что там есть скрытое течение большой эмоциональной силы, что автор чувствует и, быть может, страдает, но не хочет этого показывать. Такая своеобразная скромность. Я не знаю, что о нем думают. Возможно, его упрекают за то, что он не сосредоточивается исключительно и постоянно на мексиканских темах, хотя о Мексике он написал очень много. Кое-кто не желает ему простить, что он перевел «Илиаду» и «Одиссею». Одно несомненно — после Рейеса стало невозможно писать на испанском языке по-прежнему. Он был весьма космополитичным писателем, изучавшим многие культуры.

Р. Г. Какой совет дали бы вы молодому писателю?

Х. Л. Б. Я бы дал ему самый простой совет — думать не о публикации, а о своей работе. Не спешить поскорее отдавать в печать, и не забывать о читателе, и также — если он занимается беллетристикой — не затрагивать и не описывать ничего такого, чего он честно не способен вообразить. Не писать о событиях лишь потому, что они показались ему удивительными, но лишь о тех, которые дали его воображению творческую задачу. Что до стиля, я рекомендовал бы скорее бедность словаря, нежели чрезмерное его богатство. Если существует нравственный недостаток, который обычно виден в произведении, так это тщеславие. Одна из причин, почему я не совсем люблю Лугонеса, хотя, конечно, не отрицаю его таланта или даже гениальности, — это то, что в его манере письма я ощущаю некое тщеславие. Если на одной странице все прилагательные и все метафоры совершенно новые, это обычно примета тщеславия и желаний удивить читателя. Читатель никогда не должен чувствовать, что автор искусен. Автор должен быть искусен, но без наро-

читости. Вещь, сделанная с высочайшим искусством, кажется столь же бесспорной, сколь легко созданной. Если же вы замечаете следы усилия, это неудача писателя. Но я также не хочу сказать, что писатель должен писать спонтанно, ибо это означало бы, что он сразу же попадает на нужное слово, что весьма невероятно. Когда работа завершена, она должна казаться непосредственной, даже если на самом деле полна тайных ухищрений и скромной, но не самодовольной изобретательности.

С ОСВАЛЬДО ФЕРРАРИ

НОВЫЙ ДИАЛОГ О ПОЭЗИИ

Освальдо Феррари. Согласно древнему восточному преданию, Адам в раю говорил стихами...

Хорхе Луис Борхес. Я этого не знал. Я только знаю, что он, конечно, говорил на древнееврейском, ибо отец Колриджа — а он был пастором в одной английской деревне — так проповедовал; и прихожане были ему весьма благодарны за то, что он уснащал проповедь длинными псалмами на исконном языке Святого Духа (the immediate language of the Holy Ghost), который, естественно, был древнееврейским. Когда он умер, его сменил другой пастор, который либо не знал древнееврейского, либо не имел привычки его употреблять, и прихожане чувствовали себя обманутыми; хотя они не понимали ни слова, это не имело значения, им нравилось, что проповедник говорит на исконном языке Святого Духа, на древнееврейском. Кстати, у сэра Томаса Брауна где-то сказано, что было бы любопытно оставить двух детей в лесу — этаких Ромула и Рема, — дабы они, лишенные общества, не могли подражать другим, и тогда, мол, удалось бы узнать, каким было первоначальное эдемское, или райское, произношение древнееврейских слов, ибо дети, конечно же, разговаривали бы на этом языке. Кажется, эксперимент был проделан, однако дети не заговорили, они издавали лишь нечленораздельные звуки. Таким образом, был человек, предположивший, что, предоставив двоих детей самим себе, можно будет возродить первый язык человечества.

О. Ф. Изначальный язык...

Х. Л. Б. Древнееврейский, он самый! Но что Адам говорил стихами, этого я не знал. Вспоминаю, однако, что в одной книге о каббале — одной из немногих книг о каббале, прочитанных мной, — я читал, что есть предположение, буд-

то Адам (ведь Адам вышел непосредственно из рук Господа) был величайшим историком, величайшим философом, величайшим математиком, ибо был рожден совершенным и обучен самим Господом или ангелами. Предполагается также, что он был чрезвычайно высокого роста и что впоследствии только вырождался; у Леона Блуа есть прелестная фраза — он говорил, что, когда Адам был изгнан из рая, он перестал быть подобен огню, но стал похож на угасающий уголек. Предполагается также, что сама каббала имеет весьма древнее происхождение, ибо ангелы научили ей Адама, Адам научил Каина и Авеля, те научили своих детей, и так эта традиция передавалась до середины Средних веков. Мы теперь ценим идею за новизну, но в старину было не так — чтобы идею встретили с почтением, ей надо было быть очень древней; а может ли быть древность более далекая, чем Адам в качестве первого каббалиста.

О. Ф. Первого, кого обучал Святой Дух.

Х. Л. Б. Конечно, и в данном случае ангелы также были каббалистами; а ведь ангелы тоже весьма близки к Богу.

О. Ф. Как бы там ни было, мы знаем, что литература начинается с поэзии...

Х. Л. Б. И легенда об Адаме, вероятно, это подтверждает.

О. Ф. Разумеется.

Х. Л. Б. Насколько мне известно, о древнееврейском стиле сказано очень мало, если не считать параллелизмов. Верно? Ведь в псалмах нет определенного числа слогов, в них также нет рифмы и аллитераций; но, конечно, в них есть ритм, которому Уолт Уитмен, с некоторым опозданием, пытался подражать.

О. Ф. Который он возродил.

Х. Л. Б. Не знаю, возродил ли, но, во всяком случае, он шел от псалмов Давида в английском переводе Библии, выполненном епископами.

О. Ф. Также и творчество Борхеса начинается с поэзии, ведь оно начинается со «Страсти к Буэнос-Айресу».

Х. Л. Б. Пожалуй. Но слово «поэзия» следовало бы взять в кавычки, я не думаю, что это поэзия. Это более или менее отработанная проза, но, когда я ее писал, я, помнится, меньше думал об Уитмене, к которому обращался как к учителю,

чем о прозе Кеведо, которого тогда очень много читал. Во всяком случае, в этой книге полно латинизмов в манере Кеведо, что потом я старался смягчить.

О. Ф. Между тем обращение к Уитмену было устойчивым, ведь в то время вы пользовались свободным стихом.

Х. Л. Б. В этом случае да, и все же я не знаю, был ли похож мой свободный стих на стих Уитмена или на ритмическую прозу Кеведо или Сааведры Фахардо, которого я также в то время много читал.

О. Ф. У вас, Борхес, есть заинтересовавшие меня мысли о поэзии; например, вы сказали, что любая поэзия, основанная на правде, непременно будет хорошей.

Х. Л. Б. Наверно, я должен был сказать — на правде или на абсолютном вымысле — не так ли? — что, конечно, противоположности. Но дело-то в том, что вымысел тоже должен быть правдивым, — я разумею, что поэт должен верить в то, что воображает. По-моему, совершенно губительно видеть в поэзии некую игру слов, хотя и таким способом можно создать некий ритм. Думаю, что это заблуждение. Вы согласны?

О. Ф. Да, но я полагаю, что вас в особенности интересует, так сказать, правда эмоциональная.

Х. Л. Б. Правда чувства, — то есть я изобретаю некую историю, я знаю, что эта история выдуманная, будь она фантастическая или детективная — а это другой род фантастической литературы, — но пока я пишу, я должен в нее верить. И это совпадает с мыслью Колриджа, который сказал, что поэтическая честность — это минутное отключение недоверчивости.

О. Ф. Поразительно!

Х. Л. Б. Да. Но вот пример: некто присутствует в театре на представлении «Макбета». Он знает, что тут действуют актеры, переряженные люди, он верит, что следит за ужасной судьбой Макбета, ставшего убийцей по вине ведьм, собственного честолюбия и своей жены, леди Макбет.

О. Ф. Несомненно.

Х. Л. Б. Или же когда мы смотрим на картину и, видя пейзаж, не думаем о том, что это лишь подобие, написанное на холсте: мы видим его так, словно картина — это окно, выходящее на эту местность.

О. Ф. Конечно. Вы также говорили, что слово «музыка» применительно к стиху — ошибка или метафора, что, мол, есть особая интонация, присущая речи.

Х. Л. Б. Да. У меня, я думаю, есть слух на то, что Бернард Шоу называл «word music» (музыкой слов), но вовсе нет слуха или есть, но очень слабый в отношении инструментальной или вокальной музыки.

О. Ф. Это две различные способности.

Х. Л. Б. Да, конечно, эти два вида слуха различаются, и мне случалось беседовать с музыкантами, у которых начисто отсутствует слух в том, что касается музыки слова, — они не способны определить, хорош ли ритм в прозаическом пассаже или в поэтической строфе.

О. Ф. Еще одно ваше суждение о поэзии — что в стихотворении можно обойтись без метафор.

Х. Л. Б. Думаю, что можно, но — в известном смысле... Вот Эмерсон говорит, что наша речь — это допотопная поэзия, то есть всякое абстрактное слово изначально было словом конкретным, и потому оно метафора. Но ради того чтобы понимать абстрактное рассуждение, мы в это время должны забыть о физических корнях, об этимологии каждого слова, должны забыть, что это метафоры.

О. Ф. Ну да, потому что этимологическое значение метафоры...

Х. Л. Б. Перенесение.

О. Ф. Перенесение значения...

Х. Л. Б. Вот именно, но метафора есть метафора; само слово «метафора» есть метафора.

О. Ф. Да, все имеет символическое значение, но вот одну из мыслей, которая мне кажется особенно интересной, я нахожу высказанной у Рильке и у вас, но несколько в иной форме; Рильке говорит, что прекрасное есть не что иное, как начало ужасного, а вы связали поэзию с ужасным — вероятно, вспоминая о кельтских поэтах: вы высказали мысль, что человек вовсе не достоин поэзии. Вы напомнили, что, согласно Библии, человек не может видеть Бога, ибо, узрев его, умрет, отсюда вы сделали вывод, что нечто похожее происходит с поэзией.

Х. Л. Б. У меня есть рассказ, основанный на древней мысли: речь идет о кельтском поэте, которому король заказывает

поэму о дворце. И поэт в течение трех лет делает три попытки эту поэму сочинить. Первые два раза он является с рукописью, но в последний раз приходит без рукописи и говорит королю одно слово — это слово, разумеется, не «дворец», но такое слово, которое выражает понятие «дворец» наиболее совершенным образом. И тогда, едва лишь поэт произнес это слово, дворец исчезает — теперь его дальнейшее существование бессмысленно, раз его выразили одним-единственным словом.

О. Ф. Поэзия и магия.

Х. Л. Б. Да, примерно дело сводится к этому и еще к другому возможному финалу: король вручает поэту кинжал, ибо поэт достиг совершенства — он нашел слово, и теперь его дальнейшее существование бессмысленно. Оно излишне еще и потому, что, найдя слово, которое может заменить действительность, поэт совершил что-то вроде кощунства, так ведь? Ну что такое человек? Разве дано ему найти слово, которое могло бы заменить нечто существующее во Вселенной?

О. Ф. Ваше рассуждение напомнило мне, что в религиозном обиходе древности было принято названия городов держать в тайне.

Х. Л. Б. Де Куинси приводит в пример Рим и называет имя одного римлянина, который был присужден к смерти и казнен за то, что выдал тайну, и затем Де Куинси добавляет, что это тайное имя так тщательно охраняли, что до нас оно не дошло.

О. Ф. Вполне понятно.

Х. Л. Б. Здесь подразумевается, что если кто-то владеет тайным именем Рима, то он владеет Римом, ибо знать имя чего-то означает господствовать над этим; и здесь уместно вспомнить то, о чем мы как-то с вами говорили: «Я есмь Сущий» — формула, или, скажем, эвфемизм, употребленный Богом, чтобы не сказать Моисею свое истинное имя. Так считал Мартин Бубер.

О. Ф. Теперь поговорим о тайном имени Бога.

Х. Л. Б. Да, было тайное имя, но Бог, не желая его открывать, что отдало бы его во власть Моисею, говорит ему: «Я есмь Сущий» — и так избегает точного ответа, — это как бы уловка Бога.

О. Ф. Да, но, возвращаясь к прежней теме, хочу спросить — вы-то сами, лично, чувствовали связь между ужасным и поэтом, или поэзией, или прекрасным — все эти понятия мы упоминали.

Х. Л. Б. Между ужасным и прекрасным — да, потому что... это я чувствовал раньше, когда думал, что мы недостойны прекрасного; теперь, напротив, я полагаю, что прекрасное встречается достаточно часто, так почему бы не привечать его и не принимать как гостя.

О. Ф. Другой аспект, который кажется мне важным и о котором мы упоминали, беседа о Платоне и Аристотеле, — это то, что поэт, вероятно, и теперь сохраняет способность пользоваться одновременно рассуждением и интуицией или...

Х. Л. Б. Или мифом.

О. Ф. Да, возможно, что в нашем современном обществе есть поэт, который еще владеет и тем и другим.

Х. Л. Б. Который владеет и тем и другим, да, но поэт всегда склоняется больше в одну сторону, чем в другую, — правда? Мне, например, бросали в лицо упрек, что я поэт интеллектуальный.

О. Ф. Они ошибаются.

Х. Л. Б. Да, но это странно — Браунинга, кажется, вначале укоряли за то, что он поэт слишком орнаментальный, а затем, под конец, говорили, что он настолько интеллектуален, что стал непонятен.

О ЖИВОПИСИ

Освальдо Феррари. Недавно, Борхес, вы говорили мне, что, по мнению Рескина, первым живописцем, по-настоящему увидевшим природу в его время, был Тернер.

Хорхе Луис Борхес. Да, это так, и у Рескина, кроме того, есть труд, обманно или софистически названный «Современные художники», который создан, так сказать, *ad maiorem gloriam*¹ Тернера.

¹ К вящей славе (*лат.*).

О. Ф. Специально его?

Х. Л. Б. Да, и там главная тема то, что природа — разумеется, речь идет о Западе — прежде рассматривалась как фон: художники в основном изображали лицо, ученики иногда писали руки, а затем как дополнение пейзаж. Теперь же, согласно Рескину, — но я не могу о его мнении судить, — Тернер стал первым, кто по-настоящему увидел облака, деревья, туман и определенные эффекты освещения. И все это, считает Рескин, было личным открытием Тернера. Он изучал картины Тернера весьма тщательно, с лупой, — мне это говорил Шуль Солар, который также был поклонником Тернера. И Честертон сказал, что главный герой живописи Тернера — это «the english weather» (английская погода, или климат), однако не как изменения погоды во времени, а, скажем, в плане различных настроений или привычек погоды: главным образом, это сумерки, туманы, свет. Все в этом роде, только не норма. Я считаю бесспорным — правда, мое мнение здесь ничего не стоит, но я повторяю то, что мне говорил Шуль Солар, — что Тернеру не удается изображение человека и в то же время он очень тонкий наблюдатель пейзажа. И я вспоминаю, что в одном из томов этого труда Рескина есть репродукция картины моста, определенного моста; и далее показан этот же мост, очень тщательно и изящно изображенный самим Рескином. И тут, если память меня не подводит, выясняется, что Тернер не изобразил два пролета, все упростил, а обогатил нечто другое, и все это Рескин одобряет, объясняя, что Тернер с эстетической точки зрения прав, хотя и дал неверный образ моста.

О. Ф. Тернер славится изображением неба.

Х. Л. Б. Да, неба и сумерек.

О. Ф. Оскар Уайльд говорил, что у него небо музыкальное.

Х. Л. Б. Да, но я также вспоминаю другую остроту Уайльда, сказавшего, что природа подражает искусству.

О. Ф. Да, конечно.

Х. Л. Б. И что иногда ей это очень хорошо удается. Рассказывают, что однажды он был в гостях у одной дамы и эта дама повела его на балкон полюбоваться заходом солнца, потом его спросили: ну как? И он ответил: Тернер худшего периода. *(Смеется.)*

О. Ф. Это о естественном заходе солнца?

Х. Л. Б. Да, которому подражала природа. Так ведь? То есть природа не всегда ведет себя как хорошая ученица.

О. Ф. Особенно в ту эпоху, когда это обсуждалось...

Х. Л. Б. Потому что всегда господствовала идея, что искусство подражает природе, а Уайльд сказал — нет, это природа подражает искусству. Его парадокс можно считать верным в том смысле, что искусство может нас научить видеть по-другому.

О. Ф. Разумеется.

Х. Л. Б. Я хочу сказать, что, если человек видел много картин, он, без сомнения, видит природу иначе.

О. Ф. Он становится более тонким зрителем.

Х. Л. Б. Конечно, и раз уж мы заговорили о природе, — я написал предисловие к сочинениям визионера, гравера и поэта Уильяма Блейка, и он, который меньше всего был современником своей эпохи, изобрел в эпоху неоклассической мифологии собственную свою мифологию с богами, чьи имена не всегда благозвучны, как, например, Голгонуса или Уризен. И он говорит, что для него созерцание природы всегда ее в какой-то мере умалало. И он называл природу — столь почитаемую Вордсвортом — «Растительный мир». И затем он говорит еще — не знаю, то ли в укор, то ли в похвалу природе, — говорит, что восход солнца — это для многих только восход диска, похожего на восходящий и сияющий фунт стерлингов. Но, добавляет он, для меня это не так; когда я вижу восход солнца, мне кажется, что я вижу Господа и слышу тысячи тысяч серафимов, поющих ему хвалу. То есть он все видел в мистическом плане.

О. Ф. Видения блаженного.

Х. Л. Б. Да, видения блаженного, это точно.

О. Ф. Видения Блейка. Теперь, хотя вы заявляете, что, в общем, далеки от музыки, не считая милонг и блюзов...

Х. Л. Б. Ну да, но я не знаю, насколько они музыка, хотя и сказал бы, что... А вот спиричуэлс, по-моему, — это музыка. Да, Гершвин — это ведь музыка, не так ли?

О. Ф. Несомненно, к тому же он вам очень нравится.

Х. Л. Б. Очень нравится, но Гершвин не всегда соответствует этому типу музыки... Стравинскому тоже очень нравится

джаз. Когда я слышу джаз, мое внимание привлекает то, что я слышу звуки, которых я не слышу ни в какой другой музыке. Звуки, словно бы исходящие из глубин реки, — вы согласны? — словно создаваемые какими-то иными стихиями, и в этом богатство джаза, во включении новых звуков.

О. Ф. Да, конечно, джаз этого достиг. Я как-то вам говорил, что вам, напротив, не должна быть чужда живопись.

Х. Л. Б. Верно...

О. Ф. Это можно было показать по вашему стихотворению «The unending gift» («Нескончаемый дар»), посвященному художнику Хорхе Ларко.

Х. Л. Б. Да, но я не уверен, что его тема живопись; там скорее является темой мысль о том, что, когда живопись существует, она отчасти разветвляется, бесконечно умножается в воображении. И кроме того, я, знаете, вспоминаю, что Бернард Шоу в «The doctor's dilemma» («Дилемма врача») называет трех художников, а именно... Тициана, Рембрандта и Веласкеса. Там художник, умирая, говорит, что, если не считать его путаной жизни (речь, видимо, о его нравственности), он был честен... и затем он говорит о Боге, который благословил его руки, так как он верует в таинство света и в таинство тени и верует в Тициана, Веласкеса и Рембрандта.

О. Ф. И будет уповать на райское блаженство с этими художниками.

Х. Л. Б. Полагаю, что да. Я вспоминаю у Шоу длинный, весьма красноречивый пассаж, нарочито риторический, который Эстела Канто знает наизусть. Она знает наизусть столько пассажей из Бернарда Шоу! И этот риторический аспект Шоу многие не замечают, а он его акцентировал — акцентировал то, что он привнес в театр нечто позабытое, а именно длинные риторические тирады. И они к тому же были весьма впечатляющими, ведь определение «риторический» не обязательно означает упрек. Так вот, я имел счастье быть знакомым с величайшим аргентинским художником Шулем Соларом, и он мне всегда толковал о Блейке и о швейцарском художнике Пауле Клее, которого ставил выше Пикассо, — в то время, когда отзывать плохо о Пикассо было ересью. Возможно, это время еще и сейчас не кончилось. *(Смеется.)*

О. Ф. И вы когда-то считали Шуля Солара человеком гениальным.

Х. Л. Б. Шуля Солара? Да, конечно, быть может... Я был знаком со многими талантливыми людьми, их у нас в стране и, наверно, во всем мире великое множество. Но с гениальными — нет, кроме Шуля Солара, пожалуй, что нет. Что до Маседонио Фернандеса, он был гениален устно, но в смысле написанного... те, кто искал гениальности в написанных им страницах, испытывали разочарование или недоумение.

О. Ф. Как вы однажды сказали, он являл меру своего гения в беседе.

Х. Л. Б. Да, я думаю, что так. Теперь должна выйти книга Шуля Солара, и я к ней напишу предисловие, и там будет опубликовано кое-что им написанное, но, против ожидания, написанное на обычном ходовом испанском, а не на «панъязыке», основанном на астрологии, и не на «креольском», то есть испанском, обогащенном дарами других языков.

О. Ф. Который был создан Шулем Соларом.

Х. Л. Б. Да, ведь он изобрел эти два языка: «панъязык», основанный на астрологии... ну, и также изобрел «панигру». И вот, как он мне объяснил — чего мне так и не удалось понять, — каждый ход в «панигре» — это стихотворение, картина, музыкальная пьеса, гороскоп — хорошо бы, если бы так было! Похожая идея есть в «Игре в бисер» Германа Гессе, только в «Игре в бисер» ты все время понимаешь, что речь идет о музыке, а не о настоящей «панигре», как хотел Шуль, некоей универсальной игре.

О. Ф. Что до ваших отношений с живописью, Борхес, мы не должны забывать, что вы брат художницы.

Х. Л. Б. И я думаю, большой художницы — так? — хотя не знаю, прибавляет ли что-нибудь слово «большая» к слову «художница», — ну, скажем, просто художницы. Теперь, когда она увлечена такими темами, как ангелы, сады, ангелы, музизирующие в садах...

О. Ф. Как, например, «Благовещение», где фоном служит Адрогэ, картина, которая висит в ее доме.

Х. Л. Б. Да, которую она хотела уничтожить.

О. Ф. Какое заблуждение!

Х. Л. Б. Вовсе нет. Ей кажется, что, когда она ее написала, она была еще очень неумелой, плохо владела кистью. Так вот, насколько я знаю, она сперва набрасывает план каждой картины и лишь потом пишет картину. То есть те, кто считает это наивной живописью, глубоко ошибаются. Впрочем, ошибиться для критиков искусства — это ведь их профессия, и я сказал бы... вообще для всех критиков.

О. Ф. И критиков литературных?

Х. Л. Б. И критиков литературных, да (*смеется*), которые специализируются на ошибках — так ведь? — на нарочитых ошибках.

О. Ф. (*смеется*). А затем был еще ваш сосед...

Х. Л. Б. Доктор Фигари?

О. Ф. Вот именно, Педро Фигари, который жил рядом, на улице Марсело Т. де Альвеара.

Х. Л. Б. И умер там, в этом же квартале. Меня с ним познакомил Рикардо Гуиральдес; он был адвокат семидесяти лет и, кажется, внезапно открыл, что может писать красками, — именно писать, а не рисовать, рисовать он не умел, он рисовал прямо кистью. И он взял, кажется, книгу «Росас и его время» Рамоса Мехии, взял сюжеты из жизни негров и гаучо. И Пабло Рохас Пас сказал: «Фигари — живописец по памяти» — что, по-моему, верно сказано, он именно так и писал.

О. Ф. Очень правильно подмечено.

Х. Л. Б. Его картины не назовешь реалистическими, там у него гаучо ходят в дырявых штанах. А этого в Уругвае никогда не бывало. Однако это не имеет значения, он ведь не стремился к точности, все картины у него действительно написаны по памяти или, вернее сказать, по грезам.

О. Ф. И в такой степени, что, когда однажды Жюль Сюпервьель похвалил свет в его картинах, Фигари ответил: «Это свет воспоминаний».

Х. Л. Б. Хорошо сказано!

О. Ф. Да, это совпадает с «живописцем по памяти».

Х. Л. Б. Я этого не знал, и мне также не приходило в голову, что Фигари умел быть афористичным. Он ведь объяснял каждую свою картину, рассказывая ее сюжет. Например: «Этот человек озабочен. Что с ним? А вот эти негры

ужасно рады, они бьют в барабан — борокотó, борокотó, борокотó, час-час!» Он постоянно повторял это звукоподражание: «борокотó, борокотó, борокотó, час-час!» (*Оба смеются.*) Каждую картину он объяснял шутливо, но не говорил о красках или рисунке, а только о теме, о том, что он называл «рассказом в картине».

ПРИМЕЧАНИЯ

Семь вечеров (*Siete Noches*) 1980

Книга составлена из публичных выступлений Борхеса в буэнос-айресском театре «Колизей» (май–июнь 1977 г.).

«Божественная комедия»

Стр. 31. *Поль Клодель однажды написал фразу...* – Имеется в виду его эссе «Введение в поэму Данте».

Кангранде дела Скала (1291–1329) – правитель Вероны с 1312 г., покровитель Данте, обратившего к нему известное письмо о поэзии и толковании «Божественной комедии» (1317), авторство которого в настоящее время, впрочем, оспаривается.

Стр. 32. *...перед диктатурой.* – То есть до июньского переворота 1943 г., который привел к власти в Аргентине Х. Д. Перона; Борхес здесь описывает события, относящиеся к 1937 г.

Стр. 33. *...Сервантес... говорит...* – «Дон Кихот», т. 2, гл. LXII.

Стр. 34. *Карло Грабер* (1897–1968) – итальянский историк литературы Средневековья и Возрождения.

...Гуго Штайнера... – Оговорка Борхеса: речь идет об итальянском историке средневековой и ренессансной литературы Карло Штайнере (1863–1933).

Стр. 35. *Ven tetragono...* – «Рай», XVII, 24. *...метафору стрелы.* – «Рай», II, 23–25.

Стр. 37. *...лексическое богатство африканца...* – Августин был родом из северной Африки.

Стр. 38. *Старый пастух, Фабио Касерес* – герои романа Р. Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра».

Стр. 39. *...Шекспир называл...* – «Макбет», I, 5.

Стр. 42. *Ланселот* – герой европейских рыцарских романов (Кретьен де Труа и др.), один из рыцарей Круглого стола.

Ницше называл Данте гиеной... – Цитата из книги Ницше «Сумерки идолов» (гл. «Набег несвоевременного», I).

Стр. 43. «*Загадка Улисса*». – Эту заметку Борхес опубликовал в 1948 г. в журнале «Эскритура» в Монтевидео, позднее она переработана в эссе «Последнее плавание Улисса», вошедшее в книгу «Девять очерков о Данте» (см. наст. том, с. 178–182).

Стр. 44. ...с обличения Венеции... – Оговорка: имеется в виду, конечно, Флоренция.

Стр. 46. ...в «Одиссее», чего Данте знать не мог. – Не зная греческого языка, Данте был знаком с поэмами Гомера по их краткому латинскому изложению в стихах (т. н. «латинскому Гомеру»).

...«*starladen sky*»... – Цитата из стихотворения У. Б. Йейтса «Печаль любви» (1891), входящего в сб. «Роза».

Кошмар

Стр. 48. ...писатель XVIII века сэр Томас Браун... – Оговорка Борхеса: нужно – XVII века.

Стр. 49. ...Бозций представляет себе зрителя... – «Утешение философией», V, IV.

Стр. 51. Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1160–1230) – немецкий поэт-миннезингер, цитируется его стихотворение «Увы, промчались годы» (перевод В. Левика).

Стр. 52. ...фрагмент в «Одиссее»... – Далее Борхес соединяет эпизоды из гомеровской «Одиссеи» (песнь XI) и «Энеиды» Вергилия (песнь VI), в которых герои спускаются в подземное царство мертвых.

«*Efialtes*». – У Борхеса есть сонет под этим названием (сб. «Сокровенная роза»).

Йоганн Генрих Фюссли (1741–1825) – швейцарский священник, писатель и художник, много лет работал в Англии, дружил с Блейком, иллюстрировал Шекспира.

Стр. 53. ...есть строка... – Ошибка памяти: Борхес цитирует здесь два полустушия одной строки из шекспировского «Короля Лира» (III, 4).

...книгу о Шекспире... – Имеется в виду трактат Гюго «Уильям Шекспир» (1864).

В одном из стихотворений... – Стихотворение «Бессонница» (сб. «Созерцания», 1856).

Стр. 54. ...сон о лабиринте... – Он вошел в борхесовскую новеллу «There are More Things» (сб. «Книга Песка»; наст. изд., т. 3, с. 267–272).

Стр. 55. Обратимся к Петронию... – Отсылка к эпизоду из его «Сатирикона» (CIV).

...цитату из Томаса Брауна. – «Religio Medici», II, 11.

...один из своих кошмаров. – Он вошел в рассказ Борхеса «Хуан Муранья» (сб. «Сообщение Броуди»; наст. изд., т. 3, с. 56).

Стр. 56. ...стихи... о борзой, лающей на зайца. – Отсылка к тому же фрагменту «Сатирикона».

Стр. 57. Сон таков... – Отсылка к сонету «Кошмар» (сб. «Железная монета»; наст. изд., т. 3, с. 426).

Стр. 59. ...*во второй книге «Прелюдии»*... – Это эпизод из V книги автобиографической поэмы Вордсворта (строки 56–139).

«Тысяча и одна ночь»

Стр. 63. *Роберт Грейвс* (1895–1985) – английский поэт и прозаик, переводчик, эссеист; см. в наст. томе посвященные ему тексты в книгах «Личная библиотека» и «Атлас» (в последней еще раз пересказывается его стихотворение, переданное здесь Борхесом).

Вергилий вспоминает... этот шелк... – Борхес вспоминает этот шелк в стихотворении «Восток» (сб. «Сокровенная роза»; наст. изд., т. 3, с. 361–362).

Пор – мидийский царь; в 326 г. до н. э. разбит Александром Македонским у Гидаспа.

Стр. 64. *Гарун аль-Рашид* (763 или 766–809) – арабский халиф из династии Аббасидов, герой сказок «Тысячи и одной ночи».

Стр. 65. «*Кто услышал зов Востока...*» – Цитата из стихотворения Киплинга «Мандалей» (перевод Е. Полонской).

Стр. 67. *Йозеф фон Хаммер-Пургшталь* (1774–1856) – австрийский дипломат, историк, востоковед, его переводы персидской и арабской словесности оказали заметное воздействие на немецкую литературу, в частности – на Гёте.

Стр. 71. ...*история двух сновидцев*. – Новелла ночи 351; пересказана Борхесом в приложениях к книге «Всемирная история бесславья», включена в антологию «Книга сновидений» и др.

Буддизм

Стр. 74. *Дайсецу Тейтаро Судзуки* (1870–1966) – японский мыслитель, истолкователь и пропагандист буддизма на Западе.

Стр. 75. ...*фраза Джойса*... – Реплика Стивена Дедала в романе «Улисс» (гл. 2, «Нестор»).

Стр. 77. *Герман Ольденберг* (1854–1920) – немецкий индолог. ...*о Христе и врачах*. – Имеется в виду эпизод «Исцеление кровоточивой» (Мк 5: 26; Лк 4: 23 и др.).

Стр. 82. *Цезарь считает...* – «Записки о галльской войне», VI, 14.

Талиесен (Тельгесин) – легендарный британский бард, упоминается в «Истории бриттов» Ненния; нижеследующую цитату из сборника XIII–XIV вв. «Книга Талиесена» Борхес и Бьой Касарес приводили в комментариях к своему переводу первой главы из «Погребальной урны» Т. Брауна.

У Дарио есть стихотворение... – «Метемпсихоза» (сб. «Бродячая песнь», 1907).

В стихотворении... *Россетти*... – Борхес приводит его в диалоге с М. Э. Васкес (см. наст. том, с. 417).

Стр. 86. *Боддхидхарма* (Дарума; ?–528) – монах-буддист, полу-легендарный основатель секты чань в Китае, куда, по преданию, переселился в 520 г. из Южной Индии.

Поэзия

Стр. 92. ...*стих Вергилия*... – «Энеида», VI, 268.

Стр. 97. ...*Вордсворт*... *порицает Дугласа*... – В сонете «О Дуглас-выродок».

Стр. 99. ...*работа об убранстве комнат*. – Эссе По «Философия обстановки» (1840).

Стр. 100. «*Quién hubiera tal ventura...*» – Начало общеизвестного испанского народного романа о графе Арнальдосе, его сюжет использовал Лонгфелло в стихотворении «Тайна моря».

Стр. 101. «*And shake the yoke...*» – «Ромео и Джульетта», V, 3. ...*у Браунинга встречаем*... – В стихотворении «Апология епископа Блоугрема» (сб. «Мужчины и женщины», 1855).

Стр. 102. *Рой Бартоломью* – друг Борхеса, исследователь аргентинской поэзии. Ему принадлежит идея борхесовской антологии «Адрог» (с рисунками Норы Борхес, 1977), он составил вместе с Борхесом антологию «Книга сновидений» (1976), написал послесловие к книге «Семь вечеров».

Макс Мюллер (1823–1900) – английский индолог.

Каббала

Стр. 105. *Гораций говорит*... – «Послание к Пизонам» (стих 359).

Стр. 106. *Аристотель только что опубликовал*... – Плутарх, «Жизнеописание Александра», VII.

Стр. 112. ...*доказательство Лейбница*... – «Теодицея», III, IX.

Стр. 114. *Леон Духовны* (1899–?) – аргентинский правовед и философ, автор трудов о Спинозе и Бубере, переводчик Маймонида, Ибн Гебиroleя и др.

Слепота

Стр. 116. *У Шекспира есть строка*... – Отсылка к сонету XXVII.

Стр. 118. *Я всегда воображал Рай*... – Цитата из стихотворения «О дарах», упоминаемого ниже.

Стр. 122. *Тамирис* (Фамир, Фамир) – певец в греческой мифологии, упоминается в «Илиаде» (II, 594–596), герой не сохра-

нившей трагедии Софокла; русскому читателю известен по драме Иннокентия Анненского «Фамира-кифаред» (опубл. 1913).

Стр. 122. *Уайльд говорил...* – В эссе «Критик как художник».

Стр. 123. *De la musique avant toute chose...* – Начало знаменитого стихотворения Верлена «Искусство поэзии» (сб. «Давно и недавно», 1884).

Стр. 124. *Уолтер Сэвидж Лэндор* (1775–1864) – английский писатель, историк литературы и литературный критик.

Стр. 126. *Демокрит... выколол себе... глаза...* – Здесь – цитата из упоминавшегося выше стихотворения «Хвала тьме».

...стихи... Луиса де Леона... – Знаменитая ода «Жизнь в уединении», написанная по мотивам Горация.

Стр. 127. *Франсиско де Салинас* (1513–1590) – испанский эрудит, музыкант, собиратель и теоретик музыки.

Стр. 128. *...строчкой Гёте...* – У Гёте в стихотворении «Китайско-немецкие времена года» (1827): «Schon ist alle Naehе fern».

**Тайнопись
(La Cifra)
1981**

Стр. 132. *Среди книг библиотеки хранилась одна арабская...* – Имеется в виду «Дон Кихот», приписываемый в самом романе арабскому историку Сиду Ахмету Бен-Инхали (ср. в рассказе «Задача» из сб. «Создатель»; наст. изд., т. 2, с. 519–520).

Стр. 133. *Ронда* – город в испанской провинции Малага, известный памятниками времен арабского владычества.

Стр. 134. *Елизавета Богемская* (1618–1680) – пфальцграфиня рейнская, принцесса Богемии, вместе с родителями жила в эмиграции в Голландии, дружила и переписывалась с Декартом. Он посвятил ей книгу «Начала философии», изложил в переписке к ней основные постулаты своего трактата «Страсти души».

Над Дунаем – полночь. – Речь идет о пребывании Декарта в Германии в 1619 г. (он нанялся на службу в один из полков герцога Баварского, квартировавший тогда на Дунае). Там он, как рассказывает позднее сам в трактате «Рассуждение о методе», пережил несколько сновидений, во многом определивших его последующие мысли о метафизике.

Стр. 135. *Бенно* – имя кота взято у заглавного героя поэмы Байрона (1818).

Стр. 139. *«The Cloisters»*. – Так называется отдел средневекового искусства в нью-йоркском музее Метрополитен.

Гизех – город в Египте, известный изваянием сфинкса, пирамидой Хеопса.

Кносский лабиринт – дворец на острове Крит, памятник эгейской культуры, открытый английским археологом А. Эвансом; в 1984 г. Борхес побывал здесь с Марией Кодамой (см. миниатюру «Лабиринт» в сб. «Атлас»; наст. том., с. 250).

Апельсиновый дворик – часть ансамбля Севильского собора.

«*Асра*» – стихотворение Г. Гейне.

Стр. 140. *...из-под Геттисберга...* – Один из главных эпизодов войны между Севером и Югом: в ходе его северяне разбили армию южан во главе с генералом Робертом Эдвардом Ли (1807–1870).

Стр. 141. «*Послесловие*». – Стихотворение посвящено памяти поэта Франсиско Луиса Бернардеса.

Стр. 142. *Детлев фон Лилиенкрон* (1844–1909) – немецкий неоромантический поэт, прозаик и драматург, прусский офицер.

Стр. 146. *Нара* – старая столица Японии, Борхес побывал здесь в 1979 и 1984 гг.

Стр. 147. *Мартовские иды* – в эти дни (т. е. в середине марта) заговорщиками был убит Юлий Цезарь, чему было немало предвестий.

Стр. 148. «*Некто третий*». – Стихотворение построено на рассуждениях Аристотеля в трактате «*Метафизика*» (I, 9).

Стр. 153. *Вивиана Агиляр* (р. 1957) – помощница Борхеса в 1980–1983 гг.

Стр. 155. *...как завещал Вольтер...* – Отсылка к реплике Кандида, завершающей одноименную вольтеровскую повесть.

Стр. 159. *...оттенки, а не цвета...* – Из стихотворения Верлена «*Искусство поэзии*».

Девять очерков о Данте (Nueve Ensayos Dantescos) 1982

Введение

Стр. 164. *Маколей... в противоположность Кэри...* – Речь идет о книге английской писательницы Розы Маколей (1881–1958) «*Мильтон*» (1934) и трудах о Мильтоне английского историка литературы Уолтера Клайда Кэри (1887–1967).

Стр. 165. *Сорделло* (Сордель; ок. 1200–1269) – итальянский поэт-трубадур из Мантуи, писал по-провансальски. Позднее его судьбе посвящена поэма Р. Браунинга «*Сорделло*».

Стр. 166. *Якопо Алигьери* (?–1348) – сын Данте, дидактический поэт, автор комментария к «*Аду*» (ок. 1322).

Якопо дела Лана (ок. 1290 – ок. 1365) – итальянский филолог из Болоньи, автор первого комментария на «народном языке» ко всему тексту «*Божественной комедии*» (ок. 1330).

Стр. 167. *Франческа ди Бартоло да Бути* (1324–1406) – итальянский комментатор «Божественной комедии» на «народном языке» (1380-е гг.).

Агриппина Юлия Младшая (15–59) – мать императора Нерона, убитая по его приказу.

Филиппо Ардженти – представитель враждебного Данте флорентийского рода Адимари, прозван Серебряным за пристрастие к роскоши, фигурирует в VIII песни «Ада» (31 и далее).

Высокий замок из Песни четвертой

Первая публикация – в буэнос-айресской газете «Насьон» (1951).

Стр. 168. ...*Дворец Подземного Пламени...* – Автоцитата из эссе «О „Ватеке“ Уильяма Бекфорда» (сб. «Новые расследования»; наст. изд., т. 2, с. 447–448).

Стр. 169. *Гвидо Витали* (1881–?) – итальянский историк литературы.

Стр. 170. *Франческо Торрака* (1853–1938) – итальянский историк словесности.

Стр. 171. *Марио Росси* (1875–1947) – итальянский литературный критик и историк литературы, автор работ о Возрождении.

Стр. 172. *Лавиния* – царица из римской мифологии, принужденная отцом к замужеству, что привело к войне между ее женихами – Турном и Энеем.

Мнимая загадка Уголино

Первая публикация – в газете «Насьон» (1948).

Стр. 174. *Уголино делла Герардеска* (?–1289) – граф, глава городского совета Пизы.

...*Чосер в своем... резюме эпизода...* – Он передан в «Рассказе монаха» в «Кентерберийских рассказах».

Стр. 175. *Бруноне Бьянки* (1803–1869) – итальянский комментатор «Божественной комедии» (1844).

Стр. 176. *Луиджи Пьетробоно* (1863–1960) – итальянский историк словесности.

Франческо Д'Овидио (1849–1883) – итальянский писатель и филолог, исследователь Данте.

Вирджилио Мальвецци (1595–1654) – итальянский политический деятель, писатель-моралист.

Стр. 177. ...«*кровавый полумесяц*» *Кеведо...* – Цитата из сонета Кеведо памяти герцога Осуны, который Борхес разбирает в лекции «Поэзия» (сб. «Семь вечеров»; наст. том, с. 94 и далее).

Последнее плавание Улисса

Первая публикация – под заглавием «Загадка Улисса» – в уругвайском журнале «Эскритура» (1948), затем – в том же году – в газете «Насьон».

Стр. 179. *Никколо Томмазо* (1802–1874) – итальянский общественный деятель, филолог-эрудит.

Хуго Фридрих (1904–?) – немецкий историк европейской литературы, автор книги об эпизоде с Франческой да Римини «Метафизика права в „Божественной комедии“» (1942).

Стр. 180. *Август Рюэгг* (1882–?) – немецкий историк культуры, автор книги «Представления о загробном мире у Данте» (1945).

Каччагвида (1091–1147) – прапрадед Данте Алигьери; погиб во II Крестовом походе.

Джованни Папини (1881–1956) – итальянский писатель, начинавший футуристом, а позднее обратившийся к фантастической прозе, близкой Борхесу. См. предисловие к его сборнику в кн. «Личная библиотека» (наст. том, с. 312).

Стр. 182. *Скандинавы не раскрывают своих тайн...* – Позднее этот пассаж повторен в эссе «Удел скандинавов» (1953; наст. изд., т. 2, с. 717).

Милосердный палач

Первая публикация – в журнале «Юг» (1948, № 163).

Стр. 183. *Джастин Хантли Мак-Карти* (1860–1936) – английский писатель, переводчик Хайяма, издатель «Сказок тысячи и одной ночи» («Арабских ночей») Бертона.

Стр. 184. *Целестин V* (в миру Пьетро дель Мурроне; 1215–1296) – Римский Папа. О его легендарном мздоимстве Данте пишет в XIX песни «Ада» (стих 82 и далее) и других строках «Комедии».

Данте и англосаксонские видения

Первая публикация – в журнале «Арс» (1957).

«Чистилище», I, 13

Стр. 192. *Стих 60 песни I...* – Образ «молчащего солнца» Борхес уже приводил в эссе о Бернарде Шоу (наст. изд., т. 2, с. 468).

Симург и орел

Первая публикация – в газете «Насьон» (1948).

Стр. 194. «*Видение Тунгдала*» (XII в.) – памятник кельтской словесности.

Стр. 195. *Помпео Вентури* (1693–1752) – итальянский поэт и прозаик, священник-иезуит, комментатор Данте.

Стр. 197. *Езекия* – сын Ахаза, царь Иудеи (4 Цар 16: 20 и др.).

Свидание во сне

Первая публикация – в газете «Насьон» (1948).

Стр. 198. *Антуан Фредерик Озанам* (1813–1853) – французский историк европейской словесности и культуры.

Стр. 199. *Теофил Спёрри* (1890–1955) – немецкий историк итальянской литературы и искусства.

Франческо Бонавентура Ломбарди – итальянский комментатор «Божественной комедии».

Пьеро Алигьери (1295?–1364) – сын Данте, священник и правовед, комментатор «Комедии» (1341–1348, по-латыни).

Святой Доминик (в миру – Доминик де Гусман, 1170–1221) – испанский религиозный и церковный деятель, основатель ордена доминиканцев.

Стр. 201. *Филипп IV Красивый* (1268–1314) – король Франции с 1285 г.

Последняя улыбка Беатриче

Стр. 204. ...*пассаж из «Новой жизни»*... – «Новая жизнь», XLII, 2.

Бертран де Борн (ок. 1140– ок. 1215) – провансальский поэт-трубадур, Данте поминает его в «Аде» (XXVIII, 118 и далее).

25 августа 1983 года

(25 de Agosto, 1983)

1983

25 августа 1983 года

Рассказ-предвосхищение (в форме воспоминания о попытке самоубийства, которое приурочено к дню рождения Борхеса, 24 августа) впервые опубликован в Италии на итальянском языке.

Стр. 212. ...*корабль из ногтей мертвецов...* – Образ из «Видения Гюльви», входящего в «Младшую Эдду» Снорри Стурлусона. В 1984 г. Борхес перевел эти стихи вместе с Марией Кодамой.

Роза Парацельса

Как рассказывал Борхес, эпизод, легший в основу новеллы, он почерпнул «в одном из четырнадцати томов» Де Куинси.

Стр. 217. *Гризебах* – фамилия последователя и комментатора Шопенгауэра, упомянутого в рассказе «Гуаякиль» и др.

Синие тигры

Стр. 218. *Меня всегда неодолимо влекло к тигру.* – Здесь и далее – автоцитата из рассказа «Dreamtigers» (сб. «Создатель»; наст. изд., т. 2, с. 506).

«*Jungle Books*» – сборники рассказов Р. Киплинга.

Стр. 220. *Подобно Даниелю Дефо...* – Рассказчик фактически цитирует эссе Борхеса «Допущение реальности» (см. эту же формулу в предисловии к «Молль Флендерс»; наст. том, с. 339).

Стр. 223. *Бхагван Дас* – имя лавочника из рассказа Киплинга «В доме Садху».

Атлас (Atlas) 1984

Стр. 231. *Альберто Хурри* (1919–1991) – аргентинский поэт, прозаик, переводчик современной английской, американской и итальянской лирики, близкий к журналу «Юг».

Эрике Пеццони (1926–1989) – аргентинский литератор, секретарь редакции журнала «Юг», переводчик Г. Мелвилла и Г. Грина, автор работ о Борхесе и писателях его круга.

Стр. 233. ...*Плотин, по рассказу Порфирия...* – Порфирий, «Жизнеописание Плотина», 1.

Стр. 234. *Красный Король* – персонаж «Алисы в Зазеркалье», эпизод с его сном и сновидением Борхес взял эпитафией к новелле «В кругу развалин», а также включил в свою «Антологию фантастической литературы», «Книгу сновидений» и др.

Стр. 236. *Арморика* – историческая область на северо-западе нынешней Франции, позднее – Бретань.

Буцентавр – так в Средние века называлось судно, на котором венецианские дожи ежегодно в день Вознесения скрепляли торже-

ственным обрядом свой «брак» с Адриатическим морем. Его нос был украшен статуей буцентавра – кентавра с крупом быка.

Стр. 236. *Асперн* – заглавный герой новеллы Генри Джеймса (1888).

Дандоло – знатный венецианский род. Скорей всего, в виду имеется Энрико Дандоло (ок. 1105–1205), дож Венеции в 1192–1205 гг., участник IV Крестового похода. В 1204 г. доставил в Венецию из Константинополя знаменитых четырех бронзовых коней, установленных затем на портале Сан Марко.

Паскаль называет реки ходячими дорогами... – «Мысли», 717 (17, по Брунсвику).

...в одном из предисловий написал о Венеции... – В посвящении книги «История ночи» (наст. изд., т. 3, с. 473).

Стр. 237. *Керы* – богини несчастья, болезни и гибели, дочери Ночи (Никты) в греческой мифологии.

Стр. 243. «*Памятник*». – Имеется в виду работа американского скульптора Клааса Ольденбурга (р. 1929).

Стр. 247. *Арбела* – речь идет о победе Александра над персидским царем Дарием III в 331 г. до н. э.: точнее говоря, сражение (что отмечено Плутархом) произошло под Гавгамелами, а не под Арбелой, как считали многие.

Стр. 251. *Словарь рифм, заметил Маутнер...* – Борхес уже приводил эту цитату из «Философского словаря» в эссе «Логическая машина Раймунда Луллия» (см. наст. изд., т. 1, с. 422).

Стр. 256. *Идзумо* – один из четырех крупнейших синтоистских монастырей Японии.

Порука (Los Conjurados) 1985

Предисловие

Стр. 260. *...первой среди стихий – огня.* – Отсылка к учению Эмпедокла о четырех стихиях («О природе»).

Царица... уподобляет себя воздуху и огню... – Шекспир, «Антоний и Клеопатра», V, 2.

...непереносимого «Полифема». – Имеется в виду барочная поэма Гонгоры «Сказание о Полифеме и Галатее».

Христос на кресте

Стр. 261. *Гутрум* (?–890) – предводитель датчан в завоевании Англии, противник короля англосаксов Альфреда Великого,

позже крещен им под именем Этельстан, в 880–890 гг. – правитель Восточной Англии.

Фрагменты глиняной таблички,
обнаруженной и прочитанной Эдмундом Бишопом

Стр. 263. *Эдмунд Бишоп* (1846–1917) – английский историк религии и Церкви.

Мелькарт – верховное божество Тира и Карфагена.

Фанега – мера сыпучих тел и жидкостей (55,5 л).

Апулия – область на юго-востоке Италии, во II Пунической войне выступала на стороне Карфагена.

Тиннит (Таннит) – верховная богиня пунического пантеона.

...костер... царицы. – Имеется в виду дочь тирского царя Дидона, брошенная Энеем и покончившая с собой на костре («Энеида», кн. IV).

Абрамовиц

Стр. 268. *...победная музыка эллинской речи...* – Как ясно из дальнейшего, имеется в виду XI песнь «Одиссеи» о путешествии героя в землю киммерийцев и встрече с загробными тенями.

...почил с отцами своими... – 3 Цар 2: 10; эти слова о царе Давиде Борхес приводил в эссе «Метафора» (сб. «История вечности»; наст. изд., т. 1, с. 332).

Зелень кипариса

Стр. 274. *Quantam lenta solent...* – Вергилий, «Буколики», I, 25.

Хуан Лопес и Джон Уорд

В миниатюре идет речь о войне 1982 г. за Мальвинские острова между Аргентиной и Великобританией.

Порука

Стр. 280. *1291 год.* – 1 августа три лесных кантона – Швиц, Ури и Унтервальден – заключили вечный союз, положивший начало Швейцарской конфедерации в рамках Священной Римской империи.

Арнольд Винкельрид (?–1386) – швейцарский крестьянин, отдавший жизнь ради победы соотечественников над австрийцами при Земпахе (1386).

Личная библиотека
(Biblioteca personal)
1988

Стр. 283. *Иные гордятся каждой написанной книгой...* – Цитата из стихотворения «Читатель» (сб. «Хвала тьме»; наст. изд., т. 2, с. 672).

...*дворцы и галереи памяти...* – Августин, «Исповедь», X, 8.

Стр. 285. *...в одном достаточно неизвестном литературном журнале.* – Имеются в виду «Летописи Буэнос-Айреса»; Борхес был их главным редактором в 1946–1948 гг.

«*Грозовой перевал*» (1847) – роман Эмили Бронте.

Стр. 287. *Сегодня слово «апокрифический» обозначает «поддельный»... первое его значение – «тайный».* – На это указывает Климент Александрийский («Строматы», I, 69); в значении «подложный» слово «апокрифический» фигурирует у Ириней («Против ересей», I, 20) и Тертуллиана («О целомудрии, 10, 12).

...*Тацит бегло сообщает о нем...* – «Анналы», XV, 44.

Стр. 288. *...пятымлетним мальчиком Иисус слепил из дорожной глины птиц...* – «Книга о рождении благодатной Марии и детстве Спасителя», XXVII.

...*ад... так зовут героя, который ведет спор с самим Князем Тьмы, Сатаной...* – «Евангелие от Никодима», XXI.

Стр. 289. *...в биографии Макса Брода...* – Первым изданием она вышла в Праге в 1937 г., позднее расширялась автором и не раз переиздавалась.

Стр. 290. *...философия рождается из удивления.* – Платон, «Тетет» (155 d); Аристотель, «Метафизика» (I, 2). Это представление впоследствии развивали неоплатоники (Прокл). Напротив, по Демокриту (как передает Страбон), позиция философа – ничему не удивляться.

Стр. 291. *...прославленных Вергилием и Шекспиром.* – Имеются в виду пчелы в «Георгиках» Вергилия (кн. IV) и шекспировском «Сне в летнюю ночь» (II, 2).

Стр. 292. *Валерио Дзурлини (1926–1982)* – итальянский кинорежиссер, среди его фильмов – экранизация романа Буццати «Таргская пустыня» (1976).

Стр. 293. «*Квинтэссенция ибсенизма*» (1905) – эссе Дж. Б. Шоу.

Стр. 297. *Альбер Самен (1859–1900)* – французский поэт-символист.

Жюль Лафорз (1860–1887) – французский лирик-символист.

Стр. 298. *Хосе Гевара (1719–1806)* – испанский иезуит, долгие годы жил в Латинской Америке, написал «Историю завоевания Парагвая, Рио де ла Платы и Тукумана».

Стр. 299. *Пьер Луис* (1870–1925) – французский поэт и прозаик.

Стр. 300. ...*троих основателей «Нувель реву франсэз»*... – Сотоварищами Жида были здесь писатель и театральный режиссер Жак Копо (1879–1949) и прозаик Жан Шлюмберже (1877–1968).

Стр. 303. *Констанс Гарнетт* (1862–1946) – английская переводчица русской классической литературы от Гоголя до Чехова.

Стр. 307. «*Юджин О'Нил*». – Эссе об О'Ниле, отчасти использованное в данном предисловии, Борхес опубликовал в 1936 г. в журнале «Очаг».

...*в одной из пьес он... вспоминает...* – Имеется в виду драма «Луна над Карибским морем» (1918).

Роберт Эдмонд Джонс (1887–1954) – американский театральный режиссер.

Стр. 309. *Аривара Нарихира* (825–880) – японский поэт, предполагаемый автор «Исэ-моногатари».

Сюити Като (р. 1919) – японский писатель, литературный критик, историк литературы.

Стр. 310. «*Герман Мелвилл*». – Вошедшие в том повести переведены Борхесом в соавторстве с Хулианом дель Рио, в 1944 г. Борхес сопроводил издание своего перевода «Бартлеби» предисловием.

...*догадывался...* *Эдгар По*. – Имеется в виду «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» (1838) Эдгара По, навязчивый мотив белизны в ней Борхес разбирал в эссе «Повествовательное искусство и магия» (наст. изд., т. 1, с. 155).

Стр. 314. ...*один голландский историк...* – Имеется в виду Йохан Хейзинга (1872–1945).

«*Три обманщика*». – Выражение приписывается императору Священной Римской империи Фридриху II Гогенштауфену (1194–1250).

Стр. 315. ...*об Ангелах из Монса...* – Слух об их чудесном явлении, разошедшийся по Бельгии в начале Первой мировой войны, по всей вероятности, действительно имеет источником очерк Артура Мэчена «Лучники», опубликованный в английской газете «Вечерние новости» (1914), а затем вошедший в его сборник «Ангелы из Монса. Лучники и другие легенды времен войны» (1915). Вскоре очерк был пересказан в «Дейли Мейл» (1915), потом перепечатан на континенте, подхвачен церковной печатью под заголовками «Чудо на Марне» и проч. Позже слух рассмотрен французским историком и языковедом Альбером Доза в его статье в «Меркюр де Франс» (1918), а затем в книге «Легенды, пророчества и предрассудки о войне» (1919).

Стр. 316. *Роберт Генри Фрауд* (1771–1859) – английский священник и проповедник, отец известного историка Дж. Э. Фрауда.

Стр. 318. *Генри Луис Менкен* (1880–1956) – американский литературный критик, сатирик и публицист, главный редактор журнала «Американский Меркурий».

Стр. 320. «*Un barbare en Asie*» (1933) – борхесовский перевод этой книги Мишо издан в 1941 г.

Стр. 323. *Клавдий Элиан* (ок. 200) – римский грекоязычный писатель.

Стр. 324. «*Искушение святого Антония*» – драма Флобера существует в трех редакциях: 1849, 1856 и 1874 гг., в 1856 и 1857 гг. были опубликованы несколько ее отрывков.

Луи Буйе (1822–1869) – французский поэт.

Максим Дюкан (1822–1894) – французский писатель.

Стр. 325. *Альбер Тибодэ назвал...* – Вольный пересказ пассажи из главы VIII книги Альбера Тибодэ «Гюстав Флобер» (1922), где об «Искушении» сказано, что оно «представляет собой нечто вроде соединения „Цветов зла“ с германским фатализмом и мистикой в духе Эдгара Кине».

Стр. 326. *...продиктовал на латинском языке...* – Рассказы Марко Поло продиктованы на венецианском диалекте, а записаны литератором-пизанцем Рустикелло (Борхес ошибочно именует его Рустиччано) на французском языке.

...вспомним Верлена и Сервантеса. – Имеется в виду тюремное заключение Верлена в 1873–1874 гг. и пребывание Сервантеса в алжирском плену (1575–1580).

Стр. 327. *...из тройного колриджевского сна.* – См. эссе «Сон Колриджа» (наст. изд., т. 2, с. 342–346).

Стр. 328. «*Марсель Швоб*». – «Воображаемые жизни» перевел на испанский Рафаэль Кансинос-Ассенс.

Стр. 329. «*Рыжий род Редмейнов*». – Предисловие к роману 1922 г. воспроизводит «синтетическую биографию» Филпотса, напечатанную Борхесом в журнале «Очаг» (апрель 1937 г.) и дополненную здесь одним, заключительным абзацем.

Стр. 331. *...новый трепет.* – Из отзыва Виктора Гюго (1859) о бодлеровских «Цветах зла».

Стр. 334. *Инар* (?–456 до н. э.) – сын Псамметиха, египетский фараон, отделился от державы Артаксеркса, был разбит и казнен персами.

Стр. 336. *Хуан Рульфо* (1918–1986) – мексиканский прозаик.

...тоньше других был Эмир Родригес Монегаль. – Имеется в виду его эссе «Перечитывая „Педро Парамо“», вошедшее во второй выпуск книги «Рассказчики нашей Америки» (1974).

Стр. 339. *...во всем «Дон Кихоте» ни разу не идет дождь.* – Борхес ошибается: «Тем временем стал накрапывать дождь», – такова первая фраза XXI главы первого тома сервантесовского романа (пер. Н. Любимова).

Джек Шенпард (1702–1724) – английский разбойник, казнен.

Стр. 340. *...ее хвалил и анализировал Форстер.* – Эссе Форстера о Дефо (1855) вошло в его сборник «Исторические и биографические очерки» (1858).

Стр. 341. «*The Central darkness of a London brothel*». – Де Куинси, «Исповедь англичанина-опиофага», ч. I.

...*consul romanus*... – На это выражение, часто встречающееся у Тита Ливия, Де Куинси ссылается в своей «Исповеди англичанина-опиофага» (ч. III).

Стр. 345. ...*приключения принца Флористана*... – Оговорка: нужно – Флоризеля.

Стр. 346. *Уильям Эрнест Хенли* (1849–1903) – английский писатель, литературный критик, издатель.

Стр. 349. *Хуан Хосе Арреола* (р. 1918) – мексиканский прозаик.

Стр. 350. *Дейвид Гарнетт* (1892–1981) – английский писатель, автор повестей с элементами фантастики и ужасов, переводчик А. Моруа; Борхес писал о нем в журнале «Очаг» (1937).

Ego отец... – Тут у Борхеса некоторая, впрочем, вполне понятная путаница: на самом деле *Ричард Гарнетт* (1835–1906) – дед Дейвида, английский викторианский поэт, переводчик и эссеист, историк английской и итальянской словесности, служитель Британского музея. Отец Дейвида – *Эдвард Гарнетт* (1868–1937), писатель, литературный критик и издатель. Сын Ричарда Гарнетта, женатый на известной переводчице *Констанс Гарнетт*, он был другом и корреспондентом Дж. Конрада, Д. Г. Лоуренса, Дж. Голсуорси, У. Хадсона, Ст. Крейна и др. Автор биографии Л. Толстого (в соавторстве с Честертоном) и ряда других книг, не имевших успеха.

Стр. 352. *Жак Кюжа* (1522–1590) – французский правовед, учитель Ж. Ж. Скалигера.

Сантьяго де Эстрада (1841–1891) – аргентинский писатель и журналист, либеральный католик.

Карлос Пельегрени (1846–1906) – аргентинский политический деятель, президент страны.

Стр. 353. *Сантьяго Линьерс-и-Бремон* (1753–1810) – государственный и военный деятель Ла-Платы, адмирал, казнен соотечественниками, восставшими против испанского владычества. Его биография, написанная П. Груссаком, вышла в свет в 1907 г.

Стр. 354. *Мануэль Мухика Лайнес* (1910–1984) – аргентинский писатель, летописец аристократического Буэнос-Айреса. Его роман «Идолы» опубликован в 1953 г.

The man of the crowd – заглавие новеллы Эдгара По (1840).

Стр. 355. *Заджаль* – строфическая форма в испано-арабской лирике, а затем в испанской песне, сложилась в IX в.

Стр. 357. *Чарлз Лафтон* (1899–1962) – английский и американский киноактер (в 1950 г. принял гражданство США); речь идет о фильме «Барреты с Уимпол-стрит» (1934), где он сыграл тирана, отца Элизабет Баррет, будущей жены поэта Роберта Браунинга.

Стр. 359. ...удачи, которую Петроний... видел в сочинениях Го-
рация. – «Сатирикон», СХVIII.

Стр. 367. Луи Агассис (1807–1873) – швейцарский геолог
и натуралист, с 1846 г. работал в США, написал «Естественную
историю Северной Америки».

Его не раз тянуло к самоубийству; не раз... он повторял про се-
бя гамлетовский монолог. – См. выше эту фразу в предисловии
к «Игре в бисер» Гессе.

Стр. 369. Торольв (?–937) – исландский викинг, старший брат
Эгиля Скаллаgrimсона, погиб в бою на севере Англии, сражаясь,
как и Эгиль, в войсках короля Адальстейна (Этельстана).

Аринбьёрн – сын Торира (IX в.), друг Эгиля Скаллаgrimсона,
чья «Песнь об Аринбьёрне» имеется здесь в виду.

Родил сыновей... – Отсылка к стихотворению Эгиля «Утрата
сыновей» (один из его сыновей умер от болезни, второй погиб).

Память Шекспира (La memoria de Shakespeare) 1995

Впервые новелла опубликована в буэнос-айресской газете
«Кларин» в 1980 г.

Стр. 373. Зёргель. – Эта фамилия известного немецкого лите-
ратурного критика, историка литературы встречалась в новелле
«Deutsches Requiem» (сб. «Алеф»; наст. изд., т. 2, с 265 и др.), ге-
рой-рассказчик которой фанатически поклоняется Шекспиру.

Льюис Теобальд (1688–1744) – английский драматург, изда-
тель семитомного собрания сочинений Шекспира (1733), задуманного как критика издания, предпринятого Александром По-
упом. За это Поуп издевательски высмеял Теобальда в своей
поэме «Дунсиада».

Стр. 374. ...у Чосера тоже есть история о чудесном перст-
не... – «Кентерберийские рассказы» («Рассказ сквайра»).

Стр. 375. Имя солдата... – Клэй (англ. clay) означает «глина»
и отсылает к ветхозаветному первочеловеку Адаму, сотворенному
из красной глины.

Стр. 377. Джон Гауэр (ок. 1330–1408) – английский поэт,
друг Чосера, автор поэмы «Исповедь влюбленного» (1390). Кроме
английского языка писал на французском и латыни, что, впрочем,
было в ту эпоху не редкостью.

Джон (Джованни) Флорио (ок. 1553–1625) – английский лите-
ратор, выходец из Италии, перевел на английский «Опыты» Мон-
теня (1603).

Томас Норт (1535–1601) – английский литератор, переводчик «Жизнеописаний» Плутарха (1579).

...разгрому Непобедимой Армады. – Поражение испанского королевского флота, нанесенное ему англичанами в 1588 г.

...этот тезис еще в 1899 году выдвинул Сэмюэл Батлер. – Речь идет о предисловии Батлера к переизданию шекспировских сонетов.

Стр. 378. ...*ondoyant et divers*... – Цитата из «Опытов» Монтеня (гл. XXVIII, «О дружбе»).

...«*absence dans l'infini*»... – Из трактата Гюго «Вильям Шекспир» (1864).

«*My way of life*...» – «Макбет», V, 3.

Стр. 380. «*Simply the thing I am shall make me live*». – «Конец – делу венец», IV, 3. См. стихотворение «The thing I am» и комментарий к нему (сб. «История ночи»; наст. изд., т. 3, с. 491–492, 687).

Из бесед

Стр. 385. *Было это во времена Росаса*. – Эпизод вошел в микроромеллу Борхеса «Мартин Фьерро» (сб. «Создатель»; наст. изд., т. 2, с. 523).

Иниго Лопес де Мендоса, маркиз де Сантьяна (1398–1458) – испанский воин, поэт, собиратель народных песен, теоретик искусства.

Стр. 387. «Пророк под покрывалом» – поэма Т. Мура; «Железная маска» – роман А. Дюма.

Стр. 393. Прилидиано Пуэррейдон (1823–1870) – аргентинский живописец.

Элен Хейз (1900–1993) – американская киноактриса.

Фред Кольер (1888–1938) – американский киноактер, вместе с Джорджем Бэнкрофтом он снимался в фильмах Штернберга «Подполье» (1927), «Ловушка» (1928).

Стр. 394. «Призрак розы» (1946) – фильм Бена Хекта, «Большая игра» (1934) – фильм Жака Фейдера, «Вечер в опере» (1935) – фильм Сэма Вуда с участием братьев Маркс, «Безумие» (1919) – фильм Конрада Фейдта, «Головокружение» (1958) – фильм А. Хичкока, «Ниночка» (1939) – фильм Э. Любича, «Любовь без преград» – вероятно, фильм Э. Любича «Любовь без конца» (1929), «Коллекционер» (1965) – фильм У. Уайлера по роману Джона Фаулза, «В назначенный час» – возможно, фильм Мюррея Рота (1929), «Хартум» (1966) – фильм Бэзила Дэрдена.

Стр. 395. Сьюзен Зонтаг (р. 1933) – американская писательница, автор эссе о современной литературе и кино.

Стр. 396. Эдгар По как-то сказал... – В эссе «Новеллистика Натаниэла Готорна».

Стр. 400. Жан де Мийере (1908–1980) – французский литератор; книга его бесед с Борхесом опубликована в 1967 г.

Стр. 401. ...оба «Предела»... – Имеются в виду два стихотворения под этим титулом в книге «Создатель».

Стр. 403. *Алисия Хурадо* (р. 1915) – аргентинская писательница, автор монографии о Борхесе, их совместная книга «Что такое буддизм?» была издана в 1976 г.

Стр. 404. *В своей статье... Каюа перечисляет...* – Цитируется специальный выпуск парижского журнала «Эрн», посвященный Борхесу и его творчеству (1964, переиздан в 1981 и 1999 гг.); сюда же входит и статья Жана Валя (см. ниже).

Жан Валь (1888–1974) – французский писатель и философ.

Стр. 409. *Фернандо Соррентино* (р. 1942) – аргентинский писатель; книга его бесед с Борхесом вышла в 1973 г.

Стр. 410. ...*строки из стихотворения Элиота*... – Цитируется поэма «Скала» (1934).

...*после поражения на Кубе*... – Имеется в виду испано-американская война 1898 г., фактически завершившая имперский период испанской истории.

Стр. 412. *Джованни Андреа Скартаццини* (1837–1901) – итальянский филолог, издатель и исследователь Данте.

Стр. 415. *Мария Эстер Васкес*. – Беседа с ней (одна из множества) относится к 1973 г.

Стр. 419. *Луисо Норберто Мансилья* (1792–1871) – аргентинский генерал.

Стр. 420. *Антонио Каррисо* – аргентинский журналист, инициатор нескольких циклов радио- и телебесед с Борхесом.

Стр. 422. *Пинедо* – из этого семейства известен аргентинский военачальник Агустин Хосе Пинедо (1748–?).

Окампо – кроме друзей Борхеса, сестер Окампо, в истории Аргентины известен адвокат и политический деятель Габриэль Окампо (1798–1882), он упоминается в «Фаундо» Сармьенто.

Саэнс Вальенте – известен морской офицер Хуан Пабло Саэнс Вальенте (1860–1925).

Перейра – в истории Ла-Платы известны военачальник и глава колониальной администрации Антонио Перейра (ок. 1531–после 1601) и военный, государственный деятель Диего Франсиско Эсекьель Перейра (1846–1910).

Теннисон сказал... – Точнее «Saxon and Norman and Dane are we» (из стихотворения к прибытию в Лондон датской принцессы Александры, 1863).

Стр. 425. ...*ваша строчка*... – Из стихотворения «В кругу ночи» (сб. «Иной и прежний»; наст. изд., т. 2, с. 571–572).

Стр. 426. ...*стихи о Спинозе*... – Кроме известного сонета из книги «Иной и прежний» (наст. изд., т. 2, с. 625) у Борхеса есть еще сонет «Барух Спиноза» (сб. «Железная монета»).

Хосе Исааксон – аргентинский писатель, публицист, составитель книг о еврейских общинах и родах в Латинской Америке, автор ряда работ о Борхесе.

Стр. 429. *...совету Сенеки...* – Из его «Нравственных писем к Луцилию» (VII).

Стр. 434. *Рита Гиберт* – американская журналистка, переводчица на испанский язык; интервью, взятое ею в январе 1968 г. в Кембридже, вошло в книгу бесед с ведущими писателями Латинской Америки «Семь голосов» (1972).

Бальдомеро Фернандес Морено (1886–1950) – аргентинский лирик, в 1921 г. Борхес опубликовал его стихи в подборке новейших поэтов Аргентины, подготовленной для мадридского журнала «Космополис».

Стр. 436. *Эрнесто Понсио* (1885–1937) – аргентинский композитор, автор, среди прочего, музыки известного танго «Дон Хуан» (1912).

Стр. 441. *...опубликовать серию детективных историй.* – С 1945 по 1955 г. Борхес и Бьой Касарес вели в буэнос-айресском издательстве «Эмесе» детективную серию «Круг седьмой».

...первой книге серии... – Речь идет о серии научной фантастики в буэнос-айресском издательстве «Минотавр», книга Брэдбери вышла здесь с предисловием Борхеса в 1955 г. (затем последовал «Создатель звезд» О. Степлдона).

Стр. 442. «*Гимн морю*». – Стихотворение появилось в 1919 г. в журнале «Греция», было посвящено его главному редактору поэту Адриано дель Валье и стало поэтическим дебютом Борхеса.

Стр. 446. *Освальдо Феррари* (р. 1948) – аргентинский поэт и эссеист.

Стр. 449. *...Рильке говорит...* – Отсылка к первой из «Дуинских элегий».

У меня есть рассказ... – Борхес соединяет здесь сюжеты двух своих рассказов – «Притча о дворце» из сборника «Создатель» (наст. изд., т. 2, с. 527–528) и «Зеркало и маска» из «Книги Песка» (наст. изд., т. 3, с. 300–303).

Стр. 450. *Де Куинси... называет имя одного римлянина...* – Валерий Соран; Борхес уже не раз приводил этот пример (в новелле «Три версии предательства Иуды» – сб. «Вымышленные истории»; наст. изд., т. 2, с. 191 и др.).

Стр. 454. «*The unending gift*» – стихотворение из книги «Хвала тьме».

Хорхе Ларко (1899–1967) – аргентинский живописец.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

1899

24 августа родился в Буэнос-Айресе, неподалеку от центра города, — на улице Тукуман, 838, в доме бабушки по материнской линии, старинной постройки в колониальном стиле (не сохранилась). Полное имя — Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес: первые имена — от отца и двух дедов, Луис — по дяде, Луису Мельяну Ла-финуру, уругвайскому правоведа и дипломату.

Отец, Хорхе Гильермо Борхес (по материнской линии — англичанин), прозаик и драматург-любитель, поклонник Дж. Б. Шоу, по политическим воззрениям — анархист, в философии — последователь прагматизма Уильяма Джеймса, в быту — вегетарианец, преподает на английском языке философию и психологию, переводит на испанский Омара Хайяма с английских переложений Э. Фитцджеральда, близко знаком со многими литераторами столицы. Мать, Леонор Асеведо Аэдо, родом из Уругвая, куда ее прародители-сефарды приехали в начале XVIII в. из Португалии.

Среди прямых предков и близких родственников Борхеса есть крупные фигуры политической, военной, литературной истории Ла-Платы и Латинской Америки XVI–XIX вв.

1901

Семья перебирается на более скромную улицу Серрано, поблизости от Зоосада, в район Палермо — квартал бандитов и танго. 4 марта — рождение сестры Норы (Леонор), подруги по детским играм и фантазиям, будущей художницы.

1903

К детям взята приходящая английская гувернантка мисс Тинк. Борхес учится читать по-английски раньше, чем по-испански («Дон Кихота» он впервые прочел на английском и, как рассказывал сам, долго считал испанский текст романа переводом, причем — неудачным). Жаркие месяцы — с декабря по март — семейство проводит неподалеку от столицы, в пригородном поселке

Адрогé, или в Пасо де Молино, предместье Монтевидео, у Франсиско Аэдо, двоюродного дяди Хорхе Луиса и Норы Борхес.

1905

Кончина Исидоро Асеведо, деда Хорхе Луиса по материнской линии (его биография в переосмысленном виде станет позднее основой новеллы «Вторая смерть»).

В первой собственноручно написанной строчке, дошедшей от Борхеса-ребенка, смешаны английский и испанский: «Тигр, лев, папа, леопард» (тигр — постоянный мотив его детских рисунков). Читает «Тысячу и одну ночь» в английских переводах, книги Диккенса, Твена, Эдгара По, Стивенсона, Киплинга, Уэллса.

В шесть лет объявляет отцу, что будет писателем. В семь пишет первый рассказ по мотивам «Дон Кихота», в девять — переводит сказку О. Уайльда «Счастливый принц» (опубликована в июньском номере столичной газеты «Паис» за 1910 г., перевод приписали отцу).

1909

Хорхе Луис поступает в четвертый класс общеобразовательной школы (она находится на улице Темзы).

1912

Первый самостоятельный, без прямых литературных источников, рассказ «Царь леса» (главный герой — тигр, подпись — «Немо»).

1914

Почти ослепший отец (потеря зрения — наследственный недуг в семье Борхесов) выходит в отставку, едет с семьей лечиться в Европу (Лондон, Париж, северная Италия). Объявление войны застаёт семейство в Мюнхене, откуда Борхесы переезжают в Женеву.

Хорхе Луис поступает в лицей (основан Жаном Кальвином, преподавание ведется на французском, который Хорхе Луис знает пока слабо), открывает для себя французскую литературу — Доде, Гюго, Флобера, Бодлера, Мопассана, Золя. По совету одноклассника Мориса Абрамовица знакомится с поэзией Рембо, эссеистикой Реми де Гурмона, новеллами Марселя Швоба. Читает по-английски Карлейля, Лафкадио Хирна, Честертона, Конрада, Де Куинси, «Преступление и наказание» Достоевского в переводе Констанс Гарнетт.

1918

В июне от воспаления легких умирает бабушка Борхеса со стороны матери Леонор Суарес Аэдо, приезжает бабушка со стороны отца Фанни Борхес Арнет. Семья проводит год в Лугано.

Борхес пишет сонеты на английском и французском, учит немецкий. Открывает для себя Колриджа и Верлена. Читает «Лирическое интермеццо» Гейне, Шопенгауэра, Ницше, книги по индийской философии, экспрессионистов, Кафку, «Голем» Мейринка, Уитмена в немецких переложениях. Составляет книгу стихов о русской революции «Красные ритмы» (другое название — «Красные псалмы»), сборник рассказов в манере Пио Барохи «Карты шулера» (иначе — «Крапленая колода»). Обе книги при жизни не опубликованы, стихи изданы Карлосом Менесесом в 1978 г.

1919

Август — первая публикация (замечена Мартином Бубером): обзор новых испанских книг во франкоязычной женеvской газете «Фей». До 1921 г. Борхес печатается только в Европе; за 10 первых лет литературного труда в сорока периодических изданиях появляеся около 250 публикаций Борхеса, не считая шести его книг.

Семья переезжает в Испанию (Барселона, Пальма де Мальорка, Севилья).

Хорхе Луис берет уроки латыни, читает «Энеиду». В Мадриде знакомится с писателями-авангардистами Рамоном Гомесом де ла Серной, Рафаэлем Кансиносом-Ассенсом, Гильермо де Торре (последний вскоре переедет в Аргентину и в 1928 г. женится на Норе Борхес).

Печатается в авангардистских журналах «Греция» (первая публикация стихов в манере Уитмена — «Гимн к морю» — 31 декабря 1919 г.), «Космополис» и др.

1920

Участвует в коллективных сеансах «автоматического письма» по образцу французских сюрреалистов (рукописи сохранились в Париже, в коллекции Тристана Тцара). В севильском журнале «Греция» появляется лирика Борхеса (включая стихотворение «Россия»), его обзоры новейшей английской, французской, австрийской поэзии. В мадридском журнале «Сервантес» публикуется «Экспрессионистская антология» — стихи современных немецких и австрийских поэтов в переводах и с заметками Борхеса.

На Мальорке публикуется исторический роман Борхеса-отца «Каудильо» (действие происходит в аргентинской провинции Энтре-

Риос 1860-х гг., роман издан на средства автора), в испанских журналах — при посредстве сына — публикуются его переводы англоязычных переложений О. Хайяма.

1921

Январь — выходит первый номер авангардистского журнала «Ультра», где, среди прочего, напечатаны стихи и рецензия Борхеса (в 1922 г. переведены на польский язык лидером краковского авангарда Тадеушем Пайпером и опубликованы в журнале «Новое искусство»). Борхес публикует в мадридском журнале «Космополис» подборку современных аргентинских поэтов (Маседонио Фернандеса, Альфонсины Сторни, Бальдомеро Фернандеса Морено и др.) со своими сопроводительными заметками. Посылает стихи Тристану Тцара для публикации в дадаистском журнале. Переводы стихов Борхеса появляются в венгерском журнале «Ма» («Сегодня»).

Март — возвращение в Буэнос-Айрес. Борхес выпускает журнал «Призма», входит в столичный кружок, группирующийся вокруг М. Фернандеса. В октябре публикует в буэнос-айресской газете статью-манифест «Ультраизм».

1922

Кружок М. Фернандеса начинает издавать журнал «Проа» («Форштевень»). Борхес и его друг, поэт Эдуардо Гонсалес Лануса, преподносят два только что вышедших номера журнала «Призма» Леопольдо Лугонесу (полемика и перекличка с Лугонесом, «нашим Кеведо», пройдет потом через все борхесовское творчество).

1923

Выходит первая книга Борхеса — сборник стихов «Страсть к Буэнос-Айресу» (выпущена тиражом в 300 экземпляров на средства отца, с гравюрами Норы Борхес), Рамон Гомес де ла Серна откликается на нее рецензией в мадридском журнале Хосе Ортеги-и-Гасета «Ревиста де Оксиденте» («Западное обозрение»).

Борхес отвечает на вопросы анкеты буэнос-айресского журнала «Носотрос» («Мы») о новом поколении в аргентинской литературе. Стихотворения Борхеса публикуются в лионском авангардистском журнале «Манометр».

Вся семья снова уезжает на год в Европу (Англия, Франция, Испания, Португалия).

1924

Статья Борхеса о Кеведо публикуется в мадридском журнале «Ревиста де Оксиденте».

В марте вернувшись в Буэнос-Айрес, в июле Борхес знакомится с поэтом и прозаиком Рикардо Гуиральдесом (в дальнейшем, до начала 60-х гг., Борхес, за исключением нескольких поездок в Уругвай и аргентинскую провинцию, не покидает Буэнос-Айреса).

1925

Перевод заключительной страницы джойсовского «Улисса» и эссе об этом романе, позднее сопровождавшем Борхеса много лет. Публикует книгу эссе «Расследования» (при жизни не переиздавалась, во Франции ее сочувственно отрецензировал Валери Ларбо в журнале «Ревю эропезэн»), сборник стихов «Луна напротив» (одобрительная рецензия Леопольдо Маречалья в журнале «Мартин Фьерро»).

Через Рикардо Гуиральдеса Борхес знакомится с сестрами Окампо — писательницами Викторией и Сильвиной; дружба с ними длится всю жизнь.

Выходит книга Гильермо де Торре «Литературы европейского авангарда», где ультраизму отведена отдельная глава.

1926

Борхес дает интервью о Маринетти и футуризме популярнейшей буэнос-айресской газете «Критика». Вместе с Висенте Уидоро и Альберто Идальго выпускает «Путеводитель по современной латиноамериканской поэзии» (включены восемь стихотворений Борхеса). Альберто Идальго создает «Устное обозрение» — кружок писателей и художников с участием Борхеса, регулярно собирающийся в столичном ресторане «Рояль Келлер» (состоялось десять его «выпусков», издано два графических приложения).

Сборник эссе «Земля моей надежды» (при жизни не переиздавался). Начинается сотрудничество с газетой «Пренса» (до 1929 г. Борхес публикует в ней более 20 различных материалов).

1927

В журнале «Мартин Фьерро» появляется «Детективная баллада» — первый набросок будущей борхесовской новеллы «Мужчина из Розового кафе».

Борхес подписывает листовку Комитета молодых интеллектуалов Аргентины в поддержку главы партии Гражданский радикаль-

ный союз Иполито Иригойена (на следующий год Иригойен избирается президентом страны).

Знакомство с Пабло Нерудой.

Первая операция по поводу катаракты.

1928

Книга «Язык аргентинцев» (ее оформляет друг Борхеса-отца, художник Алехандро Шуль Солар; сборник получает городскую литературную премию по разделу прозы). Знакомство с французским переводчиком испано-аргентинского происхождения Нестором Ибаррой и мексиканским писателем, педагогом, дипломатом, комментатором Гонгоры и переводчиком Малларме, Стивенсона, Честертона Альфонсо Рейесом.

1929

Третья — и на долгие годы последняя — книга стихов «Сан-Мартинская тетрадка» (портрет Борхеса в ней нарисован Сильвиной Окампо; книга удостоена второй премии на городском литературном конкурсе; на полученные деньги Борхес покупает одиннадцатое издание «Британской энциклопедии»). Эссе «Кинематограф и биограф» в газете «Пренса» — первая из многочисленных в последующие годы заметок о кино (единственном искусстве, соединившем, по словам Борхеса, «то, чего хотят все: эпiku и мелодраму»).

1930

Сентябрьским военным переворотом под руководством генерала Урибуру, свергнувшего президента Иригойена, начинается эпоха нестабильности в стране (так называемое «бесславное десятилетие»).

«Эваристо Каррьега» — скрыто полемическая по отношению к Лугонесу биография друга семьи Борхесов, «малого» поэта буэнос-айресских предместий, и вместе с тем очерк мифологии столичных окраин, подступ к будущим темам танго, схватки, ножа; первая прозаическая книга, которую автор включал потом в собрания своих сочинений (добавляя к ней новые главы).

Знакомство — через сестер Окампо — с шестнадцатилетним Адольфо Бьоме Касаресом, в дальнейшем — другом, советчиком и соавтором.

Выходит книга Нестора Ибарры «Ультраизм», отдельная глава в ней посвящена Борхесу.

1931

Вместе с Дрие ла Рошелем, Уолдо Фрэнком, Ортегой-и-Гасетом, Жюлем Сюпервьелем, Альфонсо Рейесом и другими Борхес входит в международный редакционный совет основанного Викторией Окампо журнала «Сур» («Юг») — на протяжении многих лет крупнейшего и наиболее авторитетного издания в Латинской Америке, вырастившего, по словам М. Варгаса Льосы и Г. Гарсиа Маркеса, целое сообщество читателей (продолжал публиковаться до 1992 г.). Редакцию с 1938 г. возглавляет Хосе Бьянко, секретарь — Гильермо де Торре. Борхес печатает в журнале статьи о литературе, рецензии, переводы, интервью, вводит регулярное рецензирование новинок кино (за время сотрудничества с изданием — до 1980 г. — здесь появилось 190 его публикаций, в 1999 г. они собраны в отдельную книгу).

1932

Книга эссе «Обсуждения».

В конце года в Буэнос-Айресе публикуется первый детективный роман в Аргентине «Загадка улицы Аркос» — пастиш «Тайны желтой комнаты» Гастона Леру (переиздан в 1996 г.; по воспоминаниям некоторых борхесовских друзей ранних лет, авторство романа принадлежит Борхесу, вопрос по сей день остается открытым).

1933

Борхесу посвящается специальный номер столичного журнала «Мегафон» (открывается заметкой Пьера Дрие ла Рошеля, приглашенного в Буэнос-Айрес Викторией Окампо со словами: «Борхес стоит плавания через океан»); в буэнос-айресском журнале «Летрас» («Литература») это внимание к писателю расценивается как антипатриотическая выходка и «симптом глубочайшего кризиса аргентинской интеллигенции».

Статья «Законы детективного повествования» в журнале «Аргентина сегодня», брошюра о поэтических метафорах скандинавских скальдов «Кёнинги».

Знакомится с Федерико Гарсиа Лоркой (издательство «Сур» выпустило книгу его стихов «Цыганское романсеро»).

Тесно сотрудничает с массовой газетой «Критика», в литературном приложении к которой с августовского номера начинает публиковать очерковые новеллы из цикла «Всемирная история беславья».

1934

В парижской газете «Энтранзижан» появляется заметка Дриеле Рошеля о Борхесе «Одиночество в Буэнос-Айресе».

Вместе с уругвайским писателем Энрике Аморимом, женатым на двоюродной сестре Борхеса, Эстер Аэдо, писатель путешествует по глухим северным районам Уругвая, наблюдает жизнь гаучо (увиденное откликнется позднее в новеллах «Фунес, чудо памяти», «Мертвый», «Юг», «Конгресс»).

В ответ на антисемитские выпады столичных националистов публикует в журнале «Мегафон» заметку «Я — еврей».

1935

Смерть в возрасте девяносто трех лет Фрэнсис Энн Хейзлем, бабушки по отцу, учившей Борхеса английскому по семейной пресвитерианской Библии (черты ее биографии войдут в новеллу «История воина и пленницы» и др.).

Сборник пародийных остросюжетных новелл-эссе «Всемирная история бесславья» издается отдельной книгой (статья Амадо Алонсо «Борхес-рассказчик» в журнале «Сур»). Публикует в журнале «Сур» свой перевод романа Вирджинии Вулф «Собственная комната».

1936

Устное выступление «Труды и предназначение Буэнос-Айреса» (к четырехсотлетию основания города). Книга эссе «История вечности».

Переводит «Персефону» Андре Жида, знакомится в Буэнос-Айресе с Анри Мишо, приехавшим по приглашению Виктории Окампо на конгресс ПЕН-клуба.

Начало соавторства с Бьоме Касаресом — рекламная брошюра о йогурте (семейство Касаресов владеет молочными предприятиями). Издает вместе с Бьоме Касаресом журнал «Дестьемпо» («Некстати»); вышло три номера, в книжной библиотечке журнала опубликовано эссе А. Рейеса «Малларме среди нас». Начинает сотрудничество с буэнос-айресским семейным двухнедельником «Огар» («Очаг»), где ведет до 1940 г. рубрику «Зарубежные книги и их авторы: Путеводитель читателя».

Подписывает письмо аргентинских интеллектуалов испанским властям с выражением общественного возмущения убийством Гарсиа Лорки (25 августа публикуется в газете «Критика»).

Поездка в Адрогге с намерением покончить с собой (произошедшее трансформируется потом в сюжет новеллы «Смерть и буссоль»).

1937

Некролог Мигеля де Унамуно. В эссе «Школа ненависти», «Удручающая выставка», «Оскорбительная история литературы», «К определению герmanoфила» и др. (публикуются в 1937–1939 гг. в журналах «Сур» и «Огар») настойчиво обращает внимание на мотивы национальной исключительности и агрессивной ксенофобии в общественной и культурной жизни Германии, на фашизоидные тенденции в аргентинском обществе.

Вместе с доминиканским историком культуры Педро Энрике-сом Уреньей (он тоже входит в редакционный совет журнала «Сур») выпускает «Классическую антологию аргентинской литературы». Переводит роман Вирджинии Вулф «Орландо», фрагмент из поэтической мистерии Т. С. Элиота «Камень».

По рекомендации своего друга, поэта Франсиско Луиса Бернардеса, получает место мелкого служащего в муниципальной библиотеке на окраине столицы (проработает в ней девять лет); чувство выморочности и униженности своего социального существования. Учит итальянский язык, по дороге на работу и домой читая в трамвае Данте и Ариосто.

1938

Некролог Леопольдо Лугонеса. Вступительная статья к сборнику новелл Кафки «Превращение» (переводы в ней, вопреки устойчивому предрассудку, не принадлежат Борхесу). В августе участвует в Первом конгрессе против нацизма и антисемитизма (Буэнос-Айрес).

Смерть отца. Под Рождество Борхес после несчастного случая попадает в больницу с тяжелым заражением крови и временной потерей зрения (чувство смертельной опасности, детали болезни и выздоровления войдут потом в новеллу «Юг»). Мать читает ему в больничной палате роман К. С. Льюиса «С молчаливой планеты» (через месяц Борхес отрецензирует его в журнале «Огар»). В больнице задумывает новеллу «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“».

1939

«Пьер Менар» публикуется в майском номере журнала «Сур». При посредничестве Анри Мишо в парижском журнале Жана Полана «Мезюр» (Мишо входит в его редакционный совет) появляется рассказ-эссе «Приближение к Альмутасиму» в переводе Нестора Ибарры; перевод прочитан Рене Домалем и оказывает влияние на его богоискательский роман «Гора Аналог» (1939–1944, не завершен).

1940

Предисловие к первому фантастическому роману Латинской Америки — «Изобретению Мореля» А. Бьоя Касареса. Вместе с только что поженившимися Бьоем и Сильвиной Окампо выпускает «Антологию фантастической литературы» (многократно переиздается вплоть до нынешнего дня, на ней формируется несколько поколений читателей, включая будущих лидеров «магического реализма»).

После значительного перерыва публикует новые стихи — стансы «В кругу ночи»; навязчивая метафора замкнутого круга повторяется в опубликованной тогда же новелле «В кругу развалин».

1941

С Бьоем Касаресом и Сильвиной Окампо выпускает антологию аргентинской поэзии XX в. Издает сборник своих новелл «Сад расходящихся тропок» (рецензия Бьоя Касареса в журнале «Сур»; книга представлена на национальную премию, но патриотически настроенный комитет отклоняет кандидатуру Борхеса, предпочтя ему автора почвеннических романов-эпопей Э. Асеведо Диаса, — обстоятельства, комически переосмысленные потом в новелле «Алеф»).

Издает перевод романа Фолкнера «Дикие пальмы» и книги путевых эссе Анри Мишо «Варвар в Азии». Отклик на фильм О. Уэллса «Гражданин Кейн» в журнале «Сур».

1942

«Шесть задач для дона Исидро Пароди» — сборник пародийно-детективных новелл в соавторстве с Бьоем Касаресом под общим псевдонимом Бустос Домек.

Полемика с книгой эмигрировавшего в Аргентину французского писателя Роже Каюа «Детективный роман» на страницах журнала «Сур».

1943

Книга избранной лирики «Стихи 1922–1943 годов» (ряд прежних стихотворений дан в новых редакциях: переименование — устойчивая и характерная черта авторского письма Борхеса и его писательского облика). Вместе с Бьоем Касаресом выпускает сборник «Лучшие детективные рассказы» (включает в него рассказ «Смерть и буссоль»; книга имеет большой коммерческий успех, впоследствии многократно переиздается).

1944

Переводы Х. Крейна, Каммингса, У. Стивенса, Р. П. Уоррена и других поэтов США, переложение фрагмента из «Погребальной урны» Т. Брауна (всё — в соавторстве с Бьом Касаресом). Издает в своем переводе повесть Г. Мелвилла «Писец Бартлеби».

Книга рассказов «Вымышленные истории» (рецензия Эрнесто Сабато в журнале «Сур», почетная премия Общества аргентинских писателей). Новеллы «Лотерея в Вавилоне» и «Вавилонская библиотека» в переводе Нестора Ибарры публикуются в журнале «Летр франсез», который издает в Буэнос-Айресе Роже Каюа.

1945

Вместе с А. Бьом Касаресом руководит изданием библиотечки мирового детектива «Круг седьмой» в буэнос-айресском издательстве «Эмесé» (работа продолжается до 1955 г., в свет выходят 120 книг), предприятие имеет огромный читательский успех и серьезные литературные последствия, узаконивая криминальный жанр в испаноязычной словесности.

Лекция о литературе гаучо в университете Монтевидео (в 1950 г. выходит отдельной книгой). Вместе с писательницей Сильвиной Бульрич выпускает книгу о буэнос-айресских окраинах и их героях «Куманек, его судьба, его улицы, его музыка» (кроме борхесовского предисловия, сюда входит его новелла «Мужчина из Розового кафе»).

1946

После военного переворота и прихода к власти полковника Перона Борхес за антифашистские взгляды и противоправительственные высказывания уволен из библиотеки; ему издевательски предложено место смотрителя птицы и дичи на городском рынке, от которого он отказывается. По этому случаю Общество аргентинских писателей дает в честь Борхеса обед.

Читает лекции по литературе в аргентинском Обществе английской культуры, ездит с лекциями по Аргентине и Уругваю (в неизменном сопровождении жандармов). Становится — с третьего номера — главным редактором журнала «Летописи Буэнос-Айреса» (за два года выходят 23 выпуска), где, среди других авторов, открывает читателям Хулио Кортасара и уругвайского новеллиста Фелисберто Эрнандеса. Откликается сдержанно-критической рецензией на первый полный испанский перевод джойсовского «Улисса» (1945).

Повесть «Образцовое убийство» (в соавторстве с А. Бьом Касаресом, под общим псевдонимом Б. Суарес Линч).

Парижский журнал «Конфлюанс» («Слияние») публикует новеллу Борхеса «В кругу развалин».

1947

Переводит с французского стихи Ф. Понжа, с английского — фрагменты прозы Т. Э. Лоуренса.

Брошюра «Новое опровержение времени».

1948

За антиперонистские выступления задержаны мать и сестра Борхеса; мать остается под домашним арестом, сестра проводит месяц в буэнос-айресской женской тюрьме «Добрый пастырь».

Борхес публикует в журнале «Сур» эссе о «Божественной комедии», которые через много лет сложатся в книгу «Девять очерков о Данте». Вместе с А. Бьоме Касаресом выпускает книгу избранных стихов и прозы Франсиско Кеvedо.

Публикуется роман «с ключом» Леопольдо Маречаля «Адам Буэносайрес», среди героев которого портретно воспроизведен Борхес (под именем Луиса Переды) и его друзья.

1949

Вступительная статья к буэнос-айресскому изданию «Божественной комедии» Данте. Публичная лекция о творчестве Н. Готорна. Издаёт свои переводы книг Карлейля «О героях» и Эмерсона «Избранники человечества».

Публикует сборник новелл «Алеф» (рецензия Эстелы Канто в журнале «Сур»).

Избран членом Академии Гёте в Сан-Паулу (Бразилия).

1950

На три года избирается президентом Общества аргентинских писателей, стоящего в оппозиции к официальной власти. Получает место преподавателя англоязычной словесности в Буэнос-Айресском университете.

1951

Устное выступление «Аргентинский писатель и традиция» (полемика со столичными «патриотами»). Вместе с Делией Инхеньерос выпускает в Мексике книгу очерков «Древние германские литературы».

Сборник новелл «Смерть и буссоль» — первое коммерческое издание борхесовской прозы большим тиражом, предпринятое крупным издательством «Эмесé» (девять избранных рассказов из книг «Вымышленные истории» и «Алеф»).

«Вымышленные истории» с предисловием Нестора Ибарры выходят во Франции, открывая библиотечку «Южный Крест», которой руководит Роже Каюа (вместе с книгой «Лабиринты» — см. ниже — этот сборник оказывает решающее воздействие на поколение молодых французских интеллектуалов 50–60-х гг., круги структуралистов и лидеров «нового романа» — Ж. Лакана, М. Фуко, А. Роб-Грийе, Ж. Рикарду, Ж. Женетта, Л. Марена и др.).

1952

Статья о литературе Португалии для Практической энциклопедии буэнос-айресского издательства Хаксон. Речь над могилой Маседонио Фернандеса на буэнос-айресском кладбище Реколета. Антиперонистские рассказы «Праздник чудовища» и «Сын друга» (в соавторстве с Бьоме Касаресом; хороший знакомый и будущий биограф Борхеса, уругвайский литературный критик Эмир Родригес Монегаль в обход аргентинской цензуры публикует их в Монтевидео). Брошюра «Язык аргентинцев. Язык Буэнос-Айреса» (расширенное издание устного выступления 1927 г., доработано в соавторстве с Хосе Эдмундо Клементе).

Сборник эссе «Новые расследования».

1953

Устное выступление «Немецкая словесность в эпоху Баха». Эссе «Мартин Фьерро» (в соавторстве с Маргаритой Герреро). Балетное либретто «Утраченный образ» (с Беттиной Эдельберг). В издательстве «Эмесé» начинает выходить отдельными книгами первое Собрание сочинений писателя, очень жестко отобранное автором (до 1960 г. выходит 9 томов).

Во Франции в переводе и с предисловием Роже Каюа издан сборник борхесовских новелл и эссе разных лет «Лабиринты».

1954

Книга «Стихи 1923–1953».

Аргентинский кинорежиссер Леопольдо Торре Нильсон выпускает фильм «Дни ненависти», в основе которого — новелла «Эмма Цунц» (в одном из эпизодов фильма снят будущий французский писатель, хороший знакомый Борхеса в его поздние годы Эктор Бьянчотти).

Выходит первая книга о Борхесе — «Борхес и новое поколение» аргентинца Адольфо Прието.

Несколько операций в связи с ухудшающимся зрением.

1955

Сентябрь — падение диктатуры, Перон эмигрирует из страны во франкистскую Испанию. При деятельной поддержке Эстер Семборайн де Торрес и Виктории Окампо Борхес назначен директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе (к этому времени он уже практически теряет зрение).

Вместе с Бьоме Касаресом издает сборник мировой фантастической новеллы «Краткие и необычайные истории» (ряд текстов — мистификация составителей), двухтомную антологию поэзии гаучо, два киносценария («Жители окраин» и «Рай для праведных»). Монография о Леопольдо Лугонесе (в соавторстве с Беттиной Эдельберг). Новелла «Сестра Элоисы» в соавторстве с Луисой Мерседес Левинсон (входит в одноименную книгу, объединившую рассказы обоих писателей).

В руководимом Ж.-П. Сартром парижском журнале «Тан модерн» публикуются эссе Борхеса из книги «Новые расследования». Итальянское издательство «Эйнауди» по рекомендации Итало Кальвино публикует сборник «Вымышленные истории» (под названием «Вавилонская библиотека»).

1956

Национальная премия по литературе. Абсолютное запрещение врачей писать и читать в связи с приблизившейся слепотой.

Брошюра «Анализ последней главы „Дон Кихота“» (устное выступление того же года).

Полемика в прессе с «левыми» (Э. Мартинес Эстрада, Э. Сабато) по поводу диктатуры Перона.

1957

Брошюра «Монтень. Уолт Уитмен» (тексты устных выступлений). Антология «Пособие по фантастической зоологии» (в соавторстве с Маргаритой Герреро, впоследствии — «Книга вымышленных существ»).

Возобновляет при Национальной библиотеке издание журнала «Библиотека» (издавался в 1896–1998 гг. Полем Груссаком), становится его главным редактором, публикует в нем микронovelлы, собранные затем в книгу «Создатель».

Сборник «Новые расследования» выходит во Франции в библиотечке «Южный Крест».

1958

Вместе с несколькими студентами (среди них — будущая писательница Влади Косянсич) начинает изучать англосаксонский язык.

Во Франции публикуется сборник новелл и эссе «История бесславыя, история вечности» в переводах Р. Каюа и др.

1959

Предисловие к сборнику новелл Акутагавы Рюноскэ в испанском переводе.

Морис Бланшо посвящает Борхесу эссе «Литературная бесконечность: Алеф» (в сборнике «Предстоящая книга»).

Книга «Алеф» выходит в Италии, сборник «Лабиринты» — в ФРГ.

1960

Некролог Альфонсо Рейеса. Антология мировой литературы «Книга Ада и Рая» (в соавторстве с А. Бьом Касаресом). Сборник стихотворений и микроновелл «Создатель».

Участвует на страницах журнала «Юг» в дискуссии вокруг романа В. Набокова «Лолита», изданного на испанском языке в библиотечке журнала в 1959 г. и запрещенного городскими властями Буэнос-Айреса.

Вступает в Консервативную партию (по его словам, «единственную, которой не угрожает наплыв фанатиков»).

1961

Речь в Аргентинской академии к четырехсотлетию Гонгоры, устное выступление «Моя первая встреча с Данте». Выпускает «Личную антологию» (впоследствии — с изменениями в составе — несколько раз переиздает ее). В библиотечке буэнос-айресского издательства «Центурион» републикует самую известную книгу стихов Лугонеса «Календарь души».

На Мальорке получает вместе с Сэмюэлом Беккетом международную премию книгоиздателей «Форментор» (его кандидатуру, при деятельной поддержке И. Кальвино, предложило итальянское издательство «Эйнауди» и представил Альберто Моравиа). Начало широкого международного признания.

Приглашен университетом штата Техас для чтения лекций в течение семестра.

1962

Аргентинский кинорежиссер Рене Мухика выпускает фильм по мотивам новеллы «Мужчина из Розового кафе».

Сборник «Вымышленные истории» выходит в Великобритании.

Борхес избирается членом Аргентинской литературной академии. Премия Национального фонда искусств Аргентины. Французское правительство по представлению Андре Мальро вручает ему орден Искусства и Литературы.

1963

Почетный доктор Андского университета (Колумбия). Выступает с лекциями в странах Европы (Испания, Франция, Великобритания).

1964

Речь на конференции памяти Р. Кансиноса-Ассенса (Испания).

Участвует во Всемирном конгрессе писателей в Западном Берлине, встречается с Гюнтером Грассом. Вместе с Джузеппе Унгаретти по приглашению ЮНЕСКО выступает в Париже на праздновании четырехсотлетия Шекспира. Поездки в Швецию и Данию.

В Буэнос-Айресе выходит книга Алисии Хурадо «Дух и образ Хорхе Луиса Борхеса», первая биография писателя. Книга избранного «Лабиринты», сборники «Новые расследования» и «Создатель» (под названием «Dreamtigers») публикуются в США. Во Франции выходит специальный номер журнала «Эрн» со статьями писателей и литературных критиков разных стран, посвященными Борхесу (открывается заметками Р. Кансиноса-Ассенса и матери писателя; переиздан в 1981 и 1999 гг.).

1965

Получает в Перу Орден Солнца. «Введение в английскую литературу» (в соавторстве с Марией Эстер Васкес). Книга песен-милонг «Для шести струн» (музыку к ним пишет Астор Пьяццоло).

Немецкий писатель Хорст Бинек (ФРГ) выпускает книгу бесед с Борхесом (а также — Элиасом Канетти и Миодрагом Булатовичем).

1966

Книга «Средневековые германские литературы» (в соавторстве с Марией Эстер Васкес), сборник переводов «Шесть скандинавских стихотворений».

Документальный фильм о Борхесе аргентинского кинорежиссера Луиса Анхеля Белальбы.

1967

Вступает в брак со знакомой юношеских лет Эльзой Астете Мильян (через три года они расходятся).

Книга пародийных новелл-рецензий «Хроники Бустоса Домека» (в соавторстве с Бьоме Касаресом). «Введение в литературу США» (в соавторстве с Эстер Семборайн де Торрес).

Выступает в Буэнос-Айресском институте культурного и научного обмена между Аргентиной и Израилем с лекциями о еврейской культуре (библейская Книга Иова, Спиноза, Агنون). Читает курс лекций о поэзии в Гарвардском университете.

«Личная антология» издается в США, во Франции выходят книги бесед с Борхесом Жоржа Шарбонье и Жана де Мийере.

1968

Почетный член Американской академии искусств и наук. Речь о Сервантесе в университете штата Техас. Сборник «Новая личная антология».

1969

Книга стихов и прозаических миниатюр «Хвала тьме», перевод «Листьев травы» Уитмена. Поездка в Израиль, выступает с лекциями в Тель-Авиве и Иерусалиме.

В библиотечке журнала «Сур» публикуется книга Виктории Окампо «Диалог с Борхесом».

Сборник новелл и эссе «Лабиринты» и «Книга вымышленных существ» выходят в США (перевод Нормана Томаса Ди Джованни), «Стихотворения 1923–1958» — в Италии. В Париже, в приложении к журналу «Эрн», публикуется книга Нестора Ибарры «Борхес и Борхес». Документальный фильм «Внутренний мир Борхеса» американского режиссера Хэролда Мантела. Французское телевидение показывает документальный фильм о Борхесе (режиссеры Андре Кан и Хосе Мария Берсосу). Аргентинский кинорежиссер Уго Сантьяго выпускает фантастический фильм

«Вторжение» по сценарию Борхеса. Телевизионный фильм французского кинорежиссера Алена Магру по новелле «Эмма Цунц».

Университет штата Оклахома проводит международный симпозиум, посвященный борхесовскому творчеству.

1970

Предисловие к антологии текстов аргентинских авторов о буэнос-айресских поножовщиках «Бандит» (несколько из них подписаны неустановленными псевдонимами и, возможно, представляют собой мистификацию Борхеса). Книга новелл «Сообщение Броуди», брошюра о современной аргентинской писательнице Влади Косянсич.

«Стихотворения 1925–1965 гг.» выходят во Франции (пер. Н. Ибарры). В журнале «Нью-Йоркер» появляются «Автобиографические заметки» — компиляция из различных текстов Борхеса, составленная Норманом Томасом Ди Джованни (в испанском переводе без ведома автора опубликована в Мехико в 1971 г.).

В Париже выходит книга Э. Родригеса Монегалья «Борхес своими словами» (серия «Вечные писатели»). Фильм Бернардо Бертолуччи «Стратегия паука» (по рассказу «Тема предателя и героя», в одной из ролей — Алида Валли).

Почетный доктор Оксфордского университета. Литературная премия Латинской Америки (Бразилия). Выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию по литературе (ее получает А. Солженицын).

1971

Почетный доктор Колумбийского университета, премия города Иерусалим. Поездка в Великобританию (встречается с кубинским прозаиком-эмигрантом Гильермо Кабрерой Инфанте). В США выходит составленный Лоуэллом Данэмом и Иваром Иваском сборник «Творчество Борхеса: ключевые точки».

Отдельным изданием публикуется новелла «Конгресс». Иллюстрированное издание новеллы «Смерть и буссоль» с предисловием Беатрис Сарло.

Публикует в газете «Насьон» статью о перонистской диктатуре «Легенда и реальность», завязывается оживленная полемика (через год перонисты снова придут к власти).

1972

Отдельное иллюстрированное издание новеллы «Другой», брошюра «Судьба и творчество Камозэнса» (текст устного выступления). Книга стихов и прозаических миниатюр «Золото тигров»,

сборник «Новые рассказы Бустоса Домека» (в соавторстве с А. Бьоме Касаресом).

Книги «Всемирная история бесславья» и «Сообщение доктора Броуди» публикуются в США (переводы Нормана Томаса Ди Джованни). Борхес избран почетным доктором Мичиганского университета.

Туринский театр ставит пьесу «Евангелие от Борхеса» (режиссер Франко Энрикес).

1973

Почетный гражданин Буэнос-Айреса. По приглашению испанского поэта Луиса Росалеса выступает в Мадриде с лекциями «Моя поэзия» и «Моя проза».

После победы на выборах и прихода к власти перонистской партии покидает в знак протеста пост директора Национальной библиотеки. Награжден в Мексике премией Альфонсо Рейеса.

В библиотечке журнала «Сур» выходит книга «Борхес и кино» (заметки разных лет и фильмография, собранная и прокомментированная писателем и кинорежиссером Эдгардо Козаринским, живущим во Франции).

1974

Однотомник «Полное собрание сочинений 1923–1972» («моя первая большая книга», посвящена матери, переиздана в 1977 г.). Авторизованный испанский текст «Автобиографических заметок» появляется в буэнос-айресской газете «Опиньон».

Почетный доктор Чилийского университета.

Уго Сантьяго выпускает во Франции фильм «Другие» по сценарию Борхеса и Бьоме Касареса (в одной из ролей — Роже Планшон).

1975

Сборник новелл «Книга Песка», книга стихов «Сокровенная роза». Сборник «Предисловия» — строго отобранные образцы жанра за полвека работы.

Избирается почетным президентом Общества Эваристо Каррьега.

Фильм аргентинского кинорежиссера Рикардо Луны «Жители окраин» по сценарию Борхеса и Бьоме Касареса 50-х гг.

Итальянский издатель Франко Мария Риччи выпускает серию книг «Вавилонская библиотека», составленных Борхесом и сопровождаемых его вступительными статьями (выходят тома Дж. Лондона, Дж. Папини, Л. Блуа).

Смерть матери в возрасте 99 лет. Поездка в Мичиган с Марией Кодамой, выступает в университете.

1976

Получает в Чили орден Большой Крест Бернардо О'Хиггинса («левые» силы трактуют его участие в торжествах как поддержку пиночетовской диктатуры).

Сборник стихов «Железная монета». Книга «Что такое буддизм?» (в соавторстве с Алисией Хурадо). Сборник полемических бесед с Эрнесто Сабата «Диалоги». Интервью «Ремесло перевода» в журнале «Сур». Острокритическое предисловие к книге Карлоса Субильяги «Гардель». Антология «Книга сновидений».

Симпозиум по творчеству Борхеса в университете штата Мэн (США), писатель выступает на нем с сообщением «Просто пишущий». В Мадриде выходит представительная антология статей писателей и литературных критиков мира о творчестве Борхеса.

1977

Почетный доктор Сорбонны. Выступает в Париже на конференции в честь друга юности, писателя Рикардо Гуиральдеса. Торжественно открывает там же большую выставку живописи А. Шуль-Солара. В апреле–мае по приглашению Ф. Риччи выступает в городах Италии, в Пезаро получает премию «Серебряный лабиринт», в Милане встречается с Эудженио Монтале.

Сборник стихов «История ночи». Книга «Роза и синева», куда вошли новеллы «Роза Парацельса» и «Синие тигры». Предисловие к альбому литографий Норы Борхес.

Буэнос-айресский журнал «Хенте» выпускает альбом фотографий и документов «Весь Борхес».

1978

Вместе с Марией Эстер Васкес составляет для Ф. Риччи антологию «Светопреставления» (от Библии до Джека Лондона и Эзры Паунда; сборник выходит лишь в 1997 г.). Выпускает в Буэнос-Айресе серию книг мировой фантастической прозы «Вавилонская библиотека» (за два года издается шесть томов). «Краткая антология англосаксонской словесности» (в соавторстве с Марией Кодамой).

Поездка с Марией Кодамой в Швейцарию и Египет, Мексику, Колумбию и Эквадор.

В США на английском языке выходит книга Э. Родригеса Моне-гала «Борхес. Литературная биография». Документальный фильм «Борхес для миллионов» (Аргентина).

1979

Празднование восьмидесятилетия писателя в столичном театре «Сервантес».

Участствует в парижской конференции, организованной ЮНЕСКО в память Виктории Окампо. Золотая медаль Французской Академии. Поездка в Японию с Марией Кодамой.

Сборник устных выступлений «Думая вслух». Однотомник «Полное собрание написанного в соавторстве».

1980

Вместе с Эрнесто Сабатто публикует в столичной газете «Кларин» воззвание, требующее от военного правительства Аргентины расследовать и обнародовать факты, связанные с незаконными массовыми репрессиями и бесследным исчезновением тысяч людей.

Сборник устных выступлений «Семь вечеров». В газете «Кларин» напечатана новелла «Память Шекспира». Эссе «В честь Виктории Окампо» в журнале «Сур».

Награжден Большим Крестом Федеративной республики Германия. По итогам 1979 г. получает высшую испанскую литературную премию «Мигель де Сервантес» (делит ее с испанским поэтом Херардо Диего — они познакомились в 1928 г. на свадьбе Гильермо де Торре и Норы Борхес).

Книга друга Борхеса, аргентинского писателя Улисса Пети де Мюрá «Борхес и Буэнос-Айрес».

1981

Получает из рук президента Италии премию Итальянской республики, встречается с Альберто Моравиа. Премия «Ольин Йолицли» (Мексика). Почетный доктор Гарвардского университета, член Французской академии моральных и политических наук. Навещает Роберта Грейвса в его доме на Мальорке. Очередной из постоянных гуманитарных коллоквиумов в Серизи-ла-Саль (Франция) посвящается творчеству Борхеса.

Подписывает общественное воззвание к правительству Аргентины о необходимости строго соблюдать конституцию.

Сборник стихов «Тайнопись».

Книга мексиканского писателя Хуана Гарсии Понсе «Странствия без конца: Музиль, Борхес, Клоссовский».

1982

Книга «Девять очерков о Данте», сборник «По собственному выбору» со вступительной статьей Алисии Хурадо (включает ряд эссе ранних лет, до этого не переиздававшихся). В университете штата Индиана (США) выходит сборник бесед с писателем «Борхес в восемьдесят лет». Парижский журнал «Эроп» посвящает Борхесу специальный номер.

Борхес выпускает книгу «Избранных стихотворений» Леопольдо Лугонеса.

Публично осуждает захват Мальвинских островов аргентинскими войсками (чем вызывает резкие нападки патриотов), его пацифистская миниатюра «Хуан Лопес и Джон Уорд» публикуется в сентябрьском номере английского журнала «Таймс».

1983

Премия Т. С. Элиота (США). Кавалер ордена Большой Крест Альфонса X Мудрого (Испания), ордена Почетного легиона (Франция). Выступает с лекцией в Коллеж де Франс, в аудитории присутствует Анри Мишо (они встречаются в последний раз).

27 марта публикует в буэнос-айресской газете «Насьон» новеллу о своем воображаемом самоубийстве «25 августа 1983 года».

Издает свои переводы новелл Стивенсона (в соавторстве с Роберто Алифано). Предисловие к отдельному изданию новеллы Кортасара «Машины письма» (опубл. 1992).

Документальный фильм «Борхес и я», снятый по заказу Би-Би-Си английским режиссером Дейвидом Уитли.

В СССР Александр Кайдановский снимает по мотивам новеллы «Сад расходящихся тропок» фильм «Сад».

1984

Начинает выпускать в Мадриде серию «Вавилонская библиотека» (до 1986 г. выходит свыше 20 томов, включая «Русские сказки»).

Перевод «Видения Гюльви» Снорри Стурлусона (вместе с Марией Кодамой). Предисловие к аргентинскому изданию книги Г. Гейне «„Германия. Зимняя сказка“ и другие поэмы».

Почетный доктор университетов Токио, Палермо (Италия) и острова Крит (Греция), кавалер ордена Святого Иакова Мече-

носца (Португалия). Участвует во Всемирном конгрессе поэтов в Марракеше.

Поездки с Марией Кодамой в Италию, Грецию, Испанию, Португалию, Японию, на их основе написана книга стихов и прозаических миниатюр «Атлас» (фотографии Марии Кодамы).

В США выходят книги «Эваристо Каррьего» (перевод Нормана Томаса Ди Джованни) и «Семь вечеров» (перевод Элиота Уайнбергера).

В СССР издаются первые книги избранной новеллистики Борхеса «Проза разных лет» и «Юг».

1985

Начинает выпускать в Мадриде стотомную серию «Личная библиотека» (при жизни успеваает завершить работу лишь над 66 томами, сборник предисловий к отдельным выпускам серии выходит уже после смерти Борхеса, в 1988 г.). Издает в своих переводах «Бартлеби», «Бенито Серено» и «Билли Бада» Г. Мелвилла (в соавторстве с Хулианом дель Рио), две новеллы Э. По (вместе с А. Бьоме Касаресом). Предисловие к книге избранных стихов Э. Дикинсон в переводах С. Окампо.

Составляет и сопровождает предисловиями антологию «Аргентинские новеллисты и живописцы» (новеллы Л. Лугонеса, М. Пейру, Э. Мартинеса Эстрады, С. Окампо, Х. Бьянко, С. Дабове и др.).

Сборник стихов «Порука». Представительная антология «Собрание вымыслов» (составлена и откомментирована Э. Родригесом Монегалем, впервые переизданы многие из ранних публикаций в прессе).

В США проходит премьера балета по мотивам микроновеллы Борхеса «Dreamtigers», издается фундаментальная монография Доналда Йейтса «Хорхе Луис Борхес: жизнь, творчество, критика». В Италии публикуется «Полное собрание сочинений» Борхеса в двух томах, Борхес получает литературную премию Этрурии. Поездка в Италию.

В декабре Борхес приезжает в Женеву с чувством, что уже никогда не вернется в Аргентину.

1986

Публикует в испаноязычных газетах серию заметок о друзьях литературной молодости (М. Пейру, К. Матронарди, С. Окампо, А. Бьоме Касаресе и др.). Работает с Жаном Пьером Бернесом над подготовкой полного собрания своих сочинений на французском языке в монументальной серии «Библиотека Плеяды» издатель-

ства «Галлимар», для которого авторизует ряд публикаций ранних лет (двухтомник с приложением юбилейного «Альбома Борхеса» вышел в 1993–1999 гг.).

«Аргентинский рассказ», составленная Борхесом антология с его предисловием.

В Нью-Йорке публикуется составленный Хэролдом Блумом компендиум работ о Борхесе, в университете штата Арканзас — коллективная монография «Борхес — поэт».

В СССР Александр Кайдановский снимает по мотивам новеллы «Евангелие от Марка» фильм «Гость».

26 апреля Борхес вступает в брак с Марией Кодамой.

14 июня 1986 года Хорхе Луис Борхес скончался (до последней минуты рядом с ним были Мария Кодама и французский писатель, выходец из Аргентины Эктор Бьянчотти). Через четыре дня похоронен в Женеве на кладбище Плен Пале, на погребальной церемонии присутствовали Маргерит Юрсенар и Франко Мария Риччи.

В Барселоне выходит собранная Э. Родригесом Монегалем и Э. Сасерио-Гари книга Борхеса «Оставленное под спудом» (рецензии и заметки Борхеса 1930-х гг. из буэнос-айресского журнала «Огар»).

В Национальной библиотеке Мадрида открывается мемориальная борхесовская выставка. В Парижской Национальной библиотеке на вечере памяти Борхеса в октябре с большой речью выступает Ив Бонфуа.

Составил Борис Дубин

СОДЕРЖАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Х. Л. БОРХЕСА ПО ТОМАМ

Том 1.

Произведения 1921—1941 годов

- Страсть к Буэнос-Айресу (1923) 31–44
Расследования (1925) 47–64
Луна напротив (1925) 69–76
Земля моей надежды (1926) 79–86
Язык аргентинцев (1928) 89–92
Сан-Мартинская тетрадка (1929) 95–102
Эваристо Каррьего (1930) 105–118
Обсуждение (1932) 121–229
Всемирная история бесславья (1935) 232–288
История вечности (1936) 291–392
Оставленное под спудом (1936—1940) 395–488
Не вошедшее в книги 471–535

Том 2.

Произведения 1942—1969 годов

- Шесть задач для дона Исидро Пароди (1942) 41–74
Вымышленные истории (1944) 77–204
Алеф (1949) 207–328
Новые расследования (1952) 331–500
Создатель (1960) 503–568
Иной и прежний (1964) 571–640
Хвала тьме (1969) 643–674
Не вошедшее в книги 677–764

Том 3.

Произведения 1970—1979 годов

- Сообщение Броуди (1970) 31–96
Золото тигров (1972) 99–134
Книга вымышленных существ (1974) 137–254

Книга Песка (1975)	257–336
Сокровенная роза (1975)	339–364
Предисловия (1975)	367–450
Железная монета (1976)	453–470
История ночи (1977)	473–498
Думая вслух (1979)	501–552
Не вошедшее в книги	555–654

**Том 4.
Произведения 1980–1986 годов.
Посмертные публикации**

Семь вечеров (1980)	31–128
Тайнопись (1981)	131–160
Девять очерков о Данте (1982)	163–206
25 августа 1983 года (1983)	209–228
Атлас (1984)	231–256
Порука (1985)	259–280
Личная библиотека (1988)	283–370
Память Шекспира (1995)	373–380
Из бесед	383–457

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

- Адамов прах III, 496
Адрогэ II, 563
Александр Селкирк II, 601
Александрия, год 641 по Р.Х. III, 474
Алхимик II, 620
Ариост и арабы II, 558
Асеведо II, 660
- Бальтасар Грасиан II, 587
Без названия IV, 149
Белая лань III, 363
Бенарес I, 41
Беппо IV, 135
Блейк IV, 144
Борхесы II, 553
Броунинг решает быть поэтом III, 342
Брунанбург, год 937 III, 353
Буэнос-Айрес («Запечатлел он...») II, 638
Буэнос-Айрес («Когда-то я искал...») II, 637
Былое III, 103
- В чужом краю III, 357
Вещи III, 112
В кругу ночи II, 571
Возвращение I, 40
Воображаемые стихи II, 575
Восток III, 361
Вся моя жизнь I, 76
Второй вариант Протея III, 351
- Г. А. Бюргер III, 488
Гаучо III, 114
Генерал Кирога катит на смерть в карете I, 70
Гераклит III, 467
Герман Мелвилл III, 460
Голем II, 591

- Две вариации на тему «Ritter, Tod und Teufel» II, 663
Дворик I, 32
Девятьсот двадцатые II, 555
Декарт IV, 134
Джеймс Джойс II, 646
Джеймсу Джойсу II, 661
Джонатан Эдвардс II, 611
Джону Китсу (1795–1821) III, 105
Дождь II, 545
Дома словно ангелы I, 78
Другой тигр II, 548
- Есмь III, 348
Еще раз о дарах II, 630
- За чтением «Ицзин» III, 465
Забывтый сон IV, 153
Загадки II, 615
Закат IV, 266
Зеркала II, 539
Зеркалу III, 358
- Из написанного и потерянного году в двадцать втором I, 44
Израиль II, 656
Искусство поэзии II, 565
Итог IV, 278
Июнь 1968 года II, 657
- К Исландии III, 132
К Испании II, 626
К началу занятий англосаксонским языком II, 562
К немецкой речи III, 118
К портрету капитана из войск Кромвеля II, 546
К соловью III, 347
К Франции III, 490
Камден, 1892 II, 613
Канва IV, 147
Канун III, 457
Кембридж II, 643
Клепсидра III, 468
Клинку в Йорк-Минстере II, 607
Ключ из Ист-Лэнсинга III, 459
Книга III, 486
Компас II, 583
Конец III, 461

Конец года I, 42

Кот III, 138

Кошмар III, 456

Лабиринт («Дверь не ищи. Спасения из плена...») II, 647

Лабиринт («Спасти меня и Зевсу не под силу...») II, 648

Легендарное основание Буэнос-Айреса I, 99

Листок, найденный в книге Джозефа Конрада I, 75

Луису де Камонсу II, 554

Луна II, 541

Малому поэту из греческой антологии II, 579

Малому поэту 1899 года II, 604

Мгновение II, 616

Метафоры «Тысячи и одной ночи» III, 476

Мои книги III, 359

Монтевидео I, 73

Море («Еще из снов (и страхов) не свивало...») II, 636

Море («Морская вечно юная стихия...») III, 119

Музыкальная шкатулка III, 480

Мф, XXV, 30 II, 582

Мчать или быть? IV, 154

На полях «Беовульфа» II, 606

Надгробная надпись I, 33

Надпись III, 470

Напоминание о смерти полковника Франсиско Борхеса (1833–1874)
II, 552

Напоминание о тени 1890-х годов II, 551

Нашествие III, 121

Неведомое III, 352

Некто IV, 137

Некто третий IV, 148

Ночь перед погребеньем у нас на Юге I, 103

О дарах II, 535

О множественности вещей III, 117

О четвертой стихии II, 577

Об Аде и Рае II, 573

Облака IV, 267

Ода, написанная в 1960 году II, 556

Один из многих II, 621

«Одиссея», песнь двадцать третья II, 602

Одной из теней 1940 года II, 651

Ожидание («Пока звонок забудется, дверь откроют...») III, 489

Олав Магнус (1490–1558) III, 464

- Пантера III, 346
Париж, 1856 II, 614
Первому поэту Венгрии III, 120
Пережившему молодость II, 600
Песочные часы II, 537
Поиски III, 107
Полковник Суарес III, 455
Послесловие IV, 141
Поэт XIII века II, 584
Поэту из племени саксов II, 608
Прага IV, 277
Превосходство невозмутимости I, 72
Пределы II, 585
Предметы II, 653
Предчувствие любящего I, 69
Прежние поножовщики II, 640
При покупке энциклопедии IV, 136
Причины III, 494
Пробуждение II, 599
Простота I, 42
Прощание I, 43
Пустая комната I, 35
- Реликвии IV, 264
Роза I, 34
Роза и Мильтон II, 597
Ронда IV, 133
Росас I, 36
- Сакс (449 г.) II, 589
Сармьенто II, 603
Северный квартал I, 101
Симон Карвахаль III, 350
Синто IV, 156
Скуднее праха III, 484
Слепой III, 354
Словно реки IV, 265
Снорри Стурлусон (1179–1241) II, 609
Создатель («Мы все — твоя стремнина...») IV, 145
Солдату из армии генерала Ли (1862) II, 635
Сон («Но если сон — всего лишь час покоя...») II, 633
Сон («Ночь поручает спящим...») IV, 151
Сон Алонсо Кихано III, 349
Спиноза II, 625
Старинному поэту II, 547

- Страница памяти полковника Суареса, победителя при Хунине II, 580
Стыд перед умершим I, 39
Суббота III, 493
Счастье IV, 142
Сыну II, 639
- Тайнопись IV, 160
Талисманы III, 360
Тамерлан (1336–1405) III, 101
Танго II, 594
Техас II, 605
Труко I, 31
- Удел другого III, 469
Удел клинка III, 462
Укор III, 463
Утварь III, 344
Утраченное III, 108
- Х. М. III, 109
Хвала тьме II, 673
Хранитель книг II, 658
Хуан Крисостомо Лафинур (1797–1824) III, 466
Хунин II, 634
- Читатели II, 598
Читатель II, 672
Чужак IV, 157
Чужеземец II, 618
- Эдип и загадка II, 624
Элегия («Быть Борхесом – странная участь...») II, 628
Элегия («Тайком, скрываясь...») IV, 143
Элегия о квартале Портонес I, 97
Элегия о родине III, 459
Элегия о саде IV, 269
Эмануэль Сведенборг II, 610
Эмерсон II, 612
Эндимион на Латмосе III, 481
- Я III, 319
- Adam Cast Forth II, 629
All our yesterdays III, 356
Blind Pew II, 550

The Cloisters IV, 139
Everness II, 623
New England, 1967 II, 645
On His Blindness III, 106
«Religio Medici», 1643 III, 110
The Thing I am III, 491
Things that might have been III, 487
The Unending Rose III, 368
Yesterdays IV, 146

1929 III, 123
1964 II, 617
1971 III, 111
1972 III, 355

НОВЕЛЛЫ, ЭССЕ, УСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте II, 293
Абрамовиц IV, 268
Аватары черепахи I, 184
Авелино Арредондо III, 322
Автобиографические заметки III, 555
Автобиография Честертона I, 415
Алеф II, 312
Альфонсо Рейес II, 729
Анализ творчества Герберта Куэйна II, 120
Аналитический язык Джона Уилкинса II, 416
Аргентинский писатель и традиция I, 203
Афины IV, 241

Бескорыстный убийца Билл Харриган I, 263
Беспардонный лжец Том Кастро I, 242
Бессмертие III, 510
Бессмертие Унамуно I, 505
Бессмертный II, 207
«Биатанатос» II, 408
Биография Тадео Исидоро Круса II, 242
Богословы II, 229
«Божественная комедия» IV, 31
Борхес и я II, 534
Буддизм IV, 74
Буэнос-Айрес («Расследования») I, 61
Буэнос-Айрес («Хвала тьме») II, 665

В честь Виктории Окампо III, 649
Вавилонская библиотека II, 126
Валери как символ II, 390
«Ваша милость, сеньор Сервантес...» II, 756
Введение («Девять очерков о Данте») IV, 163
Вдова Чинга, пиратка I, 249
Венеция IV, 236
Версии одной легенды II, 458
Вечное состязание Ахилла и черепахи I, 169
Вещие зеркала II, 510
В кругу развалин II, 107
Время III, 543
Время и Дж. У. Данн II, 347
Всемирная библиотека I, 514
Встреча III, 49
Вторая смерть II, 255
Высокий замок из Песни четвертой IV, 168

Галльская богиня IV, 232
Гостиница в Рейкьявике IV, 249
Грейвс в Дее IV, 247
Гуаякиль III, 76

Данте и англосаксонские видения IV, 187
Два жизнеописания Колриджа I, 449
Два лика бессонницы IV, 138
Два подхода к Артюру Рембо I, 411
Два царя и два их лабиринта II, 302
25 августа 1983 года IV, 209
Две книги II, 438
Двенадцать символов мира II, 41
Дворец III, 129
Действие книги IV, 132
Делия Элена Сан-Марко II, 514
Детектив III, 531
Диалог мертвых II, 515
Диалог об одном диалоге II, 507
Диск III, 327
Для фантастического рассказа IV, 140
Дом Астерия II, 252
Допущение реальности I, 147
Другой III, 257
Другой поединок III, 72

Евангелие от Марка III, 84

Желтая роза II, 521
Женева IV, 242
Жестокий освободитель Лазарус Морель I, 233
Жюль Сюпервьель II, 732

За пределом метафор I, 7
Загадка Шекспира II, 740
Загадка Эдварда Фитцджеральда II, 392
Задача II, 519
Заир II, 278
Заметка о наступлении мира II, 700
Заметки I, 213
Зелень кипариса IV, 273
Зеркало загадок II, 433
Зеркало и маска III, 300

Из бесед

с Марией Эстер Васкес IV, 415
с Ритой Гиберт IV, 434
со Сьюзен Зонтаг IV, 395
с Антонио Каррисо IV, 420
с Жаном де Мийере IV, 400
с Викторией Окампо IV, 383
с Фернандо Соррентино IV, 409
с Освальдо Феррари IV, 446

Израиль II, 725
Ирландия IV, 234
Исаак Бабель I, 425
Искусство оскорбления I, 385
Искушение III, 316
Истории о всадниках I, 109
История ангелов I, 79
История вечности I, 291
История война и пленницы II, 238
История Росендо Хуареса III, 44
История танго I, 115

К определению герmanoфила I, 465
К определению Кансиноса-Ассенса I, 57
Каббала IV, 105
Кафка и его предшественники II, 421
Кеведо II, 358
Кёнинги I, 315
Кинематограф и биограф I, 484
Киплинг и его автобиография I, 402

Кладбище Реколета IV, 255

Клинок I, 114

Книга III, 501

Книга Песка III, 330

Книга Томаса Манна о Шопенгауэре I, 453

Комментарий к 23 августа 1944 года II, 443

Конгресс III, 269

Конец II, 192

Кошмар IV, 48

Культуранизм I, 87

Лабиринт IV, 250

Лабиринты детектива и Честертон I, 495

Леопольдо Лугонес I, 512

Леопольдо Лугонесу II, 503

Логическая машина Раймунда Луллия I, 417

Лорд Дансейни I, 407

Лотерея в Вавилоне II, 113

Мадрид, июль 1982 года IV, 252

Мартин Фьерро II, 523

Мертвый II, 223

Метафора I, 331

Милосердный палач IV, 183

Мнимая загадка Уголино IV, 174

Многословный манифест Бретона I, 451

Мой последний тигр IV, 245

Молитва II, 669

Моя поэзия III, 607

Моя проза III, 624

Моя сестра Нора III, 643

Мужчина из Розового кафе I, 281

Музей восточной литературы I, 459

Натаниел Готорн II, 370

Начало IV, 238

Наш бедный индивидуализм II, 355

Наши недостатки I, 489

Недостойный III, 38

Некто III, 479

Непрошенная III, 34

Несколько мнений Фридриха Ницше I, 518

Несколько слов об Уолте Уитмене I, 176

Несколько слов от автора IV, 283

Несколько слов по поводу (или вокруг) Бернарда Шоу II, 467

- Неучтивый церемониймейстер Котсуке-но-Сукэ I, 268
Нихон IV, 159
Новое опровержение времени II, 479
Ногти II, 508
Ночи господина Голядкина II, 58
Ночь даров III, 295
- О «Ватек» Уильяма Бекфорда II, 446
О дубляже I, 223
О книге «The Purple Land» II, 450
О культе книг II, 424
О повести «Дон Сегундо Сомбра» II, 710
О собственноручном спасении IV, 256
О строгой науке II, 567
О Честертоне II, 400
Об Анри Мишо II, 754
Об одной китайской аллегории II, 682
Об описании в литературе II, 679
Об Оскаре Уайльде II, 396
Обладание прошлым IV, 270
Один из снов IV, 152
Одна из последних версий реальности I, 125
Ожидание II, 303
Описание одной ночи I, 473
Оправдание «Бувара и Пекюше» I, 192
Оправдание каббалы I, 132
Оправдание Марка Твена I, 500
Оправдание Псевдо-Василида I, 137
От аллегорий к романам II, 463
От некто к никто II, 455
Отголоски одного имени II, 471
Отрывок о Джойсе I, 525
Очередное превращение д-ра Джекила и Эдварда Хайда I, 225
- Пампа I, 479
Памятник IV, 243
Память Шекспира IV, 373
Паскаль II, 412
Педро Сальвадорес II, 654
Переводчики «Тысячи и одной ночи» I, 352
Перекрестки IV, 248
Письмена Бога II, 288
Пленник II, 512
По поводу классиков II, 498
Повествовательное искусство и магия I, 150

- Подобье II, 513
Поединок III, 66
Поиски III, 103
Поиски Аверроэса II, 269
Полет на воздушном шаре IV, 239
Полковник Суарес III, 425
Поль Грусак I, 160
Порука IV, 280
Порядок и Новизна I, 84
Посвящение («История ночи») III, 473
Посвящение («Порука») IV, 259
Посвящение («Тайнопись») IV, 131
Последнее плавание Улисса IV, 178
Последняя улыбка Беатриче IV, 203
Послесловие («Алеф») II, 327
Послесловие («История ночи») III, 497
Послесловие («Книга Песка») III, 335
Послесловие к «Полному собранию сочинений» III, 640
Поэзия IV, 89
Праведники IV, 155
Превращения II, 524
Предисловие («Атлас») IV, 231
Предисловие («Выдумки») II, 146
Предисловие («Железная монета») III, 453
Предисловие («Золото тигров») III, 99
Предисловие («Порука») IV, 260
Предисловие («Сад расходящихся тропок») II, 77
Предисловие («Сокровенная роза») III, 339
Предисловие («Сообщение Броуди») III, 31
Предисловие («Эваристо Каррьега») I, 105
Предисловие к альбому Густаво Торличена II, 723
Предисловие к каталогу выставки испанских книг II, 736
Предисловие предисловий III, 367
Преступных дел мастер Манк Истмен I, 256
Приближение к Альмутасиму I, 378
Притча о дворце II, 527
Притча о Сервантесе и Дон Кихоте II, 525
Продолжительность ада I, 163
Простодушный Лайамон II, 705
Пустыня IV, 253
Пьер Менар, автор «Дон Кихота» II, 97
- Рагнарёк II, 531
Ранний Уэллс II, 404
Рассказ в рассказе I, 461
Роза Парацельса IV, 214

- Сад расходящихся тропок II, 135
Свидание во сне IV, 198
Свидетель II, 522
Секта тридцати III, 292
Секта Феникса II, 195
Симург и орел IV, 194
Синие тигры IV, 218
Сказочная нить IV, 275
Скромность истории II, 475
Скрытая магия в «Дон Кихоте» II, 366
Слепота IV, 116
Смерть и буссоль II, 167
Создатель II, 504
Соловей Джона Китса II, 429
Сон Колриджа II, 342
Сон Педро Энрикеса Уреньи III, 128
Сон, приснившийся в Эдинбурге IV, 272
Сообщение Броуди III, 86
Сотворение мира и Ф. Госс II, 351
Старшая сеньора III, 60
Стена и книги II, 331
Страничка о Шекспире II, 738
Суеверная этика читателя I, 127
Суинберн I, 509
Сфера Паскаля II, 334
Схолия III, 483
Сцена с врагом III, 130
Сэр Томас Браун I, 50
Сюжет II, 518
- Тайное чудо II, 179
Тема предателя и героя II, 163
Тлён, Укбар, Орбис Терциус II, 79
Тотем IV, 233
Три версии предательства Иуды II, 186
Три философские школы древнего Китая I, 528
Труко I, 16
Ты III, 116
«Тысяча и одна ночь» IV, 62
Тюркские сказки I, 475
- Удел скандинавов II, 713
Ульрика III, 265
Ундр III, 304
Утопия уставшего III, 309

Учение о циклах I, 335

Уэллс и притчи I, 213

Флобер как образец писательского удела I, 198

Форма сабли II, 157

Фрагменты апокрифического Евангелия II, 667

Фрагменты глиняной таблички IV, 263

Фунес, чудо памяти II, 148

Хаким из Мерва, красильщик в маске I, 274

Храм Посейдона IV, 237

Христос на кресте IV, 261

Хуан Лопес и Джон Уорд IV, 279

Хуан Муранья III, 51

Хуан Рамон Хименес II, 721

Цветок Колриджа II, 338

Циклическое время I, 347

Чей-то будущий сон IV, 271

Человек на пороге II, 307

Четыре цикла III, 126

«Чистилище», I, 09 IV, 192

Школа ненависти I, 507

Штауббах IV, 254

Эдгар Аллан По II, 702

Эмануэль Сведенборг III, 520

Эмма Цунц II, 246

Эпидавр IV, 244

Этнограф II, 649

Юг II, 198

Я — еврей I, 495

Argumentum ornithologicum II, 509

Ars Magna IV, 251

Deutes Requiem II, 262

Dreamtigers II, 506

Everything and Nothing II, 529

His end and his beginning II, 670

In memogiam Дж. Ф. Кеннеди II, 568

«Inferno», I, 28 II, 533

- L'illusion comique II, 718
«Paradiso», XXXI, 108 II, 526
«There are more things» III, 285

1810–1960 II, 734
1982 год IV, 276

ПРЕДИСЛОВИЯ, РЕЦЕНЗИИ

- Акутагава Рюноскэ «В стране водяных. Зубчатые колеса» II, 727
Луис Антермейер «Генрих Гейне» I, 445
«Апокрифические Евангелия» IV, 287
Аривара Нарихира «Исэ-мологатари» IV, 309
Хуан Хосе Арреола «Фантастические истории» IV, 349
Франсиско Аяла «Зачарованный» II, 696
Арвед Барин «Неврозы» I, 297
Э. Т. Белл «Человек математический» I, 439
Рэй Брэдбери «Марсианские хроники» III, 370
Герман Брох «Die unbekannte Groesse» I, 401
Сильвина Бульрич Паленке «Ангел из пробирки» II, 686
Дино Буццати «Татарская пустыня» IV, 292
«Бхагавадгита. Сказание о Гильгамеше» IV, 347
Адольфо Бьой Касарес «Изобретение Мореля» III, 373
Хосе Бьянко «Крысы» II, 690
Поль Валери «Приморское кладбище» III, 376
Публий Вергилий Марон «Энеида» IV, 359
Вольтер «Философские повести» IV, 361
Дейвид Гарнетт «Превращенная в лисицу. Человек в зоопарке. Возвращение моряка» IV, 350
Фрэнсис Брет Гарт «Истории старого Запада» I, 531
Фрэнсис Брет Гарт «Калифорнийские рассказы» III, 381
Геродот «История в девяти книгах» IV, 334
Альберто Герчунофф «Возвращаясь к Дон Кихоту» III, 384
Герман Гессе «Игра в бисер» IV, 321
Эдуард Гиббон «Страницы истории и автобиографии» III, 387
Рамон Гомес де ла Серна «Предисловие к собранию сочинений Сильверно Лансы» IV, 343
Рамон Гомес де ла Серна «Священная крипта кафе „Помбо“» I, 65
Роберт Грейвс «Греческие мифы» IV, 301
Поль Грусак «Эссе о литературе» IV, 352
Сантьяго Дабове «Смерть и ее наряд» III, 394
Дж. У. Данн «Опыт над временем» IV, 363
Томас Де Куинси «Последние дни Иммануила Канта» IV, 341
Даниель Дефо «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс» IV, 339

- Генри Джеймс «Урок мастера. Частная жизнь. Рисунок на ковре» IV, 333
Уильям Джеймс «Многообразии религиозного опыта. О природе человека» IV, 367
С. Э.М.Джод «Путеводитель по философии морали и политики» I, 441
Федор Достоевский «Бесы» IV, 303
Э. С.Драуэр «Сабии Ирака и Ирана» I, 42
М. Дэвидсон «Спор о свободе воли» I, 221
Анри Дювернуа «L'homme qui s'est retrouvé» I, 406
Андре Жид «Фальшивомонетки» IV, 299
Генрик Ибсен «Пер Гюнт. Гедда Габлер» IV, 293
Вильгельм Капелле «Досократики» I, 435
Томас Карлейль «О героях» III, 397
Томас Карлейль «Сартор Резартус» III, 403
Джон Диксон Карр «It Walks by Night» I, 431
Эдвард Каснер и Джеймс Ньюмен «Математика и воображение» («Личная библиотека») IV, 305
Эдвард Каснер и Джеймс Ньюмен «Математика и воображение» («Обсуждение») I, 215
Франц Кафка «Америка. Рассказы» IV, 289
Франц Кафка «Превращение» III, 405
Франц Кафка «Процесс» I, 413
Роже Каюа «Детективный роман» II, 677
Перл Кибби «Библиотека Пико дела Мирандолы» I, 389
Редьярд Киплинг «Рассказы» IV, 337
«Китайские волшебные и народные сказки» I, 427
«Книга привидений лорда Галифакса» I, 400
Уилки Коллинз «Лунный камень» III, 409
Джозеф Конрад «Сердце тьмы. Смертельная опасность» IV, 318
Хулио Кортасар «Рассказы» IV, 285
Серен Кьеркегор «Страх и трепет» IV, 331
Льюис Кэрролл «Сочинения» III, 411
Леопольдо Лугонес «Империя иезуитов» IV, 297
Фрай Луис де Леон «Песнь песней. Переложение Книги Иова» IV, 316
Густав Майринк «Ангел Западного окна» I, 395
Герман Мелвилл «Бенито Серено. Билли Бад. Писец Бартлеби» IV, 310
Морис Метерлинк «Разум цветов» IV, 290
Анри Мишо «Варвар в Азии» IV, 320
Аттилио Момильяно «О „Неистовом Роланде“» IV, 365
Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэндзи» I, 447
Мануэль Мухика Лайнес «Кумиры» IV, 354
Артур Мэчен «Три обманщика» IV, 314
Юджин О'Нил «Великий бог Браун. Странная интерлюдия. Траур — участь Электры» IV, 307
Джованни Папини «Трагическая повседневность. Слепой поводырь. Слова и кровь» IV, 312

- Мануэль Пейру «Спящий клинок» II, 698
Сильвия Пенкхэрст «Дельфы» I, 455
Марко Поло «Описание мира» IV, 326
Аттилио Росси «Буэнос-Айрес китайской тушью» III, 415
Хуан Руис «Книга о Благой Любви» IV, 355
Хуан Рульфо «Педро Парамо» IV, 336
Доминго Ф.Сармьенто «Воспоминания о провинции» III, 417
Мигель де Сервантес «Назидательные новеллы» III, 423
Маргарет Смит «Персидские мистики: Аттар» II, 694
Роберт Луис Стивенсон «Новые сказки тысячи и одной ночи. Марк-хейм» IV, 345
Снорри Стурлусон «Сага об Эгиле» IV, 369
Нейл Стюарт «Бланки» I, 523
Медоуз Тейлор «Исповедь душителя» I, 437
Деннис Уитли «Убийца из Майами» I, 401
Хью Уолпол «На темной площади» IV, 357
Гилберт Уотерхауз «Краткая история немецкой литературы» I, 217
Лесли Уэзерхед «После смерти» I, 227
Маседонио Фернандес «Новоприбывший» I, 471
Маседонио Фернандес «Сочинения» III, 427
Иден Филпотс «Рыжий род Редмейнов» IV, 329
Гюстав Флобер «Искушение Святого Антония» IV, 324
Джеймс Джордж Фрэзер «Страх перед мертвецом» I, 398
Ричард Халл «Excellent Intentions» I, 433
Дж. Б.Харрисон «Знакомьтесь: Шекспир» I, 457
Джералд Хэрд «Страдание, биология и время» I, 226
Цао Сюэцинь «Сон в Красном тереме» I, 423
Г. К.Честертон «Парадоксы мистера Понда» I, 409
Марсель Швоб «Воображаемые жизни» IV, 328
Марсель Швоб «Крестовый поход детей» III, 437
Уильям Шекспир «Макбет» III, 440
Эдвард Шенкс «Редьярд Киплинг» I, 533
Ши Найань «Die Raueber vom Liang Schan Moog» I, 445
Клавдий Элиан «История животных» IV, 397
Ралф Уолдо Эмерсон «Избранники человечества» III, 371
Жозе Мария Эса ди Кейрош «Мандарин» IV, 295
Педро Энрикес Уренья «Литературная критика» III, 446

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН К ТОМАМ 1–4 НАСТОЯЩЕГО ИЗДАНИЯ¹

Абарбанель Иуда (Леон Еврей, 1437–1508), испано-еврейский философ II, 490

Аббасиды, династия арабских халифов I, 276–277, 375, 382; II, 447

Абдаррахман I (731–788), эмир покоренной Испании, арабский поэт II, 275

Абеляр Пьер (1079–1142), французский поэт, философ и богослов II, 466

Абрамовиц Морис (1901–1981), друг юности Борхеса II, 190; III, 566, 608; IV, 268

Абу Абдаллах (Боабдил; 1460–1526), мусульманский правитель Гранады I, 249

Абу Бишр Матта (870–940), арабский ученый II, 270

Абульфиды (1273–1331), сирийский историк и географ II, 284

Августин (?–между 604 и 609), римский священнослужитель, миссионер II, 705

Августин Аврелий (354–430), христианский богослов I, 141, 299, 303–305, 308, 312, 339, 344,

346, 523; II, 229–230, 353, 410, 425–426, 487; III, 169, 220, 375, 502, 523, 544–546, 548, 552; IV, 37, 62, 82, 87, 179, 283, 378, 425, 431

Аверроэс (Ибн Рушд, 1126–1198), арабский мыслитель I, 399; II, 269–277; IV, 58, 170, 180

Авиценна (Ибн Сина, ок. 980–1037), арабский и персидский ученый-энциклопедист II, 392, 426

Агассис Луи (1807–1873), швейцарский геолог и натуралист IV, 367

Агиляр Вивiana (р. 1957), друг и помощница Борхеса IV, 153

Агрикола Гней Юлий (40–93), римский полководец III, 515

Агриппа (I в. до н. э.), греческий философ-скептик I, 187, 195

Агриппа Неттесхеймский (1486–1535), немецкий мыслитель и ученый II, 217

Агриппина Юлия Младшая (15–59), мать императора Нерона IV, 167

Агуэро Торрес, аргентинский издатель III, 367

¹ Включены и кратко охарактеризованы только те имена исторических лиц либо заглавия анонимных сочинений, которые прямо или косвенно упомянуты в текстах самого Борхеса.

Адам Бременский (?–после 1081), северо-германский хронист III, 304; IV, 136

Аддисон Джозеф (1672–1719), английский писатель и журналист II, 370; IV, 55–56, 183

Адриан Элий (76–138), римский император I, 54; III, 379

Аита Антонио (1899–1966), аргентинский эссеист II, 325

Айронсайд Уильям Эдмунд (1880–1959), английский военный II, 438

Акбар Джелаладдин (1542–1605), правитель Могольской империи в Индии II, 309

Акутагава Рюноске (1892–1927), японский писатель II, 727–728; III, 410

Алан Лилльский (1128–1202), французский философ, теолог и поэт II, 322, 335

Аларих (ок. 370–410), вождь германского племени вестготов I, 398

Александр Афродисийский (II–III вв.), греческий философ II, 270

Александр Македонский (356–323 до н. э.), царь Македонии, завоеватель мира I, 198; II, 169, 190, 244, 273, 326, 398, 747; III, 208, 269, 479, 503; IV, 62–64, 67, 105–106, 113, 176, 247, 326–327

Алем Леандро (1845–1896), аргентинский юрист и политик III, 46; IV, 248

Алеман-и-де-Энеро Матео (1547 – ок. 1614), испанский прозаик I, 128

Ален (Эмиль Шартье; 1868–1951), французский мыслитель-эссеист I, 402

Алигьери Пьеро (1295?–1364), сын Данте, священник,

правовед, комментатор «Божественной комедии» IV, 31, 199

Алигьери Якопо (?–1348), сын Данте, поэт IV, 166, 413

Алиенора Аквитанская (1122–1204), жена французского короля Людовика VII и английского короля Генриха II, покровительница поэтов II, 705

Алкей Мессенский (III–II вв. до н. э.), греческий поэт II, 409

Алп Арслан (1029 или 1030 – 1072 или 1073), правитель государства сельджукидов II, 392

Альберт (1819–1861), британский принц-консорт III, 398

Альберт Великий (ок. 1193–1280), немецкий естествоиспытатель, философ и богослов I, 227, 301; III, 195

Альбертелли Пило (1907–1944), итальянский историк античной мысли II, 334–335

Альберти Рафаэль (1902–1999), испанский поэт IV, 393

Альбин (?–732), английский священнослужитель II, 705

Альварадо Педро де (1490–1541), испанский конкистадор II, 288, 291–292

Альварес де Толедо Летисия, знакомая Борхеса I, 103; II, 134

Альвеар Карлос Мария де (1789–1852), аргентинский политический и военный деятель III, 60

Альвеар Эльвира де (1907–1959), аргентинская писательница II, 665

Аль-Газали (Альгазель; 1058–1111), мусульманский богослов и философ II, 269, 414, 426

Альдао Хосе Феликс (1780–1845), аргентинский священник и военачальник, возглавлял конные отряды партизан-гаучо II, 575

Аль Джахиз (775–868), арабский писатель и ученый II, 272; III, 210

Альдрованди Улисс (1522–1605), итальянский натуралист и путешественник III, 148

Аль-Масуди (конец IX в.–956 или 957), арабский историк I, 366

Альмафуэрте (1854–1917), аргентинский писатель I, 401; II, 189, 688, 702; III, 368, 582, 608; IV, 440

Аль Махди Мухаммед (VIII в.), мусульманский правитель I, 278

Аль Моканна (736–779), мусульманский лжепророк I, 274–280; III, 588; IV, 387, 416

Альмутанаби (915–965), арабский поэт I, 361

Аль-Халиль (718–791 или 792), арабский филолог II, 271

Амвросий Медиоланский (333–397), христианский богослов II, 409, 425–426; III, 218

Аменофис (Аменхотеп) IV см. *Эхнатон*

Аммиан Марцеллин (ок. 330 – ок. 400), римский историк I, 109

Аморим Энрике (1900–1960), уругвайский писатель I, 281; II, 94

Амьель Анри Фредерик (1821–1881), швейцарский писатель III, 258; IV, 242, 280

Анаксагор (ок. 500–428 до н. э.), греческий философ II, 415, 487, 572

Ангелус Силезиус (1624–1677), немецкий католический поэт-мистик II, 340, 497, 630; III, 118, 488, 492; IV, 104, 284

Анджелико, Фра Беато Анджелико (ок. 1400–1455), итальянский живописец III, 646

Анраде Олегаро (1839–1882), аргентинский журналист и поэт III, 62

Андрее Иоганн Валентин (1586–1654), немецкий оккультный мыслитель II, 81, 92

Андреоли Рафаэле (1823–1891), итальянский филолог II, 305; IV, 178

Анлаф (Олаф), король скоттов, правитель Дублина III, 353

Ансельм Кентерберийский (1033–1109), христианский богослов-схоласт II, 276, 406, 465, 509; III, 503

Антермейер Луис (1885–1977), американский поэт, литературный критик I, 443

Антоний Марк (82–130 до н. э.), римский политик и полководец III, 220

Антоний Падуанский, или Лиссабонский (1195–1231), монах-августинец, затем францисканец, миссионер в Африке, католический святой IV, 406

Апарисио Тимотео (1814–1882), уругвайский военный III, 73

Андайк Джон (р. 1932), американский писатель III, 602–603

Апеллес (IV в. до н. э.), греческий художник II, 723

Аполлинер Гийом (1880–1918), французский поэт-новатор I, 84

Аполлодор (II в. до н. э.), греческий историк и филолог I, 153; II, 252, 543; III, 191, 230

Аполлоний Родосский (ок. 295 – ок. 215 до н. э.), греческий поэт и филолог I, 150, 176; III, 152, 230, 236, 649

Аполлоний Тианский (I в.), странствующий философ-неопифагореец III, 189

Апулей (ок. 125–ок. 180), римский писатель I, 227, 446, 461; II, 450; III, 374

Арагон Пруденсио (1886–1963), аргентинский композитор, автор танго III, 396

Арбетнот Джон (1667–1735), английский (шотландский) писатель II, 515

Ардженти Филиппо, флорентиец из рода Адимари, врагов Алигьери IV, 167

Аривара-но Нарихира (825–880), японский поэт IV, 309

Арий (256–336), александрийский священнослужитель и богослов, ересиарх II, 239

Ариньбёрн, сын Торира (IX в.), викинг, друг *Эгиля Скаллагримсона* IV, 369

Ариосто Лудовико (1474–1533), итальянский поэт I, 34, 116, 333; II, 525, 543, 558–560; III, 152, 156, 223, 370, 567; IV, 33, 365–366, 423, 430

Аристид (ок. 540–467 до н. э.), афинский полководец I, 304

Аристотель (384–322 до н. э.), греческий мыслитель-энциклопедист I, 170, 183, 185–186, 188, 304, 331, 332, 339, 399, 514, 527; II, 77, 259, 267, 270, 276, 335–337, 403, 421, 431, 465, 475, 696, 713, 725, 742; III, 210, 213, 219, 222, 223, 502, 548, 615; IV, 58, 102, 106, 114, 148, 171, 290, 415, 451

Альт Роберто (1900–1942), аргентинский писатель III, 33, 585

Арминий (18 или 16 до н. э. – 19 или 21 н. э.), германский полководец II, 267

Арнетт Хейзлем Джейн, прабабка Х.Л.Борхеса, англичанка III, 603; IV, 383

Арно Антуан (1612–1694), французский философ и языковед II, 398

Арнобий (кон. III–нач. IV в.), христианский апологет II, 414

Арнольд (Арнолд) Мэтью (1822–1888), английский поэт и эссеист I, 146, 356; II, 432, 498

Аролас Эдуардо (1892–1924), аргентинский композитор, автор танго I, 117; II, 595

Арредондо Авелино, уругвайский юноша, убил в 1897 г. президента страны II, 568; III, 105, 322–326, 336

Арреола Хуан Хосе (1918–2001), мексиканский прозаик IV, 349

Артаксеркс II Мнемон (V–IV вв. до н. э.), персидский царь династии Ахеменидов III, 187, 197

Артемидор (2-я пол. II в.), греческий писатель III, 130

Артигас Хосе Хервасио (1764–1850), военачальник Ла-Платы, национальный герой Уругвая I, 468; III, 62, 418, 420, 642

Артур (V–VI вв.), король бриттов II, 558, 706, 708

Архимед (ок. 287–212 до н. э.), греческий ученый I, 440; III, 313

Архит (ок. 400–ок. 365 до н. э.), греческий политик и ученый, философ-пифагореец III, 371

Асеведо де Борхес Леонор (1876–1975), мать Х. Л. Борхеса III, 473, 518, 558, 559, 561, 564–566, 582, 583, 584, 590–593, 596, 601, 628, 632, 645, 652; IV, 210–211, 255, 386, 422, 435, 439

Асеведо Диас Эдуардо (1882–1959), аргентинский писатель II, 325

Асеведо Лаприда Исидоро (1835–1905), дед Х. Л. Борхеса II, 654; III, 491, 559, 560; IV, 384–385

Асин Паласиос Мигель (1871–1944), испанский арабист II, 277, 414; III, 147, 223

Аскарате Патрисио де (1804–1886), испанский философ I, 186

Аскасуби Иларио (1807–1875), аргентинский поэт и прозаик I, 111, 116, 204–205, 481–482, 531–532; II, 389, 452, 523, 711; III, 382, 564, 582, 602, 641; IV, 354, 389, 437

«*Асклепий*», гностический трактат II, 335

Асорин (Хосе Мартинес Руис; 1874–1967), испанский писатель II, 366, 762

Астете Мильян Эльза (1909–?), первая жена Борхеса II, 666

Атауальпа (ок. 1500–1533), вождь племени кечуа, последний инка I, 234; IV, 65

Аттар Фаридаддин (между 1148 и 1151–1220), персидский мистический поэт I, 179, 227, 378, 383–384; II, 285, 287, 322, 394, 401, 694–695; III, 127, 229, 284, 364, 588; IV, 195–197

Аттила (?–453), предводитель гуннов I, 113, 115–116, 143–144; II, 727; III, 393; IV, 176, 236

Афанасий Александрийский (295–373), церковный деятель и писатель I, 134

Ашока (268–231 до н. э.), индийский правитель, покровитель буддизма II, 460; III, 201–202; IV, 74

Ашшурбанипал (?–между 635 и 627 до н. э.), царь Ассирии IV, 347

Аэдо Бернардо, двоюродный брат Борхеса II, 149

Аэдо Франсиско, дядя Борхеса III, 555, 643

Аэдо Эстер (1899–1995), двоюродная сестра Борхеса III, 643

Аяла Франсиско (р. 1906), испанский писатель II, 696–697

Баал-Шем-Тов Израэль бен Элиезер (Бешт; ок. 1700–1760), еврейский вероучитель II, 168–169, 656

Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940), русский писатель I, 425–426

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт I, 178, 183, 202, 360, 698; III, 382, 440; IV, 65, 135, 193, 236, 324, 440

Аль Балазури (?–до 892), арабский историк I, 274

Бальзак Оноре де (1799–1850), французский писатель I, 57, 197; II, 582, 677; III, 374; IV, 303

Бальмес-и-Уртия Хайме Лусиано (1810–1848), испанский священнослужитель, философ, эссеист III, 281

Банделло Маттео (1485–1561), итальянский поэт и новеллист III, 426

Банчс Энрике (1888–1968), аргентинский поэт I, 206; III, 562; IV, 98–100, 390

Бараона де Сото Луис (1548–1595), испанский врач и поэт I, 215

Барбюс Анри (1873–1935), французский писатель I, 173; II, 710; III, 572

Барди Симоне, флорентийский купец, муж Беатриче Портинари IV, 205

«*Бардо Тёдол*» («Тибетская книга мертвых»), культовый памятник Тибета III, 215

Барин Арвед (1840–1908), французская писательница I, 396

Баркер Эрнест (1874–1960), английский историк III, 437

Барко Сеитенера Мартин дель (1535?–после 1601), испанский священник и поэт III, 182

Барнес Франсиско (1877–1947), испанский философ и педагог I, 172

Барнум Финеас Тейлор (1810–1891), американский цирковой антрепренер I, 501

Бароний Цезарь (1538–1607), итальянский церковный деятель и писатель II, 460

Бароха-и-Неси Пио (1872–1956), испанский прозаик III, 434, 572; IV, 355

Баррес Морис (1862–1933), французский писатель I, 403; II, 103

Баррет Браунинг Элизабет (1806–1861), английская поэтесса III, 254; IV, 193

Бартоло да Бути Франческо ди (1324–1406), итальянский комментатор Данте IV, 167, 192, 199, 201

Бартоломью Рой, друг Борхеса, исследователь аргентинской поэзии IV, 102, 420–424, 432

Батлер Сэмюэл (1612–1680), английский поэт I, 359; III, 251

Батлер Сэмюэл (1835–1902), английский писатель I, 57, 129, 228, 488, 522, 524, 533; II, 78, 469, 724; IV, 237, 377

Бауэр Эльвира, немецкая нацистская писательница 1930-х годов I, 507–508

Бах Иоганн Себастьян (1685–1750), немецкий композитор и органист IV, 380

Беатриче см. *Портинари Б.*

Беда Достопочтенный, или **Досточтимый** (672 или 673–735), англосаксонский монах и хронограф II, 130, 343, 705; III, 339, 411, 487; IV, 187–191

Бек Герман (1875–1937), немецкий индолог II, 462

Беккер Густаво Адольфо (1836–1870), испанский поэт II, 736; III, 113, 622

Беккет Сэмюэл (1906–1989), ирландский прозаик и драматург III, 601

Бекфорд Уильям (1760–1844), английский писатель II, 446–449; IV, 168–169

Белл Эрик Темпл (1883–1960), американский математик и писатель I, 439–440

Беллок Хилер (1870–1953), английский писатель II, 407, 447; III, 379

Бельграно Мануэль (1770–1820), военный и политический деятель Аргентины III, 561

Бельо Андрес (1781–1865), венесуэльский поэт и ученый II, 150–151

Беме Якоб (1575–1624), немецкий мыслитель-мистик II, 179, 181, 414

Бен-Аззаи Симон (II в.), еврейский законоучитель II, 191

Бенда Жюльен (1867–1956), французский писатель I, 402–403; II, 104, 373

Беннет Арнолд (1867–1931), английский писатель I, 206; III, 557, 570, 603; IV, 330, 384

Беньян Джон (1628–1688), английский писатель, религиозный моралист I, 165, 167; II, 372, 403, 453, 683; III, 335

«**Беовульф**» (VIII–IX вв.), англосаксонский героический эпос по мотивам германских преданий I, 115, 325, 329; II, 606, 709, 725, 756; III, 169, 318, 473, 599

Берар Виктор (1864–1931), французский филолог-эллинист I, 556

Бергман Ингрид (1915–1982), шведская киноактриса I, 226

Бергсон Анри (1859–1941), французский философ I, 171–172, 190, 435, 453; II, 281, 350, 479, 723, 744; III, 448, 517, 518, 544, 546; IV, 84, 102, 118, 312, 400, 419

Беркли Джордж (1685–1753), английский философ I, 143, 183, 211, 227, 439, 453, 480, 517; II, 85, 92, 432, 479, 481–483, 490–493, 496, 500; III, 113, 285, 312, 394, 403, 513, 558, 578, 619; IV, 234, 312, 368, 400, 403, 428, 438

Беркли Энтони (1893–1971), английский писатель, автор детективных произведений II, 690

Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри (1737–1814), французский писатель и философ II, 202

Бернардес Франсиско Луис (1900–1978), аргентинский поэт I, 97, 121–122, 317; IV, 141

Берн-Джонс Эдуард (1833–1898), английский живописец и декоратор I, 403

Бернет Джон (1863–1928), английский историк ранней греческой философии III, 467

Бернс Роберт (1759–1796), шотландский поэт II, 500; III, 332

Берри Анита, автор книги «Искусство для детей» IV, 245

Бертольд Регенбургский (1210–1272), немецкий священник и проповедник III, 141

Бертон Ричард (1821–1890), английский писатель и путешественник I, 109, 352–354, 356–368, 370, 372–376, 384; II, 276, 326, 454; III, 147, 165, 199, 217, 228, 368, 560, 572, 631; IV, 67–68, 71–73, 342

Бертон Роберт (1577–1640), английский писатель-эссеист I, 65, 217, 342, 398, 459; II, 126; III, 189, 497

Бертран де Борн (ок. 1140 – ок. 1215), провансальский поэт-трубадур IV, 204

«*Бестиарий*», древнеанглийский сборник аллегорической поэзии I, 325

Бетховен Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор I, 521

Бехер Иоганнес Роберт (1891–1958), немецкий писатель и политический деятель II, 341; IV, 289

Билли Кид (1859–1881), американский бандит I, 263–267; III, 588

Бильбао Мануэль (1828–1895), аргентинский писатель и журналист I, 97

Бион Борисфенит (?–ок. 240 до н. э.), греческий философ II, 359

Бирбом Макс (1872–1956), английский прозаик и художник-карикатурист III, 594

Бисмарк Отто фон (1815–1898), рейхсканцлер Германской империи I, 521; III, 399

«*Битва при Брунанбурге*» (X–XI вв.), англосаксонская поэма III, 353

«*Битва при Мэлдоне*», англосаксонская поэма II, 477; III, 32, 317, 319

«*Битва при Финнсбурге*» (между VIII и X вв.), англосаксонская поэма III, 112, 317–318

Бишоп Эдмунд (1846–1917), английский историк религии и церкви IV, 263

Бишоф Эрих (1865–1936), немецкий гебраист I, 80

Бланки Луи Огюст (1805–1881), французский революционер, мыслитель-утопист I, 348, 514, 523–524; II, 352, 686; III, 375, 502; IV, 432

Николас Блейк, псевдоним английского поэта Сесила Дэй-

Льюиса (1904–1972), под которым он публиковал детективные романы II, 678; IV, 330

Блейк Уильям (1757–1827), английский поэт и художник I, 411, 504, 517, 518; II, 401, 432, 437, 680; III, 99, 226, 236, 266, 524, 525, 530, 545, 585, 593; IV, 144, 218, 245, 252, 380, 418, 440, 453–454

Блуа Леон (1846–1917), французский писатель I, 355; II, 147, 234, 398, 422–423, 428, 433–437, 696, 709; III, 397, 405, 590, 651; IV, 248, 447

Бодлер Шарль (1821–1867), французский поэт I, 164, 172, 331, 396, 496, 500; II, 103, 401, 449, 703–704, 728; III, 367, 377, 380, 381, 440, 533, 652; IV, 193, 325, 347

Бодхидхарма (Дарума; ?–528), индийский монах-буддист, полу-легендарный основатель секты чань в Китае IV, 86–87

Боккаччо Джованни (1313–1375), итальянский писатель I, 358, 367; II, 466; IV, 171, 312, 355

Боливар Симон (1783–1830), руководитель борьбы за освобождение колоний в Южной Америке II, 446, 581; III, 60, 76–77, 80–81

Бомбаль Сусана (1922–1990), аргентинская писательница III, 49, 364, 470; IV, 57

Бонниер, семейство шведских книгоиздателей III, 604

Борджиа Чезаре (1475–1507), итальянский политический и церковный деятель I, 216

Борхес Гильермо Хуан, двоюродный брат Х. Л. Борхеса III, 429, 575, 583

Борхес Нора (1901–1998), аргентинская художница, сестра Х. Л. Борхеса II, 665; III, 433, 506,

510, 559, 563, 566, 573, 574, 640, 643–648; IV, 116, 237, 245, 285, 383–384, 386–389, 391–392, 418, 423, 435, 443, 455–456

Борхес Арнетт Фрэнсис (1842–1935), бабушка Борхеса, урожденная англичанка II, 240–241, 632; III, 259, 556, 557, 566, 608, 644; IV, 383–384, 423

Борхес Лафинур Франсиско (1832–1874), дед Х. Л. Борхеса, полковник аргентинской армии II, 240–241, 552, 634; III, 113, 355, 462, 491, 556, 557, 561; IV, 255, 384, 389, 419

Борхес Хорхе Гильермо (1874–1938), отец Борхеса II, 545, 578; III, 259, 356, 427, 491, 518, 556–558, 560–565, 568, 570, 574, 583, 584, 590, 606–608, 617, 652; IV, 118, 241, 245, 255, 270, 386, 388–390, 409, 439

Боскан-и-Альмогавер Хуан (1490–1542), испанский поэт I, 85

Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704), французский богослов, католический проповедник II, 744; III, 388

Босуэлл Джеймс (1740–1795), английский (шотландский) литератор, автор жизнеописания С. Джонсона I, 215, 484; II, 399, 453; III, 116, 431

Боттичелли Сандро (1445–1510), итальянский живописец и график III, 646

Бозций Аниций Манлий Северин (ок. 480–524), римский философ I, 221–223, 302; II, 465, 495, 708; IV, 49

Брамах Эрнест (1868–1942), английский писатель, автор детективных новелл III, 594

Брамс Иоганнес (1833–1897), немецкий композитор II, 262–263, 281

Брандан Караффа Альфредо (1897–1987), аргентинский прозаик и журналист III, 584

Браун Джон (1800–1859), американский борец за права негров I, 178

Браун Томас (1605–1681), английский врач и писатель I, 50–56, 129, 217, 348, 477, 523, 527; II, 96, 233, 351, 413, 427–428, 723; III, 110, 139, 144, 149, 195, 380, 575, 580, 595; IV, 48, 55, 345, 446

Браун Френсис Чарлз Клейрон Йетс (1886–1944), английский востоковед I, 332, 437

Браун Эдуард Глэнвилл (1862–1926), английский востоковед I, 332

Браунинг (Брунинг) Роберт (1812–1889), английский поэт I, 509; II, 163, 402, 422–423, 727; III, 99–100, 254, 342–343, 378, 409, 410, 438, 453, 619; IV, 101, 193, 333, 451

Брейгель Питер (Старший) (между 1525 и 1530–1569), нидерландский живописец и рисовальщик IV, 324

Брейе Эмиль (1876–1952), французский мыслитель, историк философии III, 162

Брен (IV в. до н. э.), вождь кельтского племени сенонов III, 103–104, 494; IV, 142

Св. Брендан (V–VI вв.), ирландский церковный деятель III, 223–224, 241

Брет Гарт см. *Гарт Ф. Б.*

Бретон Андре (1896–1966), французский писатель, основоположник сюрреализма I, 451–452; IV, 407

Бриджес Роберт Сеймур (1844–1930), английский поэт II, 429, 431

Брод Макс (1884–1968), австрийский прозаик, друг, биограф и

душеприказчик Кафки II, 356; III, 188, 405, 406, 511; IV, 111, 289, 316

Брокгауз Фридрих Арнольд (1772–1823), немецкий издатель, типограф, книгопродавец III, 276, 508

Брон Фанни (1800–1865), возлюбленная Дж. Китса III, 105

Бронте Эмили (1818–1848), английская писательница IV, 285

Броувер Луйцен Эгбертус Ян (1881–1966), нидерландский математик I, 215

Бродер Артур Гилкрист (1888–?), английский историк и переводчик I, 330

Брох Герман (1886–1951), австрийский прозаик I, 401

Брук Руперт (1887–1915), английский поэт III, 512

Брукс Ван Вик (1886–1963), американский историк литературы I, 500–501; II, 389; III, 531

Бруно Джордано (1548–1600), итальянский мыслитель и поэт II, 336, 337, 412–413; III, 178, 371

Бруншвиц Леон (1869–1944), французский мыслитель, историк философии II, 337, 413

Брут Марк Юний (85–42 до н. э.), глава заговора против Цезаря II, 361, 518, 568; III, 336, 425

Брэдбери Рэй (р. 1920), американский писатель-фантаст III, 370–372; IV, 441

Брэдли Френсис Герберт (1846–1924), английский философ I, 188–189, 227, 291–292, 435; II, 122, 181, 349, 431, 465, 490, 495; III, 547, 549, 580; IV, 93

Брэдли Эдвард (1827–1889), английский писатель и карикатурист III, 560

Брэдли Эндрю Сесил (1851–1935), английский шекспировед III, 444, 508

Буало Никола (1636–1711), французский поэт, теоретик классицизма I, 201; III, 544; IV, 65, 71, 126

Бубер Мартин (1878–1965), еврейский религиозный философ и писатель I, 529; II, 195, 403, 472–473; III, 447, 593; IV, 450

«*Буддхачарита*», стихотворное жизнеописание Будды, приписывается Ашвагхоше (ок. 80–150) II, 460

Буйе Луи (1822–1869), французский поэт IV, 324

Булвер-Литтон Эдуард (1803–1873), английский писатель I, 438; II, 124, 405

Булль Джордж (1815–1864), английский математик I, 440; II, 98

Бульрич Паленке Сильвина (1915–1990), аргентинская писательница II, 571, 686–689

Бунге Маргарита, знакомая Борхеса I, 114

«*Бундахиши*», собрание священных текстов зороастризма III, 208–209

Буркхардт Георг (1881–?), немецкий философ, историк культуры III, 250

Буссе Вильгельм (1865–1920), немецкий теолог и историк I, 137; II, 233

Бустос Франсиско, прапрадед Борхеса III, 587, 634

Буццати Дино (1906–1972), итальянский писатель IV, 292

«*Бхагавадгита*» (III–II вв. до н. э.), индийская мифологическая поэма I, 179; IV, 347

Бьой Касарес Адольфо (1914–1999), аргентинский прозаик II, 79–80, 307, 692, 699; III, 373–375, 541, 593–595, 605; IV, 392, 408, 429, 430, 437, 441–442

Бьой Касарес Марта, мать А.Бьоя Касареса IV, 392

Бьянки Альфредо Антонио (1882–1942), аргентинский писатель, журналист III, 575, 584, 617

Бьянки Бруноне (1803–1869), итальянский комментатор Данте IV, 175

Бьянко Хосе (1908–1986), аргентинский прозаик II, 690–693

Бэкон Делия Солтер (1811–1859), английская писательница II, 740–741; III, 441

Бэкон Фрэнсис (1561–1626), английский философ I, 133, 217, 353; II, 207, 336, 341, 405, 427–428, 740–742, 744–745, 751; III, 295, 371, 442, 497, 521; IV, 93, 194, 251, 432

Бэнкрофт Джордж (1882–1956), американский киноактер I, 485; IV, 393

Бюргер Готфрид Август (1747–1794), немецкий поэт III, 488

Бюрну Эжен (1801–1852), французский индолог II, 462

Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор I, 453

Вайль Густав (1808–1889), немецкий арабист I, 353, 369, 372–373; II, 198; IV, 73

Валенсия Грегорио де (1549–1603), испанский богослов II, 410

Валентин (?–ок. 160), александрийский гностик I, 137, 140–141

Валера Сиприано де (1532?–1602), испанский священник, переводчик II, 434; III, 330

Валери Поль (1871–1945), французский поэт I, 131, 134, 154, 178, 301, 501; II, 99, 102, 104, 120, 338, 390–391, 412, 469, 703; III, 368, 376–380, 428, 577; IV, 299, 398, 407

Валь Жан (1888–1974), французский писатель и философ IV, 404–405, 406–407

Валье-Инклан Рамон Мария дель (1869–1936), испанский писатель I, 513

Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1170–ок. 1230), немецкий поэт-миннезингер IV, 51

Ван Дайн Сайлес С. (1888–1939), американский писатель I, 410

Ван Чун (27–107), китайский мыслитель III, 248

Вандо Вильяр Исаак дель (1890 или 1895–1963), испанский поэт III, 571

Ван-Дорен Марк (1894–1972), американский поэт и литературный критик I, 178

Вандье Жак (1904–1973), французский египтолог II, 471

Ванини Лучилио (1585–1619), итальянский мыслитель I, 217, 347; III, 178

Вар Публий Квинктилий (ок. 46 до н. э.–9 н. э.), римский полководец II, 267

Варгас Вила Хосе Мария (1860–1933), колумбийский писатель I, 391

Варела Флоренсио (1807–1848), аргентинский писатель и политический деятель III, 61

«*Варлаам и Иосаф*» (между VIII и XI вв.), памятник европейской назидательной словесности II, 460

Вас Робер (ок. 1100–после 1171), норманнский поэт, автор исторических хроник II, 705, 707

Василид (II в.), сирийский богослов-гностик I, 137–140, 429, 517; II, 129, 186, 471

Васкес Мария Эстер (р. 1941), аргентинская писательница, друг

и соавтор Борхеса II, 535; III, 603; IV, 415–419

Вашингтон Джордж (1732–1799), первый президент США I, 375

Вебер Карл Мария фон (1786–1826), немецкий композитор II, 467

Веблен Торстейн Бунд (1857–1929), американский экономист и социолог I, 211; II, 729; III, 593

Вебстер Ной (1758–1843), американский лексикограф, создатель знаменитого словаря английского языка III, 165

Вега Гарсиласо де ла (1503–1536), испанский поэт I, 84, 204; III, 504

Вега Картьо Лопе Феликс де (1562–1635), испанский поэт I, 54, 82; II, 103, 393, 749; III, 426, 506

Ведиа Агустин де (1843–1910), аргентинский публицист II, 154

Веласкес Диего (1599–1660), испанский живописец I, 106, 461; IV, 454

Велисарий (505–565), византийский полководец II, 281, 600

Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852), английский военачальник IV, 234

Вентури Помпео (1693–1752), итальянский поэт и прозаик, комментатор Данте IV, 195

Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.), римский поэт I, 90–91, 199, 201, 340, 349; II, 106, 184, 217, 261, 317, 339, 366, 372, 375, 393, 464, 467, 477, 503, 554, 587, 600, 657, 662, 672, 706, 713, 725, 727; III, 118, 141, 152, 155, 200, 206, 249, 251, 300, 340, 347, 360, 361, 369, 390, 406, 417, 426, 453, 468, 492, 507, 569, 650, 651; IV, 32,

36–40, 44–45, 47, 52, 57–58, 63, 92, 112, 131, 134, 143, 146, 149, 160, 164–165, 169, 171, 178–181, 187, 190, 192, 194–195, 198–200, 203–204, 213, 291, 301, 326, 348, 359–360, 365, 421

Верлен Поль (1844–1896), французский поэт I, 135; II, 563, 631, 739; III, 260, 279, 367, 447, 490, 652; IV, 123, 159, 326, 396

Верн Жюль (1828–1905), французский писатель II, 400–401; III, 643; IV, 240

Верфель Франц (1890–1945), австрийский писатель-экспрессионист II, 686

Веспуччи Америго (1454–1512), итальянский мореплаватель I, 465

Вивес Хуан Луис (1492–1540), испанский философ II, 341

Вивиано Хуан Освальдо, буэнос-айресский издатель III, 66

«*Видение Тунгдала*» (XII в.), памятник кельтской словесности III, 141; IV, 194

Видор Кинг (1894–1982), американский кинорежиссер I, 233, 490

«*Видсид*» (до VII в.), англосаксонская поэма II, 709

Вийон Франсуа (1431?–после 1463), французский поэт IV, 328

Вико Джамбаттиста (1668–1744), итальянский философ I, 349; II, 164, 219, 221

Викунья Сифуэнтес Хулио (1865–1936), чилийский писатель, переводчик, фольклорист III, 244

Виланд Кристоф Мартин (1733–1813), немецкий поэт и романист III, 515

Вильгельм I Завоеватель (1027–1087), английский король II, 393, 442; III, 126, 399

Вильгельм II (1859–1941), германский император и прусский король I, 244

Вильгельм Оранский (1650–1702), правитель Нидерландов, английский король IV, 340

Вильгельм Тирский см. *Гийом Тирский*

Вильгельм Рихард (1873–1930), немецкий Китаист I, 428, 528; II, 499; III, 173

Винкельрид Арнольд (?–1386), швейцарский крестьянин, национальный герой IV, 280

Винсент из Бове (ок. 1190 – ок. 1265), французский монах, писатель-компилятор II, 335; III, 149, 276

Виньи Альфред Виктор де (1797–1863), французский писатель-романтик I, 332

«*Висуддхи Магга*» (V в.), трактат Буддхагхоши, памятник тхеравадского буддизма II, 496

Витали Гвидо (1881–?), итальянский историк литературы IV, 169–170, 175, 195, 200, 204

Витория Франсиско де (1486?–1546), испанский богослов II, 410

Волхейм Луис (1880–1931), американский актер I, 259

Вольней Константен Франсуа де Шасбеф, граф де (1757–1820), французский философ I, 182

Вольтер (1694–1778), французский просветитель I, 144, 192, 197, 367, 385, 484; II, 180, 398, 406, 447, 449, 500, 739, 750; III, 116, 385, 393, 437, 520, 521, 640; IV, 155, 334, 359, 361–362

Вольф Теодор (1880–?), немецкий историк античной философии I, 514, 516

Вордсворт Уильям (1770–1850), английский поэт II, 363,

374, 712, 732, 739; III, 368, 445, 568, 611, 620; IV, 59–60, 97, 341, 389, 453

Вортигерн (V в.), правитель бриттов II, 706

Вуд Сэм (1883–1949), американский кинорежиссер IV, 394

Вулф Вирджиния (1882–1941), английская писательница III, 559, 590

Вульф Морис де (1867–1947), бельгийский историк философии II, 466; IV, 181

Вьеже Леон (1856–1933), французский востоковед II, 460

Габорио Эмиль (1832–1873), французский писатель, автор детективных романов II, 677; III, 409

Газан-хан (1271–1304), монгольский правитель Ирана II, 344

Галилей Галилео (1564–1642), итальянский ученый II, 427; IV, 146

Галлан Жан-Антуан (1646–1715), французский ориенталист I, 352–358, 364–367, 374, 376; II, 328, 449; III, 387; IV, 65, 68, 71–73, 342, 362

Гальвес Мануэль (1882–1962), аргентинский прозаик II, 693

Гальфрид Монмутский (ок. 1100 – 1154 или 1155), английский (валлийский) писатель II, 706

Гама Васко да (1469–1524), португальский мореплаватель IV, 326

Гамильтон Антуан (1646–1720), английский (шотландский) прозаик II, 449

Ганди Мохандас Карамчанд (1869–1948), один из лидеров индийского национально-освободительного движения IV, 84

Ганнибал (247 или 246–183 до н. э.), карфагенский полководец II, 331; IV, 263

Ганнон Патрисио, аргентинский литератор, переводчик II, 255–256, 258

Гарай Хуан де (1528–1583), испанский конкистадор II, 708; IV, 354, 422

Гарбо Грета (1905–1990), американская киноактриса I, 228

Гардель Карлос (1890–1935), аргентинский певец и киноактер II, 735

Гарднер Мартин (р. 1914), английский математик III, 411

Гарнак Адольф фон (1851–1930), немецкий историк религии и церкви II, 233

Гарнетт Дейвид (1892–1981), английский писатель, сын Эдварда и Констанс Гарнетт, внук Ричарда Гарнетта IV, 350–351

Гарнетт Констанс (1862–1946), английская переводчица русской классической литературы IV, 303, 350

Гарнетт Ричард (1835–1906), английский поэт, прозаик, переводчик, историк литературы IV, 350

Гарнетт Эдвард (1868–1937), английский писатель, литературный критик и издатель IV, 350

Гарольд II Годвинссон (?–1066), последний англосаксонский король Англии II, 219, 393, 476–477, 538; III, 103

Гаррет Пэт (1850–1908), американский бандит I, 267

Гарсен де Тасси Жозеф Элиодор (1794–1878), французский востоковед I, 384; II, 695

Гарсиа Лорка Федерико (1898–1936), испанский поэт и драматург II, 71; III, 569

Гарсиа Сальседо-и-Коронель Хосе (ок. 1592–1651), испанский писатель I, 91

Гарт Френсис Брет (1836–1902), американский писатель I, 531–532; III, 381–383

«*Гаруда-пурана*», священный памятник вишнуитского индуизма III, 153

Гарун аль-Рашид (763 или 766–809), арабский халиф IV, 64

Гаусс Карл Фридрих (1777–1855), немецкий математик I, 441

Гауэр Джон (ок. 1330–1408), английский поэт IV, 377

Гebbельс Йозеф (1897–1945), идеолог нацизма, министр пропаганды в гитлеровской Германии II, 439

Гевара Антонио де (1480?–1545), испанский писатель III, 110

Гевара Хосе (1719–1806), испанский иезуит, историк Латинской Америки IV, 298

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ I, 118, 182, 404, 528; II, 164, 355, 406, 490; III, 380; IV, 331

Гедалья Филипп (1889–1944), английский писатель и журналист I, 378; II, 124

Гезениус Фридрих Генрих Вильгельм (1785–1842), немецкий востоковед II, 262

Гейзенберг Вернер (1901–1976), немецкий физик I, 223

Гейне Генрих (1797–1856), немецкий поэт I, 130, 332, 443–444, 486, 494, 520, 523; II, 614, 743, 753; III, 118, 347, 384, 505, 567, 593, 598; IV, 139

Геккель Эрнст (1834–1919), немецкий биолог I, 223

Гексли Томас Генри (1825–1895), английский биолог I, 515; II, 479

Гелиогабал (Элагабал; наст. имя Марк Аврелий Антонин; 204–222), римский император II, 118

Гелланик (V в. до н. э.), греческий писатель-мифолог III, 250

Геллий Авл (ок. 130–180), римский писатель I, 215; III, 371

Гельдерлин Фридрих (1770–1843), немецкий поэт I, 465; III, 118

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894), немецкий физик, физиолог и психолог II, 723–724

Генрих I (1068–1135), английский король I, 182

Генрих II Плантагенет (1133–1189), английский король II, 705

Георге Стефан (1868–1933), немецкий поэт-символист I, 180, 220; II, 365, 391, 396; III, 646

Георгий Гемист Плифон (ок. 1355 — ок. 1450), византийский мыслитель II, 490

Гераклид Понтийский (?–ок. 310 до н. э.), греческий философ II, 113

Гераклит (VI–V вв. до н. э.), греческий философ I, 38, 179, 349, 435; II, 217, 354, 431, 465, 468, 486, 537, 566, 700; III, 214, 239, 257, 261, 464, 467, 496, 508, 544, 551, 613; IV, 74, 80, 89, 106, 145, 171, 265, 268, 429

Гербарт Иоганн Фридрих (1776–1841), немецкий философ и психолог II, 348

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий писатель, философ и филолог I, 220

Геринг Герман (1893–1946), министр авиации в гитлеровском правительстве, нацистский преступник II, 438–439

Геринг Хуго (1847–1925), немецкий скандинавист I, 330

Германн из Рейхенау (1013–1054), германский хронист II, 466

Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк II, 191; III, 159, 206, 217, 218, 234; IV, 62, 326, 334–335

Герострат (IV в. до н. э.), честолюбивый эфесец, разрушивший храм богини Дианы I, 53

Герреро Маргарита, приятельница и соавтор Борхеса II, 330

Герчунофф Альберто (1883–1949), аргентинский писатель I, 192; III, 39, 384–386

Гершвин Джордж (1898–1937), американский композитор IV, 453

Гесиод (ок. 730 до н. э.–?), древнегреческий поэт I, 349; II, 164, 315; III, 152, 204, 239, 251; IV, 237

Геснер Конрад (1516–1565), швейцарский натуралист и филолог III, 169

Гессе Герман (1877–1962), швейцарский писатель IV, 321–322, 455

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий мыслитель и поэт I, 146, 193–194, 196, 219–220, 386, 458, 521, 526; II, 137, 263, 268, 365, 406, 451, 475–476, 485, 499, 684, 694, 703, 746, 751, 753, 757–758; III, 118, 284, 395, 403, 426, 446, 506, 508, 515, 528, 543, 551, 567, 572; IV, 105, 128, 212, 289, 300, 324, 341, 373, 379

Гиббон Эдуард (1737–1794), английский историк I, 135, 144, 146, 163, 165, 207; II, 238, 327, 398; III, 292, 387–393, 400, 439, 590; IV, 188, 236

Гибер (Гвиберт) *Ножанский* (1053–ок. 1124 или 1130), французский монах, хронист I крестового похода II, 631; III, 437

Гиберт Рита, американская журналистка, переводчик-испанист IV, 434–445

Гигин Юлий (?–ок. 10), латинский ученый, мифограф, библиотекарь III, 191

Гигон Олоф (р. 1912), немецкий историк античности II, 334

Гийом (Вильгельм) *Тирский* (ок. 1130–1186), французский священнослужитель, хронист I крестового похода III, 437

Гилберт Стюарт (1883–1969), английский литературовед и переводчик I, 159, 526

«*Гильгамеш*» (III–II тысячелетие до н. э.), шумерская мифологическая поэма III, 250–251; IV, 347–348

Гильен Альберто (1897–1935), перуанский поэт и прозаик I, 66

Гильен Хорхе (1893–1984), испанский поэт III, 602, 622

Гинзбург Кристиан Дейвид (1831–1914), английский библиист III, 38

Гитлер Адольф (1889–1945), глава нацистского режима в Германии I, 442, 467–468, 508, 529; II, 267, 438–440, 443–445; III, 259, 314; IV, 409–410

Глатцер Нахум Норберт (1903–?), английский гебраист II, 403

Глейзер Мануэль (1889–?), буэнос-айресский издатель I, 494

Гленвилл Джозеф (1636–1680), английский мыслитель II, 333

Гоббс Томас (1588–1673), английский философ и политический мыслитель I, 170, 190; II, 312; III, 619; IV, 194

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), русский писатель IV, 350

Годель Роберто (1900–?), аргентинский поэт III, 50

Годой Хуан Гуаберто (1793–1864), аргентинский поэт и журналист I, 481

Гойенече Роберто Эмилио (?–1925), аргентинский композитор, автор танго I, 85

Гойя-и-Лусьентес Франсиско Хосе де (1746–1828), испанский живописец и график IV, 344

Гоклер Яссу, французский писатель, историк культуры I, 411

Голланд Файлмон (1552–1637), английский литератор, переводчик II, 323

Голланц Виктор (1893–1967), английский писатель и издатель I, 379; III, 588

Голсуорси Джон (1867–1933), английский писатель III, 557

Гольдони Карло (1707–1793), итальянский драматург II, 315

Гомер (VIII в. до н. э.), полубогендарный древнегреческий поэт I, 115, 140, 146, 154, 176, 199–201, 204, 325, 332, 334, 383, 399, 497, 526, 533; II, 106, 207, 210, 214–217, 219–221, 315, 358, 366, 375, 409, 424, 450–451, 456, 504–505, 521, 565, 577, 587, 602, 608, 626, 630, 706, 711, 713, 733, 738, 752; III, 111, 116, 119, 126, 141, 143, 169, 185, 189, 196, 206, 230, 235, 239, 248, 351, 357, 360, 375, 376, 382, 387, 390, 449, 476, 479, 483, 487, 494, 503, 505, 517, 651; IV, 34, 40, 43–47, 52, 58, 63, 105, 122–123, 153, 170, 172–173, 176, 178–182, 191, 237, 252, 264, 267, 268, 270, 271, 297, 324, 348, 359, 373, 419, 421, 444

Гомес Хуан Карлос (1820–1884), уругвайский поэт III, 421

Гомес де ла Серна Рамон (1888–1963), испанский прозаик I, 65–66, 472; III, 573, 617; IV, 343–344

Гомперц Теодор (1832–1912), немецкий филолог, философ-позитивист I, 190; II, 424; III, 222

Гонгора-и-Арготе Луис де (1561–1627), испанский поэт I, 54, 55, 82, 84, 90–92, 130, 176, 334, 405, 505; II, 359, 370, 700, 730; III, 205–206, 428, 449, 619, 620; IV, 56, 91, 164, 183, 193, 260

Гонкур Эдмон де (1822–1896) и Жюль де (1830–1870), французские писатели III, 371

Гонсалес де Салас Хосе Антонио (1588–1654), испанский литератор II, 362

Гонсалес Лануса Эдуардо (1900–1984), аргентинский поэт и эссеист III, 575, 583

Гор Сэмюэл (1880–1959), английский государственный деятель II, 438

Гораций Квинт Флакк (65–8 до н. э.), римский поэт I, 57, 177; II, 397; III, 69, 190; IV, 58, 105, 170, 172, 191, 224, 305, 338, 359

Горгий (485–380 до н. э.), греческий ритор III, 502; IV, 334

Гордон Роберт Кей, английский филолог I, 330; III, 241

Гордон Томас (?–1750), английский священник, писатель и переводчик III, 258

Горький Максим (1868–1936), русский и советский писатель I, 425

Госс Филипп Генри (1810–1888), английский естествоиспытатель и богослов II, 351–354

Госс Эдмунд Уильям (1849–1928), английский писатель, сын Ф. Г. Госса I, 173, 192; II, 352–353

Готорн Натаниел (1804–1864), американский писатель-романтик II, 370–389, 678, 740; III, 163, 441, 559, 586, 593, 602; IV, 311

Готье Теофиль (1811–1872), французский поэт и прозаик IV, 354, 388

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), немецкий писатель-романтик I, 395; II, 385; IV, 416

Грабер Карло (1897–1968), итальянский историк литературы IV, 34, 365, 412

Гране Марсель (1884–1940), французский этнолог-китаист I, 529

Грант Малькольм, английский религиозный публицист IV, 363

Грасиан-и-Моралес Бальтасар (1601–1658), испанский писатель, теоретик искусства I, 55, 127–128, 176, 316, 317; II, 468, 587–588, 685, 749; III, 428, 594, 616, 619; IV, 175, 433

Греве Феликс Пауль (1879–1910), немецкий переводчик I, 372, 374

Грегоровиус Фердинанд фон (1821–1891), немецкий историк II, 195

Грей Захария (1688–1766), английский религиозный писатель III, 251

Грейвс Роберт (1895–1985), английский писатель и переводчик IV, 63, 247, 301–302

Греко Висенте (1888–1924), аргентинский композитор, автор танго I, 117; II, 41, 595; III, 396

Григорий I Великий (ок. 540–604), христианский богослов II, 455

Гризебах Эдуард Рудольф (1845–1906), немецкий писатель, переводчик I, 312; II, 474; III, 79

Грималь Пьер (1912–1996), французский историк и филолог I, 152; III, 230; IV, 302

Гримальди Доменико (1461–1523), итальянский церковный деятель, коллекционер I, 399

Гримм Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859), немецкие филологи и фольклористы I, 407; II, 402; III, 146, 560, 632

Гриммельсхаузен Ханс Якоб Кристоффель (ок. 1621–1676), немецкий писатель III, 143

Грин Жюльен (1900–1998), французский прозаик II, 124; III, 374

Гроссо Альфредо Бартоломе (1867–?), аргентинский историк III, 39

Груссак Поль (1848–1929), аргентинский писатель I, 128–129, 160–162, 384, 388–389, 457–458, 512; II, 367, 385, 536, 666, 679, 717, 730, 734, 740, 742, 751; III, 33, 371, 385, 401, 420, 424, 445, 590, 598, 642, 653; IV, 37, 48, 51, 118–119, 121, 125–126, 295, 298, 352–353, 402

Груссе Рене (1885–1952), французский историк I, 110

Грюнберг Карлос (1903–1968), аргентинский поэт I, 443

Гуиральдес Рикардо (1886–1927), аргентинский поэт и прозаик I, 112, 116, 208–209, 504, 513; II, 317, 356, 450, 452, 466, 555, 679–680, 687, 691, 710–712; III, 50, 86, 367, 418, 436, 536, 569, 584, 585, 609; IV, 37, 388, 434, 437, 443, 456

Гундольф Фридрих (1880–1931), немецкий писатель-эссеист I, 220

Гурмон Реми де (1858–1915), французский писатель, литературный и художественный критик I, 192; II, 679

Гус Ян (1371–1415), идеолог чешской Реформации III, 464

Густав Адольф (1594–1632), король Швеции II, 568

Гутрум (?–890), предводитель датчан в завоеваниях Англии IV, 261

Гутьеррес Эдуардо (1853–1890), аргентинский прозаик I, 531; II, 356, 371, 389, 452, 711; III, 53, 382, 536, 561, 563, 632; IV, 387, 389, 434

Гутьеррес Солана Хосе (1886–1945), испанский художник и писатель I, 64

Гушфар Фарид, американский физик, знакомый Борхеса III, 602

Гэррод Хиткот Уильям (1878–1960), английский историк литературы II, 429–430

Гюго Виктор Мари (1802–1885), французский писатель I, 116, 205; II, 163, 373, 385, 388, 414–415, 457, 476–477, 543, 739, 753; III, 165, 262, 340, 367, 382, 428, 442, 449, 453, 490, 506, 517, 652; IV, 53, 65, 101, 115, 167, 234, 244, 297, 299–300, 338, 353, 378, 396

Гоисманс Шарль Мари Жорж (1848–1907), французский писатель II, 449

Гюйо Жан Мари (1854–1888), французский философ и социолог I, 218

Дабове Сантьяго (1889–1952), аргентинский поэт и прозаик III, 34, 375, 394–396, 427, 434

Дабове Хулио Сесар, друг юности Борхеса, брат С. Дабове II, 665; III, 396, 427, 434

Дальгарно Джордж (1626–1687), английский (шотландский) мыслитель II, 92

Дамаский (между 458 и 462–после 538), греческий философ-неоплатоник III, 250

Дамиани Петр (ок. 1007–1072), итальянский богослов II, 259, 261, 327; IV, 140

Данбар Уильям (1460–1520), шотландский поэт II, 500, 506, 669, 706

Дандоло Энрико (ок. 1105–1205), дож Венеции, участник IV крестового похода IV, 236

Даниэль-Ропс (Анри Петтио; 1901–1965), французский писатель I, 411

Данн Джон Уильям (1875–1949), английский мыслитель I, 218–219; II, 122, 347–350; IV, 49, 65, 363–364

Д'Аннунцио Габриеле (1868–1938), итальянский писатель II, 99; III, 645; IV, 365

Дансейни Эдвард (1878–1957), английский (ирландский) писатель I, 407–408, 419; II, 696; III, 594

Д'Ансон Фоссет Хью (1895–?), английский поэт II, 409

Дантас Хулио (1876–1962), португальский писатель II, 64; III, 433

Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт I, 134, 151, 163, 214, 300, 334, 387, 458; II, 122, 186, 240, 259, 299, 305, 335, 358, 365, 366, 372–373, 448–449, 464–465, 467, 499, 521, 526, 533, 683, 688, 696, 707, 713, 715, 721, 739, 746; III, 141, 158, 160, 185, 194, 199, 218, 251, 252, 487, 491, 513, 518, 522, 528, 530, 567, 590, 593, 622, 645; IV, 31–47, 49, 57–58, 66, 105, 161, 163–206, 250, 275, 288, 297, 313, 318, 348, 360, 365–366, 411–414, 423

Данцель Теодор Вильгельм (1886–1954), немецкий этнограф I, 478

Данэм Лоуэлл (1910–2001), американский латиноамериканист III, 603

Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель I, 216, 480; II, 724, 728; III, 116

Дарио Рубен (1867–1916), никарагуанский лирик-новатор I, 47, 85, 332, 476; II, 730, 734; III, 99, 260, 432, 448, 571; IV, 82, 297, 442

Даути Чарлз Монтегю (1843–1926), английский писатель и путешественник II, 629

Де Вор Николас (1882–?), американский музыковед-фольклорист, популяризатор астрологии и психологии III, 152

Де Вото Бернард Огэстин (1897–1955), американский писатель и журналист I, 501, 503, 532; III, 381

Дезарг Жерар (1591–1661), французский математик и инженер I, 215

Дейссен Пауль (1845–1919), немецкий историк философии I, 312, 346, 515; II, 347–348; III, 389; IV, 83, 102, 432

Декарт Рене (1596–1650), французский ученый и философ I, 190, 440; II, 98–99, 222, 417; III, 161, 249, 513, 521; IV, 134, 426

Де Куинси Томас (1785–1859), английский писатель-романтик I, 135, 199, 214, 219, 323, 353, 391, 396, 431, 438, 449, 462, 495; II, 80, 147, 187, 341, 353, 385, 408, 411, 433, 449, 463, 472, 485, 578, 651, 679, 682, 714, 751; III, 234, 266, 317, 374, 393, 395, 426, 442, 449, 567, 572, 603, 651; IV, 52, 59, 72–73, 123, 197, 334–335, 341–342, 377, 397, 450

Де Милль Сесил Блаунт (1881–1959), американский кинорежиссер I, 369; II, 475

Демокрит (ок. 470 или 460 — ок. 380 или 370 до н. э.), греческий мыслитель I, 215, 348, 514–515; II, 359, 415, 673, 686; III, 512; IV, 126

Демосфен (ок. 384–322 до н. э.), афинский оратор II, 234

Де Санктис Франческо (1817–1883), итальянский историк литературы II, 463; IV, 175, 205, 365

Дефо Даниель (ок. 1660–1731), английский писатель и публицист I, 148, 381, 400, 488, 503; III, 410; IV, 176, 220, 260, 328, 339–340, 396

Дешарм Рене (1881–1925), французский историк литературы I, 196

Джэгард Уильям, английский книгоиздатель XVII в. II, 749

Джэйлс Герберт Аллан (1845–1935), американский востоковед I, 185, 445, 528; II, 332, 382, 493, 498, 683; III, 179

Джеймс Генри (старший) (1818–1882), американский богослов, мыслитель-сведенборгианец, отец Генри и Уильяма *Джеймсов* III, 529; IV, 333, 367

Джеймс Генри (1843–1916), американский писатель I, 202, 435; II, 120, 339–340, 366, 385, 387, 389, 396, 426, 686, 690, 702, 712; III, 31, 66, 127, 163, 374, 423, 529, 531, 586, 593, 603; IV, 176–177, 236, 333, 367, 395, 397

Джеймс (Джемс) Уильям (1842–1910), американский философ и психолог, брат Г. Джеймса I, 173–175, 188–190, 221, 223, 453, 503; II, 104, 431, 465, 696; III, 178, 510, 511, 529, 531, 556, 558, 579; IV, 118, 313, 333, 367–368

Джентиле Джованни (1875–1944), итальянский философ и педагог III, 568

Джерролд Дуглас Уильям (1803–1857), английский писатель II, 715

Джоберти Винченцо (1801–1852), итальянский философ, общественный деятель, либеральный католик IV, 172

Джованни из Витербо (1432–1502), итальянский монах-доминиканец, мыслитель-мистик II, 191

Джод Сирил Эдвин Митчинсон (1891–1953), английский педагог и писатель I, 441–442

Джойс Джеймс (1882–1941), английский (ирландский) писатель I, 159, 177, 197, 202, 305, 364, 383, 396, 405, 464, 473, 517, 525–527, 534; II, 106, 281, 340, 351, 365, 391, 426, 646, 661–662, 730, 757; III, 33, 417, 445, 506, 595, 606, 625; IV, 74, 91, 126, 212, 234–235, 252, 260, 289, 343

Джонс Роберт Эдмонд (1887–1954), американский театральный режиссер IV, 307

Джонсон Бенджамин (1573–1637), английский драматург и актер I, 51, 65, 86; II, 221, 341, 456, 529, 740, 750; III, 441, 442, 449, 485; IV, 377–378

Джонсон Лайонел (1867–1902), английский поэт II, 397

Джонсон Сэмюэл (1709–1784), английский писатель и лексикограф I, 162, 215, 383, 385, 391; II, 120, 337, 383, 385, 398, 468, 698, 719, 739; III, 116, 286, 384, 431, 445, 505, 603; IV, 53, 93, 301, 424–425

Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337), итальянский живописец III, 68, 646

Дзунгри Орестес, аргентинский композитор, автор танго II, 317, 319–320

Дзурлини Валерио (1926–1982), итальянский кинорежиссер IV, 292

Диакор Мелосский (2-я пол. V в. до н. э.), греческий поэт II, 359

Диас де Бейраль Хосе Каэтано, испанский переводчик I, 346

Диас де Солис Хуан (?–1516), испанский мореплаватель I, 95

Дигби Кенельм (1603–1665), английский мыслитель I, 157

Дидро Дени (1713–1784), французский писатель, мыслитель-рационалист III, 269, 384, 490; IV, 361

Дидрон Адольф Наполеон (1806–1867), французский медиевист III, 160; IV, 199

Дижон Клод, французский историк литературы I, 194, 196

Дикинсон Эмили Элизабет (1830–1886), американская поэтесса III, 531, 602; IV, 336, 395, 398

Диккенс Чарлз (1812–1870), английский писатель I, 517, 528, 532; II, 393, 402, 406, 450–451, 756; III, 383, 410, 415, 533, 534, 542, 557, 560, 645; IV, 333, 384, 397

Диамант Дора (1898–1952), спутница Кафки в его последние годы III, 405

Диоген Лаэртий (1-я пол. III в.), древнегреческий писатель I, 435

Диодор Сицилийский (ок. 90–21 до н. э.), эллинистический историк II, 526; III, 191

Диоклетиан (243–313 или 316), римский император II, 207

Дионисий Ареопагит, имя, приписанное автору четырех христианско-неоплатонических трактатов конца V–начала VI вв. I, 80; II, 456

Дионисий Галикарнасский (I в. до н. э.), греческий историк II, 706

Диоскурид Педаний из Аназарба (2-я пол. I в.), римский врачеватель и фармаколог III, 196

Диофант Александрийский (III в.), греческий математик I, 439; II, 293

Дитрих Марлен (1901–1992), немецкая и американская киноактриса I, 401

Д'Овидио Франческо (1849–1883), итальянский писатель и филолог IV, 175

Доддс Эрик Робертсон (1893–1979), английский (ирландский) поэт, историк античности I, 312

Доде Альфонс (1840–1897), французский прозаик II, 100; IV, 352

Доил Артур Конан (1859–1930), английский писатель I, 409, 497; II, 66, 762; III, 409, 536, 604, 654

Св. Доминик (в миру Доминик де Гусман; 1170–1221), испанский религиозный деятель, основатель ордена доминиканцев IV, 199

Домициан Тит Флавий (51–96), римский император II, 409

Донн Джон (1572–1631), английский поэт I, 133–134, 176, 300, 375; II, 337, 351, 373, 408–411, 482–483; III, 516; IV, 140

Донской Марк Семенович (1901–1981), советский кинорежиссер I, 225

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), русский писатель I, 57, 129, 424; II, 261, 706; III, 163, 260, 372, 399, 440, 572, 584, 632; IV, 184–185, 303–304, 350, 416, 440

Драйден Джон (1631–1700), английский поэт и драматург I, 86; II, 456; IV, 118

Драйзер Теодор (1871–1945), американский романист II, 698
Драуэр Этель Стивенс (1879–1972), английский востоковед I, 429–430

Дрейтон Майкл (1563–1631), английский поэт и драматург II, 316

Дрие ла Рошель Пьер (1893–1945), французский писатель II, 84; III, 653

Дроктульф, лангобардский воин, погибший при осаде Равенны II, 238–241

Дуарте Ибаргурен Мария Эва (1919–1952), супруга *Х.Д. Перона* II, 513, III, 596

Духовны Леон (1899–?), аргентинский правовед, философ, переводчик IV, 114

Дэвидсон Мартин, английский физик и математик I, 221–223

Дэвис Генри Эдвардс (1756–1784), английский историк III, 391

Дэзент Джордж Уэбб (1817–1896), английский скандинавист I, 330

Дэмпси Джек (1895–1983), американский боксер-тяжеловес III, 428

Д'Эрбело Бартелеми (1623–1695), французский ориенталист II, 449

Дэрден Бэзил (1911–1971), английский кинорежиссер IV, 394

Дю Белле Жоашен (1522–1560), французский поэт II, 364

Дювернуа Анри (1875–1937), французский писатель I, 406

Дюкан Максим (1822–1894), французский писатель IV, 324

Дю Канж Шарль (1610–1688), французский эрудит, лексикограф II, 198

Дюма Александр (1802–1870), французский писатель II, 469; III, 275; IV, 387, 416

Дюмениль Рене (1879–1967), французский историк литературы I, 193–194

Дюрер Альбрехт (1471–1528), немецкий живописец и график II, 538, 663–664; III, 68

Дюртен Люк (1881–1959), французский писатель II, 98

Едем Родосский (2-я пол. IV в. до н. э.), греческий философ I, 339

Евклид (III в. до н. э.), греческий математик I, 215, 399, 440; III, 336; IV, 60, 249, 305

Еврипид (ок. 480–406 до н.э.), греческий драматический поэт III, 447; IV, 101

Елизавета I (1533–1603), английская королева II, 739, 741; III, 516; IV, 177

Елизавета Богемская (1618–1680), пфальцграфиня рейнская, принцесса Богемии IV, 134

Жак де Витри (ок. 1170–1240), французский священник и хронист III, 438

Жакоб Макс (1876–1944), французский писатель и художник-авангардист I, 65

Жан-Поль (Иоган Пауль Фридрих Рихтер; 1763–1825), немецкий писатель III, 400, 403, 404, 567; IV, 341, 377

Жанна д'Арк (ок. 1412–1431), национальная героиня Франции IV, 261

Жербийон Жан Франсуа (1631–1707), французский иезуит, миссионер II, 345

Жеффруа Гюстав (1855–1926), французский историк и писатель I, 524

Жид Андре (1869–1951), французский писатель I, 228, 354, 372; II, 376; III, 654; IV, 299–300, 346

Жиклинский Симон (1902–?), жевевский приятель и одноклассник Борхеса III, 263, 566, 608

Жип (Сибиль Габриэль Мари Антуанет де Рикети де Мирабо, графиня де Мартель де Жанвиль; 1849–1932), французская писательница II, 692; III, 383

Зангвилл Исраэль (1864–1926), английский писатель I, 431; II, 293; III, 538; IV, 329

Зеннер Уолли, аргентинская поэтесса II, 278

Зенон (ок. 490–430 до н. э.), греческий философ I, 169, 172, 175, 184–187, 189, 191, 215, 414, 435–436, 439, 529; II, 99, 178, 421, 479, 631, 696; III, 113, 120, 346, 407, 494, 546, 548, 549, 558, 608, 649; IV, 74

Зера бен Натан (1578–?), еврейский каббалист III, 158

Зёргель Альберт (1880–1958), немецкий литератор II, 265–266, 469

Золя Эмиль (1840–1902), французский писатель I, 57, 196; II, 384; IV, 295

Зонтаг Сьюзен (р. 1933), американская писательница IV, 395–399

Зотенберг Эрманн (1836–?), французский востоковед I, 373; II, 278, 284

Зухайр (530?–628?), арабский поэт II, 274–275

Иаков Ворагинский (ок. 1230–1298), итальянский писатель-агиограф II, 352; III, 209

Ибарра Нестор (1907–1986), аргентинский литератор, пере-

водчик I, 343; II, 83; III, 377, 576, 601; IV, 408

Иберра Хуан (конец XIX в.), буэнос-айресский головорез II, 594; III, 35–36, 288

Ибн Аби Тахир Тайфур (819 или 820–893), арабский писатель I, 274, 276–277

Ибн ан-Надим (?–995), арабский филолог I, 367

Ибн Гебируль Соломон (1021–1055 или 1070), испано-еврейский поэт, мыслитель-неоплатоник I, 399

Ибн Кутайба ад-Динавари (828–ок. 899), арабский писатель II, 271

Ибн Сиды (1006?–1066), арабский филолог II, 270

Ибн Туфейль (1116–1185), ученый и философ мусульманской Испании I, 296

Ибн Хальдун (1332–1406), арабский философ, историк, политический мыслитель II, 326

Ибн Шараф (1000–?), арабский писатель II, 275–276

Ибн Эзра Авраам бен Мейр (1089 или 1092–1164 или 1167), еврейский мыслитель и поэт I, 399; II, 181

Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург I, 193; II, 402, 476, 739, 756–757, 759; III, 239, 267, 280; IV, 37, 126, 176, 293–294, 393

Иваск Ивар (1927–1992), американский латиноамериканист III, 603

Идальго Бартоломе (1788–1822), уругвайский поэт I, 111, 204–205; II, 711

Иден Энтони (1897–1977), британский политик–консерватор II, 438

Идиарте Борда Хуан (1844–1897), президент Уругвая III, 104, 325–326

Иероним Стридонский (ок. 342–420), раннехристианский отшельник и писатель, переводчик Библии III, 151, 211, 250; IV, 199

Инар (?–456 до н. э.), египетский фараон IV, 334

Инграо Эктор, американский испанист III, 602

Инхеньерос Сесилия, знакомая Борхеса, дочь Х.Инхеньероса II, 207, 327; III, 360

Инхеньерос Хосе (1877–1925), аргентинский ученый, общественный деятель III, 360, 427

Иоанн Дамаскин (ок. 675–ок. 779), византийский теолог и поэт II, 233

Иоанн Скот Эриугена (ок. 810–ок. 877), средневековый мыслитель-неоплатоник I, 136, 195, 305–306; II, 444, 456, 466, 470, 472, 714; III, 158; IV, 32, 89, 110, 153, 234, 412

Иордан (ок. 485–?), готский историк II, 713

Иосиф Флавий (37–ок. 100), римский историк II, 195; III, 195

Ипполит Римский (ок. 170–ок. 236), церковный деятель и писатель II, 186

Ирвинг Вашингтон (1783–1859), американский писатель-романтик II, 371

Иргойен Иполито (1852–1933), государственный и политический деятель Аргентины I, 96; II, 200; III, 430

Ириней Лионский (ок. 130–ок. 200), раннехристианский церковный писатель I, 134, 137, 139, 292–293, 299, 301, 429; II, 186, 471

Исааксон Хосе (р. 1922), аргентинский писатель, публицист IV, 426

Исидор Севильский (ок. 570–636), латинский писатель-эрудит III, 149, 160, 172, 182

Истмен Манк (1873–1920), нью-йоркский гангстер I, 256–262; III, 587

«*Исход*» (начало VIII в.), англосаксонская поэма II, 707

Иустин Мученик (II в.), христианский апологет II, 186

«*Ицзин*», памятник старокитайской ритуальной словесности I, 332, 440; II, 417, 499; III, 116, 170, 361, 464

Йейтс Уильям Батлер (1865–1939), английский (ирландский) поэт, прозаик, драматург I, 176, 416; II, 163, 189, 242, 365, 391, 431, 543, 728; III, 126, 163, 247, 425; IV, 46, 234, 289

Кабрера Херонимо Луис (?–1574), испанский конкистадор II, 708; IV, 422

Кавальери Бонавентура (1598–1647), итальянский математик II, 134

Казанова Джованни Джакомо (1725–1798), итальянский авантюрист и писатель IV, 315

Казвини Хамдаллах Мостоуфи (1281–ок. 1350), иранский историк и географ III, 164, 172, 199, 224, 229

Казини Томмазо (1859–1917), итальянский историк литературы III, 194; IV, 175, 179, 195, 204

Калас Жан (1698–1762), французский протестант, сожжен по ложному обвинению III, 385

Калигула (Гай Цезарь Германик, 12–41), римский император III, 117, 220

Калиостро Александр (1743–1795), итальянский авантюрист II, 428

Калоджеро Гвидо (1904–1986), итальянский историк античной мысли II, 334

Кальвин Жан (1509–1564), французский религиозный реформатор I, 304; III, 565; IV, 74, 185, 242, 367

Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681), испанский драматический поэт II, 393, 476; III, 506; IV, 51, 410–411

Камбасерес де Альвеар Мариана, знакомая Борхеса, мать писательницы Э. де Альвеар II, 316

Камознс Луис де (1524 или 1525–1580), португальский поэт I, 176; II, 554, 738; III, 119, 367, 369, 598

Кампанелла Томмазо (1568–1639), итальянский философ и писатель II, 336

Кампильо Карлос дель (1889–?), аргентинский юрист и правовед III, 597

Кампо Эстанислао дель (1834–1880), аргентинский поэт I, 63, 84, 111, 159, 204–205, 483, 503, 532; IV, 248, 354

Кан Гюстав (1859–1936), французский поэт II, 397

Кангранде делла Скала см. *Скала* Кангранде делла

Кане Мигель (1851–1905), аргентинский писатель, журналист, дипломат III, 589

Каннингем Грэм Роберт Бонтайн (1852–1936), английский (шотландский) писатель I, 486; II, 454

Кансела Артуро (1892–1956), аргентинский писатель I, 372

Кансинос-Ассенс Рафаэль (1883–1964), испанский писатель, переводчик I, 57–60, 358; II, 341, 354; III, 428, 454, 571–573, 577, 609, 610, 614–617, 631, 632, 645; IV, 67, 72–73, 101, 418, 438–439

Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ I, 125, 191, 227; II, 123, 411, 431, 465; III, 162, 520, 566; IV, 126, 367

Канто Эстела (1919–1994), аргентинская писательница II, 312; IV, 454

Кантор Георг (1845–1918), немецкий математик I, 190, 336, 338, 439; II, 325; III, 516; IV, 159

Канту Чезаре (1804–1895), итальянский политический деятель, историк II, 46

Капдевила Артуро (1889–1967), аргентинский поэт и эссеист I, 372; III, 651

Капелле Вильгельм (1871–1961), немецкий историк филологии, переводчик I, 113, 184, 435–436

Капила (VI в. до н. э.), индийский мыслитель III, 233

Капоне Аль (1899–1947), американский гангстер I, 237, 258

Кардуччи Джозуэ (1835–1907), итальянский поэт IV, 91–92

Карл I (1600–1649), английский король III, 86, 598; IV, 124

Карл II (1630–1685), английский король, сын Карла I IV, 124

Карл II Лысый (823–877), король Западно-Франкского королевства I, 305

Карл V (1500–1558), император Священной Римской империи, испанский король I, 233

Карл XII (1682–1718), шведский король II, 244; III, 104, 520, 521, 529; IV, 361

Карл Великий (742–814), император франков IV, 64

Карл Людвиг (1617–1680), курфюрст пфальцский II, 416

Карлейль Джон Эйткен (1801–1879), английский литератор, переводчик Данте, брат Т. Карлейля III, 590; IV, 33, 411

Карлейль Томас (1795–1881), английский писатель и публицист I, 442; II, 77, 341, 367, 369, 393, 428, 441–442, 446, 477, 490, 702, 725, 742–743; III, 39, 258, 273, 277, 318, 368–369, 393, 397–404, 528, 566–568, 583, 642, 651; IV, 34, 39, 260, 310, 350, 411

Карлос II (1661–1700), испанский король II, 696–697

Карпантье Жорж (1894–1975), французский боксер III, 428

Карпаччо Витторе (ок. 1455 – ок. 1526), итальянский живописец IV, 236

Карпентер Эдвард (1844–1929), английский писатель I, 218, 478

Карпократ (II в.), александрийский гностик I, 137; II, 186, 234

Карр Джон Диксон (1906–1977), англо-американский писатель I, 431–432, 674

Карр Роберт (1590?–1645), английский государственный деятель II, 408

Карриль Аделина дель (1889–1967), аргентинская писательница I, 504

Каррисо Антонио, аргентинский журналист IV, 420–433

Каррьега Эваристо (1883–1912), аргентинский поэт I, 89, 103,

483; II, 480, 745; III, 55, 416, 556, 582, 583, 608, 641; IV, 386, 389

Каскалес Франсиско (1564–1642), испанский писатель I, 91, 176

Каснер Эдвард (1878–1955), американский математик I, 215; IV, 305–306

Кассу Жан (1897–1986), французский поэт, критик, переводчик I, 505

Кастильехо Крестобаль дель (ок. 1490–1556), испанский поэт I, 84

Катиби Туршизи (?–1434 или 1436), персидский поэт II, 694; IV, 196

Катон Марк Порций (Младший) (95–46 до н. э.), римский политик-республиканец, философ-стоик II, 409; III, 400

Катриэль Сиприано (2-я пол. XIX в.), вождь одного из индейских племен Ла-Платы II, 198; III, 557; IV, 65

Катулл Гай Валерий (87 или 84–ок. 54), римский поэт I, 333

Каули Абрахам (1618–1667), английский поэт II, 120

Каули Малколм (1898–1989), американский литературный критик II, 380

Кафка Франц (1883–1924), австрийский прозаик I, 184, 296, 376, 413–414, 424; II, 116, 356, 358, 380–381, 402–403, 421–423, 696–697, 702; III, 31, 127, 154–155, 174–175, 207–208, 335, 368, 374, 405–408, 591; IV, 289, 292, 349, 350

Каччагвида (1091–1147), прапрадед Данте Алигьери IV, 180

Каюа Роже (1913–1978), французский мыслитель, писатель, переводчик II, 677–678; III, 601, 652; IV, 404

Квинтилиан Марк Фабий (35–100), римский писатель I, 54; II, 341; III, 206

Кеведо-и-Вильегас Франсиско (1580–1645), испанский поэт и прозаик I, 54, 76, 115–116, 164, 315, 367, 387, 423, 458, 471, 502, 505, 526; II, 96, 98–99, 104, 358–365, 370, 406, 410, 451, 518, 542, 547, 698, 730, 749; III, 33, 118, 149, 218, 221, 309, 417, 425, 426, 435, 445, 507, 580, 619, 628, 640; IV, 37, 94–97, 100, 102, 141, 177, 361, 429, 448

Кейн Джеймс (1892–1977), американский прозаик, автор «крутых» детективов III, 382

Кекстон Уильям (ок. 1422–1491), английский первопечатник, писатель, переводчик III, 209

Келлер Готфрид (1819–1890), швейцарский писатель III, 118

Кемниц Мартин (1522–1586), немецкий богослов II, 190

Кемп Смит Норман (1872–1958), английский историк философии II, 479

Кеннеди Джон Фицджералд (1917–1963), 35-й президент США II, 568

Кеннеди Милуорд (1894–1968), английский писатель, автор детективной прозы II, 678

Кеплер Иоганн (1571–1630), немецкий астроном и писатель-утопист II, 412; III, 178, 370–371

Кетпен Карл Фридрих (1808–1863), немецкий индолог II, 460, 462

Кер Уильям Пейтон (1855–1923), английский историк литературы II, 709, 711, 717

Керинф (I в.), александрийский гностик I, 137

Керк Роберт (1641?–1692), шотландский священник и фольклорист III, 247

- Керн* Хендрик (1833–1917), нидерландский индолог III, 201
- Кесада* Хосе (1885–1958), аргентинский писатель III, 430
- Кибби* Перл, американская исследовательница итальянского Ренессанса I, 499
- Кид* Томас (1557–1595), английский драматург II, 746–747
- Кингсли* Чарлз (1819–1875), английский священник и писатель II, 354
- Киньонес* Фернандо (1930–1998), испанский поэт, прозаик, драматург III, 616
- Киплинг* Джозеф Редьярд (1865–1936), английский поэт и прозаик I, 57, 115, 148–149, 207, 212, 326, 332, 383, 402–405, 504, 533–535; II, 307, 356, 396, 401, 450, 712; III, 31, 339, 362, 383, 414, 536, 586, 588, 594, 621, 631, 632, 652; IV, 65, 102, 218–219, 245, 301, 326, 337–338, 421, 428, 431
- Кир Великий* (558–529 до н.э.), основатель персидской державы II, 152
- Кирико* Джорджо де (1888–1978), итальянский живописец III, 646; IV, 320
- Кирилл Иерусалимский* (ок. 315–387), христианский проповедник и писатель III, 218
- Кирога* Орасио (1878–1937), уругвайский писатель IV, 91
- Кирога* Хуан Факундо (1790–1835), аргентинский военный и политический деятель I, 70–71, 468; II, 515–517; III, 228, 418, 421
- Кирхер* Атанасиус (1601–1680), немецкий священник, ученый-эрудит I, 417, 485
- Китс* Джон (1795–1821), английский поэт I, 396; II, 342, 385, 429–432, 529, 745, 764; III, 105, 189, 347, 558, 561, 608; IV, 211, 299, 336, 350, 389
- Кишера* Луи (1799–1884), французский латинист I, 153; II, 150–151; III, 230, 258
- Клавдиан* Клавдий (ок. 375–?), латинский поэт III, 181, 218
- Клавдий* (Тиберий Клавдий Нерон Германик; 10 до н. э.–54 н. э.), римский император III, 185
- Клайв* Роберт (1715–1784), британский чиновник, первый губернатор Бенгалии I, 124; III, 361; IV, 326
- Клаузевиц* Карл фон (1780–1831), прусский военачальник и военный теоретик II, 161
- Клебер* Фридрих (1863–?), американский историк древнеанглийской словесности III, 318
- Клее* Пауль (1879–1940), швейцарский живописец IV, 280, 320, 454
- Клемансо* Жорж (1841–1929), французский политический и государственный деятель IV, 352
- Клементе* Хосе Эдмундо (р.1918), аргентинский библиограф, историк литературы III, 597
- Клемм* Вильгельм (1881–1968), немецкий поэт I, 332
- Клер* Рене (1898–1981), французский кинорежиссер I, 386
- Климент Александрийский* (ок. 150–ок. 215), раннехристианский богослов и писатель II, 335, 425; III, 384, 503; IV, 179
- Клодель* Поль (1868–1955), французский поэт и драматург I, 513; III, 379, 590; IV, 31, 165, 299, 412
- Клотц* (Клоотс) Анахарсис (наст. имя Жан-Батист; 1755–1794), философ-просветитель, деятель Французской революции III, 273, 277

«Книга мертвых» (XV в. до н. э.), древнеегипетский памятник культовой словесности II, 471; III, 215

«Книга обрядов» («Ли Цзи»), один из основополагающих текстов конфуцианства II, 278, 332

Коваррубиас-и-Ороско Себастьян де (1539–1613), испанский писатель I, 52

Кодама Мария (р. 1946), аргентинская писательница, жена и соавтор Борхеса III, 473; IV, 85, 131, 231, 239, 247, 248, 250, 259, 268, 283, 424, 428

Кожибский Альфред (1879–1950), американский философ I, 121, 123

Кокс Уильям Томас (1878–1961), американский натуралист III, 231–232

Колвин Сидни (1845–1927), английский литературный критик II, 429

Колдуэлл Эрскин (1903–1986), американский прозаик III, 382

Коликео Симон (возможно, Хусто Коликео; ?–1871), вождь одного из индейских племен Ла-Платы III, 557

Коллинз Уильям (1788–1847), английский живописец, отец писателя У.У.Коллинза III, 410

Коллинз Уильям Уилки (1824–1889), английский писатель I, 376, 496; II, 678, 703; III, 409–410, 540, 542, 645

Колридж Сэмюэл Тейлор (1772–1834), английский поэт-романтик I, 105, 151, 187, 353, 358, 449–450; II, 102, 338–340, 342–346, 431, 457, 465, 531, 704, 719, 732, 748, 753, 760–762; III, 262, 339, 392, 411, 444, 446, 508; IV, 37, 55–56, 64, 72, 123, 241, 307, 310, 327, 335, 350, 446, 448

Колумб Христофор (1451–1506), испанский мореплаватель III, 529

Колумелла Луций Юний Модерат (I в.), римский агроном и писатель III, 195

Колуччо Феликс (р. 1911), аргентинский фольклорист и лексикограф III, 227

Кольер Фред (1888–1938), американский киноактер IV, 393

Конде Хосе Антонио (1762–1820), испанский историк I, 159

Конделл Генри (?–1627), английский актер, товарищ Шекспира III, 441

Кондильяк Этьен Бонно де (1715–1780), французский философ II, 480, 495; III, 161, 236

Кондорсе Жан Антуан Никола, маркиз (1743–1794), французский философ и математик I, 349; II, 164

Коннингтон Дж. Дж. (Алфред Уолтер Стюарт; 1880–1947), английский писатель, автор детективных произведений II, 678

Конрад Джозеф (1857–1924), английский писатель I, 75; II, 257, 366, 376, 385, 407, 757; III, 260, 586, 630, 631, 640, 645; IV, 242, 279, 318–319, 333, 396–397

Конрад Карл Густав (1881–?), немецкий скандинавист I, 317

Консельейру Антониу (ок. 1850–1897), бразильский проповедник, бунтарь II, 189

Константин I Великий (272–337), римский император III, 387

Константин XI (1403–1453), последний византийский император III, 391

Конфуций (ок. 551–479 до н. э.), древнекитайский мыслитель II, 279, 331, 383, 499; III, 166–167, 170, 173, 247, 446

Коперник Николай (1473–1543), польский астроном II, 336, 412; IV, 231

«*Коран*» (VII в.), священная книга ислама I, 333, 367; II, 179, 270, 272, 276, 293, 383, 393, 426, 510; III, 101, 146, 503, 504, 508; IV, 107, 133, 186, 422

Корде д'Армон Шарлотта (1768–1793), французская аристократка, убийца Ж.П.Марата III, 336

Кордова Итурвуру Каэтано (1899–?), аргентинский литератор, историк культуры III, 138

Корелли Мария (1855–1924), английская писательница I, 531; III, 382

Корнель Пьер (1606–1684), французский драматический поэт I, 462–463

Кортасар Хулио (1914–1984), аргентинский писатель IV, 281–282, 438–439

Косьма Индикоплевст (Инди-коплов; VI в.), византийский купец, путешественник I, 400; II, 232

Коттер Моррисон Джеймс, английский литератор III, 391

Коуту Дьего де (1542–1616), португальский историк II, 460

Кох Макс (1855–1931), немецкий филолог I, 221

Кренер, семейство немецких книгоиздателей I, 221

Кристи Агата (1890–1976), английская писательница II, 120, 690

Кромвель Оливер (1599–1658), вождь Английской революции II, 383, 442, 546; III, 265, 399

Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921), русский ученый, революционер, теоретик анархизма III, 394

Кроуфорд Джоан (1908–1977), американская киноактриса I, 154

Кроче Бенедетто (1866–1952), итальянский философ I, 143, 331; II, 238, 240, 333, 372–374, 463–464, 568; III, 531; IV, 33, 90, 92, 171, 175, 183–184, 365

Ксенофан Колофонский (ок. 570–после 478 до н. э.), древнегреческий мыслитель и поэт I, 435; II, 334, 413; IV, 166

Ксиргу Маргарита (1888–1969), испанская актриса II, 59

Ктесий Книдский (ок. 400 до н. э.), придворный врач царя Артаксеркса II, писатель III, 171, 187, 197

Кун Франц (1889–1961), немецкий китаист I, 423, 445; II, 418

Кунья Эуклидис да (1866–1909), бразильский историк и писатель II, 189

Куроч Бернард (1819–1899), английский издатель и книготорговец II, 81

Купер Джеймс Фенимор (1789–1851), американский прозаик II, 371

Кураноскэ Оиси (?–1704), японский самурай I, 269–273

Кустодио Вега Анхель (1894–1973), испанский историк и переводчик I, 312

Кьеркегор Серен (1813–1855), датский мыслитель I, 414; II, 422; III, 399, 407; IV, 112–113, 331–332

Кэдмон (VII в.), англосаксонский поэт II, 343–344; III, 339, 411

Кэнби Генри Сейдел (1878–1961), английский филолог и педагог I, 178

Кэри Уолтер Клайд (1887–1967), английский историк литературы IV, 164

Кэрролл Льюис (1832–1898), английский писатель и математик I, 189, 516; II, 77, 107, 387; III, 252, 368, 411–414, 560; IV, 70

Кювье Жорж (1769–1832), французский зоолог III, 183

Кюжа Жак (1522–1590), французский правовед IV, 352

Кюльман Ульрика фон (1911–1997), знакомая Борхеса II, 238, 259

Кюневульф (VIII–IX в.), англосаксонский поэт II, 707–708

Кюршо С. см. *Неккер С.*

Лавалье Хуан Гало (1797–1841), аргентинский военачальник II, 242; III, 60, 419

Лавкрафт Говард Филиппс (1890–1937), американский писатель III, 285, 336, 372

Лаис (V–IV в. до н. э.), греческая куртизанка II, 281

Лайамон (XII–XIII вв.), англосаксонский поэт II, 705–709

Лайелл Чарлз (1797–1875), английский естествоиспытатель II, 353

Лактанций Целий Фирмиан (240–320), латинский поэт и прозаик, христианский апологет III, 218

«*Лалитавистара-пурана*», священная книга центральноазиатского буддизма II, 461

Лалу Рене (1889–1960), французский эссеист и литературный критик III, 438

Ламартин Альфонс (1790–1869), французский поэт-романтик IV, 183

Ламприер Джон (1765–1824), английский лексикограф I, 153, 199; III, 191, 230, 562

Ланге Нора (1906–1972), аргентинская писательница I, 329; III, 575, 584

Лао-цзы (Ли Боян, Ли Эр; IV–III вв. до н. э.), китайский мыслитель, автор «Дао дэ цзин» I, 348; II, 90, 331; III, 139, 170

Лаплас Пьер Симон (1749–1827), французский ученый I, 219, 222; II, 352; III, 520; IV, 185

Лаппенберг Иоганн Мартин (1794–1865), немецкий историк литературы III, 304

Лаприда Франсиско Нарсисо де (1780–1829), аргентинский военный и политический деятель II, 575–576; III, 114, 559

Лаприда Эусебио (1829–1898), аргентинский военачальник II, 243; III, 114

Ларбо Валери (1881–1957), французский поэт и прозаик III, 367

Ларко Хорхе (1899–1967), аргентинский живописец IV, 454

Ларрета Энрике Родригес (1873–1961), аргентинский прозаик I, 18; II, 103, 692; III, 430

Ларусс Пьер (1817–1875), французский лексикограф и издатель III, 276

Лас Касас Бартоломе де (1474–1566), испанский историк, миссионер I, 233

Лассвиц Курт (1848–1910), немецкий мыслитель и писатель I, 514, 516; II, 77, 467

Латини Брунетто (1220?–1294), итальянский ученый–эрудит, наставник Данте III, 138

Лаури Уолтер (1868–1959), американский историк философии, переводчик II, 422

Лафинур Кармен, сестра Х.К.Лафинура IV, 384

Лафинур Хуан Крисостомо (1797–1824), аргентинский поэт и философ II, 314, 480; III, 67, 464, 561; IV, 352, 384

Лафонтен Жан де (1621–1695), французский поэт и драматург, сказочник и баснописец I, 131, 375, 429; III, 414

Лафорг Жюль (1860–1887), французский лирик-символист IV, 297

Лайтон Чарлз (1899–1962), английский и американский киноактер IV, 357

Леандро Ипуче Педро (1889–1976), уругвайский прозаик II, 148

Лебон Гюстав (1841–1931), французский философ и социолог I, 523

Лёв бен Бецалель Иегуда (1512–1609), раввин Чешского королевства, каббалист, легендарный создатель Голема II, 591–592; III, 159

Левисон Людвиг (1882–1955), американский историк литературы II, 385, 389; III, 381

Левкитт (V в. до н. э.), греческий философ I, 514; II, 77

Легуи Эмиль Ясент (1861–1937), французский историк английской словесности II, 705

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ и ученый I, 188, 190, 215, 227, 440, 453, 465, 516 II, 84, 98–99, 163, 349, 398, 414, 417, 481, 499; III, 550; IV, 112, 251, 359, 361

Лейзеганг Ганс (1890–1951), немецкий историк философии, исследователь гностицизма III, 292

Лейн Эдвард Уильям (1801–1876), английский арабист I, 80, 352, 354–358, 362–364, 364–368, 376; II, 277; III, 90, 164, 202,

216–217, 229, 258, 397, 572, 586, 631; IV, 67, 72–73, 342, 387

Лейсден Иоганн (1624–1699), нидерландский богослов II, 172, 177

Лейф Эриксон (X–XI вв.), исландский викинг, сын *Эйрика Рыжего* II, 714; IV, 139, 182

Леконт де Лиль Шарль (1818–1894), французский поэт-неоклассик II, 730; III, 279, 514

Ле Корбюзье Шарль Эдуар (1887–1965), французский архитектор и градостроитель III, 595

Ленин Владимир Ильич (1870–1924), вожь русской революции, основатель и глава советского государства II, 441

Лентино Джакомо да (между 1180 и 1190–ок. 1250), итальянский поэт II, 584

Леон Луис Понсе де (1527–1591), испанский религиозный мыслитель и писатель-мистик I, 79, 479; II, 455; III, 116, 145, 367; IV, 126–127, 316–317

Леонардо да Винчи (1472–1519), итальянский живописец, скульптор, ученый III, 172, 211, 212, 223, 520

Леонардо Пизанский (1180–1240), итальянский математик I, 399

Леру Гастон (1868–1927), французский журналист и писатель I, 431; III, 538, 654

Лесаж Ален Рене (1668–1747), французский писатель II, 66; IV, 71

Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий писатель-просветитель I, 220, 332; II, 679; IV, 358

Летелье Шарль Луи Огюстен (1801–?), французский языковед II, 417

Ли Роберт Эдуард (1807–1870), американский генерал II, 635; IV, 140

«*Ли Цзи*» см. «*Книга обрядов*»

Ливий Тит (59 до н. э.–17 н. э.), римский историк III, 639

Ливис Фрэнк Реймонд (1895–1978), английский литературный критик и публицист II, 429–430

Лид Джейн (1623–1704), английская духовидица III, 158, 238

Лида Раймундо (1908–1979), аргентинский историк испаноязычных литератур III, 602

Лидбетер Чарлз Уэбстер (1847–1934), английский мыслитель-эзотерик I, 218

Лиддел Гарт Бэзил Генри (1895–1970), английский военный историк I, 215; II, 135

Ликофрон (III в. до н. э.), греческий поэт и филолог I, 323, 332; III, 181

Лилиенкрон Детлев фон (1844–1909), прусский офицер, немецкий неоромантический писатель IV, 142

Линкольн Авраам (1809–1865), 16-й президент США I, 233; II, 166, 568; III, 130

Линьерс-и-Бремон Сантьяго (1753–1810), государственный и военный деятель Ла-Платы IV, 353

Липпи Фра Филиппо (ок. 1406–1469), итальянский живописец III, 646

Липсий Юст (1547–1606), нидерландский филолог II, 341

Литтман Энно (1875–1958), немецкий ориенталист I, 358, 365, 367–368, 370, 372–375, 377; IV, 72–73

Литтре Эмиль (1801–1881), французский филолог, философ-позитивист III, 228

Лихтанберже Анри (1864–1941), французский философ I, 524

Лихтенберг Георг Кристоф (1742–1799), немецкий писатель II, 483

Лойола Игнатий (1491?–1556), испанский религиозный деятель I, 84

Локк Джон (1632–1704), английский философ II, 154, 431–432, 465, 480; III, 464, 513

Ломбарди Франческо Бонавентура, итальянский комментатор Данте IV, 199

Ломброзо Чезаре (1835–1909), итальянский психиатр и криминалист II, 46

Ломон Шарль-Франсуа (1727–1794), французский филолог-латинист II, 150

Лонарди Эдуардо (1906–1956), военный и государственный деятель Аргентины III, 597

Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807–1882), американский поэт II, 372, 613, 643; III, 209, 382, 560, 602; IV, 46, 181, 206

Лопес Висенте Фидель (1815–1903), аргентинский историк и правовед III, 590

Лопес Веларде Рамон (1888–1921), мексиканский поэт I, 513; IV, 297

Лопес де Меса Луис Карлос (1883–1950), колумбийский поэт I, 47

Лопес де Сегура Руй (XVI в.), испанский шахматный теоретик II, 98

Лопес-и-Планес Висенте (1784–1846), аргентинский военный и политик II, 242

Лопес Хордан Рикардо (1822–1889), аргентинский военачальник I, 109; III, 556

Лорбер Якоб (1800–1864), австрийский теософ, музыкант и педагог III, 150

Лотце Рудольф Герман (1817–1881), немецкий философ и естествоиспытатель I, 188; II, 495, 696; III, 162

Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930), английский поэт и прозаик II, 389

Лоуренс Томас Эдуард (Лоуренс Аравийский; 1888–1935), английский разведчик и писатель II, 186, 478; III, 593

Лоуэлл Эми (1874–1925), американская поэтесса, литературный критик II, 430

Лоуэс Джон Ливингстон (1867–1945), американский историк II, 345

Лугонес Аргуэльо Леопольдо (1874–1938), аргентинский поэт и прозаик I, 48, 58, 85, 112, 128, 203, 322, 327, 331, 386, 456, 512–513; II, 359, 397, 450, 452, 503, 523, 542, 666, 679–680, 688, 697, 711, 730, 734; III, 50, 67, 99, 194, 249, 340, 375, 381, 385, 396, 417, 419, 427, 430, 432, 436, 445, 448, 508, 518, 564, 569, 581, 582, 598, 602, 610, 611, 616, 618, 631, 642; IV, 37, 41, 68, 297–298, 312, 389, 419, 439, 442, 443–444

Луис Пьер (1870–1925), французский писатель IV, 299

Лука Марк Анней (39–65), римский эпический поэт I, 176; II, 361, 366, 631; III 138, 141, 148–149, 290, 400; IV, 58, 170, 172–173, 191

Лукиан (ок. 120–ок. 190), греческий писатель-сатирик II, 326, 362, 405, 426, 524; III, 370; IV, 328

Лукреций Кар Тит (ок. 96–55 до н. э.), римский философ, ди-

дактический поэт I, 307, 527; II, 263, 337, 358, 412, 487, 684; III, 185, 517; IV, 368, 421

Луллий Раймунд (Рамон Льюль; ок. 1235–1315), испанский (каталанский) поэт, философ, богослов I, 65, 166, 399, 417–421, 514; II, 98, 397, 467–468; IV, 251

Лурия Исаак бен Соломон (1534–1572), еврейский мыслитель-мистик, виднейший представитель каббалы I, 384; II, 394

Луссич Антонио (1848–1928), уругвайский писатель I, 111, 532

Лутф Али-бек Азур-и (XVIII в.), персидский историк и филолог II, 284

Льюис Джордж Генри (1817–1878), английский философ, историк философии, литературный критик I, 169, 215; II, 465

Льюис Клайв Степлз (1898–1963), английский писатель и филолог II, 487; III, 175–176, 233, 591

Льюис Синклер (1885–1951), американский писатель II, 760; III, 372

Лэм Чарлз (1775–1834), английский прозаик II, 359; III, 449

Лэнг Эндрю (1844–1912), английский (шотландский) писатель I, 140, 364, 449; II, 384, 399, 448, 657; III, 383; IV, 181, 184, 345

Лэндор Уолтер Сэвидж (1775–1864), английский писатель, историк литературы IV, 124, 301

Любич Эрнст (1892–1947), немецкий и американский кинорежиссер IV, 394

Людвиг Эмиль (1881–1948), немецкий писатель I, 402

Людovic XIV (1638–1715), король Франции, покровитель искусств IV, 71

Людовик XVI (1754–1793), король Франции; свергнут и казнен в ходе Французской революции II, 281

Лютер Мартин (1483–1546), немецкий богослов и религиозный реформатор I, 465, 488, 521–522; II, 267; III, 330, 464; IV, 421

«**Мабиногион**» (XIII в.), сборник кельтских (валлийских) сказаний I, 333; III, 82

Маггид из Межерича (?–1772), еврейский вероучитель II, 472; III, 447

Магнуссон Эйрик (1833–1913), английский скандинавист I, 330

«**Маджджхима никайя**», сборник из 152 поучений Будды, часть Сутта-Питаки II, 458

Маймонид Моисей (Моше бен Маймон; 1135–1204), еврейский мыслитель II, 183, 726

Майнлендер Филипп (1841–1876), немецкий мыслитель II, 411

Майринк Густав (1868–1932), австрийский писатель I, 395, 463; II, 686; III, 82, 158, 567; IV, 114

Майснер Рудольф (1863–1948), немецкий скандинавист III, 316

Макбет (?–1057), шотландский король с 1040 г. III, 440–441

Македоний (IV в.), епископ Константинополя I, 134

Макиавелли Никколо (1469–1527), итальянский писатель, политический деятель и мыслитель II, 341

Мак-Карти Джастин Хантли (1860–1936), английский писатель, переводчик-арабист IV, 183

Мак-Кей Нейл, английский (шотландский) медиевист III, 603

Макнотен Уильям Хэй (1793–1841), английский арабист I, 367

Маколей Роза (1881–1958), английская писательница IV, 164

Маколей Томас Бабингтон (1800–1859), английский (шотландский) историк и писатель I, 486; II, 453, 523

Макробий Амвросий Феодосий (ок. 400–?), латинский писатель, философ-неоплатоник II, 195

Малерб Франсуа (ок. 1555–1628), французский поэт, теоретик классицизма I, 333

Малларме Стефан (1842–1898), французский поэт I, 155, 176, 202, 505, 534; II, 102, 365, 396, 424, 426, 428, 447, 449, 703; III, 33, 367, 417, 435, 445; IV, 34, 299

Малон де Чайде Педро (1530?–1596?), испанский мистический писатель I, 295

Мальбранш Никола (1638–1715), французский религиозный мыслитель II, 490

Мальвецци Вирджилио (1595–1654), итальянский политический деятель, барочный писатель-моралист IV, 175

Мальеа Эдуардо (1903–1982), аргентинский прозаик III, 585, 643; IV, 393, 442

Мальро Андре (1901–1976), французский писатель, государственный деятель IV, 300

Мамулян Рубен (1898–1987), американский кинорежиссер I, 225

Мандевиль Джон (Жан де Мандевиль; ок. 1300–1372), английский франкоязычный путешественник и писатель III, 159

Мандзони Алессандро (1785–1873), итальянский писатель IV, 365

Манилий (I в. до н. э.), римский поэт III, 218

Манн Томас (1875–1955), немецкий писатель I, 453–454

Манрике Родриго (?–1476), испанский военачальник, отец Х. Манрике I, 51

Манрике Хорхе (1440–1478), испанский воин и поэт III, 613; IV, 411

Мансилья Луис Норберто (1792–1871), аргентинский генерал IV, 419

Маньян Виктор, французский эллинист III, 376

Маргарита Австрийская (1584–1611), королева Испании III, 379

Марголен Жан-Клод, французский историк философии и литературы III, 202

Маргулье Жорж (р. 1907), французский китаевед II, 421; III, 174

Мардрюс Жозеф Шарль (1868–1949), французский ориенталист I, 353–354, 357, 366–375, 377; IV, 72–73

Маречаль Леопольдо (1900–1970), аргентинский поэт, драматург, романист III, 447

Мариани Роберто (1892–1946), аргентинский писатель III, 585

Марино Джамбаттиста (1569–1625), итальянский барочный поэт II, 449, 463–464, 521, 587; III, 347, 611

Маричаль Хуан Хусто (р. 1922), испанский литературовед III, 602

Мария Стюарт (1542–1587), королева Шотландии III, 240

Марк Аврелий Антонин (121–180), римский император,

философ-стоик I, 299, 350–351; III, 572

Маркс Карл (1818–1883), немецкий философ, социолог, экономист I, 363, 441; II, 441, 728, 744

Маркуардт Герта, немецкий филолог, специалист по древнеанглийской словесности III, 319

Маркус, норвежский скальд I, 324

Марло Кристофер (1564–1593), английский драматург II, 380, 529, 740, 745–749; III, 101–102, 442; IV, 377

Мармоль Хосе (1817–1871), аргентинский писатель III, 598, 653; IV, 119

Марри Гилберт (1866–1957), английский историк и переводчик древнегреческой литературы III, 447

Марриет Фредерик (1792–1848), английский писатель, автор приключенческих романов I, 57; III, 560

Мартенсен Ханс Лассен (1808–1884), датский богослов I, 303; II, 190

Марти-и-Перес Хосе Хулиан (1853–1895), кубинский общественный деятель и писатель, национальный герой II, 62

Мартин Гаспар, аргентинский журналист I, 123

Мартинес де Хауреги-и-Уртадо Хуан (1583–1641), испанский художник и теоретик искусства, поэт и переводчик I, 81–82

Мартинес Лопес Рамон, американский филолог-испанист III, 317, 602

Мартинес Эстрада Эсекиель (1895–1970), аргентинский поэт и эссеист II, 84, 452; III, 240, 508; IV, 297

Марторель Джоанот (1410–1468), каталанский писатель II, 760

Марциан Капелла (V в.), латинский писатель и педагог II, 326

Маршан Жан-Батист (1863–1934), французский военачальник I, 373

Маршем Джон (1602–1685), английский историк III, 387

Масо Марсело дель (1879–?), аргентинский писатель III, 272, 371, 427; IV, 437

Мастронарди Карлос (1901–1976), аргентинский поэт II, 82; III, 585

Матос Родригес Херардо Эрман (1900–1948), уругвайский композитор II, 507

Маутнер Фриц (1849–1923), немецкий эссеист, философ языка I, 123, 215, 218–220, 329, 342, 346, 422, 485, 515; II, 147, 416, 418, 472; III, 413; IV, 251

Мах Эрнст (1836–1916), австрийский физик и философ I, 424

«*Махабхарата*», древнеиндийская эпическая поэма III, 201; IV, 347

Махди Мухаммед Ахмед (1848–1885), вождь освободительного движения в Судане II, 278

Мачадо Антонио (1875–1939), испанский поэт и эссеист II, 366; III, 78; IV, 297

Мачадо Бенито (1823–1909), аргентинский военачальник II, 244

Мачадо Мануэль (1874–1947), испанский поэт, брат А.Мачадо II, 713; IV, 297

Мачадо Худит, знакомая Борхеса III, 109, 458

Мёбиус Август Фердинанд (1790–1868), немецкий математик I, 215; IV, 306

Мейнонг Алексисус фон (1853–1920), австрийский философ и психолог II, 85, 495

Мейси Джон Элберт (1877–1932), американский историк словесности I, 503, 531; III, 382

Мелвилл Герман (1819–1891), американский писатель I, 154; II, 281, 358, 380, 448, 696–697; III, 127, 225, 460, 531, 559, 593, 602, 649; IV, 46, 168–169, 181, 310–311, 395

Мелисс Самосский (V в. до н. э.), греческий философ II, 413

Мельян Лафинур Альваро (1889–1958), аргентинский поэт, литературный критик II, 318–319; III, 257, 561

Мельян Лафинур Луис (1850–1939), уругвайский юрист, дипломат, писатель-эссеист I, 109, 118; III, 336, 421; IV, 437

Мемлинг Ханс (ок. 1440–1494), нидерландский живописец III, 646

Мена Хуан де (1411–1456), испанский поэт II, 349

Мендельсон Феликс (1809–1847), немецкий композитор I, 493

Менендес-и-Пелайо Марселино (1856–1912), испанский литературовед I, 91, 312, 515; II, 410, 460, 731; III, 425; IV, 102

Менкен Генри Луис (1880–1956), американский литературный критик, сатирик и публицист IV, 318–319

Мередит Джордж (1828–1909), английский романист и поэт III, 340

Мерез Фрэнсис (1565–1647), английский писатель II, 749

- Мериме* Проспер (1803–1870), французский прозаик II, 103
- Меровей* (?–458?), вождь салических франков I, 143
- Мерри* (Марри) Джон Мидлтон (1889–1957), английский историк литературы I, 198, 331
- Мерчисон* Джон, американский филолог II, 654; III, 602
- Местр* Ксавье де (1763–1852), французский прозаик II, 315
- Метерлинка* Морис (1862–1949), бельгийский поэт и драматург IV, 290–291
- Метродор Скепсийский* (150–70 до н. э.), греческий философ II, 152
- Мид* Джордж Роберт Стоу (1863–1933), английский религиовед I, 137
- Мийере* Жан де (1908–1980), французский историк и литератор IV, 400–408
- Микеланджело Буонаротти* (1475–1564), итальянский скульптор и живописец II, 446
- Микелли* Пьетро (1865–1934), итальянский историк литературы III, 156
- Миклошич* Франц (1813–1891), австрийский филолог-славист II, 195
- «*Милиндапаньха*» (между 100 и 150 г. до н. э.), памятник тхеравадского буддизма II, 479
- Миллер* Уильям (1795–1861), аргентинский военачальник II, 454
- Милль* Джон Стюарт (1806–1873), английский философ и экономист I, 170–171, 190, 340; II, 352–353, 467, 743; IV, 231
- Мильтон* Джон (1608–1674), английский поэт I, 48, 52, 176, 200–201, 228, 333, 441; II, 337, 355, 410, 432, 467, 499, 503, 560, 573, 597, 703, 725–726, 738, 752; III, 106, 214, 218, 223, 241, 318, 339, 354, 435, 527, 645; IV, 34, 37, 122–124, 164, 193, 271, 350, 354, 419, 424–425
- Минь* Жан-Поль (1800–1875), французский богослов, издатель отцов западной и восточной церкви II, 232
- Миро* Габриэль (1879–1930), испанский писатель II, 680
- Митре* Бартоломе (1821–1906), аргентинский политик и писатель I, 204; IV, 384
- Митридат Евпатор* (132–63 до н. э.), понтийский царь II, 152
- Митфорд* Элджернон Бертрам Фримен (1837–1916), английский востоковед I, 268
- Митчелл* Эдвард (1867–1949), владелец магазина английской книги в Буэнос-Айресе IV, 33
- Мишо* Анри (1899–1984), французский поэт и художник II, 754–755; IV, 320
- Молина де Ведиа* Мандия, знакомая Борхеса II, 167
- Молина-и-Ведиа* Хулио, друг отца Борхеса, поэт III, 427
- Мольер* (1622–1673), французский драматург I, 468
- Момильяно* Аттилио (1883–1952), историк итальянской литературы III, 185; IV, 34, 169, 365–366, 412
- Монгольфье* Жозеф Мишель (1740–1810) и Жак Этьен (1745–1799), изобретатели воздушного шара IV, 240
- Мондольфо* Родольфо (1877–1976), итальянский историк античной мысли II, 334
- Моннер Санс* Хосе Мария (1896–?), аргентинский историк культуры I, 391

Монтальво Хуан (1832–1889), эквадорский писатель II, 756; III, 385

Монтень Мишель де (1533–1592), французский мыслитель-эссеист I, 129; II, 414; III, 110, 368, 424, 443, 490, 497, 506, 507, 528; IV, 345, 377

Монтескье Шарль Луи (1689–1755), французский философ-просветитель III, 437

Монтесума (1466–1520), правитель инков I, 195; IV, 65

Монтефельтро Буонконте де (?–1289), предводитель гибеллинов II, 575

Мопассан Ги де (1850–1893), французский писатель I, 194, 425, 538; II, 388; III, 395, 396

Мор Пол Элмер (1864–1937), американский историк философии и литературы III, 402

Мор Томас (1478–1535), английский мыслитель-гуманист I, 146, 215; III, 311

Морайш Франсиско де (1500?–1572?), португальский писатель II, 760

Моран Багс (1893–1957), американский гангстер I, 239

Моран Поль (1888–1976), французский писатель I, 359

Морган Морис (1726–1802), английский шекспировед II, 457

Мореас Жан (1856–1910), французский поэт II, 398

Морейра Хуан (1819–1874), буэнос-айресский бандит III, 41, 50, 53, 298–299; IV, 389

Моррис Уильям (1834–1896), английский художник и писатель I, 147, 150–154, 328, 330, 365, 403; II, 396, 400–401, 548, 728; III, 152, 214, 268, 287

Москера Истмен Мария, знаковая Борхеса II, 252

Мюлд Фредерик Нэтуш (1854–1933), английский военный историк II, 161

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор II, 467

Моше де Леон (1240–1305), испанский мыслитель-каббалист II, 233, 367, 403; III, 151, 385, 503; IV, 114

Мур Джордж (1852–1933), английский (ирландский) писатель I, 149, 202, 523; II, 221, 340, 358, 754; IV, 126, 234, 338

Мур Томас (1779–1852), английский (ирландский) поэт-романтик I, 274; II, 703; IV, 387, 416

Муранья Хуан, буэнос-айресский бандит II, 551, 594; III, 55–53, 416, 637; IV, 212

Мурасаки Сикибу (между 970 и 978–ок.1014), японская аристократка и писательница I, 447–448; IV, 309

Мурнау Фридрих Вильгельм (1889–1931), немецкий кинорежиссер I, 488

Мускари Артуро, аргентинский литератор, друг *М.Фернандеса* III, 427

Муссолини Бенито (1883–1945), фашистский диктатор Италии IV, 365

Мухика Лайнес Мануэль (1910–1984), аргентинский писатель IV, 354, 442

Мэнген Джеймс Кларенс (1803–1849), ирландский поэт III, 619

Мьюир Уилла (1890–1970), английская писательница, жена *Э.Мьюира* I, 413

Мьюир Эдвин (1887–1959), английский (шотландский) поэт и переводчик I, 413

Мэн-цзы (ок. 372–289 до н. э.), китайский мыслитель I, 549

Мэчен Артур (1863–1947), английский писатель II, 433; IV, 314–315

Мюллер Макс (1823–1900), английский индолог IV, 102

Мюссе Альфред де (1810–1857), французский писатель III, 163, 490

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977), русский и американский писатель IV, 304

Нагарджуна (II в.), индийский философ-буддист III, 201

Надир-шах (1736–1817), военный и государственный деятель Ирана II, 278

Намункура Мануэль (XIX в.), вождь одного из индейских племен Ла-Платы III, 557

Наполеон I Бонапарт (1769–1821), император Франции I, 111, 165, 234; II, 265, 435, 441–442; III, 382, 399, 400, 528

Негулеско Жан (1903–1993), американский кинорежиссер I, 225

Некель Густав (1879–1940), немецкий филолог I, 330

Неккер (рожд. Кюршо) Сюзанна (1739–1794), французская писательница, мать *А.Л.Ж. де Сталь* III, 388

Некочеа Мариано (1791–1849), аргентинский военачальник III, 419

Нерваль Жерар де (1808–1855), французский поэт и прозаик I, 396

Нерво Амадо (1870–1919), мексиканский поэт и прозаик II, 686

Нерон Клавдий Цезарь (37–68), римский император IV, 167

Неруда Пабло (1904–1973), чилийский поэт, коммунист III, 533

Нибур Бартольд Георг (1776–1831), немецкий историк античности I, 521

Ниднер Феликс (1859–1934), немецкий скандинавист I, 314, 330

Низам Аль-Мульк (1017–1092), персидский политический деятель II, 392

Ник Картер, псевдоним американского детективного писателя Джона Кориела (1848–1924) I, 495; II, 73

Николай Антиохийский (2-я пол. I в.), диакон Иерусалимской церкви, еретик I, 137

Николай Кузанский (1401–1464), философ и богослов, монах-августинец I, 184; II, 294

Николсон Джон (1822–1857), английский офицер в Индии II, 309

Нимбарка (Нибадитья; XII или XIII в.), индусский философ и астроном III, 153

Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ I, 178, 182, 216–217, 220, 335, 336, 338, 340–345, 348, 436, 453–454, 467, 514, 518–522, 523–524, 526; II, 104, 148, 263, 265, 352, 443, 451, 469, 728; III, 402, 403, 502, 645; IV, 38, 42–43, 91, 167, 312, 425

Новалис (Фридрих фон Харденберг; 1772–1801), немецкий писатель-романтик I, 89, 141, 219–220, 459, 517; II, 100, 433, 490; IV, 271, 341

Нокс Джон (1514–1572), шотландский богослов, деятель Реформации II, 442; III, 285, 399

Нордау Макс (1849–1923), австрийский писатель и публицист I, 522; IV, 290, 295

Норрис Джон (1657–1711), английский философ и богослов II, 490

Норрис Фрэнк (1870–1902), американский прозаик II, 698

Норт Томас (1535–1601), английский литератор IV, 377

Нортон Томас (1532–1584), английский драматург II, 529

Нортон Чарлз Элиот (1827–1908), американский ученый и педагог III, 602

Ньюмен Джеймс, американский математик I, 215; IV, 305–306

Ньюмен Джон Генри (1801–1890), английский (ирландский) церковный деятель и писатель I, 429

Ньюмен Фрэнсис Уильям (1805–1897), английский эллинист I, 353, 356

Ньютон Исаак (1643–1727), английский ученый, создатель классической механики I, 194–195, 219; II, 144, 495; III, 387, 527, 549, 550; IV, 76

Ню Цзяо (IX в.), китайский поэт III, 193

Облигадо Рафаэль (1851–1920), аргентинский поэт I, 482; III, 278

О'Брайен Фленн (1911–1966), английский (ирландский) писатель I, 463–464

Овидий Назон Публий (43 – ок. 18. до н. э.), римский поэт I, 153; II, 429; III, 141, 183–184, 199, 218, 230, 235, 251, 387; IV, 58, 170, 172, 191, 355

Овьета Елена де (?–1920), жена *М. Фернандеса* III, 427

О'Генри (1862–1910), американский писатель I, 532

Озанам Антуан Фредерик (1813–1853), французский исто-

рик европейской культуры IV, 198, 204

Окампо Анхелика (1891–1977), одна из шести сестер, близких знакомых Борхеса I, 274

Окампо Виктория (1890–1979), аргентинская писательница II, 135; III, 585, 591, 596, 649–654; IV, 383–394

Окампо Мануэль, прадед сестер Окампо IV, 393

Окампо Сильвина (1903–1994), аргентинская писательница II, 97; III, 585; IV, 197, 392

Оккам Уильям (ок. 1285–1349), английский философ-схоласт I, 142; II, 431, 465; IV, 154, 185, 261

Олав Магнус (1490–1558), шведский католический священник и писатель III, 223, 464

Олаваррия Хосе Валентин де (1801–1845), аргентинский военачальник III, 60; IV, 255

Оливари Николас (1900–1966), аргентинский поэт и новеллист III, 585

Ольденберг Герман (1854–1920), немецкий индолог IV, 77

Ольденбург Клаас (р. 1929), американский скульптор IV, 243

Омар I (ок. 581 или 591–644), халиф, сподвижник пророка Мухаммада III, 212, 475; IV, 133

Омар Хайям (ок. 1048–после 1122), персидский поэт и ученый I, 502; II, 370, 392–395, 695; III, 409, 562; IV, 183

О'Нил Юджин (1888–1953), американский драматург II, 405; IV, 307–308, 393

Орибе Мануэль (1792–1857), уругвайский политический деятель III, 60, 462

Орибе Эмилио (1893–1975), уругвайский поэт и философ III, 309

Ориген (185–254), раннехристианский богослов-неоплатоник I, 136, 523; II, 231, 233, 413; III, 178, 375; IV, 126

Ортега-и-Гасет Хосе (1883–1955), испанский философ I, 64; II, 291, 374, 679, 712; III, 67, 373, 374, 572; IV, 438

Ортелли Роберто (1900–?), аргентинский прозаик III, 575

Ортинс де Росас Хуан Мануэль (1793–1877), аргентинский государственный и военный деятель I, 31, 36–37, 71, 107, 117, 468, 493; II, 244, 515–517, 523, 590, 603, 655; III, 32, 60, 62, 259, 336, 418–420, 559, 561, 642, 653; IV, 119, 248, 354, 385, 456

Ортон Артур (1834–1898), английский авантюрист и самозванец I, 242–248

Орчи Эммушка (1865–1947), английская писательница I, 486

Остин Джейн (1775–1817), английская писательница III, 409, 580

Остроумов Николай Петрович (1846–1930), русский языковед и этнограф I, 475

Оуэн Роберт (1771–1858), английский мыслитель-утопист I, 441; IV, 303

Оффенбах Жак (1819–1880), французский композитор I, 520

Оюэла Каликсто (1857–1935), аргентинский поэт, эссеист II, 679

Павел Диакон (ок. 720–799), латинский поэт, филолог и историк германского происхождения II, 238

Павлин Ноланский (352–431), церковный деятель, латинский поэт I, 134, 300

Павсаний (II в. н. э.), греческий историк III, 235

Пайро Роберто Хорхе (1867–1928), аргентинский писатель II, 65, 693

Паласио Эрнесто (1900–1979), аргентинский писатель, журналист III, 585, 596

Папини Джованни (1881–1956), итальянский писатель IV, 180, 312–313, 367

Парависино-и-Артеага Ортенсио Феликс (1580–1633), испанский поэт I, 55

Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493–1541), швейцарский философ и естествоиспытатель III, 157, 203, 228; IV, 214–217

Паредес Николас (?–1929), буэнос-айресский бандит I, 281; III, 44, 46, 275, 597, 632–634, 637; IV, 141

Парис Гастон (1839–1903), французский медиевист II, 708

Парменид (ок. 540–480 до н.э.), греческий мыслитель и поэт I, 169, 196, 227, 435, 528; II, 181, 334, 413, 431, 465, 490; III, 403; IV, 166, 238, 431

Парнелл Чарлз Стюарт (1846–1891), национальный герой Ирландии II, 158

Паскаль Блез (1623–1662), французский мыслитель и ученый I, 414; II, 334, 337, 412–415; III, 407, 515, 639; IV, 233, 236, 305, 331, 431

Паскаль Рой (1904–?), английский историк-германист I, 220

Патер Уолтер (1839–1894), английский писатель, художественный критик I, 176; II, 333; III, 624

Паунд Эзра Лумис (1885–1972), американский поэт I, 177; II, 698, 726; III, 610, 611; IV, 301

Пеано Джузеппе (1858–1932), итальянский математик I, 455; II, 417

Пейн Джон (1842–1916), английский писатель, переводчик I, 367, 374; IV, 73

Пейру Мануэль (1902–1974), аргентинский писатель II, 698–699; III, 396

Пелагий (360–ок. 418), деятель римской церкви, родом британец, еретик I, 303

Пелуффо Освальдо, аргентинский агроном II, 46

Пельегрени Карлос (1846–1906), аргентинский политический деятель IV, 352

Пельисер де Оссау-и-Тобар Хосе (1602–1679), испанский поэт и прозаик I, 93; III, 218

Пенкхэрт Эстелла Сильвия (1882–1960), английская писательница и журналистка I, 455; II, 416

Перейра Бенито (1535–1610), испанский писатель и богослов II, 410

Перес Сантос (?–1837), капитан аргентинской армии, убийца *Х.Ф.Кироги* II, 515

Перес Гальдос Бенито (1843–1920), испанский романист и драматург I, 57

Перес Руис Карлос, аргентинский литератор, друг юности *Борхеса* III, 434

Периандр (?–586 до н. э.), тиран Коринфа III, 185

Перикл (ок. 490–429 до н. э.), афинский политик и полководец IV, 334

Перон де ла Соса Хуан Доминго (1895–1974), аргентинский военный и политический деятель, диктатор II, 513, 523,

718–719; III, 592, 596, 652; IV, 32, 393, 439

Перси Томас (1729–1811), английский писатель, собиратель и переводчик фольклора III, 279, 284; IV, 71

Персий Флакк Авл (34–62), римский поэт II, 364

Пертес Иоганн Георг Юстус (1749–1816), немецкий издатель II, 80; III, 276

«*Песнь о моем Сиде*» (XII в.), испанская эпическая поэма II, 217, 477

«*Песнь о Нибелунгах*» (ок. 1200), памятник немецкого героического эпоса I, 333; III, 268; IV, 373

«*Песнь о Роланде*» (ок. 1170), французская эпическая поэма I, 116; II, 477, 558, 739; III, 490; IV, 64, 108

Пето Поль (латинизир. Петавий; 1568–1614), французский антиквар и эрудит III, 387

Петр Амьенский (Петр Отшельник; ок. 1050–1115), французский монах, организатор Первого крестового похода III, 437

Петр Хризолог (380–450), христианский богослов I, 317

Петрарка Франческо (1304–1374), итальянский поэт I, 199; IV, 164, 236

Петроний (?–66), римский писатель I, 57; II, 450; IV, 55–56, 359

Пеццони Энрике (1926–1989), аргентинский литератор IV, 231

Пизанелло (Антонио ди Пуччо ди Черрето; 1395–145), итальянский художник и медальер III, 172

Пикассо Пабло (1881–1973), испанский и французский художник III, 595, 646; IV, 320, 454

Пико дела Мирандола Джованни (1463–1494), итальянский мыслитель-неоплатоник I, 367, 399

Пиндар (ок. 518–442 или 438 до н. э.), греческий поэт I, 198–199; III, 401, 453, 496

Пинеда Альварес де (XVI в.), испанский мореплаватель I, 234

Пинеда Хуан де (1516?–1597), испанский религиозный писатель I, 54

Пинсен, вождь одного из индейских племен Ла-Платы III, 557

Пиньеро Норберто (1858–1938), аргентинский правовед и историк I, 161

Пиньеро Франсиско (1901–1923), аргентинский поэт III, 575, 583, 584

Пиранделло Луиджи (1867–1936), итальянский писатель II, 375, 759; IV, 37

Пиранези Джованни Батиста (1720–1778), итальянский гравер II, 449; III, 288

Пирр (319–273 до н. э.), эфирский царь и полководец II, 113

Пирс Чарлз Сандерс (1839–1914), американский философ, логик и математик IV, 367

Пирсон Хескетт (1887–1964), английский историк литературы II, 397–398

Писарро Франсиско (1470/1475–1541), испанский конкистадор II, 715

Пифагор (ок. 540–500 до н. э.), греческий философ и математик I, 182–183, 340, 439, 523; II, 113, 190, 234, 352, 359, 393, 424, 427, 542, 571–572, 727; III, 162, 195, 384, 395, 502, 515, 516; IV, 74, 76, 82, 106, 140, 227, 287, 402, 416, 425, 431

Плавт Тит Макций (ок. 250–184 до н. э.), римский комедиограф II, 473; III, 424

Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э.), греческий мыслитель I, 142, 154, 183, 186–188, 193, 198, 217, 227, 291–294, 296–297, 305, 312, 347, 348, 399, 437, 439, 480, 528; II, 122, 142, 155, 207, 229, 265, 272, 334–335, 359, 383, 392, 403, 407, 413–414, 424, 431, 465, 471, 495, 514, 591, 696, 713, 721, 725, 727, 732; III, 32, 161–162, 178, 184, 218, 231, 295, 384, 416, 502, 503, 511, 512, 515, 516, 545, 548, 552, 612, 629, 650; IV, 58, 82, 93, 102, 106, 122, 154, 166, 403, 421, 451

Плиний Младший (61 или 62–ок. 114), римский писатель I, 317; III, 281, 389, 607

Плиний Старший (23 или 24–79), римский ученый и писатель I, 360, 398, 459; II, 150–152, 222, 231, 296, 323, 396, 401; III, 138–139, 148–149, 159, 169, 171, 183, 185, 187, 197, 200, 206, 208, 210, 217–220, 222, 276, 388, 389, 393, 401; IV, 63, 97, 291, 323, 396

Плотин (203/205–269/270), греческий философ-неоплатоник I, 176, 291, 293–295, 298–299, 312, 384; II, 384, 392, 490, 695; III, 284, 401, 545; IV, 98, 135, 197, 233, 266

Плутарх (ок. 45–ок. 127), греческий историк и писатель I, 435; II, 230–231, 236, 355, 496, 700, 738; III, 163, 185, 203, 215, 249, 443; IV, 105–106, 377

По Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель-романик I, 154–156, 199, 227, 319, 350, 353, 395, 406, 409, 423–424, 431, 471, 496, 500–501, 534; II, 102, 167, 258, 293, 372, 388, 391, 400–402, 404, 448–449, 466, 677, 686, 699,

702–704, 721, 741; III, 32, 163, 176–177, 336, 339, 367, 372, 381, 383, 395, 396, 402, 409, 410, 440, 531–540, 560, 586, 593, 598, 628, 629, 631, 640, 643; IV, 60, 99, 109, 127, 168, 240, 290, 292, 297, 310, 328, 349, 354, 366, 396, 405, 416

Подеста, четверо братьев, аргентинских актеров, создавших в 1886 г. при буэнос-айресском цирке передвижной театр III, 53, 298

Поло Марко (ок. 1254–1324), венецианский путешественник II, 342; III, 160, 216, 222; IV, 64, 67, 72, 326–327

Помпей Гней (106–48 до н. э.), римский полководец II, 236

Понселе Жан-Виктор (1788–1867), французский военный и математик I, 440

Понсио Эрнесто, аргентинский композитор, автор танго IV, 436

Понтий Пилат (?–39), римский наместник Иудеи III, 270–271

Понттоппидан Эрик (1698–1764), датский религиозный и церковный деятель, историк и писатель III, 186

Поп (Поуп) Александр (1688–1744), английский поэт I, 80; II, 207, 219–220, 331; III, 387

«*Пополь-Вух*», мифологический эпос индейцев народа киче II, 292

Пор (IV в. до н. э.), мидийский царь IV, 63

Поррас де ла Камара Франсиско (XVII в.), испанский филолог III, 425

Портен Джудит, мать Э. Гиббона III, 387

Портинари Беатриче (1265–1290), флорентинка, возлюблен-

ная Данте II, 715; IV, 32, 38, 42, 173, 180, 190, 194–195, 198–201, 203–206

Порфирий (ок. 233–ок. 304), греческий философ-неоплатоник II, 465; IV, 233

«*Поучительное послание к Фабио*», анонимная поэма испанского Ренессанса II, 631; III, 128, 449, 514; IV, 102

Прево Д'Экзиль Антуан Франсуа (1697–1763), французский писатель II, 451

Преллер Людвиг (1809–1861), немецкий историк античности I, 341

Прескотт Уильям Хиклинг (1796–1859), американский историк Испании и Латинской Америки III, 184, 569; IV, 125, 395–396

Принглес Хуан Паскуаль (1795–1831), аргентинский военный III, 67, 419

Пристли Джон Бойнтон (1894–1984), английский писатель III, 412

Проперций Секст (ок. 47–ок. 15 до н. э.), римский поэт II, 363; III, 204

Протагор из Абдеры (ок. 480–410 до н. э.), греческий философ II, 359

Пруст Марсель (1871–1922), французский писатель I, 407; III, 374, 647; IV, 236

Птолемей Клавдий (после 83–после 161), греческий астроном II, 335, 412; IV, 166

Пуэррейдон Прилидиано (1823–1870), аргентинский живописец IV, 393

Пьетробони Луиджи (1863–1960), итальянский историк словесности IV, 175–176, 179, 199, 204

Пэлток Роберт (1697–1767), английский (ирландский) писатель II, 405; III, 254

Пэрчес Сэмюэл (1577–1626), английский литератор-энциклопедист II, 342

Рабан Маур (780–856), франкский богослов II, 195

Рабле Франсуа (1494–1553), французский писатель I, 65, 373, 425, 502; II, 335, 413, 499, 685; IV, 353, 362

Радхакришнан Сарвапалли (1888–1975), индийский политический и государственный деятель, мыслитель, историк философии II, 496

Райт-Хендерсон Патрик Аркли (1841–1922), английский историк II, 416

«*Рамаяна*» (между II в. до н.э.–IV в.), древнеиндийская эпическая поэма II, 368; III, 153

Рамбальди де Имола Бенвенуто деи (1338–1390), итальянский историк, один из первых комментаторов Данте III, 212; IV, 175, 199, 201

Рамирес Франсиско (1786–1821), аргентинский военачальник I, 468; III, 421

Рамирес Морони Уго, друг Борхеса III, 32; IV, 433

Рамос Мехия Хосе Мария (1842–1914), аргентинский историк и писатель I, 493; IV, 119, 422, 456

Раниш Вильгельм (1865–?), немецкий историк и переводчик I, 330

Ранке Леопольд фон (1795–1886), немецкий историк IV, 301

Расин Жан (1639–1699), французский поэт и драматург I, 207, 469

Рассел Бертран (1872–1970), английский философ и математик I, 173–174, 186, 190, 216, 292, 345, 346, 349, 461; II, 87, 99, 104, 354, 373, 440–442; III, 376, 398, 547, 548; IV, 159, 305, 321, 396, 414

Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский живописец и архитектор IV, 203

Рафт Джордж (1895–1980), американский киноактер I, 226

Рашидаддин (1247–1318), персидский ученый и государственный деятель II, 344

Ревон Мишель (1867–?), французский японист I, 448

Регул Марк Атилий (III в. до н. э.), римский полководец II, 478

Регулес Элиас (1860–1929), уругвайский поэт III, 50, 257

Резерфорд Эрнест (1871–1937), английский физик I, 335, 336

Рейес Альфонсо (1889–1959), мексиканский писатель, переводчик, педагог I, 160; II, 84, 360, 398, 657, 686, 729–731, 743; III, 447, 454, 586, 642; IV, 125, 398, 444

Рейес Альфонсо до (1905–?), аргентинский композитор, автор танго I, 85

Рейлес Карлос (1868–1938), уругвайский писатель III, 72

Рейнафе Хосе Висенте (1782–1837) и Гильермо (1799–1837), аргентинские военные II, 515

Рейсиг Луис (1897–?), аргентинский писатель и педагог III, 597

Реклам Филипп (1807–1896), немецкий издатель I, 373

Ремарк Эрих Мария (1898–1970), немецкий романист I, 404, 534

Рембо Артю́р (1854–1891), французский поэт I, 141, 358, 411–412; II, 102

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669), голландский живописец и рисовальщик III, 68; IV, 454

Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), французский философ, историк религии I, 162; II, 61, 269, 277, 468

Ренар Жюль (1864–1910), французский прозаик I, 65; IV, 343

Ренувье Шарль (1815–1903), французский философ–неокантианец I, 190

Рёскин Джон (1819–1900), английский писатель, теоретик искусства II, 679; IV, 126, 164, 236, 451–452

Ривера Диего (1886–1957), мексиканский художник I, 64, 451

Ривера Фруктуосо (1788–1854), уругвайский военный и политический деятель III, 114

Ривера Индарте Хосе (1814–1845), аргентинский поэт и публицист III, 258, 336

Рид Герберт (1893–1968), английский историк искусства, художественный критик III, 559, 603

Рикардо Давид (1772–1823), английский экономист I, 441

Рикеттс Чарлз (1866–1931), английский историк литературы II, 397

Рильке Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт, прозаик, литературный и художественный критик II, 391; IV, 449

Риман Бернхард (1826–1866), немецкий математик I, 440

Рис Дэвидс Томас Уильям (1843–1922), американский индолог II, 462, 480

Риссо Платеро Эма, аргентинская писательница II, 288

Риттер Генрих (1791–1869), немецкий историк античности I, 341

Риттер Иоганн Вильгельм (1776–1810), немецкий ученый–естественник и натурфилософ–романтик I, 141

Риттер Карл (1779–1859), немецкий географ II, 80

Ричард I Львиное Сердце (1157–1199), король Англии IV, 64

Ричард III (1452–1485), английский король III, 252

Ричард Тимоти (1845–1919), английский востоковед II, 683, 686

Риччи Маттео (1552–1610), итальянский иезуит, исследователь–китаист III, 139

Робертс Сесил (1892–1976), английский писатель I, 378

Робертсон Джон Маккинон (1856–1953), английский историк II, 187, 684

Робертсон Уильям (1721–1793), английский (шотландский) историк II, 454; III, 391

Роджерс Сэмюэл (1763–1855), английский поэт, коллекционер и остроумец III, 391

Родригес Соровавель (1839–1901), чилийский писатель и лексикограф III, 244

Родригес де Монтальво Гарси, испанский писатель, автор романа «Амадис Галльский» (1508) II, 366, 750; III, 484

Родригес Монегаль Эмир (1921–1985), уругвайский историк литературы II, 256; IV, 336

Родригес Эрнандес Хулио Антонио (1883–1919), испанский скульптор I, 66

Родриго (?–713), последний готский король Испании III, 476
Розенрот Христиан Кнурр фон (1631–1689), немецкий гебраист III, 38

Ройс Джосая (1855–1916), американский философ, математик и логик I, 461; II, 369, 487, 631; III, 289, 558

Ролан Ромен (1866–1944), французский писатель, публицист, музыковед IV, 321

Ромеро Мануэль (1891–1954), аргентинский поэт, автор танго I, 85

Рони Жозеф Анри (1856–1940) и Серафен Жюстен (1859–1948), французские писатели II, 405

Росалес Луис (1910–1992), испанский поэт III, 616, 640

Росас см. *Ортинс де Росас*

Росс Александр (1591–1654), английский поэт II, 221

Россетти Данте Габриэль (1828–1882), английский поэт и переводчик I, 48; II, 686; III, 126, 162, 192, 375, 511; IV, 82, 206, 285, 417

Росси Атилио (1901–1994), итальянский живописец, с 1935 г. жил в Буэнос-Айресе III, 415–416

Росси Висенте (1871–1945), уругвайский писатель I, 116, 233

Росси Марио (1875–1947), итальянский литературный критик и историк литературы IV, 171

Ростан Эдмон (1868–1918), французский поэт и драматург II, 402

Росцеллин Иоанн (ок. 1050 – ок. 1120), французский философ и теолог-схоластик II, 465; IV, 185

Рот Мюррей (1894–1938), американский кинорежиссер IV, 394

Роте Рихард (1799–1867), немецкий богослов I, 80, 165–176, 312; IV, 425, 430

Рохас Рикардо (1882–1957), аргентинский историк и писатель I, 204, 219, 388, 481, 533, 684

Рохас Фернандо де (?–1543), испанский писатель I, 65

Рохас Пас Пабло (1895–1956), аргентинский прозаик, эссеист III, 584; IV, 456

Рубенс Питер Пауэл (1577–1640), фламандский живописец III, 184

Руис Хуан (1283–ок. 1350), испанский поэт IV, 355–356

Рульфо Хуан (1918–1986), мексиканский прозаик IV, 336

Руми Джалаледдин (1207–1273), персидский поэт II, 401

Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский мыслитель и писатель II, 451; IV, 242

Рустикелло Пизанский (2-я пол. XIII в.), итальянский писатель, соавтор Марко Поло IV, 326

Рэли Уолтер (1552–1618), английский государственный деятель, мореплаватель и писатель II, 747

Рюккерт Фридрих (1788–1866), немецкий поэт, переводчик восточных литератур II, 401

Рюрик, шведский викинг II, 190, 714

Рюэгг Август (1882–?), немецкий историк культуры IV, 180

Сааведра Фахардо Диего де (1584–1648), испанский писатель и дипломат I, 52, 56; III, 220, 360, 425, 580, 619; IV, 108, 448

Сабато Эрнесто (р. 1911), аргентинский писатель II, 221

Саборидо Энрике (1876–1941), аргентинский композитор, автор танго I, 96

Савченко Игорь Андреевич (1906–1950), советский кинорежиссер I, 225

«*Сага о Вёльсунгах*», памятник древнегерманской литературы I, 330; III, 132, 265, 267

«*Сага о Греттире*» (начало XIV в.), родовая повесть, памятник исландской словесности I, 313, 330; II, 582, 716–717; III, 625, 626

«*Сага о Ньяле*», исландская родовая повесть I, 314, 327, 330

Сайкс Перси Молворт (1867–1945), английский ориенталист I, 274

Саймонс Артур Уильям (1865–1945), английский поэт, литературный и художественный критик I, 449

Сакс Ганс (1494–1576), немецкий поэт III, 143

Саксон Грамматик (1140–ок. 1208), датский хронист II, 478

Салах-ад-дин Халиль ал Ашраф, Саладин (1138–1193), султан Египта III, 437; IV, 58

Салинас Франсиско де (1513–1590), испанский музыкант, собиратель и теоретик музыки IV, 127

Сальгари Эмилио (1862–1911), итальянский писатель III, 632

Самен Альбер (1859–1900), французский поэт-символист IV, 297

Сан-Марко Порсель Делия Елена, знакомая Борхеса II, 313, 486, 514

Сан-Мартин Хосе де (1778–1850), один из руководителей

Войны за независимость испанских колоний в Южной Америке I, 402; II, 443; III, 39, 77, 80–81, 582; IV, 385

Сантаяна Джордж (1863–1952), американский философ и писатель I, 307

Сантильяна Иниго Лопес де Мендоса, маркиз де (1398–1458), испанский воин, поэт, теоретик искусства IV, 385

Сантос Чокано Хосе (1875–1934), перуанский поэт I, 391

Сантьяго Уго (р. 1939), аргентинский кинорежиссер III, 605

Сан-Хуан де ла Крус (1542–1591), испанский мистик и поэт II, 198, 626, 723; III, 527; IV, 317

Саравия Апарисио (1855–1904), уругвайский военный и политический деятель I, 109; II, 255–257; III, 322, 344

Саркисов Морис (1882–?), швейцарский скульптор III, 646

Сармьенто Доминго Фаустино (1811–1888), аргентинский политический и государственный деятель, писатель I, 481, 513; II, 62, 516, 603, 711; III, 81, 113, 368, 417–422, 506, 561, 582; IV, 384–385, 387, 389, 393, 442

Сароян Уильям (1908–1981), американский писатель III, 558

Сасаниды, династия иранских шахов I, 176

Састре Маркос (1809–1887), аргентинский литератор и педагог II, 65

Саторнил (Сатурнил; II в.), сирийский богослов-гностик II, 186

Саут Роберт (1634–1716), английский священник II, 337

Саути Роберт (1774–1843), английский поэт III, 228

Сведенборг Эмануэль (1688–1772), шведский ученый, мыслитель-мистик I, 165, 228, 301, 411; II, 398, 414, 433, 437, 448, 469, 497, 610, 631, 688; III, 142, 215, 225–226, 368, 401, 520–530, 593, 598; IV, 211, 333, 380, 400

Свифт Джонатан (1667–1745), английский писатель I, 144, 195–197, 211–212, 385, 390, 421, 471, 515; II, 155, 358, 404, 473–474, 702, 727; III, 32, 310, 403, 404, 415, 416, 621; IV, 126, 251, 289, 349, 362

Сарр Анри (1851–1924), французский писатель и литературный критик I, 193

Сеговия Лисандро (1842–1923), аргентинский правовед и лексикограф III, 581

Сейерс Дороти Ли (1893–1957), английская писательница, автор детективов I, 379, 409; II, 678; III, 588

Секст Эмпирик (кон. II в. – нач. III в.), греческий врач и философ I, 187, 435; II, 495

Селин Луи-Фердинанд (1894–1961), французский писатель II, 106

Селкирк Александер (1676–1721), шотландский моряк, прототип Робинзона Крузо II, 601; IV, 339

Семборайн де Торрес Дагэн Эстер, аргентинская писательница, соавтор Борхеса II, 76, 583; III, 596, 653

Сенека Младший Луций Анней (ок. 4 до н. э.–65 н. э.), римский политик, философ и писатель I, 123, 218, 304; II, 361, 364, 409, 577, 631, 686; III, 181, 497, 503; IV, 37, 58, 430

Сенека Старший Анней (ок. 55 до н. э.–ок. 40 н. э.), римский писатель I, 222, 349

Сенкевич Генрик (1846–1916), польский писатель I, 488

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа, граф (1760–1825), французский мыслитель-утопист I, 441; IV, 303

Сен-Симон Луи де Рувруа, граф (1675–1755), французский гранд, мемуарист II, 98

Сент-Бев Шарль Огюстен (1804–1869), французский литературный критик II, 498; III, 392

Сентсбери Джордж Эдуард Бейтмен (1845–1933), английский историк литературы II, 397, 447–449, 731; III, 253, 403; IV, 339

Сент-Экзюпери Антуан де (1900–1944), французский писатель IV, 387

Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616), испанский писатель I, 118, 128–130, 144–145, 147, 161, 177, 192, 215, 224, 370, 443, 447, 449, 458, 461, 488, 505–506; II, 77, 97, 100–105, 120–121, 318, 356, 358, 366–369, 376, 393, 405, 424, 450–451, 469, 519–520, 525, 598, 626, 730, 741, 749, 752–753, 756–764; III, 281, 349, 368–369, 374, 377, 384–386, 389, 395, 403, 414, 423–426, 428, 429, 445, 484–485, 498, 504, 506, 508, 532, 560–561, 571, 586, 591, 593, 598, 607, 624, 625, 627, 628, 630, 640, 645; IV, 33, 38, 42, 59–60, 70, 105, 108, 132, 140, 176, 184, 271, 279, 295, 297, 315, 326, 328, 339, 355, 358, 365, 387, 396, 440

Сервет Мигель (1509 или 1511–1553), испанский врач и мыслитель, сожжен кальвинистами как еретик I, 392

Сервий Гонорат (ок. 360–370–1-я пол.V в.), латинский филолог III, 152, 155, 249

Серф Алфред Беннет (1898–1971), американский литератор I, 361

«*Сефер Йецира*» (между III и VIII вв.), основополагающий памятник каббалистической философии II, 168, 179, 181, 427; III, 151, 503; IV, 114

Сивард (XI в.), правитель Нортумбрии, противник *Макбета* III, 441

Сигер Брабантский (ок. 1235–ок. 1282), средневековый мыслитель IV, 180, 184

Сиддхартха Гаутама (623–544 до н. э.), индийский царевич, легендарный основатель буддизма II, 458–462; IV, 74–76

Силс Милтон (1882–1930), американский киноактер II, 248

Симон Маг (Симон Волхв; I–II вв.), сирийский проповедник и врачеватель I, 140

Симонид Кеосский (556–467 до н. э.), греческий поэт II, 152; III, 191

Сирано де Бержерак Савиньен (1619–1655), французский писатель II, 405

Сирван Пьер-Поль (XVIII в.), французский протестант III, 385

Сирмон Жак (1559–1651), французский богослов II, 414

Скала Кангранде (Кан Гранде) делла (1291–1329), правитель Вероны, покровитель Данте IV, 31, 166, 412

Скалигер Жозеф Жюст (1540–1609), французский филолог, сын Ж.С.Скалигера II, 341

Скалигер Жюль Сезар (1484–1558), французский филолог II, 341; III, 387

Скартацини Джованни Андреа (1837–1901), итальянский филолог IV, 412

Смит Уолтер Уильям (1835–1912), английский историк, исследователь малайской культуры III, 165

Скотт Вальтер (1771–1832), английский писатель I, 481; III, 144, 247, 250, 579; IV, 383

Слатин-Паша Рудольф Карл фон (1857–1932), австрийский генерал II, 278

Смайзерс Леонард (1863–1909), английский литератор I, 361

Смердис (?–521 до н. э.), мидийский маг и самозванец II, 81

Смит Маргарет (1884–1967), английский религиовед I, 384, 690–691

Снорри Стурлусон (1178/1179–1241), исландский воин и поэт I, 317, 318, 319, 325, 330, 331; II, 476–478, 609, 672, 715; III, 103, 148, 204, 228, 240, 253, 360, 598; IV, 187, 369–370, 373

Сократ (ок. 470–399 до н. э.), греческий философ I, 193, 292, 304, 449; II, 514, 568, 630; III, 103, 395, 446, 469, 502, 503, 511, 512, 515–517; IV, 127, 238, 421

Солер Мигель Эстанилао (1783–1849), аргентинский военачальник I, 233; IV, 119

Солин Гай Юлий (III в.), эллинистический писатель-энциклопедист III, 401

Соран Валерий (I в. до н. э.), римский писатель и филолог II, 191, 472; IV, 450

Сорделло (Сордель; ок.1200–1269), итальянский трубадур IV, 165

Соррентино Фернандо (р. 1942), аргентинский писатель IV, 409–414

Соррилья де Сан-Мартин Хуан (1855–1931), уругвайский поэт III, 86

Сото Эрнандо де (1500–1542), испанский конкистадор I, 234

Сотос Очандо Бонифасио (1785–1869), испанский филолог II, 418

Софокл (ок. 496–406 до н. э.), греческий драматический поэт II, 358; IV, 307

Социн Фауст (1539–1604), итальянский протестант, христианский реформатор I, 134

Спендер Стивен (1909–1995), английский писатель II, 340

Спенсер Герберт (1820–1903), английский философ и социолог I, 125, 195, 350, 528; II, 353, 357, 412, 432, 491, 680, 725; III, 84, 394, 398, 404, 556; IV, 409

Спенсер Эдмунд (ок. 1552–1599), английский поэт-аллегорик I, 384; II, 326, 359, 372; III, 172; IV, 377

Спёрри Теофил (1890–1955), немецкий историк итальянской литературы IV, 199

Спиллер (Шпиллер) Густав (1864–?), английский философ и психолог I, 215; II, 348, 482; III, 449, 512; IV, 48, 118

Спиноза Барух (1632–1677), нидерландский философ, еврейский вольнодумец и еретик I, 188, 227, 435, 440; II, 86, 173, 332, 354, 406, 431, 457, 465, 472, 517, 534, 620, 625, 656, 743, 748; III, 38, 454, 473, 488, 641; IV, 109–110, 112, 153, 159, 185, 218, 367, 380, 400–402, 405, 426–427

Стайн Гертруда (1874–1946), американская писательница II, 120

Сталин Иосиф Виссарионович (1878–1953), советский государственный деятель II, 438

Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817), французская писательница, теоретик литературы III, 388; IV, 185

Стейнбек Джон (1902–1968), американский писатель III, 382

Стелин Джон Питер (XVIII в.), английский гебраист I, 80

Стендаль (Анри Мари Бейль; 1783–1842), французский писатель I, 353

Стерн Лоренс (1713–1768), английский прозаик I, 502; II, 696; III, 403

Стивен Лесли (1832–1904), английский историк и писатель I, 390; II, 397

Стивенсон Роберт Льюис (1850–1894), английский писатель I, 105, 225–217, 296, 334, 499; II, 147, 343, 383, 429, 448, 500, 534, 550, 657, 678, 686, 698, 703, 707, 757; III, 146, 151, 162, 279, 332, 335, 373, 374, 383, 386, 393, 411, 414, 424, 497, 533, 537, 542, 560, 586, 618, 632, 634, 639, 640; IV, 33–34, 73, 155, 168, 176, 210, 314, 345–346, 416

Страбон (63/64 до н. э. – 23/24 н. э.), греческий географ I, 153; III, 201, 230

Стравинский Игорь Федорович (1882–1971), русский композитор IV, 453

Стрейчи Литтон (1880–1932), английский историк и литературный критик I, 486; III, 392

Стриндберг Юхан Август (1849–1912), шведский писатель II, 728; IV, 307

Стюарт Нейл, английский историк социалистического движения I, 523

Суарес Мануэль Исидоро (1799–1846), аргентинский военачальник, прадед Борхеса I, 33; II, 485, 580; III, 79, 419, 455, 491, 559, 652; IV, 255, 384, 401

Суарес Аэдо де Асеведо Леонор (1837–1918), бабушка Борхеса, дочь М.И.Суареса III, 644; IV, 384

Судзуки Дайсецу Тейтаро (1870–1966), японский мыслитель, истолкователь и пропагандист буддизма IV, 74

Сунберн Алджернон Чарлз (1837–1909), английский поэт и эссеист I, 135, 333, 361, 375, 509–511; II, 342, 394, 432; III, 279, 401, 409, 410, 453, 558, 561, 568, 608, 645; IV, 146, 270, 301, 389

Сут Генри (1845–1912), английский лингвист, историк языка I, 455; III, 599; IV, 120

Сулла Луций Корнелий (138–78 до н. э.), римский полководец и политик III, 225

Сулоага (Зулоага) Игнасио (1870–1945), испанский живописец III, 646

Сун Ненцзы, историк китайской словесности II, 683

Сутхилл Уильям Эдвард (1861–1935), английский китаист III, 173

Сципион Младший (185–129 до н. э.), римский государственный деятель, полководец и меценат III, 213; IV, 200

Сыма Цянь (145 или 135–86 до н. э.), китайский историк III, 170

Сэйл Джордж (1680–1736), английский ориенталист II, 426; IV, 186

Сэквилл Томас (1536–1608), английский драматург II, 529

Сэндберг Карл (1878–1967), американский поэт III, 603

«*Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь*» (XIV в.), английская поэма о рыцарях Круглого Стола III, 126

Сюити Като (р. 1919), японский писатель, литературный критик IV, 309

Сюпервьель Жюль (1884–1960), французский писатель II, 732–733; IV, 456

ал Табари Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир (ок. 838–923), арабский историк и богослов III, 209

Тагор Рабиндранат (1861–1941), индийский писатель, общественный деятель III, 652

Тайлер Томас (1826–1902), английский шекспировед I, 524

Тайфер (XI в.), менестрель в армии *Вильгельма I Завоевателя* III, 490

Талиесен (Тельгесин), британский бард I, 435; IV, 82

«*Талмуд*», священная книга иудаизма II, 279, 486; III, 158, 164, 196

Тамберлик Энрико (1820–1889), итальянский певец II, 259

Тамерлан см. *Тимур*

Тапиа (кон. XIX в.), буэнос-айресский бандит III, 275

Тарик Ибн-Зияд (VIII в.), арабский военачальник I, 376; II, 326

Тартини Джузеппе (1629–1770), итальянский скрипач, композитор, теоретик музыки II, 343

Тассо Торквато (1544–1595), итальянский поэт I, 195, 197; II, 463–464, 738, 750; III, 567; IV, 44, 365

Тацит Корнелий (ок. 58–ок. 117), римский историк I, 220, 347; II, 130, 137, 195, 361, 475; III, 217, 218, 258, 392, 515, 566, 639; IV, 287

Твен Марк (1835–1910), американский писатель I, 209, 402, 502–504, 531; II, 436, 437, 450, 480, 694, 708, 734, 738, 752–753; III, 381, 395, 428, 442, 560, 577, 580, 586, 593, 604, 637; IV, 307, 368, 387, 395

Тейлор Джереми (1613–1667), английский религиозный писатель I, 134, 216, 301

Тейлор Томас (1758–1835), английский литератор, переводчик I, 312

Тейлор Филипп Медоуз (1808–1876), английский прозаик I, 437–438; II, 284–285

Теккерей Уильям Мейкпис (1811–1863), английский писатель-сатирик I, 57; II, 393, 474, 728; III, 557; IV, 397

Тельес Хирон Педро, герцог де Осуна (1597–1624), испанский политик и военный I, 315; II, 363; III, 628; IV, 94–97

Тенниел Джон (1820–1894), английский график III, 412

Теннисон Алфред (1809–1892), английский поэт I, 135, 147, 353, 376, 509; II, 286, 390, 393; III, 186–187, 378, 400, 532, 544, 650; IV, 123, 181, 422

Теобальд Льюис (1688–1744), английский драматург, издатель Шекспира IV, 373

Св. Тереса Авила́нская (1515–1582), испанская монахиня, религиозная писательница II, 526

Тернер Лана (1921–1995), американская киноактриса I, 226

Тернер Сирил (ок. 1572–1626), английский драматург I, 375

Тернер Уильям (1775–1851), английский живописец III, 68, 112; IV, 451–452

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (160–после 220), раннехристианский писатель I, 163; III, 202, 218

Тибоде Альбер (1874–1936), французский историк литературы и литературный критик IV, 325

Тило Иоганн (1794–1853), немецкий религиовед II, 262

Тильярд Юстес Мэндевил Уитенхол (1889–1962), английский историк литературы II, 468

Тимур (Тамерлан; 1336–1405), завоеватель Азии, победитель Золотой Орды I, 113; II, 747, 749; III, 101–102; IV, 133

Тинкер Эдвард Ларок (1881–1968), американский писатель, историк литературы III, 601

Тирсо де Молина (Габриэль Тельес; 1571 или ок. 1583–1648), испанский драматический поэт I, 153; III, 230

Тициан Вечеллио (ок. 1476 или 1480–1576), итальянский живописец IV, 454

Тичборн Роджер Чарлз (1829–1854), английский баронет, жертва авантюриста *А.Ортона* I, 244–248, 588

Тойнби Арнолд Джозеф (1889–1975), английский историк и философ истории II, 744; III, 650

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), русский писатель II, 385; IV, 350

Толуй (1192–1232), сын *Чингисхана* I, 384; IV, 196

Томмазо Никколо (1802–1874), итальянский обществен-

ный деятель, филолог-эрудит IV, 179, 199

Торгильс (Тургейс; ?–845), норвежский вождь, завоеватель Ирландии II, 714

Торличен Густаво, аргентинский фотохудожник II, 723–724

Торо Генри Дейвид (1817–1862), американский мыслитель и писатель III, 401, 531, 593; IV, 395

Торольв (?–937), исландский викинг, старший брат *Эгиля Скаллагримссона* IV, 369

Торрака Франческо (1853–1938), итальянский историк словесности IV, 170, 175, 200, 204, 412

Торре Гильермо де (1900–1972), испанский писатель, литературный и художественный критик I, 90; III, 573; IV, 392

Торрес Амант Феликс (1772–1847), испанский церковный деятель II, 433–434

Торрес Вильярозель Диего (1693–1770), испанский писатель I, 58, 164; II, 681

Тости (XI в.), правитель Нортумбрии II, 476–477

Трахтенберг Джошуа (1904–1959), американский гебраист III, 163

Траян Марк Ульпий (53–117), римский император III, 391; IV, 195

Трейл Генри Дафф (1842–1900), английский писатель II, 345

Треси Спенсер (1900–1967), американский актер театра и кино I, 226–227

Тсианкан, правитель индейского народа какчикелей II, 288, 292

Туле Поль-Жан (1867–1920), французский поэт I, 363, 414; II, 99

Турнёр Захария, французский издатель II, 337, 414

Туссен-Лувертюр Франсуа Доминик (1743–1803), руководитель национального восстания на Гаити I, 233

«*Тысяча и одна ночь*», памятник средневековой арабской словесности I, 105, 227, 276, 298, 328, 352–377, 384, 386, 462; II, 90, 142, 198–200, 203, 219–221, 281, 307, 326, 328, 368–369, 449, 451, 525, 560, 630–631, 685, 698, 758–759; III, 31, 106, 142, 147, 172, 199, 216, 223, 236, 241, 258, 333, 368, 374, 387, 397, 411, 423, 476–479, 560, 562, 572, 586, 593, 631, 632, 643; IV, 45, 62–73, 133, 148, 163, 231, 273, 326, 342, 358, 362, 387, 421–422, 430

Тэн Ипполит (1828–1893), французский философ, историк, социолог I, 195

Уайлд Эдуардо (1884–1913), аргентинский журналист и писатель I, 503

Уайлер Уильям (1902–1981), американский кинорежиссер IV, 394

Уайльд Оскар (1854–1900), английский писатель I, 117, 368, 402, 510, 530; II, 124, 340, 396–399, 404, 446, 462, 678; III, 163, 562; IV, 122–123, 234, 296, 299, 356, 400, 452–453

Уайтхед Алфред Норт (1861–1947), англо-американский математик, логик и философ I, 291; II, 346; III, 497; IV, 324

Уголино дела Герардеска (?–1289), глава городского управления Пизы, герой Данте IV, 174–177

Уидобро Висенте (1893–1948), чилийский поэт I, 49; II, 698

Уиклиф Джон (1320–1384), английский богослов, переводчик Библии III, 330, 333, 464

Уилер Пост (1889–1958), американский японист III, 180

Уилкинс Джон (1614–1672), английский теолог и философ I, 455; II, 98, 416–419, 623; III, 269, 280, 370–371, 586

Уиллард Рудольф (1892–?), американский лингвист, историк языка III, 602

Уиллоби-Мид Джералд, английский китаист III, 203

Уистлер Джеймс (1834–1903), американский живописец III, 440; IV, 284

Уитли Деннис (1897–1977), английский прозаик I, 397

Уитмен Уолт (1812–1892), американский поэт I, 44, 64, 84, 176–183, 342, 411, 533; II, 341, 359, 390–391, 401, 444, 454, 477, 582, 613, 632, 666, 680; III, 99, 106, 111, 262, 340, 368, 380, 383, 401, 402, 416, 417, 449, 453, 533, 539, 568, 570, 593, 598; IV, 260, 297, 325, 328, 402, 420, 438–440, 447–448

Ульфила (311–383), первый епископ гóтов, переводчик Библии II, 626

Унамуно Мигель де (1864–1936), испанский мыслитель, прозаик и поэт I, 127, 291, 341, 486, 492, 505–506, 512, 524; II, 366, 679, 746, 762; III, 380, 430, 510, 518, 618, 619, 624; IV, 332, 339, 367, 421

Уоллес Эдгар (1875–1932), английский писатель, автор остросюжетных романов I, 432

Уолпол Хорас (1717–1797), английский писатель IV, 358

Уолпол Хью (1884–1941), английский писатель IV, 357–358

Уорбертон Уильям (1618–1679), английский священник, философ и богослов III, 389–391

Уотерхауз Гилберт (1888–?), английский писатель, историк литературы I, 219

Уотс Джордж Фредерик (1817–1904), английский художник и скульптор II, 327, 361, 373, 420

Урибуру Хосе Фелипе (1868–1932), президент Аргентины III, 430

Уркиса Хусто Хосе де (1800 или 1801–1870), аргентинский государственный и военный деятель I, 117, 468; II, 258; III, 62, 114, 496, 556; IV, 384

Уркхарт Томас (1605 или 1611–1660), английский (шотландский) писатель и переводчик I, 373

Услар Пьетри Артуро (1906–2001), венесуэльский писатель и журналист III, 649, 651

Успенский Петр (1894–1957), американский мыслитель I, 218, 349; II, 349

Уссе (Усай) Бернардо Альберто (1887–1971), аргентинский физиолог IV, 393

У Ченэнь (1500–1582), китайский поэт и прозаик II, 682–683, 685, 686, 728

Уззерхед Лесли Диксон (1893–1976), английский религиозный писатель I, 227

Уэйли Артур Дейвид (1889–1966), английский востоковед I, 187, 447, 459, 528–529; II, 682–683, 685

Уэйт Артур Эдвард (1857–1942), английский историк алхимии и оккультизма III, 38

Уэйтли Ричард (1787–1863), английский (ирландский) священник, логик и теолог I, 165

Уэллс Герберт Джордж (1866–1946), английский прозаик, социальный мыслитель I, 105, 148, 213–214, 227, 402, 406, 407, 468, 471; II, 328, 339–340, 352, 404–407, 438–440, 700; III, 111, 252, 286, 372, 375, 557, 560, 594, 610, 617, 628, 631, 643, 652; IV, 113, 240, 316, 319, 337, 363, 384, 387, 405

Уэллс Орсон (1915–1985), американский актер, режиссер театра и кино II, 750

Уэнтлинг Джон Филип (1878–?), американский дендролог III, 232

Уэст Дуглас, английский журналист I, 415

Уэст Ребекка (1892–1983), английская писательница II, 396

Фаваро Антонио (1847–1922), итальянский историк науки II, 427

Фаге Эмиль (1847–1916), французский историк литературы I, 192–194

Файхингер Ханс (1852–1933), немецкий философ-кантианец II, 87; III, 162; IV, 367

Фалес (624–546 до н. э.), греческий мыслитель II, 577, 620, 733; III, 181, 185, 649

Фалучо (?–1824), аргентинский солдат, национальный герой I, 233

аль-Фараби (870–950), арабский и персидский мыслитель II, 392

Фаррел Джемс Томас (1904–1979), американский прозаик III, 382

Фа Сянь (IV–V вв.), китайский монах, путешественник II, 459

«*Фафнисмаль*», скандинавская мифологическая поэма II, 283

Федр (I в.), римский баснописец III, 492

Фейдер Жак (1888–1948), французский кинорежиссер IV, 394

Фейдт Конрад (1893–1943), немецкий киноактер и режиссер IV, 394

Фейхоо-и-Монтенегро Бенито Херонимо (1676–1764), испанский священник и писатель I, 216

Фельтон Джон (?–1628), английский офицер, убийца герцога Бэкингема III, 336

Фемистокл (ок. 525–ок. 460 до н. э.), афинский полководец II, 409

Фенелон Франсуа (1651–1715), французский поэт, писатель-моралист IV, 65

Феодор из Кирены (330–270 до н. э.), греческий философ II, 359

Феокрит (III в. до н. э.), эллинистический поэт II, 579

Феопомп (377–после 320 до н. э.), древнегреческий ритор и историк II, 122

Ферма Пьер (1601–1665), французский математик I, 517; II, 293; IV, 147

Фернандес Маседонио (1874–1952), аргентинский писатель I, 49, 387, 475–476; II, 500, 507, 522, 666; III, 360, 368, 394, 396, 427–436, 454, 567, 577–580, 584, 619; IV, 85, 212, 248, 438–439, 455

Фернандес Рамон (1894–1944), французский писатель I, 402

Фернандес Герра Аурелиано (1816–1894), испанский историк литературы II, 359–360

Фернандес де Кастро Педро, граф Лемосский (1576–1622), испанский сановник II, 756

Фернандес де Овьедо Гонсало (1478–1557), испанский государственный деятель и писатель, хронист завоевания Америки III, 182

Фернандес Латур Энрике, аргентинский литератор, переводчик III, 427, 432, 435

Фернандес Морено Бальдоморо (1886–1950), аргентинский поэт IV, 343, 434

Феррари Освальдо (р. 1948), аргентинский поэт и эссеист IV, 446–457

Фехнер Теодор Густав Теодор (1801–1887), немецкий мыслитель, психолог, теоретик искусства I, 514, 520; II, 413; III, 178, 513

Фигари Педро (1861–1938), уругвайский поэт и художник I, 233; IV, 456–457

Фидий (нач. V в. – 431 или 432 до н. э.), древнегреческий скульптор III, 184

«**Физиолог**» (II–III вв.), анонимный сборник античных поверий о природе и животных III, 172, 201

Филдинг Генри (1707–1754), английский писатель I, 447; III, 409

Филипп II (1527–1598), король Испании, Неаполя и Сицилии II, 103; III, 425; IV, 125

Филипп IV (1605–1665), испанский король I, 461; II, 696

Филипп IV Красивый (1268–1314), король Франции IV, 201

Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э.), религиозный

мыслитель, жил в Александрии I, 399; II, 433, 726

Филострат II Флавий (ок. 160 или 170–между 244 и 249), греческий писатель III, 189

Филпотс Генри, капитан, отец **И. Филпотса** IV, 329

Филпотс Иден (1862–1960), английский писатель I, 431, 496; IV, 329–330

Фирдоуси Абулькасим (ок. 940–1020 или 1030), персидский поэт I, 176; II, 281; III, 229

Фиттс Дадли (1903–1968), американский поэт и переводчик III, 603

Фитцджеральд Роберт (1910–1985), американский поэт и переводчик III, 582, 602

Фитцджеральд Эдвард (1809–1883), английский поэт и переводчик I, 362, 384, 502; II, 392–395, 694–695; III, 229, 409, 561, 562

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ II, 355, 441

Фичино Марсилио (1433–1499), итальянский естествоиспытатель, мыслитель-энциклопедист III, 178

Фладд Роберт (1574–1637), английский оккультный философ II, 168, 181; III, 178

Фламарион Камиль (1842–1925), французский астроном и писатель I, 524

Флекер Джеймс Элрой (1884–1915), английский поэт и прозаик I, 182

Флеминг Виктор (1883–1949), американский кинорежиссер I, 225, 227

Флобер Гюстав (1821–1880), французский писатель I, 129, 192–198, 201–202, 375, 425, 459,

515; II, 103, 120, 185, 279, 426, 468, 473, 707, 710, 717; III, 183, 197, 200, 202, 228–229, 438, 611, 632; IV, 212, 289, 295, 324–325, 353, 397

Флорио Джон (ок. 1553–1625), английский литератор IV, 377

Фокс Джон (1516–1587), английский писатель-протестант III, 344

Фолкнер Уильям (1897–1962), американский прозаик II, 255, 389, 477; III, 410, 412, 559, 590; IV, 336

Фома Аквинский (1225 или 1226–1274), христианский богослов I, 187; II, 260, 414; III, 310, 514, 518; IV, 187, 425

Фома Кемпийский (ок. 1380–1471), нидерландский духовный писатель II, 106

Фонтеккио (?–1736), французский иезуит, миссионер в Китае III, 179

Фор Поль (1872–1960), французский поэт II, 314

Форке Альфред (1867–1944), немецкий востоковед I, 528

Форстер Джон (1812–1876), английский историк и писатель III, 383; IV, 340

Фосиньи Люсенж, княгиня (Мария Лидия Льоверас), аргентинка, знакомая Борхеса II, 93

Фоска Франсуа (1881–?), французский остросюжетный писатель II, 678

Франко Баамонде Франсиско (1892–1975), лидер испанского фашизма, глава испанского государства II, 701

Франс Анатоль (1844–1924), французский писатель I, 375; II, 64, 728; III, 630

Франсиа Хосе Гаспар Родригес де (1766–1840), президент-

диктатор Парагвая II, 442; III, 399, 420

Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226), итальянский проповедник, духовный поэт II, 632; IV, 199

Франциск Сальский (1567–1622), французский богослов и деятель церкви, один из лидеров Контрреформации II, 99

Фрауд Роберт Генри (1771–1859), английский священник и проповедник IV, 316

Фрейд Зигмунд (1856–1929), австрийский невропатолог и психиатр I, 443, 506; II, 124, 391, 444, 743; IV, 111

Фриас Карлос (?–1991), директор буэнос-айресского издательства «Эмесе» III, 600

Фридрих I Барбаросса (ок. 1125–1190), германский король, император Священной Римской империи II, 706

Фридрих II (1712–1786), прусский король II, 442; III, 399, 583

Фридрих Хуго (1904–1978), немецкий историк романских литератур IV, 179

Фрост Роберт (1874–1963), американский поэт II, 669; III, 360, 445

Фрэзер Александр Кэмпбелл (1819–1914), английский философ II, 492

Фрэзер Джеймс Джордж (1854–1941), английский этнограф, филолог и библист I, 158, 398, 459; IV, 50

Фрэнк Уолдо (1889–1967), американский прозаик, эссеист I, 504; IV, 438

Фуйе Альфред (1838–1912), французский философ I, 314

Фуллер Маргарет (1810–1850), американская публицистка II, 388

Фунес Грегорио (1749–1829), аргентинский священник, писатель-патриот III, 419

Фурье Шарль (1772–1837), французский мыслитель-утопист I, 441; IV, 303

Фуше Альфред Шарль Огюст (1865–1952), французский индолог II, 459, 461

Фуше Жозеф (1759–1820), министр французской полиции II, 677

Фьораванти Хосе (1896–1970), аргентинский скульптор II, 62

Фюссли Иоганн Генрих (1741–1825), живописец и писатель, выходец из Швейцарии, работал в Англии IV, 52–53

Хабихт Максимилиан (1775–1839), немецкий ориенталист II, 283

Хаггард Генри Райдер (1856–1925), английский писатель IV, 340

Хадсон Уильям Генри (1841–1922), английский писатель II, 450–454, 711, 724

Хайдеггер Мартин (1889–1976), немецкий философ II, 470; III, 77

Хаймес Фрейре Рикардо (1868–1933), боливийский поэт I, 85; II, 730

Хайнеман Карл (1857–1927), немецкий филолог I, 221

Хайт Джордж Эйнсли (1851–?), английский философ, переводчик I, 330

Хакон *Хаконарсон* (XIII в.), правитель Норвегии II, 460

Хаксли Джулиан (1887–1975), английский биолог и философ IV, 393

Хаксли Олдос (1894–1963), английский писатель, брат Дж. Хаксли II, 84, 703

Халл Ричард (1896–1973), английский писатель I, 433–434

Халлек Генри Уэйджер (1815–1872), американский военный и историк III, 320

Хаммад ар-Равийя (694–772 или 775), арабский филолог II, 274

Хаммер-Пургшталь Йозеф фон (1774–1856), немецкий дипломат и востоковед II, 694; IV, 67

Хансон Лоуренс, английский литератор I, 449

Хань Фэй-цзы (?–233 до н.э.), китайский философ I, 529

Хань Юй (768–824), китайский философ, государственный деятель, писатель II, 421

Харальд Хардрада (1015–1066), норвежский король и скальд II, 219, 393, 476–477, 524, 538; III, 103

Харди Эдмунд (1852–1904), немецкий индолог II, 459

Харрисон Джордж (1894–?), английский историк литературы I, 457

Харша (Харшавардхана; ?–647), индийский драматический поэт III, 153

Хассан ибн Саббах (?–1124), мусульманский религиозный деятель II, 392; IV, 327

Хастинг (IX в.), вождь датских викингов II, 714

Хастингс Уоррен (1732–1818), британский чиновник в Индии I, 124

Хаурегу-и-Уртадо Хуан Мартинес де (1583–1641), испанский художник, поэт, теоретик искусства I, 80, 91

Хаусмен Альфред Эдвард (1859–1936), английский поэт II, 477

Хафиз Шамседдин (ок.1325–1389 или 1390), персидский поэт II, 694; IV, 101

Хейз Хэлен (1900–1993), американская киноактриса IV, 393

Хейзинга Йохан (1872–1945), нидерландский историк IV, 314

Хейзлем Эдвард Янг (1813–1878), прадед Борхеса, аргентинский литератор и журналист, выходец из Великобритании III, 491, 561, 597

Хейзлем Суарес Каролина, двоюродная бабка Борхеса IV, 383

Хект Бен (1893–1964), американский драматург и кинорежиссер II, 750; IV, 394

Хемингуэй Эрнест (1899–1961), американский прозаик III, 382

Хемминг Джон (ок. 1556–1630), английский актер, товарищ Шекспира III, 412

Хенгист (V в.), вождь саксов, завоеватель Британии II, 706, 709; III, 103, 116; IV, 188

Хенгстенберг Эрнст Вильгельм (1802–1969), немецкий телолог II, 262

Хенли Уильям Эрнест (1849–1903), английский писатель и издатель IV, 346

Хенн Томас Райс (1901–1974), английский (ирландский) поэт II, 431

Хеннинг Макс (1861–1927), немецкий арабист I, 368, 372–373, 377; IV, 73

Хеннинг Рихард (1874–1951), немецкий географ III, 152

Хепберн Кэтрин (1909–2003), актриса американского театра и кино I, 224; II, 750

Херберт Джордж (1593–1623), английский поэт II, 109, 309; III, 330

Херрманн Пауль (1866–1930), немецкий историк культуры III, 236

Хильгенфельд Адольф (1823–1907), немецкий библиист I, 138

Хименес Хуан Рамон (1881–1958), испанский поэт I, 65, 82; II, 721; IV, 297

Хинтон Чарлз Говард (1791–1873), английский мыслитель I, 215, 526; II, 92, 181; III, 285–286; IV, 291

Хирн Лафкадио (1850–1904), английский писатель и переводчик II, 686; III, 163; IV, 242

Хирондо Оливерио (1891–1967), аргентинский поэт I, 70

Хирондо Эдуардо, друг *М. Фернандеса* III, 427

Хирри Альберто (1919–1991), аргентинский поэт, прозаик, переводчик IV, 231

Хичкок Алфред (1899–1980), английский и американский кинорежиссер II, 750; IV, 394

Хлодвиг (ок. 466–511), король салических франков I, 144

Ходлер Фердинанд (1853–1918), швейцарский живописец III, 646; IV, 242

Хогбен Лэнселот Томас (1895–1975), английский ученый и популяризатор науки II, 416

Холиншед Рафаэль (?–ок. 1580), английский хронист II, 738; III, 441, 443; IV, 377

Хопкинс Джерард Мэнли (1844–1889), английский священник и поэт IV, 301

Хопкинс Мириам (1902–1972), американская актриса театра и кино I, 226, 295; II, 750

Хорн Пауль (1863–1908), немецкий востоковед I, 274

Хорст Георг-Конрад (1767–1838), немецкий оккультный мыслитель III, 158

Хоуэллс Уильям Дин (1837–1920), американский писатель и журналист III, 382

Хоффман Кэлвин, английский историк словесности II, 748; III, 442

Хрисипп (ок. 280–204 до н. э.), греческий философ I, 349

Хуан Мануэль (1282–1347?), испанский политический деятель, писатель-моралист II, 697

Хубилай (Кубла-хан; 1215–1294), монгольский хан II, 342, 344–345; IV, 64, 72, 327

Хунайн ибн-Исхак (808–873 или 877), арабский ученый II, 270

Хурадо Алисия (р. 1915), аргентинская писательница IV, 403–404

Хусто Хуан Баутиста (1865–1928), аргентинский историк и политический деятель III, 427

Хуэйши (350–260 до н. э.), китайский мыслитель I, 185, 529; II, 696

Хьюз Томас (1822–1896), английский писатель III, 560

Хэзлитт Уильям (1778–1830), английский писатель-эссеист II, 196, 391, 457, 529, 749, 753

Хэнди Уильям Кристофер (1873–1958), американский музыкант, создатель блюза I, 233

Хэнли Сэмюэл (1740–1815), английский богослов и переводчик II, 449

Хэрд Джералд (1889–1971), английский публицист I, 216–218, 349

Хэррис Фрэнк (1855–1931), английский писатель II, 404, 470, 749

Хэттэй Анна (1556–1623), жена *У.Шекспира* II, 529; IV, 376

Цао Сюэцинь (1724–1764), китайский писатель I, 423–424, 445; II, 139; III, 200, 205

Цвингли Ульрих (1484–1531), лидер Реформации в Швейцарии I, 304; IV, 272

Цезарь Гай Юлий (102 или 100–44 до н. э.), римский диктатор, полководец, писатель I, 114; II, 150, 164, 236, 424, 469, 518, 562, 568; III, 494; IV, 82, 121, 142, 170, 172, 232

Целестин V (в миру Пьетро дель Мурроне, 1215–1296), римский папа IV, 184

Цец Иоанн (1110–1180), византийский филолог-эрудит, дидактический поэт III, 181

Цзяцин (1760–1820), китайский император I, 252–253

Цинь Шихуанди (259–210 до н. э.), император Китая II, 331–333

Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский политик, оратор, философ I, 221–222, 347, 348, 515; II, 231, 359, 413, 476; III, 222; IV, 334, 432

Чаплин Чарлз Спенсер (1889–1977), американский актер и кинорежиссер I, 485–487, 494

Чапмен Гай (1889–1972), английский писатель II, 447, 449

Чапмен Джордж (1559–1634), английский поэт и переводчик I, 326; III, 360, 376; IV, 373, 377

Чаттертон Томас (1752–1770), английский поэт, мистификатор III, 442

Челлини Бенвенуто (1500–1571), итальянский скульптор и писатель III, 222

Челсем Джеймс (1740?–1801), английский историк права и искусства III, 391

Чемберс Эдмунд (1866–1954), английский историк литературы I, 449

Чепко фон Райгерсфельд Даниэль (1605–1660), немецкий поэт II, 479

Черч Ричард Уильям (1815–1890), английский литератор I, 384

Честертон Гилберт Кийт (1874–1936), английский писатель, социальный и литературный критик I, 158, 194, 196, 378, 396, 402, 409–410, 415–416, 428, 432, 495, 498–499, 513; II, 147, 163, 327, 361, 372–373, 394, 398–399, 400–403, 420, 463–464, 678, 698, 699, 703, 723, 744; III, 145, 151, 163, 335, 374, 379, 383, 398, 409, 410, 417, 426, 435, 536, 540, 541, 586, 605, 612, 615, 619, 632, 634, 636, 650; IV, 73, 195, 204–205, 218, 245, 279, 314, 345, 350, 414, 415, 418, 438–441, 452

Чжуан-цзы (ок. 369–286 до н.э.), китайский мыслитель I, 187, 460, 528–530; II, 331, 493–494; III, 171, 429, 470, 494, 613

Чилиец Суарес, буэнос-айресский бандит III, 416

Чингисхан (ок. 1155–1227), основатель Монгольской империи I, 110–111, 113, 384; II, 694; III, 174; IV, 196

Чосер Джеффри (1340?–1400), английский поэт I, 212, 367, 373; II, 432, 466, 709; III, 148, 209, 251, 368, 445; IV, 174, 194, 355, 374, 376–377

Шабистари Махмуд (ок.1287–1320), персидский поэт и мыслитель-суфий II, 285

Шамиссо Адельберт фон (1781–1838), немецкий писатель II, 686

Шанкара (788–812), индуистский мыслитель и поэт II, 456

Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848), французский писатель II, 354

Швоб Марсель (1867–1905), французский прозаик I, 105; II, 396; III, 437–439, 572, 587; IV, 328, 340

Шекспир Уильям (1564–1616), английский поэт I, 54, 127, 161, 183, 207, 212, 220, 333, 360, 376, 386, 443, 452, 457–458, 462, 476, 486, 526–527; II, 84, 89, 100, 102, 109, 121, 160, 164–166, 196, 263, 265, 312, 350, 358, 365, 366–369, 373, 376, 380, 391, 393, 402, 409, 412, 429, 432, 456–457, 473, 476, 485–486, 499–500, 513, 518, 529, 540, 590, 651, 656, 681, 692, 703, 719, 738–739, 740–753, 757, 761, 763; III, 82, 112, 118, 167, 182, 194–195, 204, 218, 269, 285, 342, 347, 368, 371, 372, 374, 378, 394, 417, 426, 440–445, 449, 488, 492, 505, 508, 516, 518, 527, 528, 584, 599, 604, 608, 615, 625–627, 638; IV, 34–35, 37, 39, 50–51, 53, 93, 95, 101, 108, 116, 145, 151, 177, 194, 210, 236, 244, 260, 267, 268, 276, 291, 310, 312, 321, 331, 338, 353, 354, 361, 364, 371, 373–380, 411, 420, 424, 440, 448

Шелли Перси Биши (1792–1822), английский поэт I, 349; II, 338, 686; III, 518, 558, 561; IV, 244, 389

Шенкс Эдвард (1892–1953), английский поэт, историк литературы I, 533–535

Шепард Джек (1702–1724), английский разбойник IV, 339

Шеринг Эмиль (1873–1951), немецкий литератор II, 186

Шерман Уильям Текумсе (1820–1891), американский генерал, командовал армией северян III, 383

Ши Найань (1296–1370), китайский писатель I, 445–446

Шил Мэтью Фипс (1865–1947), английский писатель, автор детективной прозы I, 409

Шиллер Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства I, 220; III, 426, 518, 543; IV, 410

Шлаф Иоханнес (1862–1941), немецкий писатель, переводчик III, 568

Шлегель Август Вильгельм (1767–1845), немецкий мыслитель, филолог и переводчик III, 444

Шлейер Иоганн Мартин (1831–1912), немецкий языковед I, 456; II, 417

Шолем Гершом (1897–1982), еврейский философ, истолкователь каббалы II, 592; III, 163, 567; IV, 114–115

Шопенгауэр Артур (1788–1860), немецкий философ I, 91, 116, 123, 125, 190, 195, 214, 219–220, 295–296, 312, 333, 348–350, 453–454, 464, 465, 471, 485, 518, 533; II, 89, 123, 144, 147, 160, 263–264, 286, 347–350, 380, 382, 395, 409, 411, 430, 456, 457, 463, 469, 474, 482–483, 490, 492, 495–496, 500, 630, 702, 723, 728; III, 79, 82, 105, 158, 266, 289, 360, 395, 430, 433, 436, 517, 543, 546, 567, 578, 579, 615, 619; IV, 83–85, 112, 177, 182, 184, 242, 312, 367, 400, 403, 409–411, 427, 438

Шоу Джордж Бернард (1856–1950), английский писатель I, 165, 211, 216, 228, 387, 466, 480, 485, 513, 518, 522, 524; II, 147, 222, 405, 414, 424, 444, 467, 469–470, 487, 703, 749, 751–752, 759–760; III, 33, 283, 313, 432, 445, 448, 501, 504, 517, 518, 524, 590, 599; IV, 84, 113, 234, 293–294, 308, 337, 350, 393, 438–441, 449, 454

Шошод Луи Симон Фортюне Фредерик (1877–?), французский востоковед, исследователь оккультизма III, 139

Шпенглер Освальд (1880–1936), немецкий философ и историк I, 349; II, 164, 263, 684, 744; III, 501; IV, 66, 107

Шрадер Отто (1855–1919), немецкий историк культуры и религии индогерманских народов III, 171

Штайнер Карло (1863–1933), итальянский историк литературы IV, 34, 179, 181, 200, 412

Штейнер Рудольф (1861–1925), австрийский мыслитель-теософ I, 123, 222; III, 237; IV, 120

Штернберг Джозеф фон (1894–1969), американский кинорежиссер I, 149, 159, 488, 491; II, 750; III, 634; IV, 393

Штирнер Макс (1806–1856), немецкий философ I, 441

Штраус Давид Фридрих (1808–1874), немецкий протестантский богослов, философ-гегельянец I, 141

Шуль Солар (1887–1963), аргентинский живописец и литератор I, 274–275, 326, 529; II, 499; III, 585, 586; IV, 452, 454–455

Шульц Вольфганг (1881–1936), австрийский историк античности I, 137

Эберкромби Лэселз (1881–1938), английский поэт и литературный критик I, 177; II, 390

Эберхард Вольфрам (р. 1909), немецкий синолог I, 427

Эванс-Вентц Уолтер Йилинг (1878–1965), английский индолог, исследователь тибетской мистики III, 215

Эверс Ханс Хайнц (1871–1943), немецкий писатель III, 195

Эггелинг Юлиус (1842–1918), английский индолог III, 153

Эгиль Скаллагримсон (между 910 и 990), исландский викинг и скальд I, 314, 316; IV, 369

Эдвардс Джонатан (1703–1758), американский богослов II, 611; III, 598

Эдвардс Эванжелайн Дора (1888–?), английский китаист I, 459

«*Эдда Старшая*» («*Эдда Сэмунда*»; записана во 2-й пол. XIII в., название получила в 1643 г.), свод исландской мифологии и поэзии I, 330; II, 339, 716, 727; III, 147, 181, 239, 319, 418; IV, 312–313, 373

Эддингтон Артур Стэнли (1882–1944), английский астрофизик I, 346

Эзоп (VI в. до н. э.), греческий баснописец I, 407, 427; III, 31, 387; IV, 67, 418

Эйвинд Погубитель Скальдов (?–ок. 990), норвежский скальд I, 323

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948), советский кинорежиссер I, 224

Эйнар Тамберскельвер, исландский воин III, 116

Эйнштейн Альберт (1879–1955), немецкий и американский физик I, 419, 512; II, 743–744, 746

Эйрик Рыжий (X в.), норманнский мореплаватель II, 714; III, 104, 119, 317; IV, 182, 231

Эккерман Иоганн Петер (1792–1854), немецкий литератор, биограф Гёте III, 402

«*Эксетерская книга*», рукописный сборник древнеанглийской словесности III, 210, 224, 241; IV, 200

Экхарт Иоганн (ок. 1260–1327 или 1328), немецкий мистик II, 490

Элиан Клавдий (ок. 200), римский грекоязычный писатель III, 201, 210; IV, 323

Элиезер бен Исаак из Вормса (XI в.), еврейский талмудист III, 158–159

Элий Лампридий, один из авторов «Жизнеописаний Цезарей» II, 118

Элиот Томас Стернз (1885–1965), англо-американский поэт I, 177, 384, 509; II, 221, 391, 423, 498; III, 211, 410, 449; IV, 181, 301, 410

Эллери Куин, псевдоним американских остросюжетных писателей Менфорда Липофски (1905–1971) и Дэниэла Натана (1905–1982) I, 409; II, 121

Эллис С. М., английский историк литературы III, 410

Эллис Хэвлок (1859–1939), английский психолог и писатель II, 343

Эль Греко (1541–1614), испанский живописец III, 646

Эльфинстон Джон (XVIII в.), английский библиотекарь III, 317

Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882), американский писатель и мыслитель I, 180, 182, 350, 533; II, 255, 258, 338, 382, 388, 496,

- 612, 674, 694; III, 117, 381, 397, 400–402, 507, 521, 522, 527, 528, 531, 532, 539, 593, 598, 602; IV, 89, 92, 251, 273–274, 347, 395, 438, 449
- Эмпедокл* (ок. 490–ок. 430 до н. э.), греческий мыслитель и поэт I, 435; II, 334, 360, 413; III, 222, 516; IV, 82
- Энгельс Фридрих* (1820–1895), немецкий философ и публицист I, 419
- Эниий Квинт* (239–169 до н. э.), римский поэт I, 515
- Эрикес Уренья Макс* (1885–1968), доминиканский поэт и филолог, брат *П.Эрикеса Уреньи* III, 367
- Эрикес Уренья Педро* (1884–1946), доминиканский историк литературы II, 326, 531; III, 128, 424, 426, 446–450, 592
- «*Энциклопедия Братьев Чистоты*» (X в.), памятник ближневосточной мистической философии II, 392, 426
- Эпиктет* (ок. 50–ок. 130), греческий философ II, 281, 409
- Эпикур* (371–270 до н. э.), греческий философ I, 348
- Эразм Роттердамский* (1469–1536), гуманист эпохи Возрождения II, 341
- Эриугена* см. *Иоанн Скот Эриугена*
- Эрл Джон* (1824–1903), английский филолог I, 330
- Эрман Адольф* (1854–1937), немецкий египтолог III, 216
- Эриандес Хосе Рафаэль* (1834–1886), аргентинский поэт I, 48, 63, 85–86, 112, 116, 118, 160, 203–206, 233, 449, 481–482, 495, 501, 531, 532, 533; II, 147, 194, 198, 242, 244–245, 257, 327, 356, 389, 452–453, 523, 688, 711; III, 33, 50, 381, 382, 423, 436, 506, 508, 561, 585, 625; IV, 38, 297, 354, 389, 437
- Эрнуль де Жибле*, французский хронист III, 438
- Эррера Фернандо де* (1534–1597), испанский поэт I, 55
- Эррера-и-Рейссиг Хулио* (1875–1910), уругвайский поэт II, 468, 563; III, 448; IV, 443
- Эрро Карлос Альберто* (1903–1968), аргентинский писатель, социолог, журналист III, 597
- Эса ди Кейрош Жозе Мария* (1845–1900), португальский писатель III, 640, 645; IV, 295–296
- Эсбери Герберт* (1889–1963), американский журналист I, 254; III, 587
- Эстрада Сантьяго де* (1841–1891), аргентинский писатель и журналист IV, 352
- Эсхил* (ок. 525–466 до н. э.), греческий драматический поэт I, 517; II, 475–476; IV, 244
- Этьямбль Рене* (1909–2002), французский писатель, литературовед I, 411
- Эхнатон* (Аменофис IV, Аменхотеп IV; XIV в. до н. э.), египетский фараон II, 195
- Эчард Лоренс* (1670?–1730), английский историк III, 387
- Эчеверрия Эстебан* (1805–1851), аргентинский писатель I, 481, 531; II, 389; III, 382
- Ювенал Децим Юний* (ок. 60–ок. 127), римский поэт I, 161; II, 307, 364; III, 225, 416; IV, 63–64
- Юй Великий* (XXIII–XXII в. до н. э.), полубогатый китайский император III, 197–198
- Юм Дейвид* (1711–1776), английский философ и историк I, 143,

183, 226, 348, 453, 480; II, 85, 271, 419, 431–432, 465, 479, 483–484, 490, 492–493, 496, 571, 686, 700; III, 332, 377, 391, 436, 502, 513, 558, 578, 579; IV, 85, 102, 367, 403, 416

Юнг Карл Густав (1875–1961), швейцарский психиатр и психолог I, 177; II, 370, 388, 422; III, 170, 173, 240; IV, 183, 280

Юнг Эдуард (1683–1765), английский поэт и прозаик II, 473

Юнгбауэр Густав (1886–1942), немецкий фольклорист I, 475

Юстин (II в.), римский историк III, 200

«*Яджурведа*», памятник древнеиндийской ритуальной словесности II, 459

Яков Джеймс (1566–1625), король Англии, автор трактата «Демонология» II, 741; III, 444

Якопо делла Лана (ок. 1290–ок. 1365), итальянский филолог, комментатор Данте IV, 166–167

Ямелих (ок. 280–ок. 330), греческий философ-неоплатоник II, 335, 427

Янг Брайем (1801–1877), глава американских мормонов I, 264; III, 383

Яннингс Эмиль (1882–1950), немецкий киноактер I, 485, 487

Ясперс Карл (1883–1969), немецкий психолог и философ II, 470

«*Corpus Hermeticum*» (не позднее III в.), свод мистических сочинений поздней античности II, 335

«*Matière de Bretagne*», свод средневековых сказаний бретонского цикла I, 200; II, 707, 758; IV, 315, 365

«*Matière de France*», свод средневековых преданий каролингского цикла II, 758; IV, 365

«*Roman de la Rose*» (XIII в.), памятник французской средневековой словесности, аллегорическая поэма, начата Гильомом де Лоррисом, закончена Жаном де Меном II, 335, 413, 464

«*Seafarer*», памятник древнеанглийской аллегорической поэзии II, 739

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Борис Дубин. Книга мира</i>	5
--------------------------------------	---

Семь вечеров (1980) *Перевод В. Кулагиной-Ярцевой*

«Божественная комедия»	31
Кошмар	48
«Тысяча и одна ночь»	62
Буддизм	74
Поэзия	89
Каббала	105
Слепота	116

Из книги **Тайнопись (1981)** *Перевод Б. Дубина*

Посвящение	131
Действие книги	132
Ронда	133
Декарт	134
Беппо	135
При покупке энциклопедии	136
Некто	137
Два лика бессонницы	138
The Cloisters	139
Для фантастического рассказа	140
Послесловие	141
Счастье	142
Элегия	143
Блейк	144
Создатель	145
Yesterdays	146
Канва	147
Некто третий	148
Без названия	149
Сон	151
Один из снов	152

Забывтый сон	153
Мчатъ или быть?	154
Праведники	155
Синто	156
Чужак	157
Нихон	159
Тайнопись	160

Деять очерков о Данте (1982)

Введение. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	163
Высокий замок из Песни четвертой. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	168
Мнимая загадка Уголино. <i>Перевод Б. Дубина</i>	174
Последнее плавание Улисса. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i> ...	178
Милосердный палач. <i>Перевод Б. Дубина</i>	183
Данте и англосаксонские видения. <i>Перевод Б. Дубина</i>	187
«Чистилище», I, 13. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	192
Симург и орел. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	194
Свидание во сне. <i>Перевод Б. Дубина</i>	198
Последняя улыбка Беатриче. <i>Перевод Б. Дубина</i>	203

25 августа 1983 года (1983)

25 августа 1983 года. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	209
Роза Парацельса. <i>Перевод Вс. Багно</i>	214
Синие тигры. <i>Перевод Вс. Багно</i>	218

Из книги Атлас (1984) *Перевод Б. Дубина*

Предисловие	231
Галльская богиня	232
Тотем	233
Ирландия	234
Венеция	236
Храм Посейдона	237
Начало	238
Полет на воздушном шаре	239
Афины	241
Женева	242
Памятник	243
Эпидавр	244

Мой последний тигр	245
Грейвс в Дее	247
Перекрестки	248
Гостиница в Рейкьявике	249
Лабиринт	250
Arg Magna	251
Мадрид, июль 1982 года	252
Пустыня	253
Штауббах	254
Кладбище Реколета	255
О собственноручном спасении	256

Из книги
Порука (1985)
Перевод Б. Дубина

Посвящение	259
Предисловие	260
Христос на кресте	261
Фрагменты глиняной таблички... ..	263
Реликвии	264
Словно реки	265
Закат	266
Облака	267
Абрамовиц	268
Элегия о саде	269
Обладание прошлым	270
Чей-то будущий сон	271
Сон, приснившийся в Эдинбурге	272
Зелень кипариса	273
Сказочная нить	275
1982 год	276
Прах	277
Итог	278
Хуан Лопес и Джон Уорд	279
Порука	280

Из книги
Личная библиотека (1988)
Перевод Б. Дубина

Несколько слов от автора	283
Хулио Кортасар. «Рассказы»	285
«Апокрифические Евангелия»	287

Франц Кафка. «Америка. Рассказы»	289
Морис Метерлинк. «Разум цветов»	290
Дино Буццати. «Татарская пустыня»	292
Генрик Ибсен. «Пер Гюнт. Гедда Габлер»	293
Жозе Мария Эса ди Кейрош. «Мандарин»	295
Леопольдо Лугонес. «Империя иезуитов»	297
Андре Жид. «Фальшивомонетчики»	299
Роберт Грейвс. «Греческие мифы»	301
Федор Достоевский. «Бесы»	303
Эдвард Каснер и Джеймс Ньюмен. «Математика и воображение»	305
Юджин О'Нил. «Великий бог Браун. Странная интерлюдия. Траур — участь Электры»	307
Аривара Нарихира. «Исэ-моногатари»	309
Герман Мелвилл. «Бенито Серено. Билли Бад. Писец Бартлеби»	310
Джованни Папини. «Трагическая повседневность. Слепой поводырь. Слова и кровь»	312
Артур Мэчен. «Три обманщика»	314
Фрай Луис де Леон. «Песнь песней. Переложение Книги Иова»	316
Джозеф Конрад. «Сердце тьмы. Смертельная опасность» ...	318
Анри Мишо. «Варвар в Азии»	320
Герман Гессе. «Игра в бисер»	321
Клавдий Элиан. «История животных»	323
Гюстав Флобер. «Искушение Святого Антония»	324
Марко Поло. «Описание мира»	326
Марсель Швоб. «Воображаемые жизни»	328
Иден Филпотс. «Рыжий род Редмейнов»	329
Сёрен Кьеркегор. «Страх и трепет»	331
Генри Джеймс. «Урок мастера. Частная жизнь. Рисунок на ковре»	333
Геродот. «История в девяти книгах»	334
Хуан Рульфо. «Педро Парамо»	336
Редьярд Киплинг. «Рассказы»	337
Даниель Дефо. «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс»	339
Томас Де Куинси. «Последние дни Иммануила Канта...» ...	341
Рамон Гомес де ла Серна. «Предисловие к собранию сочинений Сильверии Лансы»	343
Роберт Луис Стивенсон. «Новые сказки тысячи и одной ночи. Маркхейм»	345
«Бхагавадгита. Сказание о Гильгамеше»	347
Хуан Хосе Арреола. «Фантастические истории»	349

Дейвид Гарнетт. «Женщина-лисица. Человек в зоопарке. Возвращение моряка»	350
Поль Груссак. «Эссе о литературе»	352
Мануэль Мухика Лайнес. «Кумиры»	354
Хуан Руис. «Книга о Благой Любви»	355
Хью Уолпол. «На темной площади»	357
Публий Вергилий Марон. «Энеида»	359
Вольтер. «Философские повести»	361
Дж. У. Данн. «Опыт над временем»	363
Аттилио Момильяно. «О „Неистовом Роланде“»	365
Уильям Джеймс. «Многообразие религиозного опыта. О природе человека»	367
Снорри Стурлусон. «Сага об Эгиле»	369

Память Шекспира (1995)

Перевод Б. Дубина

Память Шекспира	373
-----------------------	-----

Из бесед

С Викторией Окампо. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	383
Со Сьюзен Зонтаг. <i>Перевод Н. Богомоловой</i>	395
С Жаном де Мийере. <i>Перевод с французского С. Дубина</i>	400
С Фернандо Соррентино. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	409
С Марией Эстер Васкес. <i>Перевод Б. Дубина</i>	415
С Антонио Каррисо. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	420
С Ритой Гиберт. <i>Перевод с английского Е. Лысенко</i>	434
С Освальдо Феррари. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	446
<i>Борис Дубин. Примечания</i>	458
Хорхе Луис Борхес: страницы биографии	478
Содержание собрания сочинений Х. Л. Борхеса по томам	502
Алфавитный указатель произведений	504
Указатель имен	520

Литературно-художественное издание

Хорхе Луис Борхес

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том четвертый

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1980–1986 ГОДОВ
ПОСМЕРТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ**

Ответственный редактор *Алексей Балакин*
Художественный редактор *Егор Саламашенко*

Технические редакторы
Любовь Никитина, Елена Траскевич
Корректор *Татьяна Андрианова*
Верстка *Максима Залиева*

Подписано в печать 03.05.2011.
Формат издания 84×108 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,08. Тираж 3000 экз.
Изд. № 10239. Заказ № 4679.

Издательство «Амфора».
Торгово-издательский дом «Амфора».
197110, Санкт-Петербург,
наб. Адмирала Лазарева, д. 20, литера А.
www.amphora.ru, e-mail: secret@amphora.ru

Отпечатано по технологии СтР
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
194044, Санкт-Петербург, Менделеевская ул., д. 9.
Телефон/факс: (812) 495-56-10.



Среди живущих сегодня писателей нет ни одного,
кто был бы важнее для любого пишущего,
чем Хорхе Луис Борхес.

Сьюзен Зонтаг, американская писательница

Семь вечеров (1980)

Тайнопись (1981)

Девять очерков о Данте (1982)

Атлас (1984)

Порука (1985)

Личная библиотека (1988)

Память Шекспира (1995)



амфора
amphora.ru



9 785367 017359
ISBN 978-5-367-01735-9